

Н О В Ы Й  
М И Р

ПЯТИСОТЫЙ  
НОМЕР

8(500)

---

---

1966

Н О В Ы Й М И Р

1966

# Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 8

Август, 1966 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Созвездие Козлотура, повесть	3
Н. ЗЛОТНИКОВ — Новоселье, стихи	76
А. МАКАРОВ — Дома, рассказ	79
РАСУЛ РЗА — Два стихотворения. Перевела с азербайджанского М. Павлова	107
РОЛЬФ ХОХХУТ — Берлинская Антигона, рассказ. Перевел с немецкого Ф. Коньков	110
ЖАК ПРЕВЕР — Песенка про Сену, Кот и птица, стихи. Перевел с французского М. Кудннов	118
Ю. ТЫНЯНОВ — Из записных книжек (С предисловием В. Каверина)	120

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Помощник — промысел	138
-------------------------------------	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Т. ЛЕШУКОВ — Свет и тени города ткачей	165
--	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

И. ОСИПОВ — На берегу Одера	187
-----------------------------	-----

### В МИРЕ НАУКИ

Академик П. Л. КАПИЦА — Мои воспоминания о Резерфорде	205
---	-----

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. ЛАКШИН — Писатель, читатель, критик. Статья вторая	216
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Ефим Дорош. Иван Африканович.— Лев Кассиль. «Оранжед» еще приплывет! — О. Михайлов. Профиль критика.	257
<i>Политика и наука</i>	
И. Пешкин. Испытание временем.— И. Миндлин. Первые шаги.— М. Шасс. Страницы истории пролетарского интернационализма.— И. Иноземцев. Приключения открытий.	267
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	281
КОРОТКО О КНИГАХ — Владимир Рудный. Действующий флот.— Жан-Поль Сартр. Слова.— А. Бережной. «Чапаев» Дм. Фурманова.— М. А. Ильин. Подмосковье.— С. С. Черников. Загадка золотого кургана. Где и когда зародилось «скифское искусство». — П. Н. Берков. О людях и книгах	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

---

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

## СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА

*Повесть*

**В** один прекрасный день я был изгнан из редакции одной среднерусской молодежной газеты, в которой проработал неполный год. В газету я попал по распределению после окончания института.

По какому-то дьявольскому стечению обстоятельств оказалось, что мой редактор пишет стихи. Мало того, что он писал стихи, он еще из уважения к местному руководству выступал под псевдонимом, хотя, как потом выяснилось, псевдоним он взял напрасно, потому что местное руководство знало, что он пишет стихи, но считало эту слабость вполне простительной для редактора молодежной газеты.

Местное руководство знало, но я не знал. На первой же летучке я стал критиковать одно напечатанное у нас стихотворение. Я его криковал без всякого издевательства, хотя, возможно, и с некоторым оттенком московского снобизма, что, в общем, простительно для парня, только-только окончившего столичный вуз.

Во время своего выступления я краем глаза заметил странное выражение лиц наших сотрудников, но не придал этому большого значения. Мне, честно говоря, показалось, что они поражены изяществом моей аргументации.

Возможно, мне все это сошло бы с рук, если б не одна деталь. В стихах, написанных от имени сельского комсомольца, говорилось о премуществвах картофелекопалки перед ручным сбором картофеля.

По простоте душевной и даже литературной, я решил, что это одно из тех стихотворений, которые приходят самотеком во все редакции мира, и в конце своего выступления, чтобы не совсем обижать автора, сказал, что все же для сельского комсомольца оно написано довольно грамотно.

Впоследствии я никогда не критиковал стихи нашего редактора, но, кажется, он мне не верил и считал, что я эту критику перенес в кулуары.

В конце концов, я думаю, он правильно решил, что для провинциальной молодежной газеты вполне достаточно одного стихотворца. Какого именно, в этом у него не было сомнений, как, впрочем, и у меня.

Весной началась кампания по сокращению штатов, и я попал под нее. Весна вполне подходящее время для сокращения штатов, но мало приспособленное для расставания с любимой девушкой.

Я был тогда влюблен в одну девушку. Днем она работала учетчицей в бухгалтерии одного военного учреждения, а вечером училась в вечерней школе. Между этими двумя занятиями она успевала назначать свидания, и, к сожалению, не только мне. Она разбрасывала эти свидания, как цветы.

Можно сказать, что в те годы она проходила сквозь жизнь с огромным букетом цветов, небрежно разбрасывая их направо и налево. Каждый, получивший такой цветок, считал себя будущим хозяином всего букета, и на этом основании возникало множество недоразумений.

Однажды мы встретились в парке и некоторое время гуляли по аллеям, обсаженным могучими старыми липами. Был чудесный вечер с далекой музыкой, с листьями, шуршащими под ногами, с расплывающимся в сумерках ее живым, смеющимся лицом.

Когда мы вышли из аллеи на освещенную фонарем площадку, я заметил группу ребят. Один из них, на вид наиболее сумрачный, отделился от своих дружков и направился к нам. Его сумрачное лицо сразу же мне не понравилось, я даже подумал, что лучше бы к нам подошел кто-нибудь из остальных, но подошел именно он.

Он приблизился к нам и молча, не говоря ни слова, вlepил ей пощечину. Я бросился на него, мы сцепились, но потом подошли остальные и все испортили. Я был сбит с ног и порядочно помят. Так приостанавливают или предотвращают в наши дни дуэли.

Оказалось, что она в этом парке чуть ли не на это же время назначила ему свидание.

— Хорошо, но почему в этом же парке?— спросил я у нее, стараясь уловить какую-то логику в ее поведении.

— Не знаю,— ответила она, смеясь и нежно отряхивая мой пиджак,— но ведь и я тоже получила...

Я посмотрел на нее и горестно подумал, что ей все идет — от пощечины лицо ее сделалось еще более хорошеньким.

В последнее время ее преследовал один, как нам тогда казалось, пожилой майор. Она, смеясь, часто рассказывала о нем, и это меня тревожило. Я уже знал, что, если девушка слишком смеется над своим поклонником, а тот достаточно упорен, она может выйти за него замуж хотя бы под тем предлогом, что ей с ним весело. В упорстве майора я не сомневался.

Все это не слишком способствовало моему служебному рвению и давало некоторые внешние поводы для осуществления тайного замысла моего редактора.

Чтобы замаскировать свою пристрастность ко мне, редактор сократил вместе со мной нашу редакционную уборщицу, хотя сократить следовало двух наших редакционных шоферов, которые все равно ничего не делали, потому что месяцем раньше началась кампания по экономии горючего и им перестали выдавать бензин. Они до того обленились, что отпустили бороды и целыми днями, не снимая пальто, играли в шашки, сидя на редакционном диване, с лицами, развратно перекошенными от непродожащей похмельной скуки.

Там, где можно было на машине проскочить за материалом в один день, мы ездили в командировку на несколько дней, потому что кампании по сокращению командировочных расходов тогда еще не проводили.

Так или иначе, сокращение состоялось, и я решил, что мне надо ехать на родину. Редакция щедро со мной расплатилась. Я получил зарплату, какие-то непонятные отпускные и гонорар за свои последние корреспонденции. В ту пору я еще жил студенческими представлениями о финансовом могуществе и поэтому решил, что по крайней мере на два месяца мне обеспечена полная независимость.

Я в последний раз проводил свою девушку до вечерней школы.

— Обязательно пиши,— сказала она и, в последний раз бросив мне ослепительную улыбку, исчезла в темном проеме дверей вечерней школы.

Я считал, что такая любовь, конечно, не зависит ни от времени,

ни от разлуки. Все же я был несколько уязвлен ее мужеством, мне хотелось более ощутимых признаков ее привязанности, чем эта улыбка.

Вечер я провел на скамье городского парка, обдумывая свою прошедшую жизнь и мечтая о новой. Я сидел на сырой скамье в уже расцветающем, голом, холодном парке. Неожиданно из репродуктора полилась песенка Сольвейг. И пока она звучала, мне ничего не стоило легким, незаметным, может быть, чуть-чуть шулерским движением вложить душу Сольвейг в мою девушку.

Нет, думал я, мир, в котором создана такая песня, несмотря на все свои погрешности, имеет право на счастье и будет счастлив.

И довольно легкомыслия, думал я, надо принять участие в преобразовании мира, пора стать взрослым человеком, пора устраиваться на работу в настоящую взрослую газету, где занимаются настоящими взрослыми делами.

Надо сказать, к этому времени, независимо от моего сокращения, мне порядочно надоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее постоянное бесплодное бодрчество.

Мне надоели все эти задумки вместо замыслов, живинки вместо живости, веселинки вместо веселья и даже глубинки вместо глубины. Черт его знает что!

Нет худа без добра, думал я, теперь я стану настоящим журналистом, и она многое поймет и оценит.

Что именно она поймет, я представлял смутно, но то, что она оценит меня, казалось мне бесспорным.

Ночью друзья проводили меня на московский поезд. Согретый их прощальной лаской, я уехал в Москву, чтобы оттуда ринуться вниз на родину, на благословенный юг.

В Москве мне удалось тогда проездом напечатать одно стихотворение, что по тогдашним временам было немалым успехом. С одной стороны, я наносил удар своему бывшему редактору, потому что он в Москве не печатался. С другой стороны, стихотворение шло на родину впереди меня и должно было сыграть роль визитной карточки в нашей газете «Красные субтропики», где я собирался устраиваться.

— Да, да, уже читали,— сказал редактор газеты Автандил Автандилович, как только увидел меня в коридоре редакции.— Кстати, не собираешься ли ты вернуться в родные края?

Он, видимо, решил, что я приехал в отпуск.

— Собираюсь,— сказал я, и мы обо всем договорились. Мы договорились, что он меня возьмет, как только один старый сотрудник редакции уйдет на пенсию.

С месяц я гулял по берегу моря, ходил по пустынным пляжам, стараясь переложить на стихи свои не слишком веселые раздумья. Два моих письма, посланные ей, остались без ответа, и я самолюбиво замолчал. Правда, я еще написал письмо товарищу, с которым работал в молодежной газете. В письме я вскользь упомянул, что уже принят в настоящую взрослую газету, куда просил его черкнуть о себе, если ему такое придет в голову. Кстати, писал я, если кое-кого случайно встретишь на улице, можешь сообщить об этом, разумеется если найдешь уместным. В конце я передавал привет всем без исключения сотрудникам редакции. Письмо, по-моему, было выдержано в спокойных тонах с легким налетом мудрого снисхождения.

Воздух родины, насыщенный резким запахом моря и мягким женственным запахом цветущих глициний, успокаивал меня. Возможно, йод, растворенный в морском воздухе, благотворно действует не только на телесные, но и на душевные раны. Целыми днями я валялся на пустынном пляже и загорал. Иногда мимо меня проходили небольшими

группами местные сердцееды. Они хозяйственно оглядывали пляж, они изучали его, как полководцы рельеф местности, где вскоре предстоят великие битвы.

Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился пойти, потому что в это время прошла небольшая кампания за то, чтобы люди, достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. До этого он всячески бодрился, но тут ему пришлось согласиться. Его торжественно проводили и даже купили ему резиновую надувную лодку. Правда, он еще намекал на спиннинг, но намек его остался непонятым, потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома. Впоследствии он стал повсюду говорить, что его отправили на пенсию против воли и даже не подарили обещанного спиннинга, хотя спиннинга ему никто не обещал. Ему обещали подарить резиновую лодку и подарили, а про спиннинг и речи не было.

Я об этом говорю так подробно, потому что в какой-то мере получалось, как будто я сел на его место, хотя я был принят как местный кадр и имеющий квартиру.

С работниками нашей газеты я был знаком не первый год, потому что еще студентом во время летних каникул неоднократно пытался заинтересовать их своими литературными произведениями. Заинтересовать, как правило, не удавалось, зато я кое-что узнал о наших сотрудниках.

Во всяком случае я твердо знал, что редактор газеты Автандил Автандилович стихов никогда не писал и писать не собирается. Более того, он вообще за все время своего пребывания в газете, во всяком случае на моей памяти, ничего не писал.

Этот человек по самой природе своей был руководителем широкого профиля. Как и многие мои соотечественники, он обладал прирожденным застойным талантом. Высокий рост, кучерявые волосы, мужественная внешность делали его одинаково желанным, более того — необходимым как за банкетным столом, так и за столом президиума на больших собраниях. Он свободно говорил на всех кавказских языках, и тосты, которые он произносил, не нуждались в переводах.

До своего редакторства он руководил местной промышленностью, разумеется в масштабах нашей маленькой, но симпатичной автономной республики. Вероятно, с делом своим он справлялся хорошо, может быть даже очень хорошо, потому что появилась настоятельная необходимость его выдвинуть, и когда открылась возможность, его сделали редактором газеты.

Как прирожденный руководитель широкого профиля, он быстро освоил новое дело. Оперативность его была действительно необычайна. В нашей газете довольно часто появлялись передовые на важнейшие темы промышленности и сельского хозяйства одновременно с центральными газетами, а то и днем раньше.

Я, как и мечтал, был принят в отдел сельского хозяйства. В эти годы одна за другой в сельском хозяйстве проходили революционные реформы. Мне хотелось разобраться во всем этом, понять, что куда идет, и стать в конце концов настоящим знатоком своего дела.

Руководил отделом Платон Самсонович. Не следует удивляться его имени. У нас таких имен — хоть пруд пруди. Видимо, они у нас остались еще со времен греческой и римской колонизации черноморского побережья.

Я знал его и раньше — это был тихий и мирный человек, мы часто с ним ловили рыбу. Более опытного и умелого рыбака на нашем побережье я не знал.

Но ко времени моего поступления в редакцию он совершенно изменился: про рыбалку не вспоминал и даже продал свою лодку. Он ходил

по редакции лихорадочно-возбужденный, с каким-то сумрачным блеском в глазах, с многозначительно поджатыми губами. Он и всегда был человеком небольшого роста, правда жилистым и крепким. Теперь он совсем усох, стал еще более жилистым и как бы наэлектризованным.

Дело в том, что в это время проходила кампания по разведению козлотуров, и он был первым пропагандистом этого дела.

Вот как это началось. Года два назад Платон Самсонович побывал в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку об одном селекционере, которому удалось скрестить горного тура с обыкновенной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназначила ему судьба.

На заметку в газете никто не обратил внимания, но, оказывается, один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше министра по значению, прочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на Оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух:

— Интересное начинание, между прочим...

Теперь уже трудно установить, обращался ли он с этими словами к окружающим или просто так вымолвил вслух то, что ему подумалось, но на следующий день Автандилу Автандиловичу позвонили и сказали:

— Поздравляем, Автандил Автандилович, он сказал, что это интересное начинание, между прочим.

Автандил Автандилович созвал сотрудников и в праздничной обстановке объявил благодарность Платону Самсоновичу. Кроме того, он срочно командировал его вместе с нашим фотокором, с тем чтобы он теперь привез развернутый очерк о жизни козлотура.

— Не исключено, что в будущем козлотуры займут достойное место в нашем народном хозяйстве,— сказал Автандил Автандилович.

Через неделю в газете появился очерк под заголовком «Интересное начинание, между прочим». Очерк занимал половину газетной полосы и был снабжен двумя крупными фотографиями козлотура — анфас и в профиль. В профиль морда козлотура была похожа на лицо вырождающегося аристократа со скептически оттянутой нижней губой. Анфас морда козлотура с мощными, великолепно загнутыми рогами выражала как бы некоторое недоумение. Казалось, козлотур сам не может понять, кто он в конце концов, козел или тур, и что лучше: становиться козлом или оставаться туром.

В очерке подробно рассказывалось о его дневном рационе, о его трогательной привязанности к человеку. Особенно много говорилось о его преимуществах перед обычной козой.

Во-первых, он в среднем в два раза тяжелей обычной козы (решение мясной проблемы), во-вторых, он отличается исключительной крепостью конституции, что делает в будущем выпас козлотуров на самых крутых горных склонах практически безопасным. В этом месте, кстати, отмечалось, что благодаря мягкому, спокойному характеру живогного выпас козлотуров не представляет большого труда и один пастух может справиться с двумя тысячами козлотуров.

О шерстистости козлотура Платон Самсонович писал в игривых тонах. Он писал, что густая шерсть белой и пепельной окраски — дополнительный подарок нашей легкой промышленности. Оказывается, жена селекционера связала себе кофточку из шерсти козлотура, и выглядела эта кофточка, по мнению Платона Самсоновича, ничуть не хуже импортных. «Модницы будут довольны», — уверял он.

В очерке отмечалось, что козлотур сохранил высокую прыгучесть своего знаменитого предка, а также красоту рогов, которые после опре-



деленной обработки могут служить украшением или прекрасным сувениром для туристов и доброжелательно настроенных иностранных гостей.

Я перечитал все материалы, посвященные козлотуру, и должен сказать, что этот очерк был самым красочным. Платон Самсонович вложил в него всю свою душу.

Видимо, очерк вызвал большой приток читательских писем, потому что вскоре в газете появились две новые рубрики: «По тропе козлотура» и «Посмеемся над маловеерами». В первой рубрике печатались положительные отклики и комментарии к ним. Во второй рубрике цитировались письма скептиков и тут же им давалась отповедь.

Под рубрикой «По тропе козлотура» было опубликовано письмо одного московского ученого, который писал, что лично его нисколько не удивляет появление козлотура, потому что все это давно предвидели последователи мичуринской агробиологии, тогда как некоторые ученые, находящиеся в плену у сомнительных теорий, не предвидели и, естественно, не могли предвидеть ничего такого.

В заключение великий ученый сообщал, что козлотур подтверждает правильность и его собственных опытов.

Это был самый знаменитый ученый в нашей стране. В свое время он выдвинул гипотезу, что современный баран — это не что иное, как первобытный ящер, видоизменившийся в борьбе за существование, согласно учению Дарвина. Гипотезу он доказал на основании, кажется, сравнительного анализа лобных пазух современного барана и черепа ископаемого ассирийского ящера.

Отсюда великий ученый сделал естественный вывод, что курдюк барана как видоизменившийся хвост ящера должен был сохранить некоторую способность восстанавливаться. Предстояло развить эту способность, с одной стороны, и приучить организм барана к безболезненному отрыву курдюка, с другой стороны. Этим он и был занят в последние годы. Судя по всему, опыты проходили успешно.

Правда, находились и завистники, которые жаловались, что гениальные эксперименты великого человека никто не может повторить. Жалобщикам вполне резонно отвечали, что эксперименты потому-то и гениальные, что их никто не может повторить.

Одним словом, поддержка великим ученым нашего козлотура была своевременна и благотворна.

Под этой же рубрикой было опубликовано письмо какой-то женщины. По-видимому, она ничего не поняла из статьи Платона Самсоновича или судила о ней понаслышке, потому что спрашивала, где можно купить кофточку из шерсти козлотура. Редакция вежливо разъяснила ей, что пока еще рано говорить о промышленном производстве кофточек, но само по себе ее письмо должно заставить призадуматься хозяйственные организации и уже сегодня начать подготовку к приему и обработке шерсти козлотура.

Здесь же было опубликовано письмо коллектива работников городской бойни, поздравлявшей тружеников сельского хозяйства с новым интересным начинанием. Работники бойни предлагали взять шефство над колхозом, который первым начнет выращивать козлотуров.

Под рубрикой «Посмеемся над маловеерами» были опубликованы выдержки из писем какого-то зоотехника и агронома.

Зоотехник вежливо сомневался, что гибрид даст поколение, и, следовательно, вся затея с козлотурами не имеет будущего. По этому поводу редакция радостно сообщала, что козлотур уже покрыл восемь козематок и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. Покрытые козы чувствуют себя хорошо, а покрытие продолжается.

Агроном оказался более желчным. Он высмеял все качества козло-

тура вместе взятые и каждое в отдельности. Особенно досталось прыгучести. Тут он прямо-таки плясал на костях. Интересно, писал он, как в сельском хозяйстве можно использовать высокую прыгучесть козлотура? Мы не знаем, писал он, как избавиться от прыгучести наших коз, потому что от нее страдают кукурузные поля, а тут еще прыгучесть козлотура. Кроме того, он пытался острить насчет того, что не собирается ли редакция выставить на следующих олимпийских играх козлотура в качестве прыгуна.

Редакция дала ему достойную отповедь. Сначала в спокойных тонах Платон Самсонович ему разъяснил, что высокая прыгучесть козлотура — очень ценное качество, потому что в будущем стада козлотуров будут пастись на альпийских лугах, на склонах, недоступных для обычных домашних коз. И там благодаря высокой прыгучести козлотур может сравнительно легко уходить от хищников, от которых все еще страдает общественный скот.

Что касается прыгучести колхозных коз, писал дальше Платон Самсонович, то редакция никакой ответственности за нее не несет, а несут ответственность колхозные пастухи, которые, вероятно, целыми днями спят или режутся в карты. Штрафовать надо таких пастухов, и не только пастухов, но и ответственных работников колхоза, начиная от председателя и кончая агрономом, который все еще путает альпийские луга с олимпийскими полями.

Желчный агроном после этого письма, видимо, больше не пытался спорить, зато вежливый зоотехник продолжал подавать голос.

Имя его снова появилось под рубрикой «Посмеемся над маловерами».

Он писал, что ответ редакции его не удовлетворяет, потому что если гибрид и сохранил способность покрывать коз, то это еще не значит, что он способен давать потомство. Кроме того, он считал, что в животноводстве надо делать упор на крупный рогатый скот, в частности на буйволов, тогда как козлотур, хотя и крупнее козы, все-таки остается мелким рогатым скотом.

Редакция ему отвечала, что, напротив, высокая способность к покрытию как раз и доказывает, что козлотур будет давать потомство. В ближайшие месяцы все выяснится, время работает на нас, писала редакция. Что касается направления нашего животноводства, то, во-первых, козлотура никак не назовешь мелким рогатым скотом, хотя он и меньше, чем крупный рогатый скот, а во-вторых, исключительное внимание к крупному рогатому скоту ясно показывает, что зоотехник все еще страдает гигантоманией, характерной для невозвратных времен культа личности.

Через несколько месяцев газета целой полосой отметила праздничное событие — все козы, покрытые козлотуром, а их было тринадцать, дали приплод, причем четыре из них дали двойняшек, а одна коза родила трех козлотурят.

На огромном снимке через всю полосу было изображено многочисленное семейство козлотура вместе с юными козлотурятами. В центре стоял козлотур, и морда его теперь не выражала никакого недоумения. Казалось, он нашел себя — козлотур выглядел солидно и спокойно.

Ко времени моего появления в редакции «Красных субтропиков» Платон Самсонович стал первым газетчиком. Теперь он писал не только на сельскохозяйственные темы, но и на культурно-просветительные, а также передовые по отделу пропаганды. Его статья «Козлотур — оружие в антирелигиозной пропаганде» была отмечена на доске лучших материалов.

Целыми днями Платон Самсонович сидел за своим редакционным столом, окруженный учебниками по агробиологии, письмами селекцио-

неров и всяческими диаграммами. Иногда он делался задумчивым и неожиданно вздрагивал.

— Что с вами, Платон Самсонович? — спрашивал я у него.

— Ты знаешь, — говорил Платон Самсонович, радостно приходя в себя и оживляясь. — я часто вспоминаю свою первую заметку. Ведь я тогда еще думал: давать эту информашку или нет. Чуть было не прошел мимо великого начинания.

— А что, если бы прошли? — говорил я.

— Не говори, — отвечал Платон Самсонович и снова вздрагивал.

Платон Самсонович отдавал газете все свое время. Он приходил в редакцию раньше всех и уходил поздно вечером, так что мне даже как-то бывало неудобно уходить домой после рабочего дня. Впрочем, он всегда радостно меня отпускал. Дома он не мог работать, потому что он жил в одной комнате, а семья у него была большая — жена и взрослые дети. Он уже много лет стоял в очереди горсовета, и в конце концов уже при мне ему выдали новую квартиру. Я думаю, тут не последнюю роль сыграло возвышение его имени посредством козлотура.

В день получения квартиры мы все его искренне поздравляли, намекали на новоселье, но он с каким-то непонятным упорством отклонял эти невинные намеки.

Истинный смысл его упорства мы поняли только через несколько дней, когда узнали, что он ушел из семьи и остался в старой квартире. Потом мне рассказывали, что и раньше он несколько раз порывался уйти из семьи. Но, во-первых, уйти было некуда, а во-вторых, жена приходила жаловаться редактору, и Автандил Автандилович водворял его обратно.

Она и на этот раз пришла в редакцию и сказала:

— Верните мне моего изобретателя.

Автандил Автандилович вызвал Платона Самсоновича к себе в кабинет и начал, как обычно, водворять его. Но тот наотрез отказался вернуться в семью, хотя помогать ей не отказывался.

— Теперь не те времена, — сказал ей Автандил Автандилович, — решайте сами свои семейные дела...

— Они смеются надо мной, — вставил, говорят, в этом месте Платон Самсонович.

— Как смеются? — удивился редактор. — Платон Самсонович занят большой государственной проблемой...

— Они мешают моей творческой мысли, — подсказал, говорят, Платон Самсонович.

— Верните мне моего изобретателя, — повторила жена.

— Она и сейчас смеется, — пожаловался Платон Самсонович.

— Он же не требует развода? — спросил у нее редактор.

— Еще этого не хватало, — сказала, говорят, она.

— Читайте, что он живет в отдельном кабинете, — заключил Автандил Автандилович.

— Перед людьми стыдно, — сказала, говорят, жена его, немного подумав.

На этом и решили. В сущности говоря, уходя от семьи, Платон Самсонович не собирался обзаводиться новой семьей или тем более любовницей. Он как бы удалялся от мирских сует, чтобы полностью отдаться любимому делу.

После его частичного ухода из семьи жена все-таки приходила менять ему белье и убирать квартиру. Платон Самсонович с удвоенной энергией продолжал заниматься своим дегишем. Время от времени он выискивал новый угол зрения, под которым можно было рассматривать проблему разведения козлотуров.

Уже при мне, когда на берегу моря рядом с кофейней открыли павильон прохладительных напитков, он добился, чтобы его назвали «Водоной козлотура». Он любил посещать это заведение.

Иногда по вечерам, выходя из кофейни, я видел его в павильоне. Он пил нарзан, облокотившись о мраморную стойку с видом усталого, но довольного покровителя.

Хотя Платон Самсонович был за самые широкие и неожиданные формы пропаганды козлотура, никакого легкомыслия в этом отношении он не допускал.

Когда наш фельетонист сравнил одного многоженца, злостного неплательщика алиментов, с козлотуром, Платон Самсонович выступил на летучке и заявил, что такое сравнение дискредитирует в глазах колхозников всенародное начинание.

— Навряд ли здесь есть политическая ошибка, но прислушаться к замечанию стоит,— примирительно заключил Автандил Автандилович.

Платон Самсонович разработал рацион кормления козлотуров и предлагал колхозникам придерживаться его. В то же время он открывал дорогу и личной инициативе колхозников, советуя им прикармливать козлотуров сверх рациона другими продуктами и о результатах писать в газету.

— Первая ласточка,— как-то сказал Платон Самсонович, с нежностью показывая на обложку московского иллюстрированного журнала, который он держал в руках. Я посмотрел и увидел снимок козлотура со всем его семейством, тот самый, который был у нас в газете, только этот был исполнен в цвете и выглядел еще более празднично.

Вскоре одна из московских газет дала статью под заголовком «Интересное начинание, между прочим», где рассказывалось о нашем опыте по выращиванию козлотуров.

Газета рекомендовала колхозам центральных и черноземных областей нашей страны изучить этот опыт и без излишней паники, не забегая вперед и в то же время не теряя драгоценного времени, поддержать это новаторское начинание.

Предугадывая возражения насчет разницы климата, автор статьи напоминал, что козлотур не должен бояться холода, так как вырос по отцовской линии в суровых условиях высокогорной зоны альпийских лугов.

Платон Самсонович тихо торжествовал. На последней летучке он довольно неожиданно заявил, что пора объявить штату Айова, с которым мы соревновались по производству кукурузы, соревнование по разведению козлотуров.

— Но ведь они не разводят козлотуров?— сказал редактор не совсем уверенно.

— Пусть попробуют в условиях фермерского хозяйства,— ответил Платон Самсонович.

— Надо посоветоваться с товарищами,— сказал редактор и включил вентилятор в знак того, что летучка окончена.

Вентилятор стоял на столе напротив него, и каждый раз, начиная совещание, Автандил Автандилович выключал его, и голова его прямо возвышалась над жирными лопастью вентилятора, и он был похож на пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он включал вентилятор, лицо его каменело, и тогда казалось, что он неподвижно улетает в нужном направлении.

На следующий день он сказал Платону Самсоновичу, что со штатом Айова следует подождать.

— Между нами говоря, перестраховщик.— Платон Самсонович кивнул в сторону редакторского кабинета.

\* \* \*

Однажды под рубрикой «По тропе козлотура» появилось письмо работников сельскохозяйственного научно-исследовательского института с Северного Кавказа. Они писали о том, что с интересом следят за нашим начинанием и сами уже скрестили северокавказского тура с козой. Первый тукокоз, писали они, чувствует себя превосходно и быстро растет.

Комментируя письмо, Платон Самсонович от имени закавказских энтузиастов поздравил северокавказских коллег с большим успехом. При этом он добавил, что успех будет еще значительней, если они и в дальнейшем будут придерживаться разработанного им рациона кормления нового животного. Платон Самсонович писал, что всегда был уверен, что именно они, северокавказцы, как наши ближайшие соседи и братья, первыми подхватят передовой опыт.

Письмо пошло в номер без всяких изменений, кроме того, что Платон Самсонович слово «тукокоз» заменил на принятое у нас «козлотур».

Почему-то авторы письма обиделись на это невинное исправление и прислали на имя редактора опровержение, где писали, что они и не думали в кормлении своего тукокоза придерживаться нашего рациона, а кормили и будут в дальнейшем кормить его, строго придерживаясь метода, разработанного собственным научным аппаратом института. Кроме того, они сочли необходимым заявить, что название «козлотур» антинаучно, ибо сам факт (а факты упрямая вещь!) скрещивания именно тура с козой, а не козла с турицей говорит о гегемонии тура над козой, что и должно быть отражено в названии животного, если к вопросу подходить с научной точностью. Только если вам удастся скрестить козла с турицей, писали они, название «козлотур» можно будет считать оправданным, и то с некоторой натяжкой. Но в этом случае наши разногласия сами по себе отпадут, потому что речь будет идти о двух новых животных, полученных принципиально различными способами, что, естественно, будет отражено в двух различных названиях. Таким образом, вы будете продолжать свои эксперименты со своими козлотурами, а мы как стояли, так и будем стоять на своих тукокозах. Примерно так звучало письмо товарищей с Северного Кавказа.

— Придется поместить, все-таки научные работники,— сказал Автандил Автандилович, показывая письмо Платону Самсоновичу. Он сам его принес к нам в отдел как срочный материал.

Платон Самсонович пробежал его глазами и отбросил на стол.

— Только под рубрикой «Посмеемся над маловерами»,— сказал он.

— Не имеем права,— возразил Автандил Автандилович.— Научные работники выражают свое мнение. К тому же в первой заметке вы допустили отсебятину...

— Страна знает козлотура,— твердо возразил Платон Самсонович,— а тукокоза никто не знает.

— Это верно,— согласился Автандил Автандилович,— и в центральной прессе принято наше название, но откуда вы взяли, что они пользовались нашим рационом?

— Каким же они могли пользоваться?— сказал Платон Самсонович и пожал плечами.— Пока что все пользуются нашим рационом...

— Ну, хорошо,— согласился Автандил Автандилович, немного подумав,— приготовьте толковый ответ, и мы дадим оба материала в порядке дружеской дискуссии.

— Сегодня же подготовлю,— оживился Платон Самсонович и, достав красный карандаш, придвинул к себе письмо научных работников. Автандил Автандилович вышел из кабинета.

— Яйцо курицу учит,— неопределенно кивнул головой Платон Сам-

сонович, так что я не понял, то ли он имеет в виду редактора, то ли своих неожиданных оппонентов.

Через несколько дней обе статьи появились в газете. Ответ Платона Самсоновича назывался «Коллегам из-за хребта» и был выдержан в наступательном духе.

Он начал издавека. Подобно тому, писал Платон Самсонович, как Америку открыл Колумб, а названа она Америкой в честь авантюриста Америго Веспуччи, который, как известно, не открывал Америки, так и северокавказские коллеги пытаются дать свое название чужому детищу.

Когда в первом письме наших коллег мы исправили неблагозвучное и неточное название «турокоз» на благозвучное и общепринятое «козлотур», мы считали, что это просто описка, тем более само наивное и в известной мере незрелое содержание письма таило в себе возможность такого рода описки или даже ошибки. Все это мы видели с самого начала, но все-таки поместили письмо в газете, потому что считали своим долгом поддержать пусть еще робкое, слабое, но все-таки чистое в своей основе стремление быть на уровне передовых опытов нашего времени.

Но что же оказалось? Оказалось, то, что мы принимали за описку или даже ошибку, было ложной, вредной, но все-таки системой взглядов, а с системой надо бороться, и мы подымаем перчатку, брошенную из-за хребта.

Может быть, продолжал Платон Самсонович, название «турокоз», при всей своей бестактности, с научной точки зрения более точно отражает существо нового животного? Нет, и здесь промахнулись коллеги из-за хребта!

Именно в названии «козлотур» наиболее точно отражается существо нового животного, потому что в нем удачно подчеркивается первичность человека над дикой природой, ибо домашняя коза, прирученная еще древними греками, как более разумное начало, стоит в нашем варианте на первом месте, тем самым подтверждая, что именно человек завоевывает природу, а не наоборот, что было бы чудовищно.

Но, может быть, название «турокоз» соответствует хорошим традициям нашей мичуринской агробиологии? Опять же не получается, коллеги из-за хребта! Возьмем для примера новые сорта яблок, выведенные Мичуриным, такие, как бельфлер-китайка и кандиль-китайка, названия их давно приняты и одобрены народом. Здесь, как и в нашем случае, дикое китайское яблоко занимает достаточно почетное, подобающее ему второе место.

Что касается предложения скрестить турицу с козлом, то выглядит оно в устах научных работников довольно странно, писал дальше Платон Самсонович.

Во-первых, совершенно очевидно, что ввиду нежелательных и даже пугающих козла размеров турицы вероятность покрытия приближается к нулю.

Но допустим, такое покрытие произойдет. Что мы и наше хозяйство будем от этого иметь? На этот вопрос легко ответить, если мы обратимся к международному, а также отечественному мулопроизводству.

Многовековой опыт мулопроизводства ясно доказывает, что от скрещения жеребца с ослицей получается лошак, тогда как от скрещения осла с лошадей получается искомый мул. Лошак, как известно, животное недоразвитое, болезненное, слабое, к тому же проявляет склонность кусаться, тогда как мул отличается хозяйственно-полезными свойствами и высоко ценится в нашем народном хозяйстве, особенно в южных республиках. (Вопрос о продвижении мула на север и выведении зимостойких пород сейчас нами не рассматривается. Хотя известный пробег мулов от Москвы до Ленинграда, запряженных в сани с полной кладью, про-

деланный ими за десять дней в условиях морозной зимы, о многом говорит каждому непредубежденному наблюдателю (см. БСЭ, том 11, стр. 206). Из сказанного становится совершенно ясно, что козлотур — это тот же лошак, если мы его будем выводить методом, предложенным северокавказскими коллегами, тогда как козлотура можно и нужно приравнять к мулу, если его выводить нашим уже неоднократно проверенным способом. Вот почему мы отвергаем предложение северокавказских коллег как попытку — пусть невольную, но все-таки попытку — направить наше животноводство по ложному идеалистическому пути.

По мнению коллег из-за хребта, получается, что все наши козлотуры шагают не в ногу и только единственный северокавказский тукокоз шагает в ногу. Но с кем? Таинственный лаконизм последней фразы звучал, как грозное предупреждение.

Недели две после этого мы ждали ответа северокавказцев, но они почему-то замолчали, и это сильно обеспокоило редактора.

— А может, у них козлотур умер и они теперь стыдятся продолжать дискуссию?— предположил однажды Платон Самсонович.

— А вы позвоните в институт и все выясните,— приказал Автандил Автандилович.

— А не получится, что мы сдаем позиции, если первыми позвоним?— сказал Платон Самсонович.

— Наоборот,— возразил Автандил Автандилович,— это только подтвердит нашу уверенность в правоте.

Соединившись с институтом, Платон Самсонович узнал, что тукокоз жив и здоров, а дискуссию они прекратили, решив делом доказать, чьи тукокозы окажутся более жизненными.

— Чьи козлотуры,— поправил Платон Самсонович и положил трубку.— Проглотили,— подмигнул он мне и, потирая руки, сел на свое место.

\* \* \*

Мне не терпелось наконец своими глазами увидеть настоящего живого козлотура, но Платон Самсонович, хотя и одобрял мой пыл, все же не спешил посылать меня в деревню. Наконец наступило время.

До этого только один раз я был в командировке, и то не совсем удачно.

На рассвете мы вышли в море с передовой бригадой рыболовецкого колхоза, расположенного рядом с городом. Все было чудесно: и сиреневое море, и старый баркас, и ребята, ловкие, сильные, неумолимые. Они выбрали рыбу из ставника, но на обратном пути вместо того, чтобы идти на рыбозавод, свернули в сторону небольшого мыска, мимо которого мы должны были пройти. Со стороны берега к этому мыску тянулись женщины с ведрами и кошелками. Я понял, что роковой встречи не избежать.

— Ребята, может, не стоит,— сказал я, когда баркас уткнулся носом в песок. Возможно, я это сказал слишком поздно.

— Стоит,— радостно заверили они, и начался великий торг. Через пятнадцать минут всю рыбу выменяли на деньги и продукты натурального хозяйства. Мы снова вышли в море. Я пытался им что-то сказать. Рыбаки вежливо меня слушали, нарезая хлеб и раскладывая закуски. Трапеза была подготовлена, меня пригласили, и я понял, что отказаться было бы неслыханным пижонством.

Мы наелись, немного выпили и тут же уснули сладким, безмятежным сном.

Потом они мне объяснили, что рыбы было слишком мало, а рыбозавод такое количество все равно не берет, а план они все равно перевыполняют.

Я понял, что очерк писать нельзя, и мне ничего не оставалось, как написать «Балладу о рыбном промысле», где я воспел труд рыбаков, не уточняя, как они воспользовались плодами своих трудов. Баллада была хорошо принята в редакции, она прошла как новая, столичная форма очерка.

Однако пора возвратиться к козлотурам.

Готовилось областное совещание по обмену опытом разведения козлотуров. К этому времени их распределили между наиболее зажиточными колхозами, с тем чтобы приступить к массовому размножению. Некоторые председатели пытались увильнуть от этого нового дела под тем предлогом, что они и коз давно не держат, но их пристыдили и заставили купить соответствующее количество коз. Наконец козы были куплены, но потом стали поступать жалобы, что некоторые козлотуры проявляют хладнокровие по отношению к козам.

По этому поводу редактор поставил вопрос об искусственном осеменении коз, но Платон Самсонович стал утверждать, что такой компромисс на руку нерадивым хозяйственникам. Он сказал, что хладнокровие козлотура есть отражение хладнокровия самих председателей ко всему новому.

Как раз в это время из села Ореховый Ключ пришло письмо, в котором безымянный колхозник жаловался, что их председатель нарочно травит козлотура собаками, держит под открытым небом и морит голодом. Колхозники, писал он, со слезами смотрят на мучения нового животного, но сказать не могут, потому что боятся председателя. Заметка была подписана псевдонимом «Обиженный, Но Справедливый».

— Конечно, возможны преувеличения,— сказал Платон Самсонович, показывая мне письмо,— но сигнал есть сигнал. Поезжай в Ореховый Ключ и все посмотри своими глазами.— Платон Самсонович на минуту задумался и добавил:— Я знаю этого председателя, зовут его Илларион Максимович. Хозяин неплохой, но консерватор, кроме своего чая, ничего не видит. В общем,— сказал Платон Самсонович и, вытирая руку, стал щупать воздух растопыренными пальцами, словно пытаюсь нащупать очертания моей будущей статьи,— примерно так должна выглядеть твоя статья: «Чай хорошо, но мясо и шерсть козлотура еще лучше».

— Хорошо,— сказал я.

— Помни,— остановил он меня в дверях,— от этой командировки многое зависит.

— Конечно,— сказал я.

Платон Самсонович задумался.

— Что-то я еще тебе хотел сказать... да, не проспи утреннюю машину.

— Что вы!— воскликнул я и пошел оформлять командировку.

Я взял в отделе писем новый редакционный блокнот, купил два карандаша на случай, если потеряю ручку, и перочинный ножик, чтобы точить карандаши. Мне хотелось уберечь себя от любых случайностей.

\* \* \*

Автобус мощно и мягко скользил по шоссе. Справа от дороги сквозь зелень садов и белые домики прорывалось море, теплое даже на вид. Оно казалось насыщенным и успокоенным обилием летнего тепла и купальщиц.

Слева проплывали зеленые взгорья, покрытые созревающей кукурузой и мандариновыми плантациями. Изредка открывались тунговые плантации с лопоухими деревцами, усеянными гроздьями плодов.

Во время войны солдаты строительного батальона, стоявшие в этих



местах, срывали тунговые плоды, немного похожие на незрелые яблоки, но страшно ядовитые.

Пробовали, несмотря на строжайший запрет. Они, наверное, думали, что это им говорится так, для острастки, да и время было голодное. Обычно их откачивали, но бывали, говорят, и смертельные случаи.

Порой ветерок, словно срезанный автобусом с поворота, так он был неожидан, доносил далекий запах прелого папоротника, прокаленного солнцем навоза, молочный дух зреющей кукурузы, и все это сладко и грустно напоминало детство, деревню, родину...

Почему так сильна над нами власть запахов? Почему никакое воспоминание не может с такой силой расколыхнуть пережитое, как связанный с ним знакомый запах? Может, дело в его неповторимости, ведь запах нельзя вспоминать отдельно от него самого, так сказать повторить воображением. И когда он повторяется естественно, он с первозданной свежестью выхлестывает наружу все, что было связано с ним. А зрительные и слуховые впечатления мы часто повторяем своими воспоминаниями, и, может быть, потому они в конце концов притупляются...

Пассажиры, покачиваясь, сидели на мягких пружинящих сиденьях. Верх автобуса был застеклен каким-то необыкновенно голубым стеклом. Так что и без того голубое небо сквозь это стекло делалось неправдоподобно голубым. Стекло это как бы показывало небу, каким оно должно быть, а пассажирам — каким его надо видеть.

Этот автобус только недавно передали транспортной конторе. До этого он развозил интуристов. Иногда я его встречал у нас в городе перед Ботаническим садом, или Старой крепостью, или еще где-нибудь.

Сейчас он был заполнен колхозницами, возвращающимися домой. Каждая при себе держала туго набитую корзину или кошелку, из которой торчала неизменная связка бубликов. Некоторые колхозницы не без горделивости держали в руках китайские термосы, похожие на спортивный кубок и на снаряд одновременно.

Цепи гор медленно проплывали на горизонте. Самые дальние из них и самые высокие были покрыты первым снегом, который, наверное, выпал сегодня ночью, потому что еще вчера его не было. Сейчас их вершины четко и чисто сверкали в небе.

Более близкая линия гор была темно-синяя от лесов — там еще до снега далеко.

Внезапно с какого-то поворота я увидел на уровне этой более близкой линии гор гряду голых утесов, и что-то в груди у меня толкнулось радостно и испуганно.

Под этими утесами лежало наше село. С детства они мне казались страшно загадочными, и хотя до них было недалеко, правда дорога труднопроходимая, но я так и не поднялся туда ни разу. Сейчас я вдруг пожалел, что в стольких местах бывал, а там не был ни разу.

Каждое лето с самого раннего детства я жил несколько месяцев в доме дедушки. Помню, меня оттуда всегда тянуло назад домой. Даже не столько домой, сколько именно в город.

Как я скучал по нему, как сладко было вспоминать тот особый городской запах пыли, пропитанной запахом бензина и резины. Сейчас мне трудно это понять, но тогда я с нежностью смотрел в сторону заката: там за круглой и мягкой по своим очертаниям горой был наш город, и я подсчитывал дни, оставшиеся до конца каникул...

Потом, когда мы приезжали в город, помню первые шаги по асфальту, необыкновенную, радостную легкость в ногах, которую я приписывал удобствам гладкой городской дороги, а на самом деле, я думаю, этой легкостью я был обязан бесконечным хождениям по горным тропкам, чистому воздуху гор, простой и здоровой еде.

Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город. Наоборот, я все чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома.

Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет — старые умерли, а младые переехали в город или поближе к нему. А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще, я его все оставлял про запас. И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильной располагает своей жизнью, и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе.

Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, с старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы.

Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых орехов, покрытых толстой зеленой кожурой с еще нежной скорлупкой, с еще не загустевшим ядрышком внутри!

Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей, стоящей у очага. На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладах в старых крепостях и о бесстрашных абреках. На этой скамье, бывало, дядя резал табак своим острым топориком, а потом, выхватив из очага горящий уголек, бросал его в горку нарезанного табака и медленно, с удовольствием копнил эту дымящуюся горку, чтобы она как следует просушилась и пропиталась ароматом древесного дыма.

Мне не хватает вечерней переключки женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину.

Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!

К вечеру куры вспоминают, что они все-таки родились птицами. И вот они начинают беспокойно кудахтать и, оглядывая ветки инжирового дерева, неожиданно взлетают, промахиваются, снова взлетают и наконец усаживаются на ветках во главе с гневно клекочущим золотистым петухом.

Тетка выходит из кухни с позвякивающим ведерком в руке, пригнувшись, на ходу хватая какую-нибудь хворостинку, чтобы отгонять теленка, и легкой походкой переходит двор. А навстречу из загона вопрошительно мычат коровы, детским садом заливаются козлята под кукурузным амбаром.

И вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз. Они шумной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопыренными на одну сторону. Самцы поигрывают, встают на дыбы, медленно падают друг на друга и сталкиваются, застревая рогами в рогах. Играют — значит, хорошо выпаслись.

И вот уже выпустили козлят, и начинается дойка, и козлята бегут к матерям, а козы следят за ними с выражением глумливой бдительности, потому что боятся спутать своих детенышей с чужими, и все-таки пугают, а детенышам все равно, тыкаются в первое попавшееся вымя. Я заметил, что козы по-настоящему узнавали своих детенышей только после того, как козленок несколько раз жадно подергает за сосцы. Тут она или

прогоняет его, или успокаивается, словно боль, которую козленок причиняет ей, дергая за сосцы, бывает разная — от своего одна, от чужого совсем другая.

Почему-то с годами этих коз становилось все меньше, и коров становилось все меньше, и уже в доме часто не хватало молока. Того самого молока, о котором дедушка говорил, что раньше летом они его не успевали обрабатывать, и было непонятно, куда все это делось.

Я вспоминаю горницу с домотканым ковром на стене, на котором вышит огромный бровастый олень с женским лицом и печальными глазами.

Позади оленя маленький человечек, ссутулившись, с каким-то жестоким усердием целится в него из ружья. Мне кажется, этот маленький человечек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой маленький, и я чувствую, что этот маленький человечек никогда не простит этой разницы, да ему и невозможно простить этой разницы, как невозможно сделать маленького человечка большим, а оленя маленьким.

И хотя олень на него не смотрит, по его печальным глазам видно, что он знает человека, который, ссутулившись, целится в него. И олень такой огромный, что промахнуться никак невозможно, и он, олень, об этом знает, что промахнуться никак невозможно, а бежать некуда, ведь он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не убежишь.

Я подолгу смотрел на этот домотканый ковер, и любил оленя, и ненавидел этого охотника, особенно мне была противна его ссутуленная в жестокое усердие спина.

Мне не хватает теплых летних простынь, весь день провисевших на веранде и теперь пахнувших чистотой, летним днем, солнцем.

Нас, детей, укладывали раньше, и мы лежали, прислушиваясь к говору взрослых из кухни, к страху внутри себя, таинственно связанному с темнотой комнаты, с задумчиво поскрипывающими стенами, со смутно сереющими на стенах портретами умерших родственников.

Мне не хватает самих стен дедушкиного дома из прочных каштановых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными листами, плакатами, дешевыми картинками.

Среди газетных и журнальных страниц двадцатых и тридцатых годов попадались иногда очень интересные вещи, и так уютно было читать их, лежа на полу или влезая на стул, на кушетку. А иногда я не удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и посмотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома.

И чего только там не было!

Огромная олеография — Наполеон оставляет горящую Москву. Всадники в треуголках, кремлевская стена и вдали громадное зарево пожара.

Несколько дореволюционных картин с религиозным сюжетом, с богом, рассевшимся на тучах, в сандалиях, перетянутых ремешком и чем-то похожих на наши горские чувяки из сыромятной кожи.

Архангел Гавриил, джигитуюя на коне, копьём пронзает отвратительного дракона, и рядом наши советские плакаты с антирелигиозным и кооперативным сюжетами двадцатых и тридцатых годов. Один из них помню хорошо. Мужичок, горестно всплеснувший руками, перед неожиданно, словно от библейского проклятья, разверзшимся мостом, в который провалилась его лошаденка вместе с телегой. Под этой поучительной кар-

тинкой была не менее поучительная подпись: «Поздно, братец, горевать, надо было страховать!»

Я не очень верю этому мужичку. Уж как-то слишком по-бабьи выражает он свое горе. Не успела лошадь провалиться, как он уже всплеснул руками и больше ничего не делает.

То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крестьянин навряд ли так легко расстанется со своей лошадейю, он до конца будет пытаться спасти ее, удержать если не за вожжи, то хотя бы за хвост.

Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бородку проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из щетины его лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло показаться, но, видно, могло показаться, потому что я чувствовал в нем какую-то фальшь.

Подпись под этой картинкой тоже вызвала недоумение. Я так до конца и не понял, что именно надо было страховать — лошадь или мост. Мне казалось, что все-таки лошадь. Но тогда получалось, что мост так и должен остаться проваливающимся, потому что, если он перестанет проваливаться, тогда и лошадь незачем будет страховать.

Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства — бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное — это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, пронесившейся сквозь нас и вскормившей нас. Мир руками наших матерей делал нам добро, и только добро, и разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично. А как же иначе?

Я думаю, что настоящие люди — это те, кто с годами не утрачивает детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости.

Дом дедушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памяти там, кроме нас, близких, перебивали сотни разных людей, начиная от случайных пастухов, застигнутых непогодой во время перегона скота на летние пастбища, и кончая всякого рода уполномоченными и райкомовскими работниками.

В хозяйстве дяди было несколько коров и с полсотни коз. Помню, почти все коровы и большинство коз были записаны на кого-нибудь из родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье скота в личной собственности крестьян, и в те годы в наших краях расцветал таинственный пустоцвет фиктивных дарений, продаж, покупок.

Только свиней, насколько я помню, разрешали держать в любом количестве. Может быть, учитывали, что слегка омусульманенные абхазцы свинину не едят и это послужит естественной преградой к излишнему накопительству.

Каких только не делали ухищрений, чтобы сохранить скот, но, видно, сделать это было не просто или все эти труды себя не оправдывали, потому что с годами скотины становилось все меньше и меньше.

Я вспомнил, что во время войны мне с полгода пришлось пасти дюдиных коз.

Странно, подумал я, с тех пор прошло столько лет, я окончил школу, потом институт, потом работа, и вот теперь мне предстоит встретиться с козами, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и превратились в козлотуров.

И вдруг я отчетливо вспомнил то время, когда я дольше всего жил в доме бабушки, когда я еще был совсем мальчиком, а козы были еще козами, а не козлотурами, я вспомнил те далекие дни, а точнее — один день или, скорее, один вечер с его приключениями, которые мне тогда пришлось пережить.

\* \* \*

Одним словом, шел сорок второй год. Я жил в горах в доме бабушки. Боязнь бомбежки, а главное, военная голодуха забросили меня в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии.

Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных целей, но туда их, наверное, не подпустили.

После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы из приморских кофеен благоразумно приостановили свои бесконечные политбеседы и удалились в окрестные деревни есть абхазскую мамалыгу, авторитет которой быстро подымался.

В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми и нам было куда ехать, поэтому мы уехали.

Наши деревенские родственники, посоветовавшись, распределили нас между собой, по-своему учитывая возможности каждого из нас.

Старший брат, как человек, уже отравленный городом, захотел остаться в ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда взяли в армию.

Сестру отправили в семью дальнего, но богатого и поэтому казавшегося близким родственника. Меня, как самого младшего и бесполезного, отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посредине — в доме своей старшей сестры.

К этому времени в доме бабушки оставалось два десятка коз и три овцы. Не успел я разобраться что к чему, как оказался приставленным к ним.

Постепенно я научился подчинять своей воле это небольшое, но строптивое стадо. Нас связывали два древних магических восклицания: «Хейт! Ийо!» Они имели множество оттенков и смыслов в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали, но иногда, когда им это было выгодно, делали вид, что спутали оттенки.

Оттенков и в самом деле было много. Например, если произносить вразяжку вольно и широко: «Хейт! Хейт!» — это означало: паситесь спокойно, вам ничего не угрожает.

Эти же звуки можно было произносить с некоторым педагогическим укором, и тогда они означали: «Вижу, вижу, куда вы сворачиваете» — или что-нибудь в этом роде. А если произносить резко и быстро: «Ийо! Ийо!» — надо было понимать: «Опасность! Назад!»

Козы обычно, услышав мой голос, подымали головы, как бы стараясь уяснить себе, что именно от них на этот раз требуется.

Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. Меня иногда раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую крошку, а они привередничали. Это было несправедливо. Обрывая листики с кустов, старались дотянуться до самых свежих и далеких, для чего приподымались на задних ногах, и в это время в них было что-то бесстыжее, может быть, потому, что они становились похожими на людей. Гораздо позже, когда я увидел на репродукциях козлоногих людей, кажется Эль-Греко, я подумал, что человеческое бесстыдство художник пытался передать через уродство козлоногих людей.

Пастись они любили на крутых, обрывистых склонах поблизости от горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, впрочем, и у людей. Недаром в пути останавливаются перекусить возле

ручья или речки. Мне кажется, кроме прямой необходимости ее, шум воды делает еду сочнее. приятнее.

Овцы обычно шли позади коз, они паслись, низко наклонив голову, как бы вынюхивая траву. Выбирали открытые, по возможности ровные места. Зато, если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невозможно было остановить. Курдюки на ходу шлепали по задям, каждый шлепок еще больше пугал их и подталкивал вперед, и они летели сломя голову, подгоняемые многоступенчатым возбуждением. Набегавшись до одури, они забивались в кусты и отдыхали, по-собачьи разинув рты и жарко дыша боками.

Козы для отдыха выбирали самые каменистые и возвышенные места. Укладывались, где почище. Самый старый козел обычно на самой вершине. У него были устрашающие рога, клочья свалывшейся и желтой от старости шерсти свисали по бокам. Чувствовалось, что он понимает свою роль: двигался медленно, важно покачивая длинной бородой звездочета. Если молодой козел по забывчивости занимал его место, он спокойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом он даже не смотрел на него.

Однажды из стада исчезла коза. Я сбился с ног, бегая по кустам, разрывая одежду о колючки, крича до хрипоты. Так и не нашел. Возвращаясь, случайно поднял голову и вижу — она стоит на дереве, на толстой ветке дикой хурмы. Взобралась по кривому стволу. Наши взгляды встретились, она нагло смотрела на меня желтыми неузнающими глазами и явно не собиралась слезать. Я огрел ее камнем, она ловко прыгнула и побежала к своим.

Думаю, что козы — самые хитрые из всех четвероногих. Бывало, только зазеваешься, а их уже и след простыл, как будто растворились среди белых камней, ореховых зарослей, в папоротниках.

Как жарко, как тревожно было искать их, бегая по узким растрескавшимся тропкам, через которые вспыхивали зеленые молнии ящериц. Случалось, что мелькнет у ног и змейка, взлетишь, как подброшенный, чувствуя подошвой ноги, которой чуть было не наступил на нее, упругий холод змеиного тела, и еще долго бежишь, ощущая ногами не оборимую, почти радостную легкость страха.

А как странно было остановиться, прислушиваясь к шороху кустов: не там ли? Прислушиваясь к шелесту кузнечиков, к далекому в могучей синеве пенью жаворонков, случайному голосу человека на невидной отсюда проселочной дороге, прислушиваясь к медленным тугим ударам сердца, втягивая телесный запах разомлевшей на солнце зелени — сладкое томление летней тишины.

В хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску «кукурузников», летящих за перевал. Там шли бои.

Однажды из-за хребта с каким-то паническим грохотом вылетел «кукурузник» и почти камнем стал падать вниз, в провал Кодорской долины, и потом, уже опустившись совсем низко, так и летел до самого моря. Я всей шкурой почувствовал, с каким человеческим ужасом он перевалил через хребет, спасая себя, видимо, от немецкого истребителя. Тень его, не по-земному быстрая, пробежала по лугу совсем близко от меня, чиркнула табачную плантацию, а через мгновение летела далеко внизу рядом с дельтой Кодора.

Иногда высоко-высоко пролетал немецкий самолет. Мы его узнавали по замирающему вою, чем-то напоминающему писк малярийного комара. Обычно, когда он приближался к городу, начинали палить зенитки и видно было, как вокруг него вспыхивали одуванчики взрывов, а

он шел и шел сквозь них, как замороженный. Так за всю войну и не увидел, чтобы подбили самолет.

Как-то один наш родственник приехал из города, куда гонял продавать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку и ждет не дожидаясь, когда к нему приедет мама. Весть всех всполошила, надо было как можно быстрее увидеться с мамой. Оказалось, что, кроме меня, послать было некого, и я стал собираться в дорогу.

Меня накормили сыром и мамалыгой, дед дал мне одну из своих палок, и я пустился в путь, хоть день шел на убыль и солнце стояло над горизонтом на высоте дерева. Дорогу я помнил довольно плохо, вернее расположение дома, где жила мама, но объяснения не стал слушать, чтобы не передумали меня посылать.

Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой свозили бревна, и дальше по ней до самого села.

Как только я вошел в лес, сразу стало прохладно, как будто вошел в воду, и летний день остался позади.

Я вдыхал чистую, сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил в лес, тем упорней и бодрей постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корнями земле.

Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных подножий кряжистых каштанов, заваленных каленой прошлогодней листвой. Хотелось полежать на этой листве, положив голову на мощные, покрытые мхом корни. Иногда в просветах деревьев открывалась дымчато-зеленая долина с морем, стоящим между землей и небом, как мираж. Вечерело.

Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и обрадованные нашей встречей. Я их знал, они были из нашего села, но теперь казались странными, чем-то не похожими на себя. Разговаривали, опустив головы, тихими, почти виноватыми голосами. В них появилось что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу.

Постепенно мне передалось их смущение, я не знал, что говорить, и охотно распрощался с ними. Они тоже попрощались и тихо, даже как-то вкрадчиво пошли дальше.

Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток. Я обрадовался, что смогу идти по ровному месту, и стал быстро опускаться, едва-едва притормаживая палкой, чтобы не сорваться в заросли сумрачного рододендрона.

Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряжения, я весь вспотел, но возбуждение усилилось от запаха бензина и теплой усталой за день пыли. Знакомый с детства, волнующий городской запах. Видно, я здорово соскучился по городу, по дому, и хотя отсюда до нашего дома было еще дальше, чем от горной деревушки, проселочная дорога казалась дорогой к нему.

Я шел, стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомобильных шин, и радовался, заметив особенно отчетливый рубчатый узор. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса.

Ночью в горах мы часто смотрели на луну. Мне говорили, что на ней виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом. Видно, надо было с раннего детства видеть этого пастуха.

Глядя на холодный диск луны, я видел очертания скалистых гор, и мне делалось грустно, может быть, оттого, что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы.

Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой!

Я ускорил шаги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая поросль, иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную плантацию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными дворишками, с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей.

Я жадно прислушивался к смутным, а иногда вдруг отчетливым голосам, доносившимся оттуда.

— Выгони собаку, — услышал я чей-то мужской голос.

Дверь кухни распахнулась, и сразу же в мою сторону залаяла собака. Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, вглядываясь в темноту.

Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов.

Наконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом посередине, со скамейками вокруг ствола.

Днем здесь обычно бывало шумно, народ толпился у правления колхоза, магазина, амбаров. Сейчас все выглядело нежилым, заброшенным и в свете луны страшноватым.

Я помнил, что недалеко от сельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели.

Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли дикого орешника, не решаясь свернуть на нее. Та ли? Вроде орешника тогда не было. А может быть, был? Минутами мне казалось, что я вспоминаю тропу по множеству мелких признаков: по извику ее, по канавке, отделяющей ее от улицы, по кустам орешника. А потом вдруг казалось, что и канавка не та, и орешник не тот, и тропа совсем незнакомая и враждебная.

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушая верещанье цикад, глядя на замороженно-неподвижные кусты, на луну — уже высокую, бледную, почти слепящую, как зеркало.

Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее и побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спешила обнюхать меня: боялась, не успеет. Собака отскочила, покружилась, повизгивая от желания угодить хозяину, потом замерла у кустов, внюхиваясь в какой-то след.

Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадь, подошел ко мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня.

— Чей ты, что здесь делаешь? — спросил он сердито оттого, что не узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Мексута, мужа маминой сестры.

— Зачем он тебе? — спросил он, теперь восторженно удивляясь. Я понял, что крестьянское любопытство непобедимо, и выложил все.

Пока я рассказывал ему что и как, косясь на собаку и стараясь не упускать ее из виду, он качал головой, прицокивал языком и поглядывал на меня, как бы жалея, что мне приходится заниматься такими недетскими делами.



— А Мексут живет совсем рядом,— сказал он, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти.

Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Мексут, близко живет и до чего просто к нему пройти. В конце концов единственное, что я понял: надо идти по тропе. Благодарный за встречу и за то, что Мексут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело выметнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлепая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала: так проверяют документ, когда уверены, что он в порядке.

— Совсем близко, отсюда докричать можно,— сказал он уже на ходу, как будто думая вслух и радуясь, что мне так здорово повезло.

Собака рванулась вперед, шаги человека стихли, и я остался один.

Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, и я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаренное белой луной.

Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него, но тогда это было днем и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, когда сбивал с него яблоки. Но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним.

Кладбище напоминало карликовый городок, с железными оградами, зелеными холмиками могил, игрушечными дворцами, скамеечками, деревянными и железными крышами. Казалось, люди, после смерти сильно уменьшившись и поэтому став злее и опаснее, продолжают здесь жить тихой, недоброй жизнью.

Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такой обычай приносить на могилу еду и питье, но все равно сделалось еще страшнее.

Пели сверчки, свет луны белил и без того белые надгробья, и от этого черные тени казались еще черней и лежали на земле, как тяжелые, неподвижные глыбы.

Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо и страшно стучала о землю. Я ее взял под мышку, стало совсем тихо и еще страшней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде рядом с еще не огороженной свежей могилкой.

Я почувствовал, как по спине подымается к затылку тонкая струйка ледяного холода, как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на затылке кожу, приподняла волосы. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я тогда еще не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, видимо, чтобы облегчить ему воскресение. Гроб накрывают досками наподобие крыши.

Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, пританцлся за крышечкой и ждет, чтобы я отвернулся или побежал.

Поэтому я шел, не шевелясь и не убыстряя шагов, чувствуя, что главное — не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава,

я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду крышку. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму.

Я успел увидеть полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что он или, вернее, оно где-то рядом, и теперь я полностью в его власти. В голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинственных встречах в лесу, о случаях на кладбищах.

Оно медлило и медлило, страх сделался невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет.

Сначала я никого не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось.

Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свежескопанной, нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в углу. Но ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувствовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хотелось ее вытянуть.

Я долго вглядывался в него. Расплывающееся белое пятно принимало знакомые очертания, в какое-то мгновение я понял, что призрак превратился в козла, и разглядел в темноте бородку и рога. Я давно знал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это было ясно. Я только не знал, что он при этом может пахнуть козлом.

Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно насторожилось, вернее, перестало жевать жвачку и только продолжало странно покачиваться.

Я замер, и оно снова зажевало губами. Я поднял голову и увидел край ямы, озаренный лунным светом, прозрачную полосу неба со светлой звездочкой посередине. Наверху прошелестело дерево, было странно снизу чувствовать, что там потянул ветерок. Я посмотрел на звездочку, и мне показалось, что и она покачнулась от ветра. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовал, что становится прохладно.

Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы, и, так как оно продолжало жевать, бесплотно глядя сквозь меня, я решил попробовать выбраться.

Я осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что, даже подпрыгнув, не смог бы достать руками до края. Палка моя осталась наверху, да и она вряд ли могла помочь.

Яма была довольно узкая, и я попробовал, упираясь руками и ногами в противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, соскользнула со стенки, и я шлепнулся снова.

Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарахнулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забилось в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами, тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло по-козлиному, упрямо мотнув головой.

Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол, просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества, бывало, козы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться.

Я сел с ним рядом на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплому животу. Я попытался уложить его, но он продолжал упрямо стоять. Зато он начал лизать мою руку. Сначала осторожно, потом все смелее и смелее, и язык его, гибкий и крепкий, шершаво

почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и щекочущего прикосновения было приятно, и я не отнимал руки. Козел мой совсем вошел во вкус и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи, но я закатал рукав и дал ему попасться на свежем месте.

Он долго лизал мою руку, а я чувствовал, что, даже если бы показалось над ямой голубое в свете луны лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу и мне было бы почти не страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом.

Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам улегся рядом со мной и снова принялся за жвачку.

Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачней, а звездочка передвинулась на край полоски неба. Стало еще прохладней.

Вдруг я услышал приближающийся топот коня, сердце бешено забилось.

Топот делался все отчетливей и отчетливей, иногда раздавалось мегаллическое пощелкивание подков о камни. Я испугался, что всадник свернет в сторону, но топот приближался, твердый и сильный, и я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал:

— Эй! Эй! Я здесь!

Лошадь остановилась, в тишине я различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих удила. Потом раздался нерешительный мужской голос:

— Кто там?

Я рванулся навстречу голосу и закричал:

— Это я! Мальчик!

Некоторое время человек молчал, потом я услышал:

— Что за мальчик?

Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он боялся ловушки.

— Я мальчик, я из города, — сказал я, стараясь говорить не покойническим, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным.

— Зачем туда залез? — жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки.

— Я упал, я шел к дяде Мексуту, — быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и проедет.

— К Мексуту? Так и сказал бы.

Я услышал, как он слез с коня и закинул уздечку за могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не доходя до ямы.

— Держи! — услышал я, и веревка, прошуршав в воздухе, соскользнула в яму. Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу. Недолго думая, я обернул веревку вокруг его шеи, быстро затянул два узла и крикнул:

— Тяните!

Веревка натянулась, козел замотал головой и встал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил поднимать вверх — веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал, как мне показалось, козлиным голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдал копытом мне ногу. Я заплакал от боли, огорчения и усталости. Видно, слезы были где-то близко, на уровне глаз. Они полились так обильно, что я в конце концов испугался их и перестал плакать. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнил о его лошади и решил, что так или иначе он за нею придет.

Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать.

— Это был козел,— сказал я громко и спокойно.

Молчание.

— Дядя, это был козел,— повторил я, стараясь не менять голоса. Я почувствовал, что он остановился и слушает.

— Чей козел? — спросил он подозрительно.

— Не знаю, он сюда упал раньше меня,— ответил я, понимая, что слова мои не убеждают.

— Что-то ты ничего не знаешь,— сказал он, а потом спросил:— А Мексуту кем ты приходишься?

Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство (в Абхазии все родственники). Я почувствовал, что он начинает мне верить, и старался не упускать это потепление. Снизу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Мексуту. Я чувствовал, как трудно оправдываться, очутившись в могильной яме.

В конце концов он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое и странное в лунном свете. Было видно, что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать.

Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее и потянул вверх. Я старался ему снизу помогать. Козел глупо упирался, но он, слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным отвращением вытянул из ямы. Все-таки вся эта история ему не нравилась.

— Богом проклятая тварь,— сказал он, и я услышал, как он пнул ногой козла. Козел екнул и, наверное, рванулся, потому что человек схватил веревку и дернул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня рядом с собой. Это был большой и грузный мужчина. Кисть руки, которую он держал, побаливала.

Он молча посмотрел на меня и, вдруг неожиданно улыбнувшись, потрепал по голове:

— Здорово ты меня напугал со своим козлом. Думал, человека тащущу, а тут рогатый вылезает...

Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и неподвижно стоявшей у ограды. Козел на веревке шел за ним.

От лошади вкусно пахло потом, кожей седла, кукурузой. Наверно, он оставил на мельнице кукурузу, подумал я и вспомнил, что веревка тоже пахла кукурузой. Он подсадил меня, вернее почти вбросил в седло. Я подумал про свою палку, но не решился возвращаться за нею. К тому же лошадь, когда я садился, мотнула головой, чтобы укусить меня за ногу. Я успел ее подобрать.

Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уздечку и, не выпуская из руки веревку с козлом, грузно уселся на седло. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Тело его придавило меня к луке седла. Мы тронулись.

Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячиваясь от сдерживаемой силы и от раздражения, что сзади тащится козел.

Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле я задремал.

Неожиданно конь стал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Мексута.

— Эгей, хозяин!— крикнул мой спутник и стал закуривать. Веревку с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее.

Дверь в доме отворилась, и мы услышали:

— Кто там?

Голос был мужественный и резкий: так у нас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече.

Дядя Мексут — это был он, я сразу узнал его широкоплечую, низкорослую фигуру — спустился по лестнице и, отгоняя собак, шел в нашу сторону, внимательно вглядываясь в темноту.

Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня.

— Еще не то узнаешь,— сказал мой спаситель, ссаживая меня и стараясь передать через изгородь прямо в руки дяде Мексуту. Но я не дался ему в руки, а уцепился за кол изгороди и слез сам. Спутник мой стал откручивать веревку с козлом.

— А козел откуда? — еще больше удивляясь, спросил дядя Мексут.

— Чудеса, чудеса! — весело и загадочно сказал всадник и посмотрел в мою сторону, как равный на равного.

— Зайди в дом, спешься! — сказал дядя Мексут, схватив коня за уздечку.

— Спасибо, Мексут, никак не могу,— ответил всадник и заспешил, хотя до этого почему-то не торопился. По абхазскому обычаю дядя Мексут долго уговаривал разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, то упрасывая, то издеваясь над его якобы важными делами, из-за которых он не может остаться. Все это время он поглядывал то на козла, то на меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая-то связь, и никак не улавливая ее.

Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Мексут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак.

В комнате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столом, уставленным закусками и фруктами, сидели гости. Я сразу увидел маму и заметил, несмотря на багровые отсветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакали с мест, заохали, запричитали.

Одна из моих городских теток, узнав о цели моего приезда, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Мексут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Дядя Мексут был большой хлебосол, в доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собрали виноград, и сезон длинных тостов только начинался.

Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости.

Мне подали горячей мамалыги, курятины и даже налили стакан вина. Мама покачала головой, но дядя Мексут сказал, что мачарка еще не вино, а я уже не ребенок.

Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как первое вино мачарка. Я уснул за столом.

Дней через десять из Баку вернулась мама. Оказывается, брат не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт. И, конечно, добился своего. Он у нас всегда был с фокусами.

\* \* \*

Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый Ключ.

Автобус запыхал дальше, а я пошел в сторону правления колхоза, с удовольствием разминая ноги после долгого неподвижного сидения. Становилось жарко.

Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый запас репортерской пронизательности. Рядом с правлением под могучим старом орехового дерева в традиционной позе патриархов сидели два старика абхазца. Один из них держал в руке палку, другой — посох. Я заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб рогатульки на посохе одного старика соответствовал крючковатому носу самого старика, тогда как другой старик был с прямым носом и держал палку без всяких отвлечений. Проходя мимо них, я поздоровался, вернее почтительно кивнул им, на что они ответили вежливым движением, как бы приподымаясь навстречу.

— Сдается мне, что это новый доктор, — сказал один из них, когда я прошел.

— А по-моему, армянин, — сказал другой.

Правление колхоза находилось в деревянном двухэтажном здании. Внизу магазин и склады с большими висячими замками на дверях. Наверху служебные помещения. Из открытых дверей магазина доносился женский смех.

У самого крыльца стоял потрепанный «газик», и я понял, что председатель на месте.

К стене правления было приклеено объявление, написанное подтекающими буквами:

«Козлотур — это наша гордость».

Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный член общества по распространению научных и политических знаний, председатель общества по охране памятников древности Вахтанг Бочуа. После лекции кино «Железная маска».

Так, значит, Вахтанг здесь или должен приехать! Я обрадовался, предвкушая встречу с нашим прославленным балагуром и чангалистом. Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал, что он уже стал кандидатом археологических наук, да еще читающим лекции про козлотуров.

Кстати, слово чангалист, кажется, употребляется только у нас в Абхазии и означает — любитель выпить на чужой счет. Производное от него — зачангалить, то есть подцепить кого-нибудь, взять на абордаж и не обязательно с тем, чтобы выпить, но и в более широком смысле.

Впрочем, Вахтанга, как правило, любили угощать, потому что в любую компанию он вносил шумливое, безудержное веселье. Сама внешность его полна комических противоречий. Кавказец, светлый, как самый светлый швед, тучная и мрачная голова Нерона — и добродушный, незлобивый характер, пронырливость и пробивная сила снабженца — и профессия историка и хранителя памятников древности.

После окончания историко-архивного института Вахтанг несколько лет работал экскурсоводом, а потом написал книжку «Цветущие развалины». Она стала любимой книгой туристов. «И интуристов», — неизменно добавлял Вахтанг, когда разговор о ней заходил при нем. А разговор заходил почти всегда, потому что он сам же его и заводил.

Мы, земляки, в студенческие времена часто собирались вместе, и ни одна дружеская пирушка не обходилась без Вахтанга. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, он обладал необычайным чутьем, и если кто получал посылку, его не надо было звать. Он являлся в об-

щежитие еще до того, как хозяин посылки успевал обрезать или обрезать шпагат, которым был перевязан ящик.

— Приостановить процедуру, — говорил он, открывая дверь и обрушивая на голову обладателя посылки водопад великолепного пустозвонства.

В нем и тогда чувствовался плут, но плут веселый, дерзкий, артистичный и, главное, безвредный для друзей, разве что впадал в меланхолию, когда приходило время расплачиваться с официанткой.

\* \* \*

Вспоминая Вахтанга, я поднялся по деревянной лесенке на второй этаж и вошел в правление колхоза.

Это была длинная прохладная комната, перегороженная справа и слева деревянными перилами. Слева от меня, сидя за столом, дремал толстый небритый человек. Почувствовав, что кто-то вошел, он приоткрыл один глаз и некоторое время осознавал мое появление, и очевидно, осознав, прикрыл его. Так дремлющий кот, услышав звон посуды, приоткрывает глаз, но, поняв, что этот звон не имеет отношения к началу трапезы, продолжает дремать.

Справа несколько счетных работников усердно щелкали костяшками счетов, и иногда, когда костяшка стучала слишком сильно, дремлющий человек приоткрывал все тот же глаз и снова благодушно закрывал его. Один из счетных работников встал, подошел к несгораемому шкафу и вынул оттуда какую-то папку, и вдруг я понял, что это девушка, одетая в мужской костюм. Меня поразило выражение ее лица, печального, как высохший колодец.

В конце комнаты над большим столом возвышалась председательская фигура самого председателя. Он говорил по телефону. Он оглядел меня с холодноватым любопытством и отвел глаза, прислушиваясь к трубке.

— Здравствуйте, — сказал я по-русски, не обращаясь ни к кому определенно.

— Здравствуйте, — ответила девушка тихо и приподняла свое печальное лицо.

Я не знал, с чего начать, потому что председателя прерывать было неудобно, но и стоять так без дела тоже было неудобно.

— Лектор еще не приехал? — зачем-то спросил я у девушки, словно явился на лекцию.

— Товарищ Бочуа уже приехал, — сказала она тихим голосом, вскинув на меня свои большие глаза, — он поехал рассматривать старую крепость.

— Дорогой, за кукурузу не бойся, как львы стоят! — загремел председатель по-абхазски. — Как львы, говорю, только напоминаю насчет удобрения... Давали, но не хватает... Если комиссия-чамиссия, есть что показать, ведите прямо к нам... Чтоб я кости отца откопал, если не выполним план, но, дорогой Андрей Шалвович, больше у нас земли нет. Какие залежные земли — бурку расстелить негде. Здесь агроном сидит, он скажет, если проснется, — добавил председатель игриво и посмотрел на дремлющего человека.

Не успел он договорить, как тот что-то сердито заклокотал в ответ, и, по-моему, заклокотал раньше, чем открыл глаза. Из того, что он сказал, я понял, что он не собирается ради каких-то сумасшедших выкорчевывать чайные плантации. Он замолчал так же неожиданно, как и начал, и закрыл глаза раньше, чем кончил говорить.

Пока он говорил, председатель плотно прикрывал трубку. Заметив,

что я смотрю на него, он нахмурился и бросил по-абхазски в сторону девушки:

— Узнай у этого лоботряса, откуда он и что ему надо.

Он снова слился с трубкой и вдруг заурчал тоном гостеприимного хозяина:

— Совсем к нам дорогу забыли, Андрей Шалвович. Нехорошо получается, Андрей Шалвович. Не я прошу, народ просит, Андрей Шалвович.

Я несколько опешил, услышав про лоботряса. Очевидно, он решил, что я не абхазец, и мне ничего не оставалось, как согласиться с этим.

Председатель продолжал говорить. Теперь он заходил по второму кругу.

...— Тонн сто суперфосфат-муперфосфат прошу, как родного брата, Андрей Шалвович.

Я смотрел, как работает девушка. Она что-то подсчитывала, изредка перекидывая костяшки на счетах, словно задумчиво перебирала большие деревянные бусы.

Наконец председатель положил трубку, и я подошел к нему.

— Здравствуйте, товарищ, вы из леспромхоза,— сказал он уверенно и протянул мне руку.

— Я из газеты,— ответил я.

— Добро пожаловать,— оживился он и, кажется, пожал мне руку сильнее, чем собирался.

— Вот командировка,— сказал я и полез в карман.

— Даже не хочу смотреть,— ответил он, делая рукой отстраняющий жест.— Человека видно,— добавил он с наглой серьезностью, глядя мне в глаза.

— Я насчет козлотура,— сказал я, внезапно почувствовав, что здесь слова мои прозвучат смешно. Так и получилось. Кто-то из счетоводов хихикнул.

— Чтоб я похоронил твой смех,— проорчал председатель по-абхазски и добавил по-русски:— С козлотуром мы провели большую работу.

— А что именно? — спросил я.

— Во-первых, широкая пропаганда среди населения,— председатель загнул мизинец на левой руке и вдобавок пристукнул его правой ладонью.— Сегодня у нас читает лекцию уважаемый товарищ Вахтанг Бочуа. Зоотехника командировали к селекционеру,— он загнул безымянный палец и опять прилепнул его ладонью...— А что, жалобы есть?— неожиданно прервал он себя и посмотрел на меня черными настороженными глазами.

— Нет,— сказал я, выдержав его взгляд.

— А то у нас есть один, бывший председатель примкнувшего колхоза.

— Нет-нет,— сказал я,— дело не в жалобе.

— Но он свою фамилию не пишет,— добавил он, словно раскрывая всю глубину его коварства,— другими словами подписывает, но мы знаем эти слова.

— Можно посмотреть на козлотура? — перебил я его, давая знать, что жалобщик меня не интересует.

— Конечно,— сказал он,— пройдемте.

Председатель вышел из-за стола. Чувствовалось, как его большое, сильное тело свободно двигается под просторной одеждой.

Спящий агроном молча поднялся из-за стола и вышел вместе с нами на веранду.

— Сколько раз я этому болвану говорил, чтоб почистил загон,—



сказал председатель про кого-то по-абхазски, когда мы спускались по лестнице.

— Валико! — крикнул председатель, обернувшись к дверям магазина. — Выйди на минуту, если тебя еще там не женили.

Из магазина раздался смех девушки и дерзкий голос парня:

— А что там случилось?

— Не случилось, а случится, если я запру этот магазин и позову сюда твою тещу.

Снова раздался женский смех, и на пороге появился парень среднего роста с огромными девственно-голубыми глазами на смуглом лице.

— Поезжай к тете Нуце и привези огурцы для козлотура, — сказал председатель, — товарищ приехал из города, можем озорнуться.

— Не поеду, — сказал парень, — люди смеются.

— Плюнь на людей — это государственное дело, — сказал председатель строго, — подъезжай прямо туда, мы будем там.

Я теперь понял, что это его шофер. Валико сел на «газик» и, сердито развернувшись, выехал на улицу.

Было жарко. В тени грецкого ореха все еще сидели два старика, и тот, что был с посохом, что-то рассказывал другому, время от времени постукивая своим посохом по земле, так что он уже продолбил порядочную лунку. Было похоже, что он собирается поставить здесь небольшую изгородь, чтоб отгородить свое место в тени орешни от летнего солнца и колхозной суеты.

Председатель поздоровался с ними, когда мы с ними поравнялись, и старики в знак приветствия сделали вид, что приподымаются.

— Сынок, — спросил тот, что был с посохом, — этот, что с тобой, новый доктор?

— Это козлотурский доктор, — сказал председатель.

— А я посмотрел и думаю: армянин, — вставил тот, что был с палкой.

— Чудеса, — сказал тот, что был с посохом, — я этих козлотуров в горах сотнями убивал, а теперь за одним доктора прислали.

— Большой чудак этот старик, — сказал председатель, когда мы вышли на улицу.

— Почему? — спросил я.

— Приезжал как-то секретарь райкома, остановился тут, а старик вот так сидел в тени, как сейчас. Пошел разговор, как раньше жили, как теперь. Старик ему говорит: «Раньше землю пахали деревянной сохой, а теперь железным плугом». — «Что это означает?» — спросил секретарь. «От сохи земля падает в обе стороны одинаково, а железный плуг выворачивает в одну», — сказал старик. «А как это понимать?» — спросил секретарь. «Раз от сохи земля падает в обе стороны одинаково, значит половину урожая крестьянин берет себе, половину отдает хозяину. А железный плуг выворачивает землю в одну сторону — значит, и урожай себе». — «Правильно», — сказал секретарь райкома и уехал.

Мне захотелось в двух словах записать эту притказку, чтобы потом не забыть. Я вынул блокнот, но председатель не дал мне записать ее.

— Это не надо, — сказал он решительно.

— Почему? — удивился я.

— Не стоит, — сказал он, — это фантазия, я вам скажу, что надо записывать.

«Ничего, я и так запомню», — подумал я и спрятал блокнот.

Мы шли по горячей пыльной улице. Пыль так раскалилась, что даже сквозь подошвы туфель пекло.

По обе стороны деревенской улицы время от времени мелькали крестьянские дома с приусадебной кукурузой, с зелеными ковриками дво-

ров, с лозами изабеллы, вьющейся по веткам фруктовых деревьев. Сквозь курчавую виноградную листву проглядывали плотные, недозревшие виноградные кисти.

— Много вина будет в этом году,— сказал я.

— Да, виноград хороший,— сказал председатель задумчиво,— а на кукурузу обратили внимание?

Я посмотрел на кукурузу, но ничего особенного не заметил.

— А что? — спросил я.

— Как следует посмотрите,— сказал председатель, загадочно усмехнувшись.

Я присмотрелся и заметил, что с одной стороны приусадебного участка у каждого дома кукуруза была более рослая, с более мясистыми листьями, с цветными косичками завязи, с другой стороны зелень более бледная, кукуруза ниже ростом.

— Что, не одновременно сеяли? — спросил я у председателя, продолжавшего загадочно улыбаться.

— В один день, в один час сеяли,— сказал председатель, еще более загадочно улыбаясь.

— А в чем дело? — спросил я.

— В этом году отрезали приусадебные участки. Конечно, это нужное мероприятие, но не для нашего колхоза. У меня чай — я не могу на приусадебных клочках плантации разводить...

Я еще раз пригляделся к кукурузе. В самом деле, разница в силе и упитанности кукурузных стеблей была такая, какая изображается в наглядных пособиях, когда хотят показать рост урожайности в будущем.

— Крестьянское дело — очень хитрое дело, между прочим,— сказал председатель, продолжая загадочно улыбаться. Кажется, он своей улыбкой намекал на то, что эту хитрость из городских еще никто не понял, да и навряд ли когда-нибудь поймет.

— В чем же хитрость? — спросил я.

— В чем хитрость? А ну скажи ты,— председатель неожиданно обернулся к агроному.

— Хитрость в том, что, если крестьянин увидит коровину лепешку на этой улице, он ее перебросит на свой участок,— засопел агроном.— И так во всем.

— Психология,— произнес важно председатель.

Мне захотелось записать этот пример с коровьей лепешкой, но председатель опять схватил меня за руку и заставил вложить блокнот в карман.

— В чем дело? — спросил я.

— Это так, разговор туда-сюда, об этом писать нельзя,— добавил он с убежденностью человека, который лучше меня знает, о чем можно писать, о чем нельзя.

— А разве это неправда? — удивился я.

— А разве всякую правду можно писать? — удивился он.

Тут мы оба удивились нашему удивлению и рассмеялись. Агроном сердито хмыкнул.

— Если я ему скажу,— председатель кивнул на приусадебный участок, мимо которого мы теперь проходили,— половина урожая тебе — совсем по-другому обработает землю и хороший урожай возьмет.

Я уже знал, что такие вещи делаются во многих колхозах, только не слишком гласно.

— А почему бы вам не сказать? — спросил я.

— Это проходит как нарушение устава,— строго заметил он и неопределенно добавил:— Иногда кое в чем позволяем сверх плана.

Густой аромат распаренного солнцем чайного листа ударил в ноздри раньше, чем открылась плантация. Темно-зеленые ряды кустов уходили справа от дороги и разливались до самой опушки леса. Они мягко огибали опушку леса, иногда, как бы образуя залив, входили в нее. Посреди плантации стоял огромный дуб, наверное, в жару под ним отдыхали сборщицы.

Так тихо, что кажется — на плантации пусто. Но вот у самой дороги мелькнула широкополая шляпа сборщицы, а там белый платок, а там еще кто-то в красном.

— Как дела, Гогола? — окликнул агроном широкополюю шляпу. Она обернулась в нашу сторону.

— Двадцать кило с утра,— сказала девушка, на миг приподняв худенькое миловидное лицо.

— Ай, молодец Гогола! — крикнул председатель радостно.

Агроном с удовольствием засопел.

Девушка гибко склоняется над чайным кустом. Пальцы рук легкими, как бы ласкающими движениями скользят по поверхности чайного куста.

Цок! Цок! Цок! — слышится в тишине непрерывный сочный звук. Молодые побеги, кажется, сами впрыгивают в ладони юной сборщицы.

Она медленно продвигается вдоль ряда. К поясу, слегка оттягивая его, привязана корзина. Движения рук от куста к корзине, от куста к корзине. Иногда она наклоняется и выдергивает из кустов стебель сорняка. На руках перчатки с прорезями для пальцев вроде тех, что носят зимой кондукторши в Москве.

Зной, марево и упорная тихая работа почти невидимых сборщиц. Вид чайных плантаций оживляет председателя.

— Ай, молодец Гогола, Гогола,— напевает он с удовольствием.

Рядом, посапывая, шагает агроном.

— Вот про Гоголу запишите, все скажу,— говорит председатель.— За лето тысяча восемьсот килограмм собрала, почти две тонны.

Но теперь мне не хочется записывать, да и задание у меня совсем другое.

— Другой раз,— говорю я.— А вас давно объединили?

— Не говори, дорогой, нищих примкнули,— говорит он брезгливо и добавляет:— Конечно, хорошее мероприятие, но не для нашего колхоза: у них табак — у нас чай. Я готов десять козлогуров воспитать, чем иметь дело с ними.

— Ай, молодец Гогола, Гогола,— напевает он, пытаясь вернуть хорошее настроение, но, видно, не получается.— Нищие! — сплевывает он с отвращением и замолкает.

\* \* \*

Мы подошли к ферме. Рядом с большим пустым коровником был расположен летний загон, отгороженный плетнем. К нему примыкал загон поменьше, там и сидел козлотур.

Мы подошли к загону. Я с любопытством стал оглядывать знаменитое животное. Козлотур сидел под легким брезентовым навесом. Увидев нас, он перестал жевать жвачку и уставился розовыми немигающими глазами. Потом он встал и потянулся, выпятив мощную грудь. Это было действительно довольно крупное животное с непомерно тяжелыми рогами, по форме напоминавшими хорошо выращенные казацкие усы.

— Он себя хорошо чувствует, только наших коз не любит,— сказал председатель.

— Как не любит?

— Не гуляет,— пояснил председатель,— у нас климат влажный. Он привык к горам.

— А вы что, его огурцами кормите?— спросил я и испугался, вспомнив, что про огурцы он говорил по-абхазски. Но председатель, слава богу, ничего не заметил.

— Что вы,— сказал он,— мы ему даем полный рацион. Огурцы — это проходит как местная инициатива.

Председатель просунул руку в загон и поманил козлотура. Козлотур теперь усталился на его руку и стоял неподвижно, как изваяние.

Подъехал шофер. Он вышел из машины с плотно оттопыренными карманами. Агроном опустился под изгородью загона и тут же задремал в ее короткой тени. Председатель взял у шофера огурец и вытянул руку под забором. Козлотур встрепенулся и усталился на огурец. Потом он медленно, как заипнотизированный, двинулся на него. Когда он вплотную подошел к изгороди, председатель поднял руку так, чтобы козлотур не смог достать огурец с той стороны. Козлотур привстал на задние ноги и, упершись передними в изгородь, вытянул шею, но председатель еще выше поднял огурец. Тогда козлотур одним легким звериным рывком перебрался через изгородь и чуть не свалился на голову агронома. Тот слегка приоткрыл глаза и снова задремал.

— Исключительная прыгучесть,— важно сказал председатель и отдал огурец козлотуру.

Тот завозился над ним, выскалив большие желтые резцы. Он возился с ним с таким же нервным нетерпением, с каким кошка возится с пузырьком из-под валерьянки.

— Зайди теперь с той стороны,— сказал председатель шоферу.

Валикс, кричтя, стал перелезать через изгородь. Из карманов у него посыпались огурцы. Козлотур ринулся было к ним, но председатель огогнал его и поднял их. Шофер с той стороны загона поманил козлотура огурцом. Председатель подал мне один огурец и надкусил другой, слегка обтерев его о рукав.

— Весь скот у нас на альпийских лугах,— сказал председатель, чмокая огурцом,— для него оставили десять лучших коз, но ничего не получается.

Козлотур опять стал передними ногами на изгородь и, не дотянувшись до огурца, еще более великолепным прыжком перебрался в загон. Шофер поднял над головой огурец. Козлотур замер перед ним, глядя на огурец розовыми дикими глазами. Потом подпрыгнул и, выдернув из руки шофера огурец, рухнул на землю.

— Чуть пальцы не отгрыз,— сказал шофер и, вынув из кармана еще один огурец, надкусил его.

Теперь все мы ели по огурцу, кроме агронома. Он все еще дремал, прислонившись к изгороди.

— Эй,— крикнул председатель,— может, очнешься,— и бросил ему огурец.

Агроном открыл глаза и взял огурец. Лениво очистил его о свой полотняный китель, но, не дотянув до рта, почему-то передумал есть и вложил огурец в карман кителя. Снова задремал.

К загону подошли девочка и мальчик лет по восьми. Девочка, как ребенка, держала на руке большой свежий кукурузный початок в зеленой кожуре, с еще не высохшей косичкой.

— Сейчас козлотур будет драться,— сказал мальчик.

— Пойдем домой,— сказала девочка.

— Посмотрим, как будет драться, а потом пойдем,— сказал мальчик рассудительно.

— Попробуйпусти коз,— сказал председатель.

Шофер пересек загон и, открыв дверцу-плетенку, вошел в большой загон. Я только теперь заметил, что в углу загона, сбившись в кучу, дремали козы.

— Хейт, хейт!— прикрикнул на них Валико и стал сгонять с места.

Козы неохотно поднялись. Козлотур тревожно вздернул голову и стал принюхиваться к тому, что происходит в загоне.

— Понимает,— сказал председатель восхищенно.

— Хейт, хейт!— сгонял коз Валико, но они стали бегать от него по всему загону. Он их пытался подогнать к открытой дверце, но они пробегали мимо.

— Боятся,— сказал председатель радостно.

Козлотур замер и, не отрываясь, смотрел в сторону большого загона. Он смотрел, вытянув шею и принюхиваясь. Время от времени у него вздрагивала верхняя губа, и тогда казалось, что он скалит зубы.

— Нэнавидит,— сказал председатель почти восторженно.

— Пойдем,— сказала девочка,— я боюсь.

— Не бойся,— сказал мальчик,— он сейчас будет драться.

— Я боюсь, он дикий,— сказала девочка рассудительно и прижала початок к груди.

— Он один сильнее всех,— сказал мальчик.

Агроном неожиданно тихо засмеялся и вынул из кармана огурец. Он сломал его пополам и протянул детям. Девочка не сдвинулась с места, только крепче прижала свой початок к груди. Мальчик осторожно-осторожно, бочком подошел и взял обе половины.

— Пойдем,— сказала девочка и посмотрела на початок,— кукла тоже боится.

Видимо, она напоминала ему о старой игре, чтобы отвлечь от новой.

— Это не кукла — это кукуруза,— сказал мальчик поспешно, разрушая условия старой игры во имя новой. Теперь и он чмокал огурцом. Девочка от своей половины отказалась.

Наконец шофер, чертыхаясь, вогнал коз в загон и прикрыл дверцу. Козлотур в бешенстве ринулся на них. Козы рассыпались по загону. Козлотур догнал одну козу и ударом рогов опрокинул ее. Она перевернулась через голову, крикнула, но тут же вскочила и пустилась наутек. Козы бежали вдоль плетня, то рассыпаясь, то вновь сбиваясь в кучу. Козлотур гнался за ними, ударами рогов разбрызгивая их по всему загону. Козы бежали, топоча и подымая пыль, а козлотур внезапно резко тормозил и, некоторое время следя за ними розовыми глазами, бросался на них, выбрав угол атаки.

— Нэнавидит!— снова воскликнул председатель, восторженно цокая.

— Ему царицу Тамару подавай!— крикнул шофер. Он стоял посреди загона в клубах пыли, как матадор на арене.

— Хорошее начинание, но не для нашего климата!— крикнул председатель, стараясь перекрыть топотню и голоса блеющих коз.

Козлотур свирепел все больше и больше, козы метались по загону, то сливаясь, то рассыпаясь в стороны. Наконец одна коза прыгнула через плетень и свалилась в большой загон. Другие сейчас же ринулись за ней, но страх мешал им соразмерить прыжок, и они падали назад и снова бежали по кругу.

— Хватит! — крикнул председатель по-абхазски.— А то эта сволочь перекалечит наших коз.

— Чтоб я его съел на поминках того, кто это придумал!— крикнул шофер по-абхазски и ударом ноги распахнул дверцу загона. Козы сейчас

же ринулись туда и запрудили узкий проход, блея от страха и налезая друг на друга. Козлотур несколько раз с разгону налетал на это сцепившееся, рвущееся и застрявшее в узком проходе стадо и ударами рогов вколачивал их в большой загон.

Шофер с трудом отогнал его. Козлотур долго не мог успокоиться и бегал по загону, как разгоряченный лев.

— Ну, теперь пойдем,— сказала девочка мальчику.

— Он один всех победил,— объяснил ей мальчик, и они пошли по дороге, бесшумно перебирая пыльными загорелыми ногами.

— Нэнавидит,— повторил председатель, как бы восторгаясь надежным упорством козлотура.

\* \* \*

Мы сели в машину и поехали на рад, к правлению колхоза. Машина остановилась в тени грецкого ореха. Агроном остался в машине, а мы вылезли. Старики сидели на своем месте.

Вахтанг Бочуа, сияя белоснежным костюмом и розовым добродушным лицом, стоял возле новенького «газика».

Увидев меня, он пошел навстречу, шутовски растопырив руки, словно собираясь принять меня в свои объятия.

— Блудный сын вернулся,— воскликнул он,— в тени столетнего ореха его встречает Вахтанг Бочуа и сопровождающие его старейшины села Ореховый Ключ. Целуй край черкески, негодяй! — добавил он, сияя солнечной жизнерадостностью. Рядом с ним стоял молодой парень и восхищенно смотрел на него.

Вдруг я вспомнил, что он может со мной заговорить по-абхазски, и, схватив его за руку, отвел в сторону.

— Что такое, мой друг, интриги? — спросил он, радостно загораясь.

— Делай вид, что я не понимаю по-абхазски,— сказал я тихо,— так получилось.

— Понятно,— сказал Вахтанг,— ты приехал изучать тайные козни против козлотура. Но учти, после моей лекции в селе Ореховый Ключ будет обеспечена сплошная козлотуризация,— завелся он, как обычно.— Кстати, это неплохо сказано — козлотуризация. Не вздумай употребить раньше меня.

— Не бойся,— сказал я,— только молчи.

— Вахтанг умеет молчать, хотя это ему не дешево обходится,— заверил он меня, и мы подошли к председателю.

— Я надеюсь своей лекцией разбудить творческие силы вашего колхоза, если даже не удастся разбудить вашего агронома,— обратился Вахтанг к председателю, подмигивая мне и похохатывая.

— Конечно, это интересное начинание, товарищ Вахтанг,— сказал председатель уважительно.

— Что я и собираюсь доказать,— сказал Вахтанг.

— Какое ты имеешь к этому отношение, ты же историк.— сказал я.

— Вот именно,— воскликнул Вахтанг,— я рассматриваю проблему в ее историческом разрезе.

— Не понимаю,— сказал я.

— Пожалуйста,— он сделал широкий жест,— чем был горный тур на протяжении веков? Он был жертвой феодальных охотников и барствующей молодежи. Они истребляли его, но гордое животное не покорялось и уходило все дальше и дальше на недоступные вершины Кавказа, хотя сердцем оно всегда тянулось к нашим плодородным долинам.

— Заткнись.— сказал я.

— Я продолжаю,— Вахтанг похлопал себя ладонями по животу и, любуясь своей неистощимостью, продолжал:— А чем была наша скром-

ная, незаметная абхазская коза? Она была кормилицей беднейшего крестьянства.

Оба старика с уважением слушали Вахтанга, хотя явно ничего не понимали. Тот, что был с посохом, даже забыл про свою лунку и важно слушал его, слегка загнув ухо так, чтобы речь удобней вливалась в ушную раковину.

— С ума сойти, как говорит,— сказал тот, что был с палкой.

— Наверное, из тех, что в радио говорят,— сказал тот, что был с посохом.

— ...Но она, наша скромная коза,— продолжал Вахтанг,— мечтала о лучшей доле, скажем прямо: она мечтала встретиться с туром... И вот усилиями наших народных умельцев,— а талантами земля наша богата,— горный тур встречается с нашей скромной, домовитой и в то же время прелестной в самой своей скромности абхазской козой.

Я заткнул уши.

— Видно, что-то неприятное напомнил, ишь как закрыл уши,— сказал старик с палкой.

— Наверное, ругает, что плохо лечит козлотура,— добавил старик с посохом,— я этих козлотуров в горах убивал сотнями, а теперь за одного ругают...

— У них тоже какие-то свои дела,— заключил старик с палкой.

— ...Интимным подробностям этой встречи и посвящена моя лекция,— закончил Вахтанг и, вынув платок, промокнул им свое повлажневшее лицо.

В это время к председателю подошли какие-то лохматые парни городского типа. Оказалось, что это монтажники, которые проводят сюда электричество. Они вступили с председателем в долгий, нескончаемый спор. Оказывается, какие-то виды работ не учтены в смете, и ребята отказывались работать до того, как правильно составят смету. Председатель старался доказать им, что не следует бросать работу.

Нельзя было не залюбоваться мастерством, с каким он вел спор. Разговор шел на трех языках, причем с наиболее задиристым он говорил по-русски, на языке закона. Тихого кахетинца, который почти ничего не говорил, он сразу же отсекал от остальных и говорил, отчасти как бы ссылаясь на него.

Иногда он оборачивался в нашу сторону, может быть, призывая нас в свидетели. Во всяком случае Вахтанг солидно кивал головой и бормотал что-то вроде: безусловно, вы погорячились, мои друзья, я это выясню в министерстве...

— Много ты лекций прочел? — спросил я у Вахтанга.

— Заказы сыплются, за последние два месяца восемьдесят лекций, из них десять шефских, остальные платные,— доложил он.

— Ну и что говорят люди?

— Народ слушает, народ осознает,— сказал Вахтанг туманно.

— А что ты сам об этом думаешь?

— Лично меня привлекает его шерстистость.

— Кроме шуток?

— Козлотура надо стричь,— сказал Вахтанг серьезно и, внезапно расплываясь, добавил:— Что я и делаю.

— Ну ладно,— остановил я его,— мне пора ехать.

— Не будь дураком, оставайся,— сказал Вахтанг вполголоса,— после лекции предстоит хлеб-соль. Ради меня они зарежут последнего козлотура...

— С чего это они тебя так любят? — спросил я.

— А я обещал председателю устроить с удобрением,— сказал Вахтанг серьезно,— и я это действительно сделаю.

— Какое ты имеешь отношение к этому?

— Мой мальчик,— улыбнулся Вахтанг покровительственно,— в приезде все связано. У Андрея Шалвовича племянник поступает в этом году в институт, а твой покорный слуга член приемной комиссии. Почему бы предрику не помочь хорошему председателю? Почему бы мне не обратить внимание на юного абитуриента? Все бескорыстно, для людей.

Председатель уговорил ребят продолжать работу. Он обещал им сейчас же вызвать телеграммой из города инженера и установить истину.

Они понуро поплелись, видимо не слишком довольные своей полупобедой. Председатель тоже заторопился. Я попрощался со всеми. Старики сделали вежливое движение, как бы приподымаясь проводить меня.

— Рейсовая машина уже прошла, но мой шофер довезет вас до шоссе,— сказал председатель.

— Мой тоже не откажется,— вставил Вахтанг.

Председатель подозвал своего шофера. Мы сели в машину.

— Боюсь, как бы он против нас не написал какую-нибудь чушь,— сказал председатель Вахтангу по-абхазски.

— Не беспокойся,— ответил Вахтанг,— я ему уже дал указания, что писать и как писать.

— Спасибо, дорогой Вахтанг,— сказал председатель и добавил, обращаясь к шоферу:— Там на шоссе зайди и напои его как следует, а то журналисты, я знаю, без этого не могут.

— Хорошо,— ответил шофер по-абхазски. Вахтанг расхохотался.

— Вы не одобряете, товарищ Вахтанг?— встревожился председатель.

— Всемерно одобряю, мой друг,— воскликнул Вахтанг, обнимая одной рукой председателя, и, обернувшись, крикнул мне через шум мотора:— Передай моему другу Автандилу Автандиловичу, что пропаганда козлотура в надежных руках.

Машина запылила по дороге. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала.

«Против нас какую-нибудь чушь...» — вспоминал я слова председателя. Получалось так, что я могу написать за или против, но в обоих случаях для него не было сомнений в том, что это будет чушь. Потом я с горечью убеждался много раз, что он, в общем, не слишком далек от истины.

Кстати, насчет травли козлотура шофер мне сообщил любопытную деталь. Оказывается, козлотур как-то сбежал на плантацию, где наелся чайного листа, и временно сошел с ума, как сказал Валико. Он действительно бегал по всему селу, и за ним гнались собаки. Его даже хотели пристрелить, думали, что он взбесился, но потом он постепенно успокоился.

Машина выскочила на шоссе и остановилась возле голубой закуской. «Посмотрим, как ты меня заманишь туда», — подумал я и решил стойко защищать свою репутацию.

Валико посмотрел на меня голубым взглядом совратителя и сказал:

— Перекусим, что ли?

— Спасибо, в городе пообедаю.

— Туда еще ехать и ехать.

— Я все же поеду,— возразил я, стараясь быть помягче. Чем-то он мне понравился, этот парень с голубыми глазами всевозможных оттенков.

— Ничего такого не собираюсь,— сказал он и открыл дверцу.— Перекусим каждый за себя по русскому счету.

Чего я боюсь, подумал я, у меня преимущество в том, что я знаю о том, что он собирается меня напоить, а он не знает, что я знаю об этом.

— Хорошо,— сказал я,— быстренько перекусим, и я поеду.



— О чем говорить — зелень-мелень, лобиа-мобиа.

Валико закрыл машину, и мы вошли в закусочную.

Помещение было почти пустое. Только в углу сидела компания, плотно облепив два сдвинутых стола. Видно, они уже порядочно поддали, потому что полдюжины бутылок стояли на полу, как отстрелянные гильзы. Среди пирующих сидела одна белокурая женщина северного типа. На ней был сарафан с широким вырезом, и она то и дело оглядывала свой загар. Было похоже, что он ей помогает самоутверждаться.

Валико занял столик в противоположном углу. Мне это понравилось. Две официантки, тихо переговариваясь, сидели за столиком у окна.

Валико, осторожно обходя столы, подошел к официанткам. Я понял, что он старается быть незамеченным компанией. Увидев его, официантки приветливо улыбнулись, особенно тепло улыбнулась одна из них, та, что была помоложе. Валико поздоровался с ними и стал что-то рассказывать, пригнувшись к той, что была помоложе. Она слушала его, не переставая улыбаться, и лицо ее постепенно оживлялось.

«Ну тебя, ну тебя»,— казалось, говорила она, слабо отмахиваясь ладонью и с удовольствием слушая его.

У таких ребят, подумал я, всегда есть, что рассказать официантке. Потом по выражению ее лица я понял, что он стал ей заказывать. Я забеспокоился. Она посмотрела в мою сторону, и я неожиданно крикнул:

— Не вздумай заказать вино.

— Как можно,— сказал Валико, обернувшись, и развел руками.

Компания обратила на нас внимание, и кто-то крикнул оттуда:

— Валико, иди к нам! .

— Никак не могу, дорогой,— сказал Валико и приложил руку к сердцу.

— На минуту, да?

— Извиняюсь перед всей компанией и перед прекрасной женщиной, но не могу,— проговорил Валико и, уважительно попятившись, отошел к нашему столику.

Через несколько минут на столе появилась огромная тарелка со свежим луком и пунцовыми редисками, проглядывавшими сквозь зеленый лук, как красные зверята. Рядом с зеленью официантка поставила две порции лобии и хлеб.

— Боржом не забудь, Лидочка,— сказал Валико, и я окончательно успокоился и почувствовал, как сильно проголодался за день. Мы налегли на лобию, холодное и невероятно наперченное.

Захрустели редиской и луком. Каждый раз, когда я перекусывал стрелчатый стебель лука, он, словно сопротивляясь, выбрызгивал из себя острую и пахучую струйку сока.

Неожиданно подошла официантка и поставила на стол бутылку вина и бутылку боржома.

— Ни за что,— сказал я решительно и снова поставил бутылку с вином на поднос.

— Не дай бог,— прошептал Валико и посмотрел на меня своими ясными и теперь уже испуганными глазами.

— В чем дело? — спросил я.

— Прислали,— сказала официантка и глазами показала в сторону компании.

Мы посмотрели туда и встретились глазами с парнем, который здоровался с Валико. Он смотрел в нашу сторону горделиво и добродушно. Валико кивком поблагодарил его и укоризненно покачал головой. Парень горделиво и скромно опустил глаза. Официантка отошла с пустым подносом.

— Я не буду пить,— сказал я.

— Не обязательно пить — пусть стоит,— ответил Валико.  
Мы принялись за еду. Я почувствовал, что бутылка с вином как-то мешает.

Валико взял бутылку с боржомом и кротко спросил:

— Боржом можно налить?

— Боржом можно,— сказал я, чувствуя себя педантом.

Выпив по стакану боржома, мы снова приступили к лобно.

— Очень острое,— заметил Валико, шумно втягивая воздух.

— Да,— согласился я. Лобно и в самом деле было, как огонь.

— Интересно, почему в России перец не так любят,— отвлеченно заметил Валико и, потянувшись к бутылке с вином, добавил:— Наверно, от климата зависит?

— Наверно,— сказал я и посмотрел на него.

— Не обязательно пить — пусть стоит,— сказал Валико и разлил вино в стаканы.

Мягкий, душистый запах подымался от стаканов. Это была изабелла, густо-пунцовая, как гранатовый сок. Валико вытер руки салфеткой и, дожевывая редиску, медленно потянулся к своему стакану.

— Не обязательно пить — попробуй,— сказал он и посмотрел на меня своими ясными глазами.

— Я не хочу,— сказал я, чувствуя себя последним дураком.

— Чтоб я выкопал старые кости отца и бросил грязным, зловонным собакам, если не подымешь! — воскликнул он неожиданно и замолк. В его огромных голубых глазах застыл ужас неслышанного святотатства. Я слегка обалдел от этого внезапного взрыва родовой клятвы.

— Старые кости отца — грязным собакам! — конспективно напомнил он и безропотно склонился над столом. Мне стало страшно.

Ничего, подумал я, от этой бутылки мы не опьянеем. Тем более что у меня преимущество: я знаю, что он меня хочет напоить, а он не знает, что я знаю.

Мы допивали по последнему стакану. Я чувствовал, что хорошо контролирую себя и обмануть меня невозможно, да и, в сущности, Валико приятный парень, и все получается, как надо.

Подошла официантка с двумя шипящими шашлыками на вертеле.

— Пошли им от нашего имени бутылку вина и плиточку шоколада для женщины,— сказал Валико, с медлительностью районного гурмана освобождая от шампура все еще шипящее, всосавшееся в железо мясо.

«Братский обычай»,— подумал я и вдруг сказал:

— Две бутылки и две плитки пошлите...

— Гость сказал: две бутылки,— торжественно подтвердил Валико, и она отошла.

Через несколько минут парень из-за того стола укоризненно качал головой, а Валико горделиво и скромно опускал глаза. А потом он нам прислал две бутылки вина, а Валико укоризненно покачал головой и даже пригрозил ему пальцем, на что парень еще скромней и горделивей опустил голову.

Потом мы несколько раз подымались и важно пили за наших новых друзей, и за их старых родителей, и за прекрасную представительницу великого народа. Лучи заходящего солнца били ей в спину и просвечивались в ее волосах, а навстречу солнечным лучам лился поток комплиментов, обдавая ее лицо, шею и особенно открытые плечи.

— Выпьем за козлотура,— как-то интимно предложил Валико после того, как, взаимноистощившись, замолкли наши коллективные тосты.

— Выпьем,— сказал я, и мы выпили.

— Между прочим, хорошее начинание,— сказал Валико, и на губах

у него появилась загадочная полуулыбка, значение которой я понял не сразу.

— Дай бог, чтоб получилось,— сказал я.

— Говорят, в России тоже начинают.— Загадочная полуулыбка не сходила с его губ.

— Понемногу начинают,— сказал я.

— Имеет государственное значение,— заметил Валико. Теперь глаза его блестели голубым загадочным блеском.

— Имеет,— подтвердил я.

— Интересно, что про козлотура говорят враги?— неожиданно спросил он.

— Пока, кажется, молчат,— сказал я.

— Пока,— многозначительно протянул он.— Козлотур — это не просто,— добавил он, немного подумав.

— Сначала все не просто,— сказал я, стараясь уловить, к чему он клонит.

— В другом смысле,— заметил он и, вдруг обдав меня голубым огнем своих глаз, быстро прибавил: — за рога выпьем отдельно?

— Выпьем,— сказал я, и мы выпили.

Валико почему-то погрузнел и стал закусывать шашлыком.

— Дочка есть,— сказал он, подняв на меня свои погрузневшие глаза,— три года.

— Прекрасный возраст,— поддержал я, как мог, семейную тему.

— Все понимает, несмотря что девочка,— с обидой заметил он.

— Это большая редкость,— сказал я,— тебе просто повезло, Валико.

— Да,— согласился он,— для нее мучаюсь. Но не думай, что жалею, с удовольствием мучаюсь,— добавил он.

— Понимаю,— сказал я, хотя уже ничего не понимал.

— Не понимаешь,— догадался Валико.

— Почему? — спросил я и вдруг заметил, что ясные голубые глаза Валико стекленеют.

— Чтоб я этого невинного ребенка сварил в котле для мамалыги...

— Не надо! — воскликнул я.

— Сварил в котле для мамалыги,— безжалостно продолжал он,— и съел ее детское мясо своими руками, если ты мне не скажешь, для чего козлотуры, хотя я и сам знаю! — произнес он с ужасающей страстью долго молчавшего правдоискателя.

— Как для чего? Мясо, шерсть,— пролепетал я.

— Сказки! Атом добывают из рогов,— уверенно произнес Валико.

— Атом?!

— Точно знаю, что добывают атом, но как добывают, пока еще не знаю,— сказал он убежденно. Теперь на губах его снова играла загадочная полуулыбка человека, который знает больше, чем говорит.

Я посмотрел в его добрые, голубые, ничего не понимающие глаза и понял, что переубедить его мне не под силу.

— Клянусь прахом моего деда, что я ничего такого не знаю,— воскликнул я.

— Значит, вам тоже не говорят,— удивился Валико, но удивился не тому, что нам тоже не говорят, а тому, что загадка оказалась еще глубже, чем он ожидал.

\* \* \*

Мы вышли из закуской. Над нами темнело теплое звездное небо. Небосвод покачивался и то приближался, то отходил, но и когда отходил, он был гораздо ближе, чем обычно. Больше незнакомые звезды вспыхивали и мерцали. Странные, незнакомые мысли вспыхивали и мер-

пали в моей голове. Я подумал, что, может быть, мы сами приблизились к небу после такой дружеской выпивки. Какое-то созвездие упрямо мерцало над моей головой. И вдруг я почувствовал, что эти светящиеся точки напоминают что-то знакомое. Голова Козлотура, радостно подумал я, только один глаз совсем маленький, подслеповатый, а другой большой и все время подмигивает.

— Созвездие Козлотура,— сказал я.

— Где?— спросил Валико.

— Вон,— сказал я и, обняв его одной рукой, показал на созвездие.

— Значит, уже переименовали?— спросил Валико, глядя на небо.

— Да,— подтвердил я, продолжая глядеть на небо. Это была настоящая голова козлотура, только один глаз его все время подмигивал, и я никак не мог понять, что означает его подмигивание.

— Если что не так, прости,— сказал Валико.

— Это ты меня прости,— сказал я.

— Если хочешь посмотреть, как спит козлотур, поедем,— сказал Валико.

— Нет,— сказал я,— у меня срочное задание.

— Если ты меня простишь, я уеду,— сказал он,— потому что еще успею в кино.

Мы обнялись, как братья по козлотуру. Валико влез в машину.

— Никуда не уходи и жди зугдидскую машину,— сказал он.

Я почему-то надеялся, что у него не сразу заведется мотор. Но он сразу его завел и еще раз крикнул мне:

— На другую не садись, жди зугдидскую!

Шум мотора несколько минут доносился из темноты, а потом смолк. Звезды, одиночество и теплая летняя ночь.

По ту сторону шоссе темнел парк, а за ним было море, оттуда раздавался приглушенный зеленью парка шум прибоя.

Мне захотелось к морю. Я встал и пошел через шоссе. Я помнил, что мне надо дожидаться автобуса, но почему-то казалось, что автобуса можно подождать и у моря.

Я шел по парковой дорожке, окруженной черными силуэтами кипарисов и светлыми призраками эвкалиптов. С моря потягивало прохладой. Листья эвкалиптов издавали еле слышный звон. Время от времени я поглядывал на небо. Созвездие Козлотура прочно стояло на месте.

Я был не настолько пьян, чтобы ничего не замечать, но все же настолько пьян, что думал: все замечаю.

На скамейке у самого моря сидели двое. Я немедленно подошел к ним. Они молча оставили на меня голубоватые лица.

— Подвиньтесь,— сказал я парню и, не дожидаясь приглашения, уселся между ними. Девушка кротко засмеялась.

— Не бойтесь,— сказал я мирно,— я вам что-то покажу.

— А мы и не боимся,— сказал парень, по-моему не слишком уверенно. Я оставил его слова без внимания.

— Посмотрите на небо,— сказал я девушке нормальным голосом.— Что вы там видите?

Девушка посмотрела на небо, потом на меня, пытаясь определить, пьяный я или сумасшедший.

— Звезды,— сказала она преувеличенно естественным голосом.

— Нет, вы сюда посмотрите,— терпеливо возразил я и, пытаясь точнее направить ее взгляд на созвездие Козлотура, слегка придержал ее за плечо.

— Пойдем, а то закроют,— угрюмо напомнил парень, стараясь избежать катастрофы.

— Что закроют?— вежливо повернулся я к нему. Мне приятно было

чувствовать, что он боится меня, и в то же время сознавать, что я предельно корректен.

— Турбазу закроют, — сказал он.

Я почувствовал, что между созвездием Козлотура и турбазой есть какое-то таинственное созвучие, как бы опасная связь.

— Интересно, почему вы вспомнили турбазу? — спросил я у парня, кажется строже, чем надо. Парень молчал. Я посмотрел на девушку. Она зябко закуталась в шерстяную кофту, накинутую на плечи, словно от меня исходил космический холод.

Я посмотрел на небо. Морда козлотура, очерченная светящимися точками, покачивалась, то приближаясь, то удаляясь. Большой глаз время от времени подмигивал. Я понимал, что подмигивание что-то означает, но никак не мог догадаться, что именно.

— Козлотуризм — лучший отдых, — сказал я.

— Можно, мы пойдем? — тихо сказала девушка.

— Идите, — ответил я спокойно, но все-таки давая знать, что я в них разочарован.

Через мгновение они куда-то провалились. Я закрыл глаза и стал обдумывать, что означает подмигивание козлотура. Равномерные удары волн обдавали меня свежей прохладой и на миг заволакивали сознание, а потом оно высовывалось из забытья, как обломок скалы из пены прибоя.

Внезапно я открыл глаза и увидел перед собой двух милиционеров.

— Документы, — сказал один из них.

Я автоматически вынул из кармана паспорт, протянул его и снова закрыл глаза. Потом я открыл глаза и удивился, что они все еще тут. Мне показалось, что прошло много времени.

— Здесь спать нельзя, — сказал один из них и вернул мне паспорт.

— Жду зугдидскую машину, — сказал я и снова закрыл глаза, вернее прекратил усилия держать их открытыми.

Милиционеры тихо рассмеялись.

— А вы знаете, который час? — сказал один из них.

Я почувствовал неприятную ненормальность в левой руке, вскинул ее и увидел, что на ней нет часов.

— Часы! — воскликнул я и вскочил. — Украли часы!

Я окончательно проснулся и отрезвел. Было уже совсем светло. Из ущелья со стороны гор дул сырой ветер, в море работал сильный накат. На берегу напротив нас стоял отдыхающий старик и делал физзарядку. Он медленно, страшно медленно присел на длинных тонких ногах. Он так трудно присел, что сделалось тревожно — сможет ли встать. Но старик, передохнув на корточках, пошатываясь, медленно поднялся и, вытянув руки, застыл, не то устанавливая равновесие, не то прислушиваясь к тому, что произошло внутри него после упражнения.

Милиционеры, так же как и я, следили за стариком. Теперь, успокоившись за него, один из них спросил:

— Какие часы — «победа»?

— «Докса», — ответил я с горечью и в то же время гордясь ценностью потери, — швейцарские часы.

— С кем были? — спросил другой милиционер.

— Сам был, — сказал я на всякий случай.

— Пройдем в отделение, составим акт, — сказал тот, что брал паспорт, — если найдутся — известим.

— Пойдемте, — сказал я, и мы пошли.

Мне было очень жалко своих часов. Я к ним привык, как к живому существу. Мне их подарил дядя после окончания школы, и я их носил столько лет, и с ними ничего не случалось. Водонепроницаемые, антимаг-

нитные, небьющиеся, с черным светящимся циферблатом, похожим на маленькое ночное небо. В общежитии института я их иногда забывал в умывалке, и мне их приносила уборщица или кто-нибудь из ребят, и я как-то поверил про себя, что они ко всем своим достоинствам еще и нетеряющиеся.

— Паспорт есть на часы? — спросил один из милиционеров.

— Откуда, — сказал я, — они трофейные, дядя привез с войны.

— Номер помните? — спросил он снова.

— Нет, — сказал я, — я их и так узнаю, если увижу.

Мы наискосок пересекли парк и вышли на тихую незнакомую улицу. На этой улице, как и во всем этом городке, стояли одноэтажные дома на длинных рахитичных сваях. Жители этого городка только тем и заняты, что строят вот такие дома. Построив, тут же начинают продавать или менять с приплатой в ту или другую сторону за какие-то никому не понятные преимущества, ведь все они похожи друг на друга, как курятники. Причем сами они в этих домах почти не живут, потому что на полгода отдают их курортникам, чтобы накопить деньги и яростно приняться за строительство нового дома с еще более длинными и более рахитичными ножками. Достоинство человека здесь определяется одной фразой: «Строит дом».

Строит дом — значит порядочный человек, приличный человек, достойный человек. Строит дом — значит человек при деле, независимо от службы, значит человек пустил корень, то есть в случае чего никуда не убежит, а стало быть, пользуется доверием, а раз уж пользуется доверием, можно его приглашать на свадьбы, на поминки, выдать за него дочь или жениться на его дочери и вообще иметь с ним дело.

Я об этом говорю не потому, что у меня здесь украли часы, я и до этого так думал. Причем тут даже нет какой-то особой личной корысти, потому что дом — это только символ и даже не сам дом, а процесс его строительства. И если бы, скажем, условиться, что отныне достоинство человека будет измеряться количеством павлинов, которые он у себя развел, они бы все бросились разводить павлинов, менять их, щупать хвосты и хвастаться величиной павлиньих яиц. Страсть к самоутверждению принимает любые, самые неожиданные символы. лишь бы они были достаточно наглядны и за ними стоял золотой запас истраченной энергии.

Скрипнула калитка, и мы вошли в зеленый дворик милиции. Траву, видно, здесь тщательно выращивали, она была густая, курчавая и высокая. Посреди двора стояла развесистая шелковица, под которой уютно расположились скамейки и столик для нарда или домино, намертво вбитый в землю. Вдоль штакетника в ряд росли юные яблони. Они были густо усеяны плодами. Это был самый гостеприимный дворик милиции из всех, которые я когда-либо видел. Легко было представить, что в таком дворе осенью начальник милиции варит варенье, окруженный смирившимися преступниками.

К помещению милиции вела хорошо утоптанная тропа.

В комнате, куда мы вошли, за барьером сидел милиционер, а у входа на длинной скамье парень и девушка. Девушка мне показалась похожей на вчерашнюю, но на этой не было кофточки. Я пытливо посмотрел ей в глаза.

Один из моих милиционеров куда-то вышел, а второй сел на скамью и сказал мне:

— Пишите заявление.

Потом он оглядел парня и девушку и посмотрел на того, что сидел за барьером.

— Гуляющие без документов, — скучно пояснил тот.

Девушка отвернулась и теперь смотрела в открытую дверь. Мне она опять показалась похожей на вчерашнюю.

— А где ваша кофточка? — спросил я у нее неожиданно, почувствовав в себе трепет детективного безумия.

— Какая еще кофта? — сказала она, окинув меня высокомерным взглядом, и снова отвернулась к дверям. Парень тревожно посмотрел на меня.

— Извините, — пробормотал я, — я вас спутал с одной знакомой.

По голосу я понял, что это не она. На лица-то у меня плохая память, но голоса я помню хорошо. Я вынул блокнот, подошел к барьеру и стал обдумывать, как писать заявление.

— На этой нельзя, — сказал сидевший за барьером и подал мне чистый лист.

Я смирился, окончательно поняв, что мне все равно не дадут использовать свой блокнот.

— Отпустите, товарищ милиционер, — невнятно заканючил парень, — большое дело, что ли...

— Придет товарищ капитан и разберется, — сказал тот, что сидел за барьером, ясным миротворческим голосом. Парень замолчал. В открытые окна милиции доносилось далекое шарканье дворничьей метлы и чирикание птиц.

— Сколько можно ждать, — сказала девушка сердито, — мы уже здесь полтора часа.

— Не грубите, девушка, — сказал милиционер, не повышая голоса и не меняя позы. Он сидел за столиком, подперев щеку рукой и сонно пригорюнившись. — Товарищ капитан делает обход. Имеются факты изнасилования, — дсбавил он, немного подумав, — а вы гуляете без документов.

— Не говорите глупости, — строго сказала девушка.

— Чересчур ученая, а скромности не хватает, — не повышая голоса, грустно сказал милиционер. Он сидел все так же, не меняя позы, сонно пригорюнившись.

Я написал заявление, и он глазами показал, чтоб я положил его на стол.

В это время за барьером открылась дверь и оттуда вышел, поеживаясь и поглаживая красивое полное лицо, высокий плотный человек.

— А вот и товарищ капитан, — радостно воскликнул сидевший за барьером и, бодро вскочив, уступил место капитану.

— Что-то я не слышала машины, — сказала девушка дерзко и снова отвернулась к дверям.

— В чем дело? — спросил капитан, усаживаясь и хмуро оглядывая девушку.

— Гуляющие без документов, — доложил звонким голосом тот, что был за барьером. — Около четырех часов обнаружены в прибрежной полосе. Она говорит, что не хочет будить хозяйку, а кавалер на том конце города живет.

— Товарищ капитан... — начал было парень.

— Сбегаешь за паспортом, а она останется под залог, — перебил его капитан.

— Но ведь сейчас машины не ходят, — начал было парень.

— Ничего, молодой, сбегаешь, — сказал капитан и вопросительно посмотрел на меня.

— Вот заявление, товарищ капитан, — показал на стол тот, что стоял за барьером. Капитан склонился над моим заявлением. Милиционер, тот, что пришел со мной, теперь стоял в бодрой позе, готовый внести нужные дополнения.

— Ты не волнуйся, я мигом,— шепнул парень девушке и быстро вышел. Девушка ничего не ответила.

Из открытых окон доносилось равномерно приближающееся шарканье метлы и неистовое пенье птиц. Губы капитана слегка шевелились.

— Паспорт есть? — спросил он, подняв голову.

— Они трофейные,— ответил я,— мне дядя подарил.

— При чем дядя? — поморщился капитан.— Ваш паспорт покажите.

— А,— сказал я и подал ему паспорт.

— Спал на берегу моря,— вставил тот, что привел меня,— когда мы его разбудили, сказал, что украли часы.

— Интересно получается,— сказал капитан, с любопытством оглядывая меня,— вы пишете, что ждали зугдидскую машину, а разбудили вас на берегу. Вы что, с моря ее ждали?

Оба милиционера сдержанно засмеялись.

— Зугдидская машина проходит в одиннадцать вечера, а мы его разбудили в шесть утра,— заметил тот, что привел меня, как бы раскрывая новые грани проницательности капитана.

— Может, вы ее ждали обратным рейсом? — высказал капитан неожиданную догадку. Чувствовалось, что он страдает, стараясь извлечь из меня смысл.

— Да, обратным рейсом в Зугдиди,— неизвестно зачем сказал я, может быть, чтобы успокоить капитана.

— Тогда другое дело,— сказал капитан и, протягивая мне паспорт, спросил:— А где вы работаете?

— В газете «Красные субтропики»,— сказал я и протянул руку за паспортом.

— Тогда почему не взяли номер в гостинице? — снова удивился капитан и опять раскрыл мой паспорт.— Нехорошо получается,— сказал капитан и зацокал,— что я теперь скажу Автандилу Автандиловичу...

Господи, подумал я, здесь все друг друга знают.

— А зачем вам ему что-то говорить? — спросил я. Этого еще не хватало, чтобы редактор узнал о моей потере. Начнутся расспросы, подозрения, да и вообще неудачников не любят.

— Нехорошо получается,— задумчиво проговорил капитан,— приехали к нам в город, потеряли часы... Что подумает Автандил Автандилович...

— Вы знаете,— сказал я,— мне кажется, я их оставил в Ореховом Ключе...

— Ореховый Ключ? — встрепнулся капитан.

— Да, я был там в командировке по вопросу о козлотурах...

— Знаю, интересное начинание,— заметил капитан, внимательно слушая меня.

— Мне кажется, я там оставил часы.

— Так мы сейчас позвоним туда,— обрадовался капитан и схватил трубку.

— Не надо! — закричал я и шагнул к нему.

— А-а,— капитан хлопнул в ладоши, и лицо его озарилось лукавой догадкой,— теперь все понимаю, вам устроили хлеб-соль...

— Да, да, хлеб-соль,— подтвердил я.

— Между прочим, туда проехал Вахтанг Бочуа,— вставил тот, что пришел со мной.

— Вам устроили хлеб-соль,— продолжал свою лукавую догадку капитан,— и вы подарили кому-то часы, а вам подарили портсигар,— закончил он радостно и победно оглядел меня.

— Какой портсигар? — не сразу уловил я ход его мысли.

— Серебряный,— добродушно пояснил капитан.



— Нет, я так подарил,— сказал я.

— Так не бывает,— добродушно опроверг капитан,— значит, вам что-то обещали подарить. Почему стоите, садитесь,— добавил он и вынул из кармана пачку «казбека».— Курите?

— Да,— сказал я и взял папиросу. Капитан дал мне прикурить и закурил сам.

Милиционер, тот, что был за барьером, вышел во внутреннюю дверь, как только капитан закурил. Тот, что привел меня, стоял, незаметно прислонившись к подоконнику.

— В прошлом году был в Сванетии,— сказал капитан, пуская в потолок струю дыма,— местный начальник отделения устроил хлеб-соль. Ели-пили, а потом дарят мне оленя. Хотя зачем мне олень? Не взять — смертельно обидятся. Я принял подарок и в свою очередь обещал местному отделению два ящика патронов. Как только приехал — отослал.

— А оленя взяли? — спросил я.

— Конечно,— сказал он.— Неделю жил дома, а потом сын отвел его в школу. Мы, говорит, из него козлотура сделаем. Пожалуйста, говорю, делайте, все равно в городских условиях оленя негде держать.

Капитан крепко затянулся. На его круглом лице было написано спокойствие и благодушие. Я был рад, что он забыл про часы. Все-таки было бы неприятно, если б об этом узнал мой редактор.

— У сванов отличный стол,— продолжал вспоминать капитан,— но все портит араки.— Он посмотрел на меня и сморщился.— Неприятный напиток, хотя.— примирительно добавил он,— дело в привычке...

— Конечно,— сказал я.

— Но в Ореховом Ключе изабелла, как орлиная кровь...

У вас тоже неплохая, подумал я.

Капитан тихо рассмеялся и вдруг спросил:

— А этого спящего агронома видели?

— Видел,— сказал я,— отчего это он спит?

— Чудак-человек.— снова рассмеялся капитан,— у него болезнь такая. Несмотря на то, что спит, первый специалист по чаю. В районе такого нет.

— Да, плантации у них чудесные,— сказал я и вспомнил девушку Гоголу над зелеными курчавыми кустами.

— В прошлом году у них в колхозе ЧП произошло. Кто-то несгораемый шкаф украл.

— Несгораемый шкаф?

— Да, несгораемый шкаф,— сказал капитан.— Я выезжал сам. Украсть украли, но открыть не смогли. Спящий агроном помог нам найти. Очень умный человек... Но, между прочим, изабелла коварное вино,— продолжал капитан, не давая далеко уходить от главной темы,— пьешь, как лимонад, и только потом дает знать.

Он посмотрел на меня, потом на девушку и сказал ей:

— Идите, девушка, только больше так поздно не гуляйте.

— Я подожду его.— сказала она и сурово отвернулась к выходу.

— Во дворе подождите, там птички поют,— и строго добавил:— Избегайте случайных знакомств, а теперь идите.

Девушка молча вышла. Капитан кивнул в ее сторону и сказал:

— Обижаются за профилактику, а потом сами прибегают и жалуются: «Изнасиловали! Ограбили!» Кто — не знает, где прописан — никакого представления. Как с ним оказалась? Молчит.— Капитан посмотрел на меня обиженными глазами.

— Молодо-зелено.— сказал я.

— В том-то и дело,— согласился капитан.

Птицы во дворе милиции заливались во все голоса. Метла дворника теперь шаркала у самых ворот.

— Костя,— обратился капитан к милиционеру,— полей тротуар и двор, пока не жарко.

— Хорошо, товарищ капитан,— сказал милиционер.

— Завтра пойдешь в цирк,— остановил он его в дверях.

— Хорошо, товарищ капитан,— радостно повторил милиционер и вышел.

— Что за цирк?— спросил я и тут же подумал, что задаю бестактный вопрос, если это какой-то условный язык.

— Цирк приехал,— просто сказал капитан,— отличников службы для поощрения посылаем дежурить в цирк.

— А-а,— понял я.

— Исполнительный и толковый работник,— капитан кивнул на дверь и прибавил:— Двадцать три года, уже дом строит.

— Пожалуй, я тоже пойду,— сказал я.

— Куда спешите,— остановил меня капитан и посмотрел на часы,— до зугдидской машины еще ровно час и сорок три минуты...

Я снова сел.

— ...Но лучшая закуска для изабеллы знаете какая?— Он посмотрел на меня с добродушным коварством.

— Шашлык,— сказал я.

— Извините, дорогой товарищ,— с удовольствием возразил капитан и даже вышел из-за барьера, словно почувствовав во мне дилетанта, с которым надо работать и работать.— Изабелла любит вареное мясо с аджикой. Особенно со спины— филейная часть называется,— пояснил он, притронувшись к затылку.— Но ляжка тоже неплохо,— добавил он, немного помедлив, как человек, который прежде всего озабочен справедливостью или во всяком случае не собирается проявлять филейную узость взгляда.— Мясо с аджикой вызывает жажду,— сказал капитан и остановился передо мной.— Ты уже не хочешь пить, но организм сам требует!— капитан радостно развел руками в том смысле, что ничего не поделаешь— раз уж организм сам требует. Он снова зашагал по комнате.— Но белое вино мясо не любит,— неожиданно предостерег он меня и, остановившись, тревожно посмотрел на меня.

— А что любит белое вино?— спросил я озабоченно.

— Белое вино любит рыбу,— сказал он просто.— Ставрида,— капитан загнул палец,— барабулька, кефаль или горная рыба— форель. Иф, иф, иф,— присвистнул от удовольствия капитан.— А к рыбе, кроме алычовой подливки и зелени, ничего не надо!— И как бы оглядев с гримасой отвращения остальные закуски, энергичным движением руки отбросил их в сторону.

Так мы поговорили с дежурным капитаном некоторое время, и наконец, убедившись, что он достаточно далеко ушел от моих часов, я попрощался с ним и вышел. Но тут он снова окликнул меня.

— Заявление возьмите,— сказал он и подал мне его.

— Не беспокойтесь,— добавил он, заметив, видимо, что возвращаться к этой теме мне неприятно,— добровольный подарок проходит как местный национальный обычай.

После этой небольшой юридической консультации я окончательно попрощался с ним и вышел.

Мокрый дворик милиции сверкал на еще нежарком утреннем солнце. Милиционер деловито поливал из шланга молодую яблоню. Когда струя попадала в листья, раздавался глухой шелест, и по листве пробежал мощный благодарный трепет, и радужная пыль отлетала от мокрой, упруго вздрагивающей листвы.

Девушка сидела под шелковицей и, глядя на ворота милиции, ждала своего возлюбленного.

На улице я изорвал свое заявление и бросил его в урну. Я едва успел на свой автобус. Всю дорогу я обдумывал свою будущую статью о козлотуре из Орехового Ключа. Мне казалось, что горечь потери часов внесет в мою статью тайный лиризм, и это в какой-то мере меня утешало.

\* \* \*

Дома я решил сказать, что часы у меня украли в гостинице. Дядя, который, как я думал, давно забыл о подаренных часах, воспринял эту новость болезненно. Кстати говоря, он широко известен в нашем городе как один из лучших таксистов. Дня через два после моего приезда он прикатил к нам прямо с клиентами и стал расспрашивать, что и как.

— Мне дали номер с одним человеком, утром встаю — ни человека, ни часов, — сказал я горестно.

— А как он выглядел? — спросил дядя, загораясь мстительным азартом.

— Когда я вошел, он спал, — сказал я.

— Дуралей, — сказал дядя, — во-первых, не спал, а притворялся, что спит. Ну, а дальше?

— Утром встаю — ни человека, ни часов...

— Заладил, — перебил он меня нетерпеливо, — неужели не приметил, какой он был с виду?

— Он был укрыт одеялом, — сказал я твердо. Я боялся говорить ему что-нибудь определенное. Я боялся, что при его решительном характере он начнет мне привозить всех заподозренных клиентов, да еще прямо в редакцию.

— В такую жару укрылся с головой! — воскликнул дядя. — Умного человека уже одно это должно было насторожить. А часы где были?

— Часы лежали под подушкой, — сказал я твердо.

— Зачем? — сморщился он. — Не надо было снимать, они же небьющиеся.

А я и не снимал, чуть было не сказал я, но вовремя спохватился.

— А что сказала администрация? — не унимался дядя.

— Они сказали, что надо было отдать им на хранение, — ответил я, вспомнив инструкцию общественной бани.

Я думаю, он бы меня запутал своими вопросами, если бы пассажиры не подняли шум под нашими окнами. Они сначала гудели в клаксон, а потом стали стучать в окно.

— С попутным рейсом заеду и устройю им веселую жизнь! — пообещал он на ходу, выскакивая на улицу.

Он был так огорчен потерей, что я сначала подумал: не собирался ли он отобрать их у меня по истечении какого-то срока? Но потом я догадался, что потеря подарка вообще воспринимается подарившим как проявление неблагодарности. Когда нам что-нибудь дарят, в нас делают вклад, как в сберкассу, чтобы получать маленький (как и в сберкассе), но вечный процент благодарности. А тут тебе сразу две неприятности — и вклад потерян, и благодарности иссякла.

К счастью, попутного рейса в ближайшее время не оказалось, и дядя постепенно успокоился. Но я заскочил вперед, а мне надо вернуться ко дню моего приезда из командировки. По правде говоря, мне неохота возвращаться к нему, потому что приятного в нем мало, но это необходимо для ясности изложения.

\* \* \*

Ровно в девять часов (по городским башенным часам) я вошел в редакцию. Платон Самсонович уже сидел за своим столом. Увидев меня, он встрепенулся, и его свеженакрахмаленная сорочка издала треск, словно она наэлектризовывалась от соприкосновения с его ссохшимся телом энтузиаста.

Я понял, что у него появилась новая идея, потому что он каждый свой творческий всплеск отмечал свежей сорочкой. Так что если с точки зрения гигиены он их менял не так уж часто, то с точки зрения развития новых идей он находился в состоянии непрерывного творческого горения. Так оно и оказалось.

— Можешь меня поздравить,— воскликнул он,— у меня оригинальная идея.

— Какая? — спросил я.

— Слушай,— сказал он, сдержанно сияя,— сейчас все поймешь.— Он придвинул к себе листик бумаги и стал писать какую-то формулу, одновременно поясняя ее: — Я предлагаю козлотура скрестить с таджикской шерстяной козой, и мы получаем:

Коза  $\times$  Тур = Козлотуру.

Козлотур  $\times$  Коза (тадж.) = Козлотур<sup>2</sup>.

Козлотур в квадрате будет несколько проигрывать в прыгучести, зато в два раза выигрывает в шерстистости. Здорово? — спросил он и, отбросив карандаш, посмотрел на меня блестящими глазами.

— А где вы возьмете таджикскую козу? — спросил я, стараясь подавить в себе ощущение какой-то опасности, которую излучали его глаза.

— Иду в сельхозуправление,— сказал он и встал,— нас должны поддержать. Ну, как ты съездил?

— Ничего,— ответил я, чувствуя, что он сейчас далек от меня и спрашивает просто так, из вежливости.

Он ринулся к двери, но потом вернулся и вложил листик с новой формулой в ящик стола. Закрыв ящик ключом, подергал его для проверки и вложил ключ в карман.

— Пока про это молчи,— сказал он на прощанье,— а ты пиши очерк, сегодня сдадим.

В его голосе прозвучало сознание превосходства думающего инженера над рядовым исполнителем. Я сел за стол, пододвинул пачку чистых листов, вынул ручку и приготовился писать. Я не знал, с чего начать. Вынул блокнот, зачем-то стал его перелистывать, хотя и знал, что он так и остался незаполненным.

Если судить по нашей газете, было похоже, что колхозники, за исключением самых несознательных, только и заняты козлотурами. Но в селе Ореховый Ключ все выглядело гораздо скромней. Я понимал, что прямо посягнуть на козлотура было бы наивностью, и решил действовать методом Иллариона Максимовича — то есть поддерживать идею в целом с некоторой отрицательной поправкой на местные условия. Пока я раздумывал, как начать, открылась дверь, и вошла девушка из отдела писем.

— Вам письмо,— сказала она и странно посмотрела на меня.

Я взял письмо и вскрыл его. Девушка продолжала стоять в дверях. Я посмотрел на нее. Она неохотно повернулась и медленно закрыла дверь.

Это было письмо оттуда, от моего товарища. Он писал, что до них дошли известия о нашем интересном начинании с козлотурами и редактор просит меня написать очерк, потому что хотя я и ушел от них, но они по-прежнему считают меня своим товарищем по перу, которого они выпестовали. Товарищ мой иронически цитировал его слова. Кстати ска-

зять, письма — это единственный вид корреспонденции, где он позволял себе иронизировать.

Выходит, сначала меня выпестовали, а потом я сам ушел.

Не могу сказать, что остальная часть письма мне больше понравилась. В ней сообщалось, что он ее видит иногда в обществе майора. Поговаривают, что она вышла за него замуж, хотя это еще не точно, добавлял он в конце.

Конечно, точно, подумал я и отложил письмо. Я заметил, что иногда люди смягчают неприятные известия не из жалости к нам, а скорее из жалости к себе, чтобы не говорить приличные по такому поводу слова сочувствия, призывать к суровому мужеству или тем более бежать за водой.

Не буду преувеличивать. У меня не хлынула горлом кровь и не открылась старая рана. Скорее я почувствовал некоторую тупую боль, какая бывает у ревматиков перед плохой погодой. Я решил ее тоже каким-то боком приспособить к своему очерку, чтобы она помогала мне вместе с потерянными часами.

У меня такая теория, что всякая неудача способствует удаче, только надо умело пользоваться своими неудачами. У меня есть опыт по части неудач, так что я научился хорошо ими пользоваться.

Только нельзя использовать неудач понимать примитивно. Например, если у вас украли часы, то это не значит, что вы тут же научитесь определять время по солнечным часам. Или немедленно сделаетесь счастливым, и вам согласно пословице будет просто незачем наблюдать часы.

Но главное даже не это. Главное — та праведная, но бесплодная ярость, которая вас охватывает при неудаче. Ярость эта предстает в чистом виде, ее как бы исторгает сама неудача, и пока она бурлит в вашей крови, спешите ее использовать в нужном направлении.

Но при этом нельзя отвлекаться на мелочи, что, к сожалению, бывает со многими.

Иной в состоянии благородной ярости, скажем, решил позвонить и хотя бы по телефону-автомату сделать самый смелый, самый значительный поступок в своей жизни — и вдруг автомат, ни с кем его не соединив, проглатывает монету. Неожиданно человек начинает биться в судорогах, он конвульсивно дергает рычаг трубки, словно это кольцо никак не раскрывающегося парашюта. А потом, что еще более нелогично, старается просунуть лицо в выем для монет, который обычно не больше спичечной коробки, и, следовательно, просунуть голову туда никак невозможно. Ну, хорошо, положим, он просунет голову в этот несчастный выем, что он там увидит? И даже если увидит свою монету, ведь не слизнет же он ее оттуда языком?

В конце концов, опустошив свою ярость в этих бессмысленных ковыряниях, он выходит из телефонной будки и неожиданно, может быть, даже для себя садится в кресло чистильщика обуви, словно и не было никакой благородной ярости, а так, вышел на прогулку и решил попутно навести блеск на свои туфли, а уж заодно и купить у чистильщика пару запасных шнурков. И вот он сидит в кресле чистильщика и, что особенно возмутительно, бесконечно возится с этими шнурками, то проверяя наконечники, то сравнивая их длину, сидит, слегка оттопырив губы, как бы издавая бесшумный свист, и при этом на лице его деловитая безмятежность рыбака, распутывающего сети, или крестьянина, собирающегося на мельницу и прощупывающего старый мешок.

Где ты, благородная ярость?

А иной, находясь в этом высоком состоянии, неожиданно бросается за мальчишкой, который случайно попал в него снежком. Ну, ладно,

пусть не случайно, но зачем взрослому человеку сворачивать со своей благородной стези и гнаться за мальчишкой, тем более что гнаться за ним бесполезно, потому что он знает все эти проходные дворы, как собственный пенал, и даже лучше, он и бежит от него нарочно не слишком быстро, чтобы ему было интересней. А человек в этой непредвиденной пробежке растряс всю свою ярость и внезапно останавливается перед продуктовым складом и смотрит, как грузчики скатывают огромные бочки с грузовика, словно именно для этого он и бежал сюда целый квартал. Отдышавшись, он даже начинает давать им советы, хотя советов его никто не слушает, однако никто и не пресекает их, так что издали, со стороны, можно подумать, что грузчики работали под его руководством и, не успев он прибежать сюда вовремя, неизвестно, чего бы натворили эти грузчики со своими бочками. В конце концов бочки вкатывают в подвал, и он умиротворенно уходит, словно все, что он делал, было предусмотрено еще утром. Где ты, благородная ярость?

Пока я так думал, открылась дверь, и снова вошла девушка из отдела писем.

— Я вам бумаги принесла,— сказала она и положила стопку бумаг на стол Платона Самсоновича.

— Хорошо,— сказал я. На этот раз я был рад ее приходу. Она меня вывела из задумчивости.

— Ну, что пишут?— спросила она как бы между прочим.

— Просят статью о козлотуре,— ответил я как бы между прочим.

Она пылливо посмотрела мне в глаза и вышла.

Я снова взялся за свой очерк. Козлотур стоял в центре очерка и выглядел великолепно. Село Ореховый Ключ ликовало вокруг него, хотя по условиям микроклимата козлотур, к сожалению, невзлюбил местных коз. Я уже кончал очерк, когда раздался телефонный звонок. Звонил Платон Самсонович.

— Послушай,— сказал он,— не мог бы ты намекнуть в своем очерке, что колхозники поговаривают о таджикской шерстяной козе?

— В каком смысле?— спросил я.

— В том смысле, что они довольны козлотуром, но не хотят останавливаться на достигнутом, а то тут некоторые осторожничают...

— Но это же ваша личная идея?— сказал я.

— Ничего.— Платон Самсонович вздохнул в трубку.— Сочтемся славою... Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу, это их подстегнет...

— Я подумаю,— сказал я и положил трубку.

Я знал, что некоторые места в моей статье ему не понравятся. Чтобы ствоевать эти места, я решил поддержать его новую идею, но это оказалось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем виделся в колхозе, и понял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Ваханга Бочуа, но он не подходил для этой цели. В конце концов я решил этот намек поставить в конце очерка как вывод, который сам напрашивается в поступательном ходе развития животноводства. «Не за горами время,— писал я,— когда наш козлотур встретится с таджикской шерстяной козой, и это будет новым завоеванием нашей мичуринской агробиологини».

Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и отдал машинистке. Я просидел над ним около трех часов и теперь чувствовал настоящую усталость и даже опустошенность. Я чувствовал себя опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы.— и козлотуры сыты, и председатель цел.

\* \* \*

Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым небом. Я сел за столик под пальмой и заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков и две чашки

кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы, потому что салфеток, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий, густой кофе и снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но и пожившим дипломатом.

Гипнотический шорох пальмовых листьев, горячий кофе, прохладная тень, мирное шелканье четок старожил... Постепенно козлотуры уходили куда-то далеко-далеко, я погружался в блаженное оцепенение.

За одним из соседних столиков, окруженный старожилками, витийствовал Соломон Маркович, опустившийся зубной врач. Когда-то, еще до войны, его бросила и оклеветала жена. С тех пор он запил. Его здесь любят и угощают. И хотя его любят, я думаю, бескорыстно, все же людям приятно видеть человека, которому еще больше не повезло, чем им. Сейчас он рассказывал мусульманским старикам библейские притчи, перемежая их примерами из своей жизни.

— ...И они мне говорят: «Соломон Маркович, мы тебя посадим в бутылку». А я им отвечаю: «Зачем я сяду на бутылку, лучше я сяду прямо на пол»...

Увидев меня, он неизменно говорит:

— Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет, я тебе расскажу свою жизнь от рожденья до смерти.

После этого обычно ничего не остается, как поставить ему коньяк и чашку кофе по-турецки, но иногда это надоедает, особенно когда нет времени или настроения выслушивать чужие горести.

Вернувшись в редакцию, я зашел в машинное бюро за своим очерком. Машинистка сказала, что его забрал редактор.

— Что, сам взял?— спросил я, чувствуя безотчетную тревогу и, как всегда, интересуясь ненужными подробностями.

— Прислал секретаршу,— ответила она, не отрываясь от клавиш.

Я зашел в наш кабинет, сел за свой стол и стал ждать. Мне не очень понравилась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке остались две-три формулировки, по-моему, недостаточно отточенные. Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел Платон Самсонович.

Я ждал вызова. Наконец прибежала секретарша и испуганно сказала, что меня ждет редактор. Хотя она обо всяком вызове редактора общалась испуганным голосом, все-таки теперь это было неприятно.

Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем сидел Платон Самсонович.

Редактор сидел в обычной для него позе пилота, уже выключившего мотор, но все еще находящегося в кабине. Жирные лопасти вентилятора были похожи на гигантские лепестки тропического цветка. Скорее всего ядовитого.

Казалось, Автандил Автандилович только что облетел места моей командировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я написал.

Рядом с его крупной, породистой фигурой сухощавый Платон Самсонович выглядел в лучшем случае, как дежурный механик. Сейчас он выглядел, как провинившийся механик. Когда я подошел к столу Автандила Автандиловича, я почувствовал даже физически, как от его облика повеяло холодом, словно он еще был окружен атмосферой заоблачных высот, откуда только что прилетел.

Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный холод, и постарался стряхнуть с себя унизительное оцепенение, но ничего не получилось. может быть потому, что он молчал. Мне вдруг показалось, что я в очерке все перепутал, причем я даже отчетливо увидел всю эту бредовую путаницу и удивился, как я этого не заметил, когда его перечитывал. Мне даже показалось, что я везде Иллариона Максимовича на-

звал почему-то Максимом Илларионовичем, и это было особенно неприятно.

Наконец, почувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему точки замерзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку:

— Вы написали вредную для нас статью.

Я посмотрел на Платона Самсоновича. Платон Самсонович отвернулся к стене.

— Причем вы замаскировали ее вред, — добавил Автандил Автандилович, любуясь моим замерзанием. — Сначала она меня даже подкупила, — добавил он, — есть удачные сравнения... Но все-таки это ревизия нашей основной линии.

— Почему ревизия? — сказал я. Голос мой подымался откуда-то из самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство.

— И потом что вы за чепуху пишете насчет микроклимата? Козлотур — и микроклимат. Что это — апельсин, грейпфрут?

— Но ведь он не хочет жить с местными козами, — сказал я взволнованно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг вспомнил и уверился, что в очерке ничего не напутано, а Илларион Максимович назван именно Илларионом Максимовичем.

— Значит, не сумели настроить его, не мобилизовали всех возможностей, а вы пошли на поводу...

— Это председатель его запутал, — вставил Платон Самсонович. — Я же тебя предупреждал: основная идея твоего очерка — это «чай хорошо, но мясо и шерсть еще лучше».

— Да вы знаете, — перебил его редактор, — если мы сейчас дадим им лазейку насчет микроклимата, они все будут кричать, что у них микроклимат неподходящий... и это теперь, когда нашим начинанием заинтересовалась вся страна?

— А разве мы и они — не одно и то же? — сорвалось у меня с губ, хотя я этого и не собирался говорить. Ну, теперь все, подумал я.

— Вот это и есть в плену отсталых настроений, — неожиданно спокойно ответил Автандил Автандилович и добавил: — Кстати, что это за ерундистика с таджикской шерстяной козой, что за фантазия, откуда вы это взяли?

Я заметил, что он сразу успокоился, — мое поведение объяснилось отчетливо найденной формулировкой.

Платон Самсонович поджал губы, на скулах у него выступили пятна румянца. Я промолчал. Автандил Автандилович покосился на Платона Самсоновича, но ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая нам обоим осознать значительность моего падения. И тут я опять подумал, что все кончено, и в то же время я подумал, что, если он меня решил изгонять, он должен был ухватиться за мои последние слова, но он почему-то за них не ухватился.

— Переработать в духе полной козлотуризации, — сказал он значительно и перекинул рукопись Платону Самсоновичу.

Откуда он знает это слово, подумал я, и стал ждать...

— Вас я перевожу в отдел культуры, — сказал он голосом человека, выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко, — писать можете, но знания жизни нет. Сейчас мы решили провести конкурс на лучшее художественное произведение о козлотуре. Проведите его на хорошем столичном уровне... У меня все.

Автандил Автандилович включил вентилятор, и лицо его начало постепенно каменеть. Пока мы с Платоном Самсоновичем выходили из кабинета, я боялся, что его кружащийся самолет пустит нам вслед пулеметную очередь, и успокоился только после того, как за нами закрылась тяжелая дверь кабинета.



— Сорвалось,— сказал Платон Самсонович, когда мы вышли в коридор.

— Что сорвалось?— спросил я.

— С таджикской козой,— проговорил он, выходя из глубокой задумчивости,— ты не совсем так написал, надо было от имени колхозника...

— Да ладно,— сказал я. Мне как-то все это надоело.

— Козлотуризация... бросается словами,— кивнул он в сторону кабинета Автандила Автандиловича, когда мы вошли в свой отдел.

Я стал собирать бумаги из ящика своего стола.

— Не унывай, я тебя потом снова возьму в свой отдел,— пообещал Платон Самсонович.— Кстати, правда, что тебе заказали статью из газеты, где ты работал?

— Правда,— сказал я.

— Если у тебя нет настроения, я могу им написать.— оживился он.

— Конечно, пишите,— сказал я.

— Сегодня же вечером напишу.— Он окончательно стряхнул с себя уныние и снова кивнул в сторону редакторского кабинета:— Козлотуризация... Одни бросаются словами, другие дело делают.

\* \* \*

Когда я проходил по нашей главной улице, со мной случилась жуткая вещь. На той стороне тротуара возле витрины универсального магазина стоял человек, одетый в новенький костюм и в шляпе. Он смотрел в витрину, в которой стояло несколько манекенов, точно так же одетых, как и он. Увидев его, я подумал: до чего они похожи друг на друга, то есть он и манекены. Не успел я додумать эту мыслишку, как один из манекенов, стоявших в витрине, зашевелился. Я как-то похолодел, но у меня хватило здравого смысла сказать себе, что это бред, что манекен не может шевелиться, до этого еще не додумались.

Только я так подумал, как манекен, который до этого зашевелился, теперь в какой-то злобной насмешке над моим здравым смыслом спокойно повернулся и стал выходить из витрины. Не успел я очнуться, как через мгновение зашевелились и остальные манекены, именно зашевелились сначала и только потом двинулись вслед за первым. И только когда все они вышли на улицу, я понял: этот заговор манекенов — просто какая-то ошибка зрения, помноженная на усталость, волнение и еще что-то. То, что я принял за витрину универсального магазина, было стеклянной перегородкой, и люди, которых я принял за манекенов, просто стояли по ту сторону стеклянной стены.

Надо дохнуть свежим воздухом, иначе так с ума сойдешь, подумал я и поскорей повернул в сторону моря.

Я с детства ненавижу манекены. Я до сих пор не пойму, как эту дикость можно разрешать. Манекен — это совсем не то, что чучело. Чучело человечно. Это игра, которая может некоторое время пугать детей или более долгое время птиц, потому что они еще более дети. На манекен я не могу смотреть без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, это циничное сходство с человеком.

Вы думаете, он, манекен, демонстрирует вам костюм новейшего покроя? Черта с два! Он хочет доказать, что можно быть человеком и без души. Он призывает нас брать с него пример. И в том, что он всегда представляет новейшую моду, есть дьявольский намек на то, что он из будущего.

Но мы не принимаем его завтрашний день, потому что мы хотим свой, человеческий завтрашний день.

Когда я гляжу в глаза собаки, я нахожу в них сходство с человеческим взглядом, и я уважаю это сходство. Я вижу миллионы лет, ко-

торые нас разделяют, и вижу, что, несмотря на миллионы лет, которые нас разделяют, ее душа уже оплодотворена человечностью, чувствует ее, как след, и идет за ней.

Собака талантлива. Меня трогает ее стремление к человеческому, и рука моя бессознательно тянется погладить ее, она рождает во мне отзывчивость. Значит, она не только стремится к человеческому, но и во мне усиливает человеческое. Наверное, в этом и заключается человеческая сущность — в духовной отзывчивости, которая порождает в людях ответную отзывчивость. Радостный визг собаки при виде человека — это проявление ее духовности.

Я удивляюсь способностям попугая, его голосовых связок и механической памяти, но до собаки попугаю далеко. Попугай — это любопытно. Собака — это прекрасно.

Мы часто удовлетворяемся, обозначая сущность приблизительным словом. Но даже если мы ее точно обозначаем — сущность меняется, а ее обозначение, слово, еще долго остается, сохраняя форму сущности, как пустой стручок сохраняет выпуклости давно выпавших горошин. Любая из этих ошибок, а чаще всего двойная, в конце концов приводит к путанице понятий. Путаница в понятиях в конечном итоге отражает наше равнодушие, или недостаточную заинтересованность, или недостаточную любовь к сущности понятия, ибо любовь — это высшая форма заинтересованности.

И за это приходится рано или поздно расплачиваться. И только тогда, шупая синяки, мы начинаем подбирать к сущности точное обозначение. А до этого мы путаем попугая с пророком, потому что мало или недостаточно задумывались над тем, в чем заключается величие человека. Мало задумывались, потому что мало уважали себя, и своих товарищей, и свою жизнь.

\* \* \*

Дня через три в обеденный перерыв я сидел в той же кофейне. Вошел Вахтанг Бочуа — в белоснежном костюме, сияющий апофеоз белых и розовых тонов. Он был в обществе старого человека и женщины, одетой с элегантно-неряшливостью гадалки. Увидев меня, Вахтанг остановился.

— Ну, как лекция? — спросил я.

— Колхозники рыдали, — ответил Вахтанг, улыбаясь, — а с тебя бутылка шампанского.

— За что? — спросил я.

— Разве ты не знаешь? — удивился Вахтанг. — Я же тебя спас из-под колеса истории. Автандил Автандилович хотел с тобой расстаться, но я ему сказал: только через мой труп.

— А он что? — спросил я.

— Понял, что даже колесо истории увязнет здесь. — Вахтанг любовно похлопал по своему мощному животу. — Эзекуция отменена.

Он стоял передо мной розовый, дородный, улыбающийся, неуязвимый, как бы сам удивленный беспредельностью своих возможностей и одновременно обдумывающий, чем бы меня еще удивить.

— А ты знаешь, кто это такие? — Он слегка кивнул в сторону своих спутников. Спутники уже заняли столик и оттуда любовно поглядывали на Вахтанга.

— Нет, — сказал я.

— Мой друг, профессор (он назвал его фамилию), известнейший в мире минералог и его любимая ученица. Между прочим, подарил мне коллекцию кавказских минералов.

— За что? — спросил я.

— Сам не знаю.— Вахтанг радостно развел руками.— Просто полюбил меня. Я его вожу по разным историческим местам.

— Вахта-а-анг, мы скучаем,— капризно протянула любимая ученица.

Сам профессор, ласково улыбаясь, смотрел в нашу сторону. Из-под столика высовывались его длинные ноги, прикрытые полотняными брюками и лениво вдетые в сандалии. Такие ноги бывают у долговязых рассеянных подростков.

— И это еще не все,— сказал Вахтанг, продолжая улыбаться и пожимая плечами в том смысле, что чудачествам в этом мире нет предела,— завещал мне свою библиотеку.

— Смотри не отрави его,— сказал я.

— Что ты,— улыбнулся Вахтанг,— я его, как родного отца...

— Приветствую нашу замечательную молодежь.— Откуда-то появился Соломон Маркович. Он стоял маленький, морщинистый, навек заспиртованный, во всяком случае изнутри, в своей тихой, но упорной скорби.

— Уважаемый Вахтанг,— обратился Соломон Маркович к нему,— я старый человек, мне не нужно сто грамм, мне нужно только пятьдесят.

— И вы их получите,— сказал Вахтанг и, вельможено взяв его под руку, направился к своему столику.

— Еще одна местная археологическая достопримечательность,— представил его Вахтанг своим друзьям и пододвинул стул.— Прошу любить: мудрый Соломон Маркович.

Соломон Маркович сел. Он держался спокойно и с достоинством.

— Я вчера прочел одну книжку, называется «Библия»,— начал он. Он всегда так начинал. Я подумал, что он, опять же согласно моей теории, из большой неудачи своей жизни извлекает маленькие удачи ежедневных выпивок.

\* \* \*

С месяц я спокойно работал в отделе культуры. Шум кампании не смолкал, но теперь он мне не мешал. Я к нему привык, как привыкаешь к шуму прибора. Областное совещание по козлотуризации колхозов нашей республики прошло на высоком уровне. Хотя и раздавались некоторые критические голоса, но они потонули в общем победном хоре.

В конкурсе на лучшее произведение о козлотуре победил бухгалтерыхнинского колхоза. Он написал сатирическую оду под названием «Козлотур и самодур». Стихотворение кончалось такой строфой:

Назло любому самодуру  
Я буду славить на века  
Не только мясо козлотура,  
Но и прекрасные рога.

Чтобы понять ядовитый смысл этой строфы, надо знать предысторию всего стихотворения. В основу его сюжета был положен реальный случай.

В одном колхозе козлотур чуть не забодал маленького сына председателя, который, как потом выяснилось (я имею в виду, конечно, сына), часто дразнил и даже, как утверждал Платон Самсонович, издевался над беззащитным животным, пользуясь служебным положением своего отца.

Ребенок сильно испугался, но, как выяснилось, никаких серьезных увечий козлотур ему не нанес. Тем не менее председатель под влиянием своей разъяренной жены приказал местному кузнецу спилить рога козлотуру. Об этом нам написал секретарь сельсовета. Платон Самсонович пришел в неистовство. Он поехал в колхоз, чтобы лично убедиться во

всем. Все оказалось правдой, Платон Самсонович даже привез один рог козлотура, другой рог, как смущенно сообщил ему председатель колхоза, утащила собака. Все сотрудники редакции приходили смотреть рог козлотура, даже невозмутимый метранпаж специально пришел из типографии посмотреть на рог. Платон Самсонович охотно показывал его, обращая внимание на следы варварской пилы кузнеца. Рог был тяжелый и коричневый, как бивень допотопного носорога. Заведующий отделом информации, он же председатель месткома, предложил отдать мастеру отделать его, чтобы потом ввести в употребление для коллективных редакционных пикников.

— Литра три войдет свободно,— сказал он, рассматривая его со всех сторон. Платон Самсонович с негодованием отверг это предложение.

По этому поводу он написал фельетон под названием «Козлотур и самодур», где сурово и беспощадно карал председателя. Он даже предлагал поместить в газете снимок обесчещенного животного, но Автандил Автандилович после некоторых раздумий решил ограничиться фельетоном.

— Это могут не так понять,— сказал он по поводу снимка. Кто именно может не так понять, он не стал объяснять.

Вот почему, когда на конкурс пришло стихотворение лыхнинского бухгалтера под тем же названием, Платон Самсонович стал за него горой, как самый влиятельный член жюри и его единственный технический эксперт. Редактор не имел ничего против, он только заметил, что надо немного изменить две последние строчки так, чтобы автор славил не только мясо и рога, но и шерсть козлотура.

— Еще неизвестно, что важнее,— сказал он и неожиданно сам исправил последние строчки. Теперь стихотворение кончалось так:

Назло любому самодуру  
Я буду славить на века  
И шерсть и мясо козлотура,  
А также пышные рога.

— Может, пышные не совсем точно? — сказал я.

— Пышные, то есть красивые, очень даже точно,— твердо возразил Автандил Автандилович.

В нем проснулось извечное упорство поэта, отстаивающего оригинал. Автор был доволен. Вскоре на это стихотворение была написана музыка, и притом довольно удачная. Во всяком случае ее неоднократно исполняли по радио и со сцены. Со сцены ее исполнял хор самодеятельности табачной фабрики, состоящий из слегка загримированных работников местной филармонии, под руководством ныне реабилитированного, известного в тридцатых годах исполнителя кавказских танцев Пата Патарая.

Рог так и остался в кабинете Платона Самсоновича. Он возлежал на кипе старых подшивок как напоминание о бдительности.

\* \* \*

Основное время в отделе культуры у меня уходило на обработку читательских писем — обычно жалобы на плохую работу сельских клубов — и стихи — творчество трудящихся.

После окончания конкурса на лучшее произведение о козлотуре стихи на эту тему посыпались с удвоенной силой. Причем многие из них были помечены грифом «К следующему конкурсу», хотя редакция нигде не объявляла, что будет еще один конкурс.

Интересно, что многие авторы, в основном пенсионеры, в сопроводительном письме упоминали, что государство их хорошо обеспечило, и они не нуждаются в гонораре, и если какой-нибудь молодой сотрудник редакции кое-что подправит в их стихах для напечатанья, то его скромный труд не останется без вознаграждения, ибо всякий труд и т. д. Сначала меня возмущало, почему именно молодой сотрудник, но потом я к этому привык и не обращал внимания.

Первое время я вежливо намекал авторам, что сочинительство требует некоторых природных способностей и даже грамотности. Но однажды Автандил Автандилович вызвал меня и, подчеркнув красным карандашом наиболее откровенные строчки моего ответа, посоветовал быть доброжелательней.

— Нельзя говорить, что у человека нет таланта. Мы обязаны воспитывать таланты, тем более когда речь идет о творчестве трудящихся,— заметил он.

К этому времени я окончательно уяснил слабость Автандила Автандиловича. Этот мощный человек цепенел, как кролик, под гипнозом формулы. Если он выдвигал какую-нибудь формулу, переспорить его было невозможно. Зато можно было перезарядить его другой формулой, более свежей. Когда он заговорил насчет творчества трудящихся и воспитания талантов, мне пришла в голову формула относительно заигрывания с массами, но я ее не решился высказать. Все-таки сюда она не слишком подходила.

Вот почему я, сжав зубы, отвечал на письма стихотворцев, злорадно советуя им учиться у классиков, в особенности у Маяковского.

Несколько раз за это время я выезжал в командировки и, когда готовил материал к печати, уже заранее знал те места, которые редактору не понравятся и будут обязательно вычеркнуты.

Для мест, подлежащих уничтожению, я делал единственное, что мог,— старался их писать как можно лучше.

\* \* \*

Одним словом, все шло нормально, но тут случилось событие, которое в какой-то мере повлияло на мою жизнь, хотя и не имело отношения к теме моего повествования, то есть к козлотурам.

В тот вечер мы сидели с ребятами на приморском парапете и поглядывали на улицу, по которой все время двигались навстречу друг другу два потока. Толпа нарядных, возбужденных своим процеживающим движением людей.

Белоснежная рубашка, черные брюки, узконосые туфли, пачка «казбека», заложенная за пояс на манер ковбойского пистолета,— летняя боевая форма южного шеголя.

Вечер не предвещал ничего особенного. Да мы ничего особенного и не ожидали. Просто отдыхали, сидя на парапете, лениво поглядывая на гуляющих, и говорили о том, о чем говорят все мужчины в таких случаях. А говорят они в таких случаях всякую ерунду.

Тогда-то она и появилась. Девушка была в обществе двух пожилых женщин. Они прошли по тротуару мимо нас. Я успел заметить нежный профиль и пышные золотистые волосы. Это была очень приятная девушка, только талия ее мне показалась слишком узкой. Что-то старинное, от корсетных времен.

Она покорно и прилично слушала то, что говорила одна из женщин. Но я не очень поверил в эту покорность. Мне подумалось, что девушка с такими пухлыми губами может быть и не такой уж покорной.

Я следил за ней, пока она со своими спутницами не скрылась из глаз. Слава богу, ребята ничего не заметили. Они держали под прицелом

улицу, а девушка как бы прошла над ними. Я посидел еще немного и почувствовал, что разговоры товарищей как-то до меня не доходят. Я уже нырнул куда-то и слышал их через толщу воды.

Девушка не выходила у меня из головы. Мне захотелось ее снова увидеть. Не то чтобы я боялся, что ее увлекут шеголи в белых рубашках с томной походкой. Нет, я был уверен, что их дурацкие патронташи с полупустыми гильзами казбечин не представляют для нее опасности. Слишком мелкая дробь. К тому же я понимал: вынуть ее из такой плотной шершавой обертки, как две пожилые женщины, задача дай бог.

Как бы там ни было, я распрощался с ребятами и ушел. Найти ее в такой толчее казалось невероятным. Но она мне уже мерещилась. Чуть-чуть, но все-таки. А раз человек мерещится, можно быть спокойным — сам найдется. Раз так, подумал я, значит, я излечился от старой болезни. Майор оказался неплохим врачом. Я почувствовал в себе вернейший признак выздоровления, желание снова заболеть. Я стал ее искать.

Я знал, что я ее увижу, а что дальше будет — понятия не имел. Просто надо было убедиться — в самом деле она мерещится или только показалось.

И вот я вижу — она стоит на маленьком причале для местных катеров. Наклонилась над барьером и смотрит в воду. На ней какая-то детская рубашонка и широченная юбка на недоразвитой галии. Про таких девушек у нас говорят: ножницами можно перерезать.

Рядом с девушкой на скамейке сидели обе женщины, с которыми она так покорно проходила по набережной.

Надо сказать, что о наших краях болтают всякую чепуху. Вроде того, что девушек воруют, увозят в горы и тому подобную чушь. В основном все это бред, но многие верят.

Во всяком случае спутницы девушки сейчас сидели от нее так близко, что в случае неожиданного умыкания могли бы, не вставая со скамейки, удержать ее хотя бы за юбку. Юбка эта сейчас плескалась вокруг ее ног широко и свободно, как флаг независимой, хотя и вполне миролюбивой державы.

Раздумывая, как быть дальше, я прошел до конца причала и, возвращаясь, решил во что бы то ни стало остановиться возле нее. Я решил использовать единственную ошибку, допущенную охраной, — фланг, обращенный к морю, был открыт.

Море было на моей стороне. И вот я подхожу, а легкий ветерок дует мне в спину, как дружеская рука, подталкивающая на преступление. Неожиданный порыв так раздул ее юбку, что мне показалось — она вот-вот взлетит, прежде чем я успею подойти. Я даже немного ускорил шаг. Но девушка, не глядя на юбку, прихлопнула ее рукой. Так прикрывают окно чтобы устранить сквознячок. А может быть, так гасят парашют. Хотя я сам с парашютом не прыгал и, разумеется, не собираюсь, но почему-то образ парашюта, особенно нераскрывшегося, меня преследует...

Но как же к ней все-таки подойти? И вдруг меня осенило. Надо притвориться приезжим. Обычно они друг другу почему-то больше доверяют. То, что она не из наших краев, было видно сразу.

И вот я подошел и стал рядом с ней. Стою себе солидно и скромно. Вроде человек гулял, а потом решил: дай я посмотрю на это Черное море, с чего оно плещется тут без всякой пользы для отдыхающих. Чтобы не было никаких подозрений, я даже не смотрел в ее сторону.

Внизу, прямо под нами, у железной лесенки, болталась шлюпка с рыбацкого баркаса. Сам баркас стоял на рейде. На эту шлюпку она и смотрела. Теперь-то можно сказать, что она смотрела прямо в глаза судьбе. Но тогда я этого не понимал. Я только заметил, что она как-то задумчиво смотрела на нее. Может быть, она решила удрать на этой

шлюпке от своих спутниц. Я бы с удовольствием помог ей, хотя бы в качестве гребца.

Я стоял рядом с ней, медленно чугуня и чувствуя — чем дальше буду молчать, тем труднее мне будет заговорить.

— Интересно, что это за лодка? — наконец пробубнил я, обращаясь к ней, но не прямо, а так под углом в сорок пять градусов. Более глупый вопрос трудно было придумать. Девушка слегка пожала плечами.

— Странно, — сказал я, продолжая гнуть ту же дурацкую линию, как будто увидеть шлюпку у причала бог весть какое чудо. — Ведь, говорят, здесь граница близко, — нервно проговорил я, мысленно колотя себя головой о поручни.

— А что, может, контрабандисты? — обрадовалась она.

— У нас в санатории рассказывали, — начал я бодро, еще сам не зная о чем.

Как раз в это время, грохоча сапогами, по железной лесенке спустились два человека. Первый нес большую плетеную корзину, прикрытую полотенцем, у второго за плечами лежал мешок.

Я замолк и приложил палец к губам.

— Как интересно, — прошептала девушка, — что они будут делать?

Я слегка покачал головой, давая знать, что ничего хорошего от них ожидать не следует. Девушка закусила губу и еще ниже наклонилась над поручнями.

Тот, что шел с корзиной, вскочил на плывущую лодку и, пробежав по банкам, уселся на корму, поставив корзину между ног. Не успел я опомниться, как он поднял свое румяное до черноты лицо и, улыбаясь, кивнул мне. Это был один из тех рыбаков, с которыми я когда-то выходил в море. Звали его Спиро.

— Приветствую работников печати! — закричал он, сверкнув зубами.

Я почувствовал, что неудержимо краснею, и незаметно кивнул ему головой. Но ему дай только рот раскрыть.

— Закусываете рыбкой, а пишете про козлотуров, — крикнул он и добавил, оглядев меня и девушку: — Интересное начинание, между прочим...

— Как дела? — вяло спросил я, понимая, что маскироваться дальше было бы еще глупей.

— Видишь, везу премиальные. — Он сдернул с корзины полотенце. В ней стояли винные бутылки.

— План перевыполняем, но золотая рыбка пока еще не попалась, — добавил он, глядя на девушку своими прозрачными, бесстыжими глазами. — Калон карица (хорошая девушка)! — вдруг закричал он, откидываясь и хохоча. Видно было, что, прежде чем купить вино, он основательно его отдегустировал. — Девушка, пусть он вам споет песню козлотура, — вдруг вспомнил он и снова завелся: — Он хорошо поет песню про козлотура, они все там поют песню про козлотура, они чокнулись на этой песне...

Наконец товарищ его оттолкнулся и сел на весла. Спиро еще долго дурачился, делал вид, что хочет утопиться на глазах у некоторых глупых людей, не понимающих, с каким сокровищем рядом они стоят.

— Подписчики волнуются! — закричал он издали, и лодка растворилась в колеблющейся темноте моря.

Все это время девушка держалась хорошо. Она дружелюбно улыбалась, и я постепенно успокоился.

— Что это за козлотуры? — спросила она, как только мы остались одни.

— Да так, новое животное, — сказал я небрежно.

— Странно, почему же я о нем не слыхала?

- Скоро услышите,— сказал я.
- И вы поете песню о новом животном?
- Скорее подпеваю.
- А в Москве ее уже поют?
- Кажется, еще нет,— сказал я.

— Нам пора,— неожиданно раздалось за спиной.

Мы обернулись. Обе женщины стояли перед нами, откровенно враждебно оглядывая меня. Девушка мягко отошла к ним.

— Мы целыми днями на пляже,— сказала она, как бы договаривая фразу, и взяла под руку своих спутниц.

Я очень вежливо попрощался со всеми и отошел. Я пересек приморскую улицу и отправился домой малолюдным переулком, чтобы не встречаться с друзьями и не расплескать того хорошего, что осталось от встречи с этой девушкой. По дороге домой я с удовольствием обдумывал ее последние слова. Мне ничего не мешало истолковать их, как намеки на встречу.

Весь следующий день в редакции меня распирала радость предстоящего свидания. Чтобы погасить неприличные излишки этой радости, чтобы не слишком оттопыривались от нее карманы, я решил все свое рабочее время посвятить читательским письмам.

Ровно в пять часов я запер дверь нашего отдела, сел в потный, битком набитый автобус и поехал на пляж.

И вот я на пляже. Из репродуктора лилась обволакивающая, тихая музыка. Она помогала раздеваться. Она была, как плавный переход от земли к морю.

Немного волнуясь, я стал обходить пляж, заглядывая под тенты и под зонты. Разноцветные купальные костюмы, загары всех оттенков, ярмарка летнего здоровья, древнегреческие позы лени и благодушия.

Я вдруг почувствовал, что не спешу ее увидеть. Поиски ее давали право быть внимательным ко всем.

Мне показалось, что я не слишком связан вчерашним впечатлением. Карнавал пляжных красок ослаблял его. Я знал, что слишком сильное чувство мешает самому себе, и был рад, что этого сейчас как будто нет.

У меня была глуповатая привычка при первом же удобном случае обрушиваться на понравившуюся девушку лавиной своих самых высоких чувств. Обычно это пугало их или даже оскорбляло. Возможно, им казалось, что раз человек так волнуется, значит, они сами недооценивали своих чар, не заметили, так сказать, золотиносной жилы на своем участке и надо его первым делом переоценить, тщательно огородить, во всяком случае не допускать первооткрывателя.

Так или иначе, как только я обрушивал на них эту дурацкую лавину, я немедленно переводился в запасные игроки. В конце концов мне это надоедало, а потом нравилась какая-нибудь другая девушка, и хоть я понимал, что надо быть посдержанней, лавина как-то сама по себе обрушивалась, и девушка каждый раз выскакивала из-под нее, в лучшем для меня случае слегка помяв прическу.

Думая об этом и радуясь своему спокойствию, я обошел пляж, но нигде ее не заметил. Настроение начинало портиться. Я прошел вдоль кромки прибоя, вглядываясь в тех, кто купался. Но и здесь ее не было.

Я почувствовал, как все вокруг потускнело почти на глазах. Я медленно разделся. Раз уж пришел на пляж — надо купаться. Возле меня остановился фотограф в коротких белых штанах, с мощными бронзовыми ногами пилгрима. Он снимал женщину, вытягивавшую голову из пены прибоя.

- Еще один снимок, мадам.



Отходящая волна обнажила тело пеннорожденной и руки, крепко упершиеся в песок растопыренными ладонями.

— Фотографирую...

Он так тщательно, с видом старого петербуржца, програссировал, что компания молодых туристов, расположившаяся рядом, дружно засмеялась.

Пилигрим снова навел свой фотоаппарат, а компания приготовилась смеяться. Женщина попыталась изобразить блаженство, но выражение тусклой озабоченности не сходило с ее лица. Пена прибора вокруг нее казалась будничной, как мыльная.

— Снимаю,— неожиданно сказал фотограф и посмотрел на ребят.

Но они все равно засмеялись. Фотограф и сам теперь улыбался. Он улыбался долгой, выжженной солнцем улыбкой. Улыбка его означала, что он понимает, какие это ребята еще глупые и молодые, и что в жизни вообще много не менее смешного, чем его профессия, только надо иметь терпение пожить, чтобы понять кое-что.

Я выкупался, но море меня не освежило. Я только почувствовал голод и раздражение. Я вспомнил, что забыл пообедать, что вообще-то со мной редко случалось.

Пляж начинал меня злить. Все эти дряблые преферансисты с тонкими, подагрическими ногами, спортсмены, туго набитые никому не нужными мышцами, местные сердцееды с выражением дурацкой, ничем не оправданной горделивости на лице и женщины, нагло выставившие якобы на солнце свои якобы бесспорные прелести.

Я быстро оделся и вышел. Доехал до города и пошел домой — голодный, усталый, злой. Только хотел открыть дверь, как обнаружил, что потерял ключ. Перерыл все карманы, но ключа нигде не было. Я понял, что попал в полосу невезения. У меня всегда так. Или все идет хорошо, или все валится из рук. Видимо, ключ у меня выпал из кармана, когда я одевался на пляже. Скорее всего я так решил, потому что это было единственное место, где его можно было хотя бы поискать.

Проклиная все на свете, я дошел до автобусной остановки и снова поехал на пляж. Теперь в автобусе людей было гораздо меньше. В такое время на пляж уже почти никто не ездит.

На одной из остановок шофер сошел с автобуса и минут через пять возвратился с целым кулком горячих пирожков, просвечивающих через промасленный кулек. Пожевывая пирожки, он не спеша проехал две остановки и снова вышел из автобуса. Напротив остановки был пивной ларек. Теперь он свои пирожки запивал пивом. Пассажиры покорно ворчали. Рядом с пивным ларьком высилось дощатое здание — филиал народного суда. Я испугался, как бы он туда не вошел послушать какое-нибудь дело. Я думаю, у него хватило бы нахальства войти туда, не выпуская из рук пивной кружки. Но пока он спокойно пил пиво.

Я сидел напротив дверей, машинально скатывая на пальцах свой билетик. Наконец, когда терпение дошло до предела, я его выщелкнул в дверь. В ту же секунду с передней площадки вошел контролер и стал проверять билеты. Мне надо было выйти из машины и найти свой билет, но сделать это теперь было неудобно — люди могли подумать, что я удираю.

Когда контролер подошел ко мне, я стал объяснять, как потерял билет, сам чувствуя глупость своего объяснения. По лицу контролера было видно, что он озабочен только одной мыслью, как бы я не подумал, что он мне верит.

Тогда я вышел из автобуса и стал искать свой билет под поощрительный хохот ближайших пассажиров. Билет не находился. Я взял себя в руки и пытался осмыслить возможную траекторию его полета.

Но там, где он должен был упасть, ничего не было. Наверное, его снесло ветром. Контролер стоял у входа, и взгляд его, печально умудренный (терпеть не могу этот печально умудренный взгляд), выражал, что нельзя найти того, чего не терял.

Наконец пассажиры, видимо решив, что я свое отработал, дружно вступились за меня и стали уверять, что видели, как я бросил билет. Перед общественным мнением контролеру пришлось отступить, и он вышел из машины, сделав мне небольшое внушение.

Наконец шофер допил свое пиво, и когда он хлопнул дверцей и бодро включил мотор, все почувствовали к нему прилив благодарности, которой, конечно, не было бы, если б он ехал, как положено.

Я утешал себя мыслью, что раз попал в полосу невезения — ничего не поделаешь. Главное — проскочить эту полосу с наименьшими потерями.

И вот я выхожу из автобуса, подхожу к пляжной кассе и обнаруживаю, что у меня нет десяти копеек. Всего семь копеек. Еще утром забыл захватить деньги из дому.

Мне всегда не нравилось, что за вход на пляж нужно платить, как будто море соорудил наш местный муниципалитет.

— Проходите, вы же выходили, — сказала билетерша, заметив, что я мнусь у кассы. Я посмотрел на нее. Доброе, улыбающееся лицо пожилой женщины. Удивительно, что она меня запомнила.

Я прошел на пляж. Эта небольшая удача так меня взбодрила, что я почувствовал, как во мне заработала какая-то энергия. Может быть, мотор удачи. И хотя я до этого почти не надеялся, что найду свой ключ, ведь даже если я его потерял на пляже, тут проходят сотни людей, теперь я был уверен — найду.

Я его не только нашел — я его издала заметил. Да, маленький, почти чемоданный ключик лежал, поблескивая на песке, на том самом месте, где я раздевался. Никто его не заметил, не подобрал или просто не втоптал в песок. Я поднял ключ, и когда, разогнувшись, посмотрел на море, неожиданное, непередаваемое ощущение захлестнуло меня. Я увидел теплую синеву моря, озаренного заходящим солнцем, смеющееся лицо девушки, которая, оглядываясь, входила в воду, парня на спасательной лодке с сильными загорелыми руками, отдыхающими на веслах, берег, усеянный людьми, — и все это было так мягко и четко освещено и столько было вокруг доброты и покоя, что я замер от счастья.

Это было не то счастье, которое мы осознаем, вспоминая, а другое, высшее, наиредчайшее, когда мы чувствуем, что оно сейчас струится в крови, и мы ощущаем самый вкус его, хотя передать или объяснить это почти невозможно.

Казалось, люди пришли к своему морю, и прийти к нему было трудно, и шли они к нему издалека, с незапамятных времен, всю жизнь, и теперь хорошо морю со своими людьми и людям со своим морем.

Странное чудное состояние длилось несколько минут, а потом оно постепенно прошло, вернее острота прошла, но остался привкус того, что оно было, как остается легкое головокружение после первой утренней затяжки.

Я не знаю, откуда оно берется, но такое состояние я переживал много раз, хотя если вспоминать всю жизнь, то бывало оно не так уж часто. Чаще всего оно приходит в одиночестве, где-нибудь в горах, в лесу или на море. Может быть, это предчувствие жизни, которая могла быть или будет? Думая обо всем этом, я сел в автобус и приехал домой, кстати говоря, забыв взять билет.

Вечером я шатался по городу, надеясь случайно встретить ее где-нибудь. Мне очень хотелось увидеть ее, хотя я и начинал страшиться

этой встречи. Несколько раз я замечал, что во мне что-то неприятно обрывается, как в самолете, когда он попадает в воздушную яму, но потом оказывалось, что это не она, что я ошибся.

...Я вышел на причал для местных катеров и увидел ее. Искать ее здесь мне почему-то не приходило в голову. Она стояла почти на том же месте. Как только я увидел ее, мне захотелось удрать, но я взял себя в руки и не сделал этого.

Я шел по хорошо освещенному причалу, но она меня не заметила. Было похоже, что она о чем-то задумалась, но потом мне показалось, что она просто не хочет меня узнавать. Я поравнялся с ней и уже было повернул назад, но наши взгляды встретились, и она улыбнулась. Верней, лицо ее озарилось вспышкой радости.

Эта улыбка, словно порыв ветра, сдунула с меня усталость и напряжение этого дня.

Люди не так часто нам радуются, во всяком случае не так часто, как нам хотелось бы. А если и случается, что радуются при виде нас, все же чаще всего скрывают свою радость, чтобы не показаться сентиментальными или чтобы не обидеть других, при виде которых они не могут радоваться. Так что иногда и не поймешь, рад тебе человек или не рад...

...Подъехал прогулочный катер, и мы, словно сговорившись, вошли в него. Не помню, о чем мы говорили. Мы стояли, облокотившись о поручни, и смотрели в море. Как тогда над барьером причала. Но теперь, казалось, этот причал отделился от берега и мчался в открытое море. Я смотрел на ее лицо, и нежность его странно проступала сквозь крепкий грубоватый загар.

Потом ей захотелось пить, и мы прошли на корму в буфет по узкому и темному проходу.

Лимонад оказался холодным и тугим, как шампанское. Я вспомнил, что давно не пил лимонада, и подумал, что никогда шампанское не бывало таким вкусным, как этот лимонад.

Позже, когда мне приходилось пить шампанское и оно мне казалось безвкусным, как выдохшийся лимонад, я вспоминал этот вечер и думал о великой и в то же время немного скупердйской мудрости природы, стремящейся к равновесию, ибо за все надо платить по цене. И если ты пьешь лимонад, который тебе кажется шампанским, — значит, рано или поздно ты будешь пить шампанское, похожее на лимонад.

Такова грустная, но, по-видимому, необходимая логика жизни. И то, что она необходима, пожалуй, грустней, чем сама грустная логика жизни.

\* \* \*

Говорят, капля камень точит. Тем более Платон Самсонович. И уже в сельхозуправлении согласились выделить средства на приобретение таджикских коз, и уже Платон Самсонович, не дожидаясь официального хода событий, написал таджикским товарищам об этом, и уже они ответили, что слышали о нашем интересном начинании и сами собираются приобрести козлотуров, и уже они договорились обменяться животными и произвести опыты одновременно, и уже Платон Самсонович уехал к селекционеру, чтобы уговорить его принять партию таджикских шерстяных коз, — но тут грянул гром. И грянул он именно в тот день, когда Платон Самсонович должен был возвратиться.

В этот день в одной из центральных газет появилась статья, высмеивавшая необоснованные нововведения в сельском хозяйстве. Особенно досталось нам за бездумную проповедь козлотура, как писал автор. Кстати, в этой же статье делался смутный намек на то, что опыты знаменитого московского ученого навряд ли можно назвать вполне удачными, во всяком случае гениальность их ставилась под сомнение.

О статье мы узнали утром, хотя газету никто не видел. К нам центральные газеты приходят к вечеру или на следующий день. Но такие вещи узнаются очень быстро.

Автандил Автандилович был взволнован, как никогда. Он несколько раз в этот день ходил в обком партии, потом позвонил в райком того района, куда уехал Платон Самсонович. Оттуда ему ответили, что Платон Самсонович уже выехал с рейсовой машиной в город. Машина должна была подойти к трем часам. На это время редактор назначил общее собрание работников редакции.

В три часа мы собрались в кабинете редактора. Рейсовый автобус останавливался напротив редакции, поэтому сотрудники старались занять места у окон. Почему-то всем было интересно посмотреть, как он будет выходить из автобуса.

Все испытывали почти радостное нервное возбуждение. По-настоящему за козлотура болел только Платон Самсонович, и все понимали, что основной удар придется по нему. Поэтому остальные сотрудники чувствовали себя так, как чувствует себя человек, когда ждет большой грозы, находясь под надежным укрытием. Сладостное ощущение уюта, собственной безопасности.

Автандил Автандилович сидел отрешенный от всех, глядя куда-то вперед в пространство. Перед ним лежал машинописный текст статьи, кажется, полученный им по телетайпу.

Он впервые забыл выключить вентилятор, и страницы грозной статьи под струей воздуха, казалось, вздрагивали и закипали от нетерпенья.

Фельетонист два раза заходил за спину редактора якобы для того, чтобы посмотреть на карту нашей республики, висевшую над редакторским столом. И хотя на вскипающей поверхности бумаги навряд ли что-нибудь можно было прочесть, особенно из-за спины Автандила Автандиловича, и все это понимали, но все-таки гримасами спрашивали у фельетониста: мол, что там. В ответ он гримасой же отвечал, что, мол, такого разгрома еще не бывало.

Автандил Автандилович, не глядя, кивком головы водворил его на место.

Наконец машина подъехала, и все столпились у окон посмотреть, как он будет выходить. Почему-то нам показалось, что он первый выйдет из машины, но из дверей неожиданно выскочила охотничья собака, а за ней появился и сам охотник. На поясе у него густо струились перепелки. Он шел от машины с тяжелой бодростью в походке, шел, как бы отягощенный удачей. Я почувствовал тоскливую зависть к нему и даже к его собаке.

Пожилая крестьянка с корзиной, наполненной грецкими орехами, вышла из машины и тут же стала переходить улицу в неположенном месте. Постовой свистнул, и она побежала, рассыпая орехи. Все-таки побежала в ту сторону, куда она собиралась переходить.

Платон Самсонович вышел из машины одним из последних. Секунду он постоял возле машины, придерживая одной рукой пиджак, устало переброшенный через плечо, и вдруг пошел в противоположную от редакции сторону.

— Он уходит, — очнулся кто-то первый.

— Как уходит? — грозно переспросил Автандил Автандилович.

— Я его верну! — крикнул фельетонист и ринулся к дверям.

— Только ничего не говорите! — бросил ему вслед редактор.

Мы стояли у окон и следили за Платоном Самсоновичем. Он медленно перешел улицу, все так же держа свой пиджачок, переброшенный за спину. Перейдя улицу, он неожиданно подошел к киоску с газированной водой.

— Воду пьет,— удивился кто-то, и все рассмеялись.

Фельетонист выскочил на улицу, подошел к перекрестку и бдительно стал глядеть по сторонам, заслоняясь ладонью от солнца. Он не замечал Платона Самсоновича, потому что к киоску подошел человек и заслонил его. Фельетонист, беспокойно озираясь, стоял несколько мгновений, а потом с панической быстротой перебежал улицу и отправился в сторону моря. Мы с интересом следили за ним, потому что сейчас он должен был пройти мимо киоска, но он так целенаправленно смотрел вперед, что не заметил Платона Самсоновича. Он прошел киоск, и снова все рассмеялись. Но тут он неожиданно оглянулся и развел руками,— видно, Платон Самсонович его окликнул сам.

Фельетонист что-то сказал и, махнув рукой в сторону редакции, быстро удалился. Чувствовалось, что он знал, что за ним наблюдают из окон, и старался показать, что соприкасается с Платоном Самсоновичем только по вынужденному поводу.

...Когда пассажиры разошлись, шофер рейсовой машины неожиданно выскочил на улицу и стал подбирать рассыпанные орехи. Подобрал все до одного, он влез в машину и уехал.

Наконец Платон Самсонович открыл дверь кабинета и вошел. Он кивком поздоровался со всеми и присел на стул. Вид у него был сумрачно-сосредоточенный. Мне кажется, уже по тому, как он сел на краешек стула, было видно, что он все знает. Впрочем, возможно, я это уже потом так подумал.

— Ну, как договорились с селекционером? — спросил Автандил Автандилович безмятежным голосом.

Плотно сомкнутые губы Платона Самсоновича слегка задергались.

— Автандил Автандилович,— сказал он глухим голосом и, как-то не вполне разогнувшись, встал со стула.— Я все знаю...

— Интересно, кто вам сказал? — спросил тот и посмотрел на фельетониста. Фельетонист ударил ладонью в грудь и застыл, как бы покоряясь судьбе.

— Утром по радио передавали,— сказал Платон Самсонович, продолжая стоять в той же позе, не вполне разогнувшись.

— И тут первый,— мрачно пошутил редактор, стараясь скрыть разочарование.

Автандил Автандилович несколько мгновений смотрел на Платона Самсоновича холодеющим взглядом, словно расстояние между ними увеличивалось и он его переставал узнавать. Мне показалось, что под этим взглядом Платон Самсонович еще больше согнулся.

— Садитесь,— сказал Автандил Автандилович тоном, каким говорят со случайным посетителем редакции.

И вот он прочел статью. Он ее прочел зычным, хорошо поставленным голосом. Он читал, постепенно загораясь и иногда посматривая в сторону Платона Самсоновича.

Сначала казалось, что он, читая статью, нам всем и себе раскрывает допущенные нами ошибки и перегибы. Но пафос в его голосе все время нарастал, и вдруг стало казаться, что он лично вместе с другими товарищами обнаружил эти ошибки. К концу статьи он так слился с ее стилем, с внезапными переходами от гнева к иронии, что стало казаться — именно он и притом без всяких товарищей первым заметил и смело вскрыл все наши ошибки.

Началось обсуждение статьи. Тут надо сказать, что Автандил Автандилович держался самокритично. Он заявил, что, хотя и пытался приостановить бездумную проповедь козлотура, именно с этой целью он и печатал, хотя и под рубрикой «Посмеемся над маловерами», критиче-

ские заметки зоотехника, но делал это недостаточно энергично и в этом смысле берет часть вины на себя.

Фельетонист, который все это время нетерпеливо ерзал, выступил сразу же после редактора и напомнил, что и он в фельетоне о неплательщике алиментов в замаскированной форме пытался критиковать бездумную проповедь козлотура, но Платон Самсонович не только не внял его голосу, но даже пытался пришить ему ярлык.

— Ярлык? — неожиданно выдал Платон Самсонович и сумрачно посмотрел на фельетониста.

— Да, политический ярлык! — повторил тот решительно и посмотрел на Платона Самсоновича взглядом человека, навсегда разорвавшего цепи рабства.

— Вы преувеличиваете, — примирительно сказал Автандил Автандилович. Он не любил слишком широких обобщений, если эти обобщения делал не он сам.

В связи с бездумной проповедью козлотура Автандил Автандилович поднял вопрос о семейных делах Платона Самсоновича.

— Отрыв от хозяйственных нужд наших колхозов постепенно привел к отрыву от семьи, — подытожил он свое выступление, — и это закономерно, ибо человек потерял критерий истины и зазнался.

После того, как критика Автандила Автандиловича была поддержана сотрудниками, он выступил еще раз и сказал, что все-таки нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Платон Самсонович старый, опытный газетчик и, несмотря на ошибки, до последней капли крови предан нашему общему делу. Редактор и в этой части был поддержан сотрудниками. Кто-то даже сказал, что старый конь борозды не портит.

Но тут фельетонист опять не удержался и напомнил, что загибы вообще характерны для работы Платона Самсоновича. Он напомнил, что Платон Самсонович несколько лет назад пытался устансвить новый метод рыбной ловли, пропуская через воду токи высоких частот. В результате рыба якобы должна была собираться в одном месте, тогда как на самом деле она ушла из бухты и могла совсем не приходиться, если бы опыты продолжались.

— Не в этом дело, вы не так поняли, — вставил было Платон Самсонович, но к этому времени все устали и никому неохота было выслушивать технологию старого опыта.

Заведующим отделом сельского хозяйства был назначен заведующий отделом пропаганды как человек, имеющий наиболее острое чутье к новому. Платона Самсоновича оставили при нем литсотрудником с тем, чтобы он, как старый опытный работник, помогал освэиться новому заведующему. Ему объявили строгий выговор по служебной линии. Редактор решил пока ограничиться этим при условии, что он вернется в семью и с нового учебного года поступит в вечерний университет. У Платона Самсоновича не было высшего образования.

— Кстати, заберите этот самый рог козлотура, — сказал Автандил Автандилович, когда мы уже расходились.

— Рог? — как эхо повторил Платон Самсонович, и я заметил, как на его худой шее судорожно задвигался кадык.

— Да, рог, — повторил Автандил Автандилович, — чтобы его духа здесь не было.

Когда Платон Самсонович уходил из редакции с рогом, небрежно завернутым в газету, мне стало почему-то жалко его. Я представил, как он возвращается в свою одинокую квартиру с этим одиноким рогом (все, что осталось от его великого замысла), мне стало совсем не по себе. Но что было делать, утешить я его не мог, да и навряд ли это было возможно.

Статья из центральной газеты была перепечатана в нашей, причем то место, где говорилось о бездумной проповеди козлотура, было набрано жирным шрифтом с замечанием в скобках: «Курсив наш». В том же номере была помещена передовая под заголовком «Бездумная проповедь козлотура», где давалась критическая оценка всей работе газеты; и в особенности отдела сельского хозяйства.

В передовой упоминалось о некоторых лекторах, которые, не дав себе труда разобраться в этом новом деле, легкомысленно примкнули к пропаганде малоизученного опыта.

Одним словом, имелся в виду Вахтанг Бочуа. Но прямо писать о нем не решились, потому что неделей раньше он подарил местному краеведческому музею ценную коллекцию кавказских минералов.

Он, разумеется, позаботился, чтобы это мероприятие не осталось безгласным. Он сам позвонил в редакцию и попросил, чтобы кого-нибудь прислали на церемонию дарения. Прислали фотокора, который и запечатлел ее. Вахтанг с видом смирившегося пирата вручал свои сокровища застенчивому директору музея.

Так что теперь, через неделю после триумфа дружбы и бескорыстия, упоминать его в газете было как-то неловко.

В следующих номерах печатались организованные отклики на критику козлотура. Статьи, к упрямому зоотехнику поехал один из наших сотрудников с тем, чтобы он теперь выступил с большой статьей против козлотуризации животноводства. Но упрямый зоотехник остался верен себе и наотрез отказался писать, заявив, что теперь ему это неинтересно.

После появления статьи в редакцию многие звонили. Так, например, из торгова позвонили, чтобы посоветоваться, как быть с названием павильона прохладительных напитков «Водопой козлотура». Кстати, к нам стали поступать сигналы о том, что в некоторых колхозах начали забывать козлотуров. По этому поводу мы давали разъяснение в том смысле, что не нужно шараяться из стороны в сторону, а нужно ввести козлотуров в колхозное стадо на общих основаниях.

С этой же целью Автандил Автандилович, посоветовавшись с нами, и предложил товарищам из торгова не уничтожать вывеску целиком, но незаметно ликвидировать в слове козлотур первые два слога. Так что теперь получалось «Водопой тура», что звучит, как мне кажется, еще романтичней.

Вывеску на самом павильоне быстро привели в порядок, но над павильоном еще целый месяц по ночам светило, нагло вато подмигивая электрическими лампочками, старое название «Водопой козлотура».

Получалось так, что днем на водопой приходят туры, а по ночам все еще упорствуют козлотуры.

Некоторые местные интеллигенты нарочно приходили смотреть по вечерам на эту электрическую вывеску. Они в ней находили как бы противоборствующий чему-то либеральный намек и одновременно злобное упорство догматиков.

Как-то, проходя в кафе, я сам видел небольшую группку подобных вольнодумцев, внушительно, но незаметно толпившихся напротив павильона.

— Это не просто,— произнес один из них, слегка кивнув на вывеску.

— Плюньте мне в глаза, если все это просто так кончится,— добавил другой.

— Друзья мои,— прервал их благоразумный голос,— все это верно, но не надо слишком глазеть на нее. Посмотрел — и проходи. Посмотрел — и дальше.

— А что тут такого! — возразил первый. — Вот захотел и буду смотреть. Не те времена.

— Да, но могут не так понять,— сказал благоразумный, озираясь. Заметив меня, он на мгновение осекся и добавил: — Вот я и говорю, что критика прозвучала своевременно.

Тут все, как по команде, посмотрели в мою сторону, после чего компания отправилась в кафе, глухо споря и шумно жестикулируя.

В один из этих дней лично мне позвонил директор филармонии и спросил, как быть с песней о козлотуре, которую исполняет хор табачников, а также некоторые солисты.

— Понимаете,— сказал он извиняющимся голосом,— у меня ведь финансовый план, а песня пользуется большим успехом, хотя и не вполне здоровым, как я теперь понимаю, но все же...

Я решил, что по такому вопросу не мешает посоветоваться с Автандилом Автандиловичем.

— Подождите,— сказал я директору филармонии и отправился к редактору.

Автандил Автандилович выслушал меня и сказал, что о хоровом выступлении с песней о козлотуре сейчас не может быть и речи.

— Да и хор табачников у них липовый,— неожиданно добавил он.— Но солисты, я думаю, могут выступать, если словам придать правильный смысл. Одним словом,— заключил он, нажимая кнопку вентилятора,— главное сейчас — не шарахаться из стороны в сторону. Так и передай.

Я передал суть нашего разговора попечителю филармонии, после чего он задумчиво, как мне показалось, повесил трубку.

В этот день Платон Самсонович не пришел на работу, а на следующий явилась его жена и прошла прямо в кабинет редактора. Через несколько минут редактор вызвал к себе председателя профкома. Потом тот рассказал, что там было. Оказывается, Платон Самсонович заболел — не то нервное расстройство на почве переутомления, не то переутомление на почве нервного расстройства. Жена его, как только узнала о судьбе козлотуров, пришла к нему в его одинокую квартиру и застала его в постели. Они, кажется, окончательно примирились и, оставив новую квартиру детям, будут жить в старой.

— Вот видите,— примирительно сказал Автандил Автандилович,— здоровая критика укрепляет семью.

— Критика-то здоровая, да он у меня совсем расхворался,— ответила она.

— А это мы поможем,— заверил Автандил Автандилович и велел председателю профкома сейчас же достать ему путевку.

По иронии судьбы или даже самого председателя профкома Платон Самсонович был отправлен в горный санаторий имени бывшего Козлотура. Впрочем, это одна из лучших здравниц в нашей республике и попасть туда не так-то просто.

\* \* \*

Недели через две, когда замолкли последние залпы контрпропаганды и нашествие козлотуров было полностью подавлено, а их рассеянные одиночные экземпляры, смирившись, вошли в колхозные стада,— в нашем городе проводилось областное совещание передовиков сельского хозяйства. Дело в том, что наша республика перевыполнила план заготовки чая — основной сельскохозяйственной культуры нашего края. Колхоз Иллариона Максимовича назывался среди самых лучших.

В перерыве, после официальной части, я увидел в буфете самого Иллариона Максимовича. Он сидел за столиком вместе с агрономом и девушкой Гоголой. Девушка ела пирожное, оглядывая посетительниц буфета. Председатель и агроном пили пиво.



Накануне у нас в газете был очерк о чаеводах колхоза Ореховый Ключ. Поэтому я смело подошел к ним. Мы поздоровались, и я присел за столик.

Агроном выглядел, как обычно. У председателя выражение лица было иронически-торжественное. Такое лицо бывает у крестьян, когда они из вежливости выслушивают рассуждения городских людей о сельском хозяйстве. Только когда он обращался к девушке, в глазах у него появлялось что-то живое.

— Еще одно пирожное, Гогола?

— Не хочу,— рассеянно отвечала она, рассматривая наряды женщин, входящих и выходящих из буфета.

— Давай, да? Еще один,— продолжал уговаривать председатель.

— Пирожное не хочу, луманад хочу,— наконец согласилась она.

— Бутылку луманад,— заказал Илларион Максимович официантке.

— Рады, что козлотура отменили? — спросил я его, когда он разлил пиво по стаканам.

— Очень хорошее начинание,— согласился Илларион Максимович,— только за одно боюсь...

— Чего боитесь? — спросил я и взглянул на него.

Он выпил свое пиво и ответил только после того, как поставил стакан.

— Если козлотура отменили,— проговорил он задумчиво, как бы вглядываясь в будущее,— значит, что-то новое будет, но в условиях нашего климата...

— Знаю,— перебил я его,— в условиях вашего климата это вам не подойдет.

— Вот именно! — подтвердил Илларион Максимович и серьезно посмотрел на меня.

— По-моему, напрасно боитесь,— сказал я, стараясь придать голосу уверенность.

— Дай бог! — протянул Илларион Максимович.— Но если козлотура отменили, что-то, наверное, будет, но что — пока не знаю.

— А где ваш козлотур? — спросил я.

— В стаде, на общих основаниях,— сказал председатель как о чем-то далеком, уже не представляющем опасности.

Прозвенел звонок, и мы прошли в зал. Тут я распрощался с ними, а сам остался у дверей. Мне надо было прослушать концерт и быстро вернуться, с тем чтобы написать отчет.

Первым номером выступали танцоры Пата Патарая. Как всегда ловкие, легкие исполнители кавказских танцев были встречены шумным одобрением.

Их несколько раз вызывали на бис, и вместе с ними выходил сам Пата Патарая,— тонкий, с пружинистой походкой пожилой человек. Постепенно загораясь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетел на сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов па «полет на коленах».

После сильного разгона он вылетал на сцену и, рухнув на колени, скользил по биссектрисе в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее мгновение, когда зал, замирая, ждал, что он вот-вот вывалится в оркестр, Пата Патарая вскакивал, как подброшенный пружиной, и кружился, как черный смерч.

Зрители приходили в неистовство.

— Три чонгуристок исполняет песню без слов,— объявила ведущая.

На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых платьях и в белых косынках. Они застенчиво уселись на стульях и стали настраивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглядывая друг

на друга. Потом по знаку одной из них они ударили по струнам — и полилась мелодия, которую они тут же подхватили голосами и запели на манер старинных горных песен без слов.

Мелодия мне показалась чем-то знакомой, и вдруг я догадался, что это бывшая песня о козлотуре, только совсем в другом, замедленном ритме. По залу пробежал шелест узнавания. Я наклонился и посмотрел в сторону Иллариона Максимовича. На его крупном лице все еще оставалось выражение насмешливой торжественности. Возможно, подумал я, он в город приезжает с таким выражением и оно у него остается до самого отъезда. Гогола, вытянув свою аккуратную головку, замороженно глядела на сцену. Спящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, как Кутузов на военном совете.

Трио чонгуристок аплодировали еще больше, чем Пата Патарая. Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почувствовали в ней сладость запретного плода.

И хотя сам плод был горек и никто об этом так хорошо не знал, как сидящие в этом зале, и хотя все были рады его запрету, но вкушать сладость даже его запретности было приятно — видимо, такова природа человека, и с этим ничего не поделаешь.

\* \* \*

Жизнь редакции вошла в свою нормальную колею. Платон Самсонович вернулся из горного санатория вполне здоровым. На следующий день после своего возвращения он сам предложил мне пойти с ним на рыбалку. Это было лестное для меня предложение, и я, разумеется, с радостью согласился.

Я уже говорил, что Платон Самсонович — один из самых опытных рыбаков на нашем побережье. Если рыба не ловится в одном месте, он говорит:

— Я знаю другое место...

И я гребу к другому месту. А если и там не ловится рыба, он говорит:

— Я знаю совсем другое место...

И я гребу к совсем другому месту. Но если уж рыба не ловится и там, он ложится на корму и говорит:

— Гребите к берегу, рыба ушла на глубину...

И я гребу к берегу, потому что в море слово Платона Самсоновича — закон.

Но так бывает редко. И на этот раз у нас был хороший улов, особенно у Платона Самсоновича, потому что он первый рыбак и сразу забрасывает в море по десять шнуров, привязывая их к гибким прутьям. Прутья торчат над бортом лодки, и он по ним следит за клевом, ухитряясь не перепутать шнуры. И когда он их пробует, слегка приподымая и прислушиваясь к тому, что происходит на глубине, кажется, что он управляет сказочным пультом или дирижирует подводным царством.

Когда мы загнали лодку в речку, привязали ее к причалу и вышли на берег, я еще раз с завистью оглядел его улов. Кроме обычной рыбы, в его сачке трепыхался черноморский красавец — морской петух, которого я так и не поймал ни разу.

— Мало того, что вы мастер, вам еще везет, — сказал я.

— Между прочим, через рыбалку я сделал в горах интересное открытие, — ответил он, немного помолчав.

Мы шли по берегу моря вдоль парапета. Он со своим тяжелым сачком, набитым мокрой рыбой, и я со своим скромным уловом в сетке.

— Какое открытие? — спросил я без особого интереса.

— Понимаешь, искал форельные места в верховьях Кодора и набрел на удивительную пещеру...

Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Я незаметно взглянул в его глаза и увидел в них знакомый неприятный блеск.

— Таких пещер в горах тысячи,— жестко прервал я его.

— Ничего подобного,— быстро и горячо ответил он, при этом глаза его так и полыхнули сухим неприятным блеском,— в этой пещере оригинальная расцветка сталактитов и сталагмитов... Я привез целый чемодан образцов...

— Ну и что? — спросил я, на всякий случай отчуждаясь.

— Надо заинтересовать вышестоящих товарищей... Это не пещера, а подземный дворец, сказка. Шехерезада...

Я посмотрел на его посвежее лицо и понял, что теперь накопленные им в горах силы уйдут на эту пещеру.

— Таких пещер у нас в горах тысячи,— тупо повторил я.

— Если туда провести канатную дорогу, туристы могли бы прямо с теплохода перелетать в подземный дворец, по дороге любясь дельтой Кодора и окрестными горами...

— Туда километров сто будет,— сказал я,— кто же вам даст такие деньги?

— Окупится! Тут же окупится! — радостно перебил он меня и, бросив свой сачок на парапет, продолжал: — Туристы будут тысячами валить со всего мира. Прямо с корабля в пещеру...

— Не говоря уже о том, что один пастух справится с двумя тысячами козлотуров,— попытался я сострить.

— При чем тут козлотуры? — удивился Платон Самсонович.— Сейчас туризм поощряется. А ты знаешь, что Италия живет за счет туристов?

— Ну, ладно,— сказал я,— я пошел пить кофе, а вы как хотите.

— Постой,— окликнул он меня, как только я стал отходить. Я почувствовал, что он вовлекает меня, и решил не поддаваться.

— Понимаешь, я чемодан с образцами оставил в камере хранения,— сказал он застенчиво.

— Не понимаю,— ответил я безразличным голосом.

— Ну, сам знаешь, жена сейчас, если увидит эти сталактиты и сталагмиты, начнет пилить...

— Что я должен сделать? — спросил я, начиная догадываться об истинном смысле его приглашения на рыбалку.

— Мы пойдем с тобой и получим чемодан. Я у тебя его оставлю на время...

Сейчас после моря и рыбалки тащиться через весь город на вокзал...

— Хорошо,— сказал я,— только завтра. Надеюсь до завтра ваши сталактиты не испортятся?

— Что ты,— воскликнул он,— они держатся тысячелетия, а эти редкой оригинальной окраски. Ты завтра сам увидишь.

— Ну, ладно, до завтра,— сказал я.

— До свидания,— пробормотал он задумчиво и небрежно приподнял свой сачок, полный прекрасной морской рыбы.

Только я сделал несколько шагов, как он снова окликнул меня. Я оглянулся.

— Про пещеру пока молчи,— сказал он и приложил палец к губам.

— Хорошо,— ответил я и быстро пошел в сторону кофейни.

Был чудесный тихий вечер, какие бывают в наших краях в начале осени. Солнце медленно погружалось в воду, и бухта со стороны заката золотилась и пламенела, постепенно угасая к востоку, где она станови-

лась сначала сиреневой, потом пепельной, а дальше вода и берег уже окунулись в сизую дымку.

Я думал о Платоне Самсоновиче. Я думал о том, что наше время создало странный тип новатора, или изобретателя, или предпринимателя, как там его ни называй, все равно, который может много раз прогорать, но не может до конца разориться, ибо финансируется государством. Поэтому энтузиазм его практически неисчерпаем.

Кофейня была заполнена обычными посетителями — старожилками, которые пили кофе бережными глотками, тихо смакуя свои воспоминания. В углу за сдвинутыми столиками юнцы скучно шумели порожняком своей молодости.

Я присел за столик и повесил сетку за спинку стула.

— Сладкий или средний? — спросил кофевар, наклоня свою выжженную солнцем и кофе голову восточного миротворца. Он некоторое время с удовольствием рассматривал мой улов.

— Средний, — сказал я привычно.

После моря и гребли приятно пошатывало, и я думал о том, что сейчас в мире нет ничего прекрасней чашечки горячего турецкого кофе с коричневой пенкой на поверхности.

На этом мне хочется закончить правдивую историю козлотура, и я намеренно ничего не говорю о девушке, с которой познакомился на причале, проявив при этом немало ловкости и самообладания. Во-первых, потому что у нее окончились летние каникулы и она уехала учиться, а во-вторых, это совсем другая история, которая к козлотурам, как я надеюсь, не имеет ни малейшего отношения.

Быстро наступила южная ночь. Я смотрел на небо, пытаюсь угадать то созвездие, которое когда-то напомнило мне голову козлотура, но, как я с тех пор ни смотрел, никак не мог уловить ничего подобного. Созвездия Козлотура не было видно, хстя на небе было много других созвездий.

Я сидел за столиком и пил кофе из горячей дымящейся чашечки. И каждый раз, когда я ее подносил ко рту и втягивал губами густой горчащий глоток, я чувствовал локтем осторожное прикосновение сетки с рыбой.

Это было похоже, как если б за мной сидела моя собака и, тычась мокрым, холодным носом мне в локоть, сдержанно напоминала о себе. Прикосновение было приятно, и я не менял позы, пока не выпил весь кофе.



---

---

Н. ЗЛОТНИКОВ

★

## НОВОСЕЛЬЕ

Справляют люди новоселье  
И обживают новый дом.  
Заря второго воскресенья  
Горит над маленьким прудом.

Там ветер снеговую пенку  
Со льда зеленого соскреб,  
Там санки, брошенные кем-то,  
Осели полозом в сугроб.

Скрипят вощенные паркеты  
На тихой улице в ночи...  
А мы с тобой пропали где-то  
Среди Москвы — поди, сыщи!

Но прежний город все дороже  
И дальше — полтора часа  
Езды. Что ж происходит все же? —  
Москва меняет адреса.

Невиданного переезда  
Не прекращается обряд,  
И новостройки, как невесты,  
Притихшие пред ним стоят.

\*.\*

В двухстах шагах от моря шли болота.  
С утра на них обозначался лед.  
И приближенье тралового флота  
Уже давно предчувствовал народ.

Была суббота, и топилась баня,  
Дым прыгал серым зайцем над трубой.  
Собаки рвали желтыми зубами  
Катящийся им под ноги прибор.

Под вечер море стихло. Две гармонии  
Играли в темноте. Портовики

Глядели на залив. Как на ладони  
Лежал залив, спокойнее реки.

Пришла тревожная метеосводка.  
Радист переписал ее в журнал.  
В поселке пироги пекли. И водка  
Стояла на столах. Никто не знал,

Что будет нынче шторм. Шалили дети,  
И сыпались уголья в утюги.  
Летел баклан. Никто и не заметил,  
Как низко закругляет он круги.

Радист прошел к двери, откинул полог,  
И закурил, и выплюнул табак.  
Он понимал, что позвонит в поселок  
И скажет: «Шторм!» Да все не мог никак.

\* \* \*

О земля близ Онеги,  
Старорусский уклад.  
Твои длинные реки  
Издалека манят.

Твои дровни далече,  
В трех верстах, в пятистах.  
Твои руны да речи,  
Словно мед на устах.

Все оставлю, уеду.  
В путь прекрасный пушусь,  
По старинному следу  
К тебе возвращусь.

Твои воды немеют  
Под холодной звездой.  
Твои срубы темнеют  
Над холодной водой.

А рыбачий поселок  
На сыром валуне,  
Словно острый осколок,  
В сердце врежется мне.

Подойду, не тревожа  
В поселке собак,  
Золотая рогожа  
Сверкнет под башмак.

Заскрипит и застонет  
Дверь на ржавой петле.  
Кто-то руки уронит,  
Кто-то охнет во мгле...

\* \* \*

Не спится старым.  
 Почему не спится?  
 Выходит дед и на крыльцо садится,  
 Набросив легонькое пальтецо.  
 А туча облетает, словно птица,  
 Высокий месяц,  
 А река змеится,  
 Сворачиваясь в белое кольцо.  
 А вдоль низин  
 Туман в траве гнездится,  
 Как в памяти забытое гнездится.  
 И Млечный путь восходит на крыльцо.  
 А дальний стук! —  
 Там кто-то в дверь стучится  
 Так глухо, словно сердце в грудь стучится.  
 ...И старый слушает, подняв лицо.

\* \* \*

О площадь Красная, святая!  
 От изморози вся седая.  
 Здесь ходят сизари гурьбой  
 По чистой скользкой мостовой.

Здесь что-то станет такое  
 Существенное для страны!..  
 Здесь тишина, но нет покоя,  
 Все линии напряжены.

А за рекою дым стоит.  
 И все исполнено значенья.  
 Что будет, что мне предстоит?  
 Какое выйдет назначение

В судьбе моей? Какие дали,  
 Слова какие и права?..  
 Все площади сродни медалям,  
 А их чеканят торжества.

Но этой площади раздолье  
 Иной имеет смысл, иной...  
 Какая выпадет ей доля —  
 Все это будет и со мной.



---

А. МАКАРОВ

★

## ДОМА

*Рассказ*

**Р**азбудил его ревизор, по привычке Яков рывком сел, но тут же откинулся назад и, тихо выругавшись, ощупал ушибленную голову. — Билет есть? — Ревизор улыбался, и, несмотря на боль, Яков тоже улыбнулся, сразу вспомнив, что он не в казарме, а поезд везет его домой, в отпуск.

Потом он слез с полки, надел сапоги, перепоясался и, выйдя в проход и увидев, как опустел вагон, понял, что ехать осталось всего ничего, что Луки вот они — рядом. Немногие пассажиры складывали вещи или пили чай, и, вернувшись из тамбура в свое купе, он тоже было хотел спросить стаканчик, но решил, что лучше выпить в Луках пива, и не спросил.

Поезд не спешил, но и он не торопился, потому что время на дорогу было определено и не входило в срок отпуска. За стеклом вчерашние, крытые железом и шифером кирпичные и литые из шлака дома сменились рублеными с тесовыми крышами, и вокруг участков не было видно заборов. Все это тоже напоминало о близости дома, и настроение поднималось с каждой минутой.

Еще приятнее стало Якову, когда, оторвавшись от окна, он поймал взгляд лупоглазой девчушки, сидевшей рядом с бабкой и коробами на боковой полке. И хотя ей было всего лет четырнадцать, он особенно ощутил, что остались позади места, где форма сковывала его поступки и могла принести известные неудобства и неприятности. Теперь она, напротив, давала ему целый ряд преимуществ, а дома — подумав об этом, он даже улыбнулся, — дома она будет главным козырем в самых разнообразных развлечениях. И, подумав о них, он так углубился в приятные размышления, что оставшееся до конца время прошло совсем незаметно.

Деревня, куда ехал Яков и где был его дом, находилась в семидесяти километрах от города, и, хотя автобус не дотягивал до нее всего пятнадцать километров, он решил дойти до базара и там поискать среди колхозных машин попутную. День был будний, четверг, но колхозный шофер в любой день не минует базара и павильона, что притулился рядом в проулке.

Город, а тем более райцентр обязывал к осторожности, и в павильон Яков зашел не сразу, оглядевшись. За два года здесь все изменилось: сняли лепившиеся к стенам полки-подставки, их заменили неудобные столики из дюралевых трубок с голубой пластмассовой столешницей, легкие, словно детские стульчики. Опускаясь на такой стол, кружка уже не стучала солидно и весомо, а легкомысленно звякала. Но пиво было то же, водянистое, без пены, и если раньше и такое казалось подарком, то



теперь он пил его без удовольствия. К тому же сильно хотелось есть, но не было смысла тратить на сухой винегрет или ошметок рыбы, раз уже через три-четыре часа поешь вволю дома.

Шоферов тех трех машин, что стояли чуть поодаль от закуской, он приметил сразу — они сидели вместе, выделяясь замасленными телогреями, особым независимым видом и громким говором. В этих местах сплошного бездорожья и редких автобусных линий шофер всегда был человек главный и уважаемый и, выезжая за пределы колхоза, держал себя сообразно. Один из шоферов, самый молодой и говорливый, оказался Якову знакомым. Когда они встали и пошли к выходу, он тоже поднялся, подхватил вещмешок и вышел следом.

— Слышь, друг, — он тронул за рукав молодого шофера, — ты не с Васильева будешь?

— Я? Не-ет... — рассмеялся тот. — Бог придержал в таком болоте родиться. А что?

— Да так, обознался тогда... А едете куда?

— Домой я еду. А те, — он кивнул на приятелей, закуривавших возле одной из машин, — они до Груздева... Тебе-то куда?

— С тобой как раз и не с руки. — Яков вскинул мешок на плечо. — Мне лучше к ним поближе. Счастливо.

— Бывай... — Шофер улыбнулся. — Что, совсем или на побывку?

— В отпуск, — отходя от него, пояснил Яков и, заметив, что водитель одной из груздевских машин уже трогает с места, махнул рукой. — Эй, стой-ка!

От Груздева до дома было еще порядочно, но в Груздеве поймать попутную не составляло труда. Шофер попался неразговорчивый, все курил, да то и дело высовывался в окно поглядеть, не отстал ли напарник.

— Утерять боишься? — не выдержал Яков, когда прошло уже с полчаса дороги, а сосед все молчал, курил да оглядывался. — Или ехать не знает?

— Знает, — неохотно отозвался шофер. — Ось у его передняя никуда...

— Тогда, конечно, товарища оставить нельзя, — солидно согласился Яков.

— Товарищ... Косой ему товарищ!..

Яков смолк и полез за куревом. Заметив, как сосед ощупал и выкинул пустую пачку, он протянул ему «беломор», и тот, закурив, поинтересовался:

— Совсем, что ли, домой-то?

— Не. Десять дней без дороги. Еще год осталось.

— А-а... Потом снова, значит, пахать... Или куда пойдешь?

— Да уж не сюда, — ответил Яков. — Я теперь от колхоза отошел. Теперь как предлагают? Полгода могу недослужить, когда на стройку соглашусь, в Сибирь. Только на стройку мне ни к чему. В лесхоз завербуюсь. На Север. С мотопилой там двести свободно выгоняют, а я ее знаю... Нарочно сейчас еду, чтоб уж и сказать дома, и распрощаться. Теперь когда в первый отпуск с работы, да и то как придется.

— Дома-то кто есть у тебя?

— Мать да батька. Брат был — помер.

— Младший?

— Не. С двадцать третьего года.

— Молодой еще...

— Ну. Ранение у него болело. Да и зашибал здорово, а нельзя было.

— Здорово никому нельзя. Да тебе что — ты верняком ввечеру хороший будешь. Ждут небось?

— Не писал. Так коли дома нет, к соседям добежать недолго. Батькина сестра без этого не живет, у ей найдется.

Яков неожиданно ощутил беспокойство и впервые пожалел, что не предупредил о приезде.

Машина одолела длинный подъем, и сразу открылось Груздево. Здесь мощеная дорога уходила в сторону, и на повороте Яков вылез из кабины. Он не торопился, позванивая в кармане мелочью. Шофер оправдал его ожидание:

— Не ищи, не надо. С солдата какой спрос...

— Ну, спасибо. Будешь Спичино проезжать, так изба первая возле кряжа. Чего-чего, а рыбки всегда...

Когда машины ушли, Яков перешел в тень старого тополя у дороги и присел на мешок. Солнце припекало, и в той стороне, куда ушли машины, медленно оседала рыжая завеса пыли. Ни около домов, ни вдоль улицы не было видно ни души, и ему стало скучно. Курить не хотелось, но он все-таки закурил и все поглядывал на вершину бугра, откуда могла показаться попутная. Ее все не было, и, отбросив папиросу, Яков задремал, привалившись спиной к дереву. Сквозь сон он слышал, как мимо проскрипела телега, дребезжа звонком, проехал велосипедист. Потом совсем рядом хлопнула дверца, заурчал мотор. Обалдело вскочив, он шагнул к дороге и поднял руку. Однако оказалось, что это не грузовик, а зеленый «газик»-вездеход, и удачи ждать не приходилось. Он уже собрался было снова присесть, но «газик» не спешил отъезжать, и ему показалось, что человек, сидящий рядом с шофером, даже машет рукой. Вдруг дверца распахнулась, и на дорогу с трудом вылез полный мужчина в голубой трикотажной тенниске и фуражке.

— Ну, едешь, что ли? Чего встал? — нетерпеливо крикнул он, и Яков узнал Григория Ивановича Большова, председателя колхоза «Красное знамя», куда входило девять деревень и среди них Спичино.

Уже сидя на заднем сиденье и разглядывая розовые складки под фуражкой Большова, Яков еще никак не мог поверить, что едет в председательской машине, да к тому же с самим председателем. За то время, что он сам рабстал до армии, ему приходилось видеть Большова раз десять, не больше. Но дело было не в этом, а в том, что еще по первому году службы пришло от отца письмо, где тот писал, что работать в колхозе больше «не в силах со здоровьем», но как не стал работать, так отрезали у него усадьбу, и просил помощи. Поколебавшись, Яков пошел с письмом к ротному, и уже через две недели пришло от старика другое письмо с «благодарностью великой», где тот писал, что «теперь усё ничево усадьбу отдали и с ей картоху так что сын не садивши я с картохой». После узнал Яков, что из части написали в военкомат, а уж какой разговор вел военком с председателем, того он не знал...

— Ты не оглох на службе-то?!

Яков так задумался, что не слышал, как спросил его о чем-то Большов, тем более что спрашивал он прямо перед собой.

— Не. Не слыхал просто...

— То-то что просто... — Теперь председатель слегка повернул голову. — Как служба, говорю?

— Ничего. Солдат спит — служба идет.

— Кабы спал, так отпуска тебе не видать... Ты же в отпуск?

— Ну.

— Вот те и ну... Да и беспокоиться про засоню никто бы не стал. А то какой галдеж подняли! Нет чтоб мне, а то — в райком... Как же — защитника родины обидели.

— Так это начальство...

— Знаю. что не сам, кишка тонка... Отец написал?

— Отец.

— Отец твой один хитрей всего Спичина... Третьего дня бригадир ваш жаловался, что опять остров обкосил. Скажи ему — доиграется. Приедем и все из сарая вытряхнем... С острова, не с острова, а все. Раз не положено, значит не положено!

Тем временем «газик» шустро петлял, огибая холмы, и вскоре в проеме между ними сначала только сверкнуло голубизной, а потом и всюю открылось большое озеро. Ближний его берег плотно прикрывал бор, и среди этого бора шла неширокая протока в Малое озеро, на берегу которого и стояло Спичино. Правление и центральная усадьба колхоза были в Пухлове, возле самого бора, в четырех километрах от Спичина. Яков решил, что путешествие с Большовым здесь и кончится, но машина, не сбавляя скорости, пропылила главной и единственной улицей Пухлова, и сразу же дорогу обступили сосны. «В Глинище едут, значит до самого дома...» — подумал Яков и пожалел, что середина дня и вряд ли кто увидит его выходящим возле дома из председательской машины.

Большов снова повернул к нему ухо и, словно продолжая разговор, спросил:

— После службы-то как думаешь — домой или дезертируешь?

— А куда я? Домой... — сразу ответил Яков и в зеркальце напротив увидел, как быстро посмотрел на него и отвел глаза незнакомый председательский шофер.

— Ну-ну... — Председатель покрутил головой. — Владимир, значит... да-а... Ты теперь у стариков и опора, так сказать, и наследник, чего тебе мудрить, домой и возвращайся. Если не в старика пошел, дорога тебе везде открытая, планы у нас знаешь какие? А Владимира жалко, я его еще по прошлой работе знал, толковый мужик был...

— Конечно, — неопределенно отозвался Яков, и сразу же расступились деревья и открылось Малое озеро, Спичино и все, к чему он ехал.

Когда машина остановилась, Большов, кряхтя, вылез, подождал, пока вылезет Яков, сел на место и только тогда, мельком глянув на него, протянул короткую пухлую руку.

— Ну, гуляй... А отцу про сено скажи-таки. Островное уж хрен с ним, но коли где еще заметим — все! Пропали его труды...

— Спасибо, — бросил Яков в захлопнувшуюся дверку и, оставшись на дороге, глянул на свой дом.

Дом стоял метрах в пятидесяти от дороги на фоне луга, поднимающегося к вершине бугра. На двери висел бокастый замок, и ни в их огороде, ни в огороде Дурной Катехи, что жила рядом, никого не было видно. За избой Катехи вдоль старой канавы то редко, то непролаз росли молоденькие березки и ольшинки и в прогалах видны были остальные дома Спичина. И тоже — никого, только вдалеке у коровника мелькал чей-то белый платок.

Он уже совсем подошел к дому, когда из-под крыльца раздалось страшное глухое ворчание, а потом высунулась лобастая ощеренная голова. Вздвигнув, Яков едва сдержался, чтобы не отпрыгнуть в сторону.

— Жулик, ходи сюда, ну... Кому говорю, ходи сюда! Не узнал, а!

Пес смолк, нерешительно шевельнул хвостом и сел. В это время стукнула дверь коровника, и высокая худая женщина, раскинув длинные руки, бросилась к Якову. Он быстро шагнул к ней навстречу, услышал сбоку хриплое рычание и вместе с жестким объятием ощутил горячий рывок пониже колена.

— Ох ты...

— Яшенька! Чего ты? Ах, паскуда проклятая, враг... Сыночек роденький! — Мать то прислонялась лицом к мундиру Якова, то снова кидалась к собаке, забившейся под крыльцо.

В избе Яков с удовольствием снял мундир, сел на лавку и, оглядевшись по сторонам, глянул и на мать. Она стояла, прислонившись к оклеенной газетами казенке, смотрела на него и плакала. Он смущенно покрутил головой, хотел подойти к ней, но она упала перед ним и, уткнувшись головой в колени, закричала в голос:

— Приеха-а-ал! Родимый мой, Яшенька, приеха-а-ал! — Тут же смолкла и начала быстро щупать ногу. — Болит, Яшенька? Болит? Ирод проклятый, вражина...

— Да брось, ничего нету... Отец где?

— Иде же ему? На озере... Сын приехал, а он со своей рыбой связался... Ты сими брюки-то, ножку погляди...

— Да нету там ничего, — отмахивался Яков, чувствуя, как саднит нога. — Царапина разве... Ишь угол вырвал... Дай-ка ниток.

— Да я сама, сыночек, сама... Или что я? После, после зашью... Голодный, поди.

— Ну? Не евши целый день, сыт не будешь...

— Ах ты господи... Супок у меня стоит, картошечка... Сейчас я огурчиков у Катехи спрошу... И к Типушке добегу. Господи, радость какая! Послал мне свидеться перед смертью!

Всхлипывая и утираясь, она вышла из избы, и Яков, уже внимательно оглядевшись, нашел, что дома после казармы грязно. Газеты на стенах и потолке успели пожелтеть и на многих местах дыривились клочьями, печь облезла, а пол то ли давно не мылся, то ли затерся до черноты. И еще был особенно явен въевшийся запах вареной картофельной шелухи, прелой овчины и пота. Но всего непривычней показались ему кровати — застланная старым суконным одеялом кровать матери и крытая полушубком — отца. Над этой висела знакомая тулка-одиначка, и, поднявшись, он снял ее со стены и поглядел в ствол. В нем, точно, было грязно до того, что, казалось, и дробь сквозь не пройдет, и, вешая ружье на место, Яков вспомнил присловье отца: «Меньше чистки — больше гулу»...

Обернувшись на стук двери, он ждал увидеть мать и смотрел верхом и потому не сразу заметил мальчика, пристывшего к косяку. Тот лишь встретил его взгляд и сейчас же потупился, потащив в рот кулак с зажатой в нем щепкой. Это должен был быть Коля, сын покойного брата и Зинки, что уже три года как жила в Пскове.

— Ну, мужик, ходи сюда. — Яков вытянул руки и посетовал, что, забыв о племяннике, не купил хоть какого-то гостинца. — Ходи, не бойся...

— А я не боюсь, — не трогаясь с места и не поднимая глаз, тихо сообщил мальчик.

— Так что ж стоишь? Не узнал?

— Узнал...

— А врешь... Ты ж меня и помнить не должен. Кто ж я?

— Дядя... Дядя Яков. Тебя в солдаты забрали, в город... Ты теперь у нас жить не станешь, когда не дурак.

С последними словами Коля посмотрел на Якова, словно стараясь уточнить предположение.

— Вот, еж твои ноги... — Яков усмехнулся. — Это тебе дед небось сказывал? Или бабка?

— Не... Артюшонок бабе сказывал, как за табаком приходши был...

— Вот я ему голову сломлю, Артюшонку, — пообещал Яков. — Узнает, как без понятия болтать!

— А не сломишь, — торжествующе возразил Коля, — его милиция увезла...

— А чего?

— Он Ваньке Мотиному живот проткнул.

— Ну? Как проткнул? — изумился Яков.

— А ножом... Нож такой ясный, железный. Как у деда складень, да белый весь... Он ему...

— Годи-ка, а Ванька что? Помёр?

— Не... Хлев кроить. Из больницы пришел... А ты чего без ружья?

— На что же мне дома ружье? Так когда Артюшонка забрали-то?

— А как ишло коровы не гонялись... Да дед мно-ого плотвы ловил, с пупками всеи рыбины были,— воодушевился воспоминанием Коля.— А до того шук носил. Мно-ого... А ты деду курева привез?

— Нет,— признался Яков и обеспокоенно спросил:— А что, или нет в магазине?

— Катущим камнем,— солидно подтвердил Коля его опасения.— Катька-торговка своим даеть, а другим кому — нет, кажет...

Совсем осмелев, Коля подошел к Якову, но увидел ремень, брошенный на стол, и схватился за пряжку.

— Какая... Тебе совсем дали?

— Совсем... Ходи в солдаты, и тебе дадут. Поедешь со мной, как обратно соберусь?

— Не...

— Чего? Тебе ремень дадут, фуражку, ружье большое. Оденут-обуют, как положено. Ходи...

— Не...— Коля вздохнул.— Не поеду. Тама бабы нету, а дед говорил, на озеро возьмет... Гляди, баба идет.

Мать неловко открыла и притворила дверь ногой — руки были заняты. Яков увидел торчащие из-под руки бутылки с бумажными затычками, повеселел. Поставив бутылки и чашку с рыбьим холодным, ссыпав из передника на стол огурцы, мать кинулась к печке, потом к сыну, снова к печке и, сев на скамью, опять запричитала:

— Ох, милый ты мой Володенька! Сыночек ты наш! Не пришлось тебе брата рóдного повидать...

— Ладно, мать...— Яков подошел и неловко потрепал ее по плечу.— Не вернешь... Брось убиваться, а то и я помру. С голоду.

Мать прижалась щекой к его бедру, потом утерла подолом юбки глаза и уже основательно взялась за печь.

Когда садилась за стол, Яков несколько огорчился — он не так представлял этот момент дорóгой,— но подумал, что все еще впереди, и только для формы спросил, уже берясь за бутылку:

— Может, старого обождем?

— А, ту...— отмахнулась мать, подвигая к нему граненый стаканчик.— Чего он там делает уж не третий ли час? Поспеет еще...

Выпили с приездом, помянули брата, мать снова всплакнула. И принялась потчевать внука. Коля упирался и никак не хотел хлебнуть мутной, пахнувшей дрожжами жидкости.

— Да пей же, маленько хотя,— увещевала его мать.— Батьку помяни. идол... Пей! Печеницу дам...

Коля наконец отпил, сморщился, и мать довольно засмеялась.

— Вот и мужик стал... Возьми огурчика...

— Слышь-ка...— Яков, пряча глаза, потянулся к холодному.— Осипиха все болеет?

— Болеет... Да у ей болезнь от лености — работать не в силах, а до больницы по пятнадцать верст на неделе разов пять справляется...

Про Гальку она не вспомнула. Может, и хотела, да заканючил Коля.

— У, какой малец беспокойный!

Вытолкнутый из-за стола Коля заплакал, и тут вошел отец Якова.

— Все орешь, старая...— Он увидел сына и, постояв, снял и поло-

жил на скамью шапку.— Так... А то matka все воет, что помереть без тебя не может. Здорово, сынок...

Был он таким же, как был, разве показался сивее оттого, что уж больно велика отросла щетина.

Прежде чем сесть за стол, отец достал с полки поллитровую банку, на треть белеющую содой, черпнул из нее ложкой и, задрав голову, сыпал порошок в рот. Потом запил водой из ведра, сел, пожаловался:

— Под грудью болит, мочи нет... Больше молока ничего не принимает. Да... Ну, сынок, с прибытием тебя и чтоб был ты здоровый! — Выцедив стопку, он с насмешливым презрением глянул на жену, еще смакующую свою, и уже Якову сказал: — Рада... Рада, что случай такой красивый — ты приехал, по самые уши налиться можно...

— А ты не мешай... — На голодный желудок Яков быстро запьянел.— Сам-то что ни день пользуешься, должно...

— Да ни в коей мере,— возразил отец.— Разве очень добрая у кого удастся, так спробую. А так, Яша, видно, отпил я... Нет — пускай пьет, сегодня и не пить грех... Значит, вот, приехал... А Володька, а? Видишь как...

— Ох, Володенька-а-а... — бесслезно завывала мать, и отец, долго посмотрев на нее, сплюнул и наполнил стопки.

— Теперь воет, змея... Сама его этой гадостью залила — и воет!

Встрепенувшись, мать уронила руки вдоль тела, и, увидев, как светлó расширились ее глаза, Яков подумал: «Ну, вступило...»

— Коришь? — радостным шепотом спросила она.— Сыночком кори-ии-ишь!

Она метнулась от стола и исчезла за дверью. Хлопнула дверь на крыльце, взвизгнул и смолк Жулик.

— Вот она, matka твоя,— тихо сказал отец.— Теперь в болото побегла, вешаться. Только годов моих уж нет за ей бегать, сама придет, как дурь отпустит.

И хотя был старик во всем прав, Яков нашел, что это и есть тот случай, когда нужно показать, что прежних отношений меж ними быть не может.

— Ты, старый, не очень, р-раз тебя, два тебя! — Он поднялся и, покачиваясь, стал перед отцом.— Твое время прошло, так будь добер, умеи себя соблюсти... На ее дурь находит — ладно, только она мне matka, и ты ее не трожь, а то — знаешь? Я не погляжу, что ты сивый...

Поймав глаза отца, он слегка опешил, но тут же вспомнил Большова и, опустившись на табурет, помахал пальцем перед лицом старика.

— И-ишь ты — годов нету... Воровать ты ишшо горазд, г? Мне людей слышать совестно, как они тобой глаза колют. Мало, что я тебе усадьбу, так ты колхозное в сарай волокешь? Ох, гляди, старый...

У Якова чесалась рука если уж не стукнуть, то хоть толкнуть отца, чтобы закрепить позицию, но один на один так поступать не было расчета, и, только увидев за его спиной зареванное личико Коли, он все же решился, сильно пихнул старика в грудь и отодвинулся.

Отвалившись с табуретки к дощатой казенке, отец сразу же вернулся в прежнее положение, пошарив в кармане, достал белый портсигар и, открыв, положил его на стол, но не закурил. Всегда красные его веки моргали не чаще обычного, когда наконец он взглянул на сына, и Яков не увидел в глазах отца ничего, кроме привычного, спокойного.

— Вот ты, Яша, ругаешься, а я тебе скажу... До службы я таких слов твоих не слышал ко мне, а ты вить вон и руку поднял. И не с хмеля это, не-ет, Яша... Ты свое мужество показать хочешь, вот как. Я батьку своего, видать, в такие же годы первый раз прижал, только, Яша, я вить не в таком состоянии был... Ты вон толкнул и опасаясь, а я себя

тогда совсем понимал. Избу с рыбы поставил, хозяйство завел, а до того момента в работниках походил знаешь скоко?

— Да знаю, знаю я все...

— Не, теперь стой-ка... Покури вот. То, что ты на меня, это все ладно. Я не об этом. С озера далеко видать: машина шла — так ей деревню духом проскочить, а встала. Чего встала? Не по гостям председателю ходить... Значит, я так понимаю, ты с им ехал. Он тебе про меня и скажи. Ладно. Я не вор, Яша. А только, чтоб коровка поела, лучше мне самому не поить. Ты наше дело не хуже моего знаешь, так чего ж я тебе объяснять буду... И хоть ты слушать не хошь, а я тебе скажу... Я все одно буду, а он, Большов, нет. Он теперь в сто разов больше нашего колхозника получает... Не в сто, так в пятьдесят... На — с большим привесом еще. Это в одной семье, в колхозе... Так. Я за эту власть воевал...

— Слыхали! Брось, не гунди...

— Не, ты слушай дальше, не бросай... Я за ее воевал. Так. В комитете бедноты состоял и с кулачеством боролся. По долгу, по совести, как положено...

— Да брось, говорю! Знаем все, что с того толку?

— Толку? Да ты послухай... На энту германскую шел — никто во всем Спицине лучше меня не жил... Ты башкой не крути, ты слухай. Как мне было в сорок пять годов на брюхе от Москвы до Кенигсбергу ползти? А-а, то-то... А прополз и жизнь всякую видел. Ты того не знаешь, что я знаю. Ладно, вернулся. И ничего-то, ничего... Катущим камнем и хозяйство, и все, и тебе четырех годов нет. А я еще два ранения поимел с той, с царской, да с гражданской уже четыре. Откуда силов взять? Так взял же! Дом — сам знаешь, хозяйство какое ни есть, а корова, овечки, без кабана не живем... А он, Большов, с молзаводу съехал? Съехал. В сельпо не уселся? Нет. И тут ему только место, что пока, а глядь — и нету. А я — вот он. И башкой не мотай, это после ты меня по силе годов окрутишь, а сейчас поднесу, так и будешь в чашке этой!

— Ну, на-вря-ад... — протянул Яков, примериваясь, но отец легко оборотился к Коле и совсем иным голосом попросил:

— Ходи-ка, внуча, в сени, там за кадкой бутылка стоит. Неси ее сюды!

— Что пробкой заткнута, бутылка?

— Ага, пробкой...

А когда Коля вернулся, пояснил, разливая:

— Так и живем, сынок. А не спрячу — духом с какой бабой разопьет. И вот песни орать. Так песни пусть, а то как вступит вот так... Ладно. Пей, Яша, отдыхай, когда приехал. А я рад.

Поставив стакан на стол, он отвернулся к казенке и мазнул рукой возле глаза.

Больше серьезного разговора не получилось, хотя оба пытались его начать. Яков запянул совсем и все порывался рассказать о службе, но забывал, что к чему, а старик поначалу старательно вникал, затем устал и, ухмыльнувшись, запел, поигрывая руками:

Пьем мы водку, пьем мы ром.  
Иде ж денежки берем?  
Баба юбки продает,  
Нам на водочку дает...

Яков видел, как возле отца вертится Коля, слышал, как тот кричал на деда: «У-у, напился, старый!» Потом отец лег на пол, изображая совсем пьяного, а Коля, сопя и взвизгивая от удовольствия, стягивал ему

ноги ремнем. Все колыхалось и покачивалось вокруг, и Яков поднялся и вышел из избы.

На крыльце яркий солнечный день ощутимо толкнул его в лицо. и после этого он уже не сознавал, как сел на землю, как потом несмело подкрался Жулик и сверхъестественным собачьим чутьем угадал в нем того человека, который четыре года назад принес его на этот двор, кормил и ласкал, пока была надежда, что погонит зайца, а потом только мучил и пропал совсем и вот объявился, наделенный той же всемерной властью, которая заставляет прижимать уши и лизать противно и душно пахнувшие волосы. Но Яков этого уже не чувствовал и не видел и не чувствовал, как вышел отец, покурил, сидя возле, а потом подхватил, снес его в дом на кровать и, стянув сапоги, укрыл от мух завеской.

Как ни безлюдно было в момент приезда Якова, но деревня есть деревня. и его появление не осталось незамеченным. От избы к избе и дальше, в поле, в бригаду, пошел слух о событии, и все по-разному готовились к встрече. А он той порой спал, но тяжелое, беспамятное забытье уже уступило место снам, и сквозь них он слышал, как вернулась и загремела ведрами мать, как клянчил печенье племянник, как еще пришел кто-то, топал в комнате, окликал его, но, не добудившись, ушел, и стало тихо.

Когда Яков проснулся, в комнате было серо, стол собран на этот раз здесь, и за ним сидел и курил отец. Заметив, что сын проснулся, он звучно наполнил стакан, и, подшлепав к столу, Яков с отвращением и жадностью одним духом опорожнил его.

— На-ка, протри ее.— Отец стукнул о край тарелки и протянул яйцо.

Его холодное содержимое приятно смазало горло, и, заметив, что отец хочет налить снова, Яков замотал головой.

— Ну ее... Хватит. Вот поесть... И кваску.

Пока сын аппетитно хлебал суп, ел картошку с жареной рыбой и хрустел огурцами, старик вприхлебку расправился со своим стаканом, лишь изредка отщипывая и мусоля хлебный мякиш.

— Борис был проведать... Как будить стал — погнал я его.

— А придет?

— Сказал — будет, как в Пухлово съездит. Только его ждать не расчет, им сегодня денежки получать.

— Ну так скажешь, чтоб нашел.

— Пойдешь куда? Мать корову доит, придет сейчас.

— Так что ж я вот и уехал?

— Не, я к тому, что и зайдет кто... Ты поди, поди...

Яков видел, что отец не решается спросить, куда он пойдет. Но ему уже не хотелось заводить разговор, который он порывался начать и не начал днем, и, чтобы он не состоялся, Яков заторопился. Достал из чемодана целлофановый мешочек с гуталином и щеткой, начистил сапоги, надел мундир и перепоясался как мог туго. Потом зажег лампу и, придвинув к ней зеркало, двумя руками ровно нахлобучил фуражку, выправив из-под нее уши.

— Ну... Пошел я.

— С богом, гвардия... Курево-то есть?

— Нету. Забыл, что в болото еду, не взял.

Поднявшись, отец подошел к стене, запустил руку в прореху отставших газет и, вынув пачку «прибоя», протянул Якову.

— Не ахти, а все не табак... От матки только так и спасаешься, ей-



богу, а то еще Коля увидит... Он ей за сахар аль конфетину чисто все доносит. Да.

Они молча постояли рядом, потом Яков пошел к двери, и уже в спину отец спросил:

— Гармонь не возьмешь? В ларе она...

— Тягаться с ей. Пошел я...

До армии Яков был первым и единственным гармонистом в Спицине, где на двадцать с небольшим дворов молодежи осталось немного. Это уже не давало тех преимуществ, как, скажем, в молодые годы отца, поскольку были кое у кого патефоны и клуб в недалеком Пухлове, но патефон за собой не потащишь, а после клуба по домам расходятся не сразу. И выходило, что все равно без Якова и его гармони не обходилось ни одно сборище. Он долго решал, брать ли гармонь с собой в армию, и оставил ее в последний момент, когда садился в Пухлове в машину. И потом был рад, что оставил. Уже в вагоне пришлось ему услышать, как умеют играть другие, а в самодеятельности части, где он служил, играли еще похлеще. Вот и получилось, что нехотя, но подпортил ему отец настроение перед свиданием с родной деревней.

Да если говорить честно, то не к деревне он и направлялся в этот теплый ветреный вечер. Больше, чем родню, хотелось увидеть ему Гальку, сказать, что после службы сюда не вернется, и посмотреть на ее лицо, когда она это услышит. Зла на нее он не держал, не с чего было, но уж тем провинилась она перед ним, что два года жила вдалеке, здесь, когда он здесь не был. Теперь ей должно быть восемнадцать, а тогда, за полгода, как его призвали, — шестнадцать, и, хотя подростка она на виду не только у него, он первый заметил ее иной, изменившейся, первый пригласил в клуб, куда раньше она тоже ходила, но с девчонками, а потом пригласил еще и еще. Но все случалось так, что ходили в Пухлово и возвращались оттуда компанией, а то и вовсе не виделись, когда приходилось ему работать на дальних участках, и он не мог уловить момент, чтобы была она одна. И лишь за месяц до призыва все же уловил, и хоть билась она и даже звала в голос, справился с ней без труда. Потом она послушно приходила по его вызову, а в день отъезда в Пухлове, словно невзначай очутившись здесь же, стояла в стороне, и он видел ее с машины, пока видел Пухлово.

Разумеется, брать ее на новые места у него и в мыслях не было, потому что кто ж возьмет такую, что на все соглашается, да и эти два года тоже зачлись ей в убыток. А вообще-то по хозяйству исправнее будет ему найти трудно: весь достаток Осипа Маленького держала она одна, поскольку после смерти мужа сама Осипиха была уже не работница, а так, жиличка, и то, видать, ненадолго. После Осипихи останется крепкая, не так давно перебранная пятистенка, деньги за корову на книжке и все прочее, и останется все это ей, Гальке...

— Смотрите, солдат... И никак Яков?

— Ну. Здорово, тетка Анисья. Чего у дороги или ждешь кого?

— И-и, милый ты мой Яшенька, кого ж мне теперь ждать в такие годы... Я, думаю, дай к Типушке схожу, дрожжен спрошу: дачники с Ленинграду сулились, так чтоб своего к приезду было. Ты не к Борису? Он в Пухлово ушел, плотят им сегодня, так все и туда... И Галька Осипихина тама. Да ее матка к субботе ложидает, раз она в Кунью к тетке собралась. А ты или не видал, как она с девками справлялась?

— Не видал, — растерянно подтвердил он. — Мне другого дела нет, как за дорогой глядеть.

— Ну да, ну да... С такой маткой тебе и вздохнуть с приезда не

пришлось. Смучила она старика, совсем смучила... И Галька, вишь, уехала, должно, не знала, что ты тут. А может, и уехала, что прознала.

Он уже шел дальше, а она все сыпала ему вслед ласковые слова, пока было слышно и пока он не прибавил шагу. Но торопиться теперь было некуда и не к кому, и, пораздумав, Яков вскоре же свернул на издавна протоптанную стегу, которая вывела его к дому.

Остаток вечера провели за столом по-семейному — втроем. Мать была тихой, отец все курил, а сам Яков не чувствовал ничего, кроме усталости, и когда лег, то разом ушел в непонятные сны.

Но проснулся рано. Отец еще в одном белье сидел и курил на лавке, и Яков увидел, что ему тоже приготовлена всякая рыбацкая сбруя. Со сна эта предупредительность не понравилась, и он было решил не идти на озеро, но передумал и стал одеваться. Чтоб не будить мать, позавтракали молоком и холодной картошкой. И дома, и почти до самого озера молчали, только возле берега, когда уже забил ноздри дымный запах тумана, старик посетовал:

— Челон никуда не гош стал... Видно, что этим летом и отплаваю на ем...

— Новый сладишь, — безразлично отозвался Яков.

— Ну. Да, поболе будет надобен — вдвоем в таком вот неловко.

И хотя Яков понимал, что отец намекает на совместную ловлю в будущем, сейчас ему не хотелось говорить ни о чем, и он промолчал.

Поначалу осматривали маленькие мережки, торкнутые в самой тросте возле берега. После них оба закурили, и пока отдыхали — заплескались, залопотали вокруг притихшие было утиные выводки.

Когда лодка вышла на чистую воду, туман уже разошелся и на другой стороне озера виднелись избы Кретивли.

— Ты большие где бросил? — спросил Яков.

— На песку против рога... Два дня кряду ничего не было, а вчера и глядеть не захотел. Должны уловить, не все же такая беда.

— Ну.

Яков с детства любил рыбу, мог есть ее каждый день и поэтому всегда охотно ею занимался. Да и приработок она давала немалый, особенно в весну, когда нерестилась, а майские праздники были вот они, тут же. Со всей деревни хороший запас снастей был у его отца да у Осипа Маленького, остальные мужики баловались этим делом несерьезно. Вспомнив Осипа, пришлось вспомнить Гальку, и на душе снова стало муторно. Но тут отец обернулся и попросил:

— Стой-ка, сынок... Вроде вот они.

Вогнав шест в глубину, он подцепил и подвел к лодке шнур, забросил в лодку камень, что служил якорем, потянул, и на поверхности показались осклизлые дуги первой пары мереж. И этот момент, тысячу, а может, и больше чем тысячу раз уже пережитый Яковым в прошлом, сейчас с той же ровной и постоянной силой разбудил в нем точно такое же волнение, как и всегда, но теперь он впервые ощутил его и понял за всю предыдущую тысячу раз. И все остальное ушло, и осталось лишь то, что он видел: черные дуги, капроновые ячеи, перевитые зеленой травой, и серебристо-розовая чешуя лещей, лепечущих скорбными, мягкими ртами.

— А и добро уловили, — будто недоумевая, похвалился отец. — И поить и выпить рыбакам будет.

Когда возвращались и уже едва не входили в тросту, справа из нее с карканьем взлетели вороны. Одна пролетела совсем близко и невысоко, и Якову был хорошо виден ее внимательный, изучающий взгляд.

— Чего это они?

— Должно, чья мережа всплыла — так рыбу из ее тянут, — ото-

звался отец и готовно предложил, уже разворачивая челн: — Глянем. За то деньги не берут...

Там и верно оказались чьи-то мережи, но стояли они крепко, не на плаву. Однако место было мелкое, и верхняя тетива стенки меж корзинами протянулась вровень с водой. Перелезая через нее, и запутался в ячейх уже ладный утенок. Вороны не первые нашли его: тушка была расклевана давно, потому что промытые водой кишки обесцветились и выглядели белыми и едва розоватыми. Это впечатление чистоты снимало отвращение и даже вызывало желание рассмотреть все подробно.

— Ишь, как дурен был,— отец, глядя на утенка, ловко вертел сигарку.— Может, и не дурак, а с испугу ум стерял. Только и делов что лапку из ячеи выпростать, а запутался вконец. А все страх. Человеком вот тоже всю жизнь страх поболее ума руководит. И без его нельзя. Только, Яша, я так понимаю, что бывает он правильный, а бывает вовсе дурной. Как вот у мелешенького этого...

Как ни рано вернулись домой, их уже ждали. Борис зажал меж колен Колю, и племянник то верещал от удовольствия, то хныкал, когда совсем не мог повернуться. Катеха и отцова сестра Проска в чистых платках сидели рядом возле окна, и поскольку жили меж собой мирно, говорить им было не о чем. Мать поставила на стол все, кроме бутылок, но как ни чувствовал голод Яков и как ни видел, что перетомились гости,— сначала попросил изжарить рыбы.

— Ну, здорово, боец.— Борис сунул ему на удивление маленькую: руку.— Был вчера, так тебя и не дозовешься...

Был Борис кроток и незлобив на редкость, и даже когда его били для развлечения свои и окрестные парни, больше всего боялся, что бьют не для смеха, а со зла, и пытался утешать их. В армию его не взяли, поскольку мать едва ходила, а сестры были младше, и он, провозжая годков, пил и плакал так, как до тех пор не пил и не плакал ни разу. И теперь, переодеваясь за завеской, Яков смотрел на него и удивлялся, как, удивляясь, и в армии ловил себя на том, что из всех приятелей вспоминает одного, самого неблизкого и нескладного — Бориса.

— Так ты и работать лен.— Одевшись, Яков вышел, встал перед товарищем, но видел, как сбоку сидевшие бабы сели прямее, разглядывая его.— Или с бригадиром дружен?

— Не, я к ночи заступлю. Трактор наш с той стороны, под Кретивлей работает...

Борис тоже глядел на него во все глаза, но на него, а не на мундир и не на хромовые сапоги, что сшил себе Яков в армии, и это обижало.

— Ну так раз работать, то и не давать ему пить, бабы... Садитесь завтракать.

— По-нашему так, а по-немецкому будет — фриштык, это значит завтрак,— свернул вошедший отец.

И все уселись.

Раннее начало сказалось быстро. Первой зашла Катя, но тихо, и, вспоминая сына Ваню, все пыталась поцеловать Якову руку. А он и впрямь уже верил, что и его в первом же карауле может уложить чья-то пуля, и поэтому пил с осмысленной жертвенностью, невольно перейдя в разговор на язык армейских уставов. На всех это действовало завораживающе и отрезвляюще, и даже отец согласно кивал и будто отсчитывал что-то пальцем.

— ...Когда в карауле, а это я лицо че-ре-вы-звы-чайное... Всегда. И мне тогда ротный и даже генерал никто, вот как вы, к примеру. И не приятель ты мне, не сродственник, а один мне друг — автомат... А трогать меня нельзя, раз я — лицо... Лицо не-пре-кос-но-венное.

— Ох, Ванечка, дитенок мой родимый...— стонала Катя.

— И оружие никому доверять нельзя,— пояснял Борису отец,— хотя ты кто будешь, а я тебе не дам.

— Брось, ты того не знаешь,— отпихивал его Яков,— прошло ваше время, пехота, сейчас техника, атом...

— Тот атом, Яша, поглядеть еще... А я при зенитном пулемете наблюдателем бинокль имел, глаза такие увеличительские, штаб охранял.

— Ваш штаб — тьфу. Его охранять сейчас и не дали б нам. Мы находимся при охране особой! Поскоку доверия народа нам представило беречь священные рубежи всего достояния... Штаб!

— Ты послушай, враг, послушай, что сын говорит,— встрепенулась мать.— Священство и в армии уважают, слышь? А он материну икону венчальную на згороду привесил да всю из ружья издырявил... Неси в избу!

— Дура ты, дура... Об том он, что ли?

— Неси, говорю!

— Ты, мать, не ошалевай... Борис! Съедут тебя твои бабы, когда не войдешь. Ты женись, хоть в примачи...

— Яша, так он и оженился было, так и другой раз опять всё женат,— оживилась Проска.

— Будет вам...

— Нет, Яша, правда,— заулыбалась мать.— Одну вдовую в Кретивле нашел, год с ей путлялся... Тогда сейчас с другой там ладит. По году, Яша, а ни от той детей нет, ни от этой... И все винцо. Да и старух ищет.

— Не, Борь, когда правда — поехали в Кретивлю, что я здесь пнем торчу...

— А хоть сейчас...

— Пойдем-ка на двор...

Зайдя за избу, Яков сосредоточенно ломал папиросы и спички, потом взял сигарку у Бориса и, затянувшись, спросил:

— Галька-то что, Борь?

— А что? Живеть...

— С кем она счас, Борь?

— А с Лехой...

И в такой уверенности был Яков, что она ни с кем, так хотел, услышав это, доказывать обратное, что иной ответ разом сделал его едва ли не трезвым.

— Кто же такой Леха-то?

— Бригадир новый, с Пухлова. Тоже с армии, только у его полосы такие золотенькие на погонах были...

— Так. Значит, когда сержант, так и тут командир? Ладно...

— Не, Яш, он к ей с уважением, вроде и свататься готов. Она с им на танцы или в клуб, а так ничего нету... И малец добрый.

— Об том после. Счас гуляем, а завтра... Ладно.

Проснувшись, сразу вспомнил вчерашний разговор с Борисом. Отец ушел на озеро и забрал Колю, мать в очередь погналась в поле. До вечера в деревню идти было не с руки, и, опившись квасу, Яков пошел на берег. Голоса своих услышал, еще не доходя крайних олешин, понял, что уже смотрели мережки и вернулись, и ему на минуту стало жаль, что он не был с ними. Они не видели, как он подошел и стал за кустом, а он их видел и подумал, что не помнит, говорил ли с ним когда отец так, как говорил сейчас с Колей.

— Деда,— опасно шевелил рыбу племянник.— Деда, а когда ее в воду пустить — поплывет?

— А ртом шевелит?

— Шевелит.

— Ну, так поплывет. Ты, внуча, горазд пальчик не суй, а то откусит...

— Не откусит, я не близко. Деда, а чего у ей счас пупков нет?

— Пупки весной... То она икру бросает, а из ее рыба рóдится...

— А-а... А чего весной?

— Время ее такое...

— Время... А чего котята всегда?

— Так кошка ж не рыба... Вот ружье мы не взяли, а видал, как утенята рядом были?

— Видал. А другой раз возьмем?

— Возьмем, внуча. Ты...

— Ой, гляди, дядя пришел... А ты чего без ремня?

— И все-то ему надо...— Обернувшись и увидев сына, старик вроде бы смутился.— И что и почему, такой малец умный... Завтракал?

— Не хочу...

— Я как встану, тоже не горазд. Так вить надо... А то под грудью все ноет.

Яков уже ждал вечера. Поэтому сел, закурил и неожиданно порадовал отца вопросами, на которые тот особенно любил отвечать: где ловили раньше собственники, да как ловилось, как его избирали председателем рыболовецкой артели и как сняли за то, что к приезду районного начальства оказался пьян...

Затем собрали рыбу, но домой пошли не сразу, сначала нарезали можажевельника для копчения в черни, где любил отстаиваться лоси, показали Коле свежий след. Из оленья вышли на бугор, и отсюда Яков как впервые увидел всю деревню: почти правильный круг, окаймленный лесом, темные пятна изб, разбросанные на нем, и одна изба совсем на отшибе, единственная, возле которой кругло зеленели яблони.— Осипа, Осипихи, Галькина изба.

После завтрака опять повело в сон, разморило.

— Пойдем-ка, отец, в дровы,— предложил он за столом и тут же поспешил охладить ответную реакцию: — А то люди застыдят: мол, приехал, так и в хозяйстве не помог...

Он ждал, что отец поведет его в бор, но пришли они едва не в ту же чернь, где видели давеча лосиный след. Среди елей и олешин стояли здесь три ладные сосны: талые воды вымыли из-под корней землю, и сосны держались на подпорках-корнях, высохшие уже настолько, что топор звенел при ударе. И снова Яков подивился отцовской сметке: возле деревни, а поди ж ты, только он и заметил.

Пока свалили, очистили да разрежали на полутораметровые чушки, время заметно подвинулось. Потом вынесли и сложили кругляши в самом краю ольшаника, возле луга, и теперь оставалось только приехать подводой да свезти во двор.

После работы долго обедали, за разговором Яков интересовался хозяйством, даже советовал, и старики размякли и не цепляли друг друга.

Как и вчера, он вышел из дома по-темному и, никого не встретив, дошел до амбаров посреди деревни. Здесь еще мельтешилась не разбжавшаяся по домам мелюзга — уже не дети, но еще и не девки с парнями. Он закурил из пачки, что снова выделил на дорогу отец, постоял, глядя на почти взрослую возню ребятни, подбравшись, пошел дальше. Шел он к дому старого Зуя, где на повороте дороги, на месте древнего

колодца, обычно собиралась спичинская молодежь. Самого колодца Яков не помнил, но осталась от него ветхая крыша на трухлявых столбах, а под ней одна против другой две сиделки.

Еще подходя, Яков сначала услышал, а потом увидел, что на том месте точно сидят, поглубже натиснул фуражку и подошел. Гальку он различил сразу и сначала не понял, что за парни по бокам. Но уже тут же в одном признал Ваньку, а другим оказался его брат Колька, выросший, раздавшийся, но все такой же заика. Напротив них хихикали две сестры с дальнего конца деревни, а кавалером возле них притулился ледащий парнишка, и вот его Яков не узнал. Он, может быть, и узнал бы, но не успел, потому что его заметили.

— Солдат пришел,— сказал кто-то.

Все повернулись, и он подошел к ним прямо на свет лампы из окна Зуевой избы. Посмотрела на него и Галька. Она не потупилась, не смутилась, встретив его взгляд, а, со всеми ответив на его «здравствуйте вам», разглядывала внимательно, пристально и вдруг улыбнулась так откровенно, что он опешил и смутился сам. Поэтому не сел, не шутил, как было намечено и продумано, и одна из сестер уже готова была обидно прыснуть, когда Галька подвинулась, отпихнула Кольку и предложила:

— Садись, Яша, в армии находился небось...

Он сел под общий смешок, но смешок был вызван не его шуткой, и все получилось неладно и обидно для него. А заика Колька еще и спросил:

— Ты... В-вы чего ж б-без гармонии? Все го-говорили, вот Яков придет — с-сыграит...

И хотя со стороны Кольки было в этом вопросе лишь уважение, Яков разом вспомнил первое знакомство с настоящим музыкантом, вспомнил и нашел здесь тоже что-то обидное. Ему казалось, что получается так неловко и нескладно лишь потому, что выглядит не похоже на ту встречу, которую он не раз представлял себе, готовясь к ней, и, окажись они сейчас одни в теплой и темной тишине под деревьями, ему даже и говорить не пришлось бы.

Тем временем он сам и его молчание уже перестали вызывать интерес, поскольку собирались сюда не для этого, и, прокашлявшись, Иван завел было разговор. Как вдруг Галька встала и, отступив шага два, обернулась.

— Что, проводишь, Яша?

Было это так неожиданно, что Колька едва не слетел с сиделки, а когда Яков вскочил и они пошли к дороге, сзади согласно и сразу заговорили.

Они шли дорогой к ее дому, он держал ее за обнаженный локоть, и все было так, как ему представлялось раньше. Когда она остановилась возле дома, он потянул ее за руку дальше, но она освободила руку и, так же непонятно улыбнувшись, как раньше, спросила:

— Куда ж ты, Яша? Уж не к озеру?

— А чего? Или ждешь кого?

Яков тут же выругал себя за вопрос, потому что теперь она должна была ответить определенно, и она ответила:

— Жду. Так и что? Нельзя?

— Чего нельзя? Твое дело хозяйское, тебе с бугра виднее. А только, когда он того не знает, что я знаю, так и ходит. А знать будет...

— А ты скажи,— просто посоветовала она.— Как сейчас приедет. так и скажи.

— Ну. Думаешь, возьмет, что ученая? Володькина Зинка не шко-

лу — техникум прошла, а кто ее берет? Тебе в глазах темно, что он бригадир...

За лугом позади осипихинского дома мелькнул и пропал светляк, снова мелькнул и по дуге пополз в темноте вместе со стрекотом мотора. Галька обернулась и тоже следила за ним.

— Он, что ли?

— Он. Как раз и поспеет.

— Куда же вы? — беспомощно спросил Яков.

— В клуб.

Пока мотоцикл не подъехал к ним, Яков успел только пожалеть, что выпито было мало и хмель сошел. Слепящая фара выхватила их из темноты, надвинулась совсем близко, потом погасла, и с полной темнотой стало так тихо, что было слышно, как скрипнули пружины рессор.

Не дойдя до него шагов двух, бригадир закурил, и слабый огонек спички осветил его большеносое лицо.

— Здравствуйте вам... — поздоровался он точно так же, как здоровался обычно Яков, и поэтому тот с неожиданной готовностью ответил:

— И вам здрасте.

Глаза уже снова привыкли к темноте, и Яков видел, как Галька по очереди оглядела их.

— Вы поговорите пока... Я сейчас.

Она пошла к дому, а он подумал о том, что раз не здоровалась — значит, виделись уже, и тоже закурил.

— Вы Григорьева сын будете? — спросил бригадир.

— Его. — Готовясь к неприятному, Яков напряг живот.

— А я Константинов. Алексей. Будем знакомы.

— Пожалуста — Яков. — Он не протянул, а лишь согнул в локте руку, но Алексей сразу же нашел ее и забрал ладонь в свою.

— Отец у вас знаменитый...

— А что? — снова поджался Яков.

— Уж больно по рыбе мастер. Все ни с чем, а он всегда при своем.

В любую пору — а хоть малость да возьмет.

— А-а... Это да. Так вить он с малолетства к ней приучен. Когда рассмотреть специально, то тут хитрого особо ничего нет...

Якову было непросто. Форма охраняла его, давала свободу в этом столкновении с хозяином бригады и деревни, и в то же время из головы не выходили сержантские лычки, еще недавно украшавшие плечи соперника. Но тот держался уважительно и вроде бы даже не делал в этом усилия над собой.

— Не скажите... Я вот уже и раньше лавливал, и теперь, а все далеко. Вы что же — к последнему году подошли?

— Что? — не сразу понял Яков. — А... Да, год остался.

— А потом еще не решили — куда?

«Да уж не к тебе», — так и просилось сказать Якову, но он безразлично и неожиданно сообщил:

— В Ленинград, должно. Кореш, что прошлым годом демобилизовался, там по радиоделу — зовет...

— Это хорошо... — сказал бригадир. — А пропишут? Слышал, что народу там стало некуда, ограничивают...

— Мне это нипочем. Там отцов сродственник есть, поможет.

— Я вот тоже... Как семь классов до армии осилил, так и жалею, что не все прошел. Теперь опять повторяю. Она вот помогает, в сельхозтехникум советует. И сам хочу...

Яков еще не понял, о ком он говорит, не заметил, как вышла из избы и подошла к ним Галька. Не глядя на них, она прошла мимо, остановилась и, обернувшись, спросила звонко и высоко:

— Так поедем или как?

И неизвестно как угадав, что о ней разговора не было, добавила:

— Счастливо гулять, Яша...

— Ну, еще встретимся.— Алексей торопливо сунул ему руку, и он машинально пожал ее.— До свиданья.

— И вам...

Свет фар снова ослепил его, и он не видел, как они развернулись. Но тот же свет уже издали полоснул по сидевшим возле Зуевой избы, и Яков понял, что дорогой ему не идти.

Самым стыдным для него было то ощущение спокойной уверенности, с которой бригадир разговаривал с ним. Если бы Яков мог заметить в сопернике ревность или злость к нему, стоявшему с Галькой вечером возле ее избы, ему было бы много легче. Поэтому, придя домой так обидно рано, в измоченных на лугу выше сапог брюках, с горящими от крапивы руками, он искал, на ком сорвать злость, но боялся сделать это явно, чтобы и родители не стали свидетелями его позора.

Но мать, видно не ожидая его этой порой, ушла к Катехе, Коля спал, найдявшись за день, и только отец, расплетавший на нитки длинный капроновый шнур, мельком глянув из-за лампы, спросил:

— Ужинать будешь? Молоко на столе и холодное в коридоре есть...

— Не хочу... Вино-то все?

— Так и попили ладнова, Яша. Я гляну за кадкой, да навряд что и есть...

Он поднялся и вышел в сени, а Яков, скомкав пустую пачку, хозяйски запустил руку в прореху газет на стене, достал и сунул в карман последнюю, что там лежала.

— А нету...— Войдя обратно, отец развел руками, виновато улыбаясь, посоветовал: — Да ты к матери дойди, она духом к Проске добегит. Или, когда хошь, и я схожу...

— Ждать вас... Сам я. Ты бы, старик, хоть копеек от моего хозяйства, что пользуетесь, посулил. Как не прошу, так и молчишь... А того, что мне без своего кармана людей совестно, так тебе и ладно.

И хотя оба они знали, что пока он в Спичине, деньги ему ни к чему, Яков чувствовал себя правым и говорил с искренней горечью.

— На! Да что ж мне их жалеть, Яша, когда тут все тебе...— засуетился отец.— Был бы Володька, так сам ты знаешь, что и его трудов есть во всем. А теперь много ли нам надо? Хоть всё...

Он торопливо упал на колени перед кроватью, выдвинул из-под нее рундучок, и на дне его под клубками ниток нашарил обернутый газетой пакетик. Было в нем рублевками и трешками рублей до двадцати, и Яков хотел взять пятерку, но раздумал и сунул в карман почти все.

Отец не протестовал. Сев на место, он молча следил за тем, как сын собирался: чистил сапоги, брюки, заново перепоясался, примерил фуражку. Только когда Яков уже был готов выйти, спросил:

— К Проске?

— Ну. Скажи матери, чтоб дверь не закладала,— может, пройду где после...

Жила Проска на краю, возле густо заросшей канавы. Когда-то канава эта соединяла Малое озеро с Виленским, что было в трех километрах от деревни, и еще отец Якова в молодые годы проводил по ней челны из озера в озеро. Теперь только с весны по середину лета в ней держалась вода, и ребяташки кололи и ловили сначала многочисленных, а потом редких шуклят.

Проска была рада его приходу и хоть не ждала, но встретила как положено, достойно. Мужик ее был убит в конце войны, после того как



из госпиталя заезжал проведать жену. От последней встречи с мужем остался у тетки Якова сын Митрий. Сначала называли Константином, но как уверилась мать, что отца ребенку уже не видать,— переименовала. И бабы, и даже мужики советовали не дурить — не к добру, но впервые в жизни кроткая баба заупрямилась, и стал малец Митькой. А три года назад пришлось Якову бежать в Пухлово к фельдшеру, когда Митька заболел животом. Буковский — тот фельдшер, что прижился в Пухлове с войны,— спал и, когда добудился его Яков, дал порошки, зная, что не будет обижен рыбой. На другой день пришел сам, оставил еще порошки и обещался через день зайти, если не полегчает. А следующим днем Митька умер: оказался перетоншили у него внутри кишки. Так что ходила теперь Проска на две могилы и все сохла, посчитав себя виноватой, что не послушала в прежнее время людей.

Долго сидел Яков у тетки и хотя пил и говорил о разном много, пока сидел, уже точно наметил, что будет делать. «Ехать им самую малость, а к полночи и танцам конец... Кабы присели где да повалил он ее — тогда б да. А не похоже...»

— ...вот, Яша, только что забыла я молитвы. И так жалею, что забыла! Устанешь ходивши, на краю дороги сядешь и, на всю красоту смотревши, так помолиться охота...

«Конечно, охота... Он с ней ровно как с городской. Ученая! А того не знает, как я с ней... Ждешь, а она, ровно Жулик, крадется: и боязно и охота...»

— ...все мне на Катеху завидно. Ей до Ваниной смерти видение было и после до двух разов кряду. А я ночью всей не сплю, думаю: господи, дай ты мне тоже своих повидать, господи...

«...Спят врозь, матка на печи, а сама, должно, в той половине. Осипиха глуха, а войти, так была б изба, куда хошь войдешь. И сказать слово громко — так самой людей стыдно будет, в доме уже, кто ж как не сама пустила...»

— ...ейный Ваня в плену был, так и знала, что горе случись, а как поможешь? Было б мне так, Яшенька, разве я б не почуяла, что беда? Да я б его на руках в Луки поднесла, жаленочка моего!

«...да и не позовет».

— Что об этом плакать, тет... Твоей вины нет. Сколько он, Буковский, людей в землю поклял? Писать на его надо, только и делов.

— Да, Яша, да...

— Вот только что да. Бригадир вами руководит, как ему надо, а вы его за начальство держите. Писать надо! Ладно я с трех классов на работу встал, а что ж, некому писать?

— Да бригадир, Яша, ноне и не худ. Тот, что был — да ты и помнишь? — вот уж и собака, верно. А этот и скажет черным словом, так упаси, чтоб на нас, а про дела, и учетчиков дает, чтоб мы выбирали... Малец добрый...

— Вам каждый добер...

— ...и худого не делает. Вон раньше соломка в поле и сгниет, а не возьми скотинке подстелить. А как я спросила — говорит, заяви письменно, и дал. И Моте так, и Катьке Палагиной...

— Ладно. Гомонить до свету можно... Спасибо тебе, а я пошел.

— Не прогневайся, кабы знала, что зайти удумаешь...

— Чего там...

Хмель нес его по дороге, оставалось только ноги подставлять. Во рту сухо и горько саднило от курева, и когда остановился сплунуть, перед ним что-то появилось и тут же метнулось в сторону, к стенке амбара.

— Кто? А ну...

Прижавшись к стенке, съежилась и ойкнула, когда он подошел, одна из давешних сестер.

— Набегалась?

Была она вся какая-то жесткая и холодная и так тошно пищала, что он отодвинулся и тут же заторопился дальше.

Тесно прильнув к изгородке осипихинской усадьбы, рос клен. Был он раздвоен у самой земли, но один отросток спилили, и на этом пеньке стало удобно и укрыто сидеть. Курить Якову не хотелось, и, сняв фуражку, он привалился затылком к кольям, радуясь, что небо темное, без звезд. Он бы мог и заснуть вот так ненароком, но в крапиве то и дело шуршало и шелестело, и, хотя гадов вблизи деревни на его памяти не встречали, он все же опасался. Часы его стали еще вечером, но он то и дело пытался разглядеть, сколько же они показывают, и каждый раз пугался, что уже такой час.

Все же, видать, ему вздремнулось, раз не услышал он их издали, а уже от поворота увидел яркое круглое пятно. Оно мигом оказалось рядом и не погасло, а лишь померкло до желтизны и тут же опять разгорелось и умчалось. Сжавшись и едва не задохнувшись от задержки дыхания, он уловил близко прошедшую тень, услышал шаги по ступеням крыльца и стук притворившейся двери. Вздрагивая от озноба, Яков прикурил за пазухой, а потом, пряча папиросу в руке, все длинно затягивался, ожидая, не засветится ли окно. Окна оставались темными. Он положил наземь и прижал сапогом окурков и, пригнувшись, шагнул вдоль изгороди. Первый же кол не оторвался, а глухо сломился посередине. Переждав, Яков присел и тут же почувствовал, как намертво зажало и свело назад руки. Замычав, но не крикнув, он привстал, дернулся, но его все ташило по шелестевшей мокрой крапиве на луговину позади усадьбы. И только тут отец оставил его.

Хотя не было ни луны, ни звезд, лицо старика отчетливо белело, и Яков узнал его сразу. Он был так готов к тому, что это Алексей, что нашелся не вдруг.

— Ты... Ты чего?

— Нельзя, Яша. Я тебя понимаю, а нельзя... Пропустивши порину, не ходят в малину. Она девка самостоятельная, ничего такого теперь не будет, а и срам, так тебе... Стой...

Так он был сейчас ненавистен, что бил Яков с большого замаха, заметно для отца. Старик хоть и не сумел уйти, но подставил руку и, схватив сына за рукав, уж не отпускал.

— Брось... Ты здесь это дело брось, сынок. Иди домой, когда пьян, там и дерись...

— Ах ты... Пусти, р-раз тебя, два тебя, три... До-мо-ой? Ты что ж думаешь, я с вами буду? Да никогда!

— Стой, не кричи...

— А чего? Да ты пусти, не держи... Мне дослужить, так я б вас в глаза не видел и болото ваше! Понял?

— Так я к тому готов, Яша, меня еще Володька смучил, мне от сынов горя не начинать... А только, Яша, и жить теперь много легче по нашему крестьянскому делу... Ты не рвись, я все-повсе тебя не пущу, пока подале войдем. А там хоть убей.

— Да иду ж я! Ух...

— Не рвись, говорю. Через дурь свою девку стерял. А мне того не надо, чтоб тебя срамили. Я-то и вор и какой хошь, а мне людей совестно! Вот теперь бей, когда ловок, бей, что я такой сивый да плешивый за тобой по усадьбам лазаю, что жисти мне через вас с вашей маткой нету! Она вас и увечила...

— Пошел ты, бить тебя... А когда за мной увяжешься, так живу тебе не быть!

— Стой, дурён, топко тама.

Грязь чавкала под ногами, стягивала сапоги. Отдышавшись, Яков подивился, что не утерял фуражку, и еще удивился, что вынесло его на Терешкину пристань: песчаный бугор с круглыми кустами орешника и всегдашним одонком сена меж ними. Сойдя в мелкую здесь воду, он омыл сапоги и, заметив поодаль длинную тень челна, подошел и сел в него. За озером, над тем берегом, светло обозначилось утро, неподалеку то и дело всплескивала рыба. Над водой висел ровный стук: на той стороне работал трактор.

Все происшедшее вспомнилось как нечто далекое, случившееся с кем-то другим, и только неудобство в плечах напоминало, что именно с ним. «Ишь, как намял...— беззлобно подумал Яков.— Старый, старый, а здоров... Борисов трактор стукотит. Под Кретивлей...»

Ничего не задумывая, он поднял со дна шест и пихнулся. Челн хотя прополз по песку. Он толкнул еще раз и другой, и наконец челн закачался на воде, и скоро корма его вошла в тросту. На лицо и руки разом насели стряхнутые со стеблей паучки, но троста здесь была неширока и сразу же кончилась. Тогда он сел и, развернув челн, частыми толчками погнал его к тому берегу.

Пристал Яков к Полянской горушке и вскоре пожалел, что не ошибся. Сама горушка была вот она, рядом, но до нее широкой полосой всю силу разрослась непролазная чашоба ивняка и олешья, понизу густо забитая малинником, ежевикой и ростовой крапивой. Доступный и близкий к жилью ивняк почти сплошь окорили на сдачу еще в начале лета бабы да ребятишки, и белые извивы стволов и ветвей выглядели жутко. Бездумно вломившись в крепь, Яков сразу ошалел от крапивы, заноз ежевики и бьющего по ногам сушняка, метался то вправо, то влево, пока, озверев, не пошел напрямик, прикрывая лицо, наваливаясь телом на упругие, неподатливые ветви. Впереди светло мелькнул прогал, расширился, и, рванувшись, Яков вырвался из чашобы, и тут же его ноги по щиколотку увязли в мокрой жиже. Прямо и с боков шелестел тростник, близко плескалась вода. И еще не успел понять он, что, забрав в сторону, снова вышел к озеру, как совсем рядом с отчаянным кряканьем вырвалась утка, потом разом плеснулась и захлопала крыльями еще одна. Посвист крыдьев удалился и стих, а он все стоял, прислушиваясь, как будто улови он этот посвист снова — и что-то могло измениться в его положении.

На чистое место вылез совсем обессиленным. Трактор работал где-то близко, но он увидел на краю поля стог, наспех разгреб его и, исколов лицо и с трудом втиснув ноги поглубже, сразу уснул с щекотливым, першашим запахом в ноздрах.

Проснулся от ощущения полной тишины. Только что рядом гудело и тряслось что-то огромное и большое, и, продолжая спать, он знал, что это не сон. Теперь было тихо. Выбравшись, он увидел яркое утро, стоя на коленях, снял мундир, выбил фуражку и так, держа все в руках, обошел одонки. Прямо перед ним лежало наполовину поднятое поле, уходя вдаль коричневыми валами вывернутой земли. Десятки ворон и сорок взлетели и недалеко снова опустились при его появлении, и тут же за кустами слева опять мощно загрел трактор. Он прошел совсем рядом, волоча плуг с избочившимся на нем человеком, почти напротив Якова со стоном развернулся на месте, вздыбил на развороте землю и пошел по прямой, укладывая новый вал к прежним.

Присев на краю отвала, Яков закурил. А трактор уже шел обратно, и Яков поймал себя на том, что хочется подняться и освободить ему дорогу.

— Яаш! — Выпрыгнувший из кабины Борис долго тряс Якову руку, и с его улыбающегося лица корочками осыпалась пыль. — Мишка! Ходи к нам... Тракторист мой, видишь, — сам говорит: садись на трактор. Такой малец милый. Да ты ж его и знать должен, Яша, с Васильева он...

Яков, верно, знал этого васильевского Мишку, а уж совсем хорошо знал его жену, Катьку, ту торговку магазина в Пухлове, что, по словам Коли, запасала курево для своих. И точно — Мишка курил «беломор», и, когда поздоровались и сели, Яков загасил и спрятал в карман свой окуреш.

Умчавшись за кусты, Борис тут же вернулся с двумя одинаковыми черными авоськами.

— Вот и нашу целину погляди, Яша. И добра земля. Только что трактор сюда гнать далеко. Молоко будешь? Его вволю...

— Будет вволю, как ты стараешься, — засипел Мишка.

Они шутиливо считались недостатками, а Яков глядел на замерший трактор и никак не мог избавиться от странного чувства покоя. Ему хотелось вот так и остаться здесь с этими парнями, залезть в кабину и резать крупными ломтями землю, а после пить молоко на траве под высоким небом.

— Да ты не спишь ли, Яша? Ешь молоко. В нем тех градусов нет, так, может, и зашабашим. Я хоть одолжился кругом, а пару бутылок другу выставлю...

— А хоть и сейчас. — Яков с хрустом потянулся и, перевернувшись с боку на бок, нащупал в кармане деньги. — Котелок у меня расселся со вчерашнего, так его молоком не поправишь...

— Да не... — Борис глянул на Мишку. — Надо ж кончить. Верно, тут и делов-то...

— Нельзя. — Сонные Мишкины глазки разгорелись и затухли. — Да и мараются в двух пузырьках расчета нет. Давай кончать...

— Чего в двух... — Наугад выдернув из кармана бумажки, Яков положил на колено две трешки. Ему во что бы то ни стало захотелось сломить их на свое. — Вот...

— Так и чего ж ты? — Мишка уже стоял на коленях, и голубые глаза его полыхали энергией. — Так. Вы с Борисом до его посестры бегите, а я пока взад-назад пройду. Как раз к празднику поспею...

Борис сразу попал на стегу, сбегавшую к самому озеру, и минут через десять торопливой ходьбы они вышли к покосившейся баньке. За ней полого поднималась усадьба, стояла изба, белевшая снизу новыми венцами, а дальше виднелись остальные избы Кретивли.

— Это я подрубать помогал... Лес трактором тягали, так после так рада была.

— Так вот и пришли?

— Ну. Вон и Нюрка.

Яков едва не крикнул от зависти — такой ладной оказалась фигура женщины, спиной к ним развешивающей на загородке полотенца. «Ай да Борис... Ну, погоди, поглядим еще...» Уже когда были вблизи, она обернулась, и Якова поразило ее светлое лицо. Оно не темнело загаром, как лица всех женщин, и впечатление усугублялось совсем белыми прядыми над чистым лбом.

— На... И рано, да с солдатом. Не случилось, Боря, чего?

— Чего случилось... Это ж Яша, что я тебе говорил, в гости... Ты и бросай эти тряпки, беги к Вальке...

— Да погоди... Я ж вас и знаю и Володю знала. Мы ж с Настей деревни одной — с Кодряниц. Анна я, не слышали? Ну, здравствуйте да проходите в дом. Я сейчас и зайду...

— Так на что ты нам сдалась? Ты к Вальке беги, говорю ж тебе... Тама в сарае бутылки стоят, так все бери, все — и в обрат...

— Ох, и не много ли, Боря? Ты помойся, водичку теплую борову нагрела, так возьми...

— Да Вальку зови, как пойдешь.

— А ее на что?

— На что, на что — зови, говорю...

Так чисто и славно было в этой просторной избе, что Якову разом захотелось лечь и заснуть. Он стоял на пороге, боясь ступить сапогами на белый пол, и, заметив это, Борис подтолкнул его.

— Чего встал?

— Так грязи ж нанесу...

— Вот и стоять теперь? А когда хошь, так скидавай их, тут чисто.

Еще не вернулась хозяйка и только утирался, помывшись, Борис, как явился Мишка. Анна пришла, когда он уже залил водой пол в передней комнате, и напугала всех пустыми руками. Но по тому, как забегала она, собирая на стол, стало ясно, что испугались они напрасно.

— Вот как хорошо, что застали меня,— приговаривала она, представляя тарелки,— сенцо перебрать собралась, так и справлюсь с обеда. А вы уж и пошабашили, поди?

— А то,— сипло хмыкнул Мишка,— у нас своя бригада, целинная...

— Слышь, Борь,— шепнул Яков приятелю,— не накроет твою хозяйку бригадир, что не в поле?

— Нюрку? Ты или верно ее не упомянул? То ж Анна Федосова, что...

— Что ты? Так я и знаю... А то смотрю, что белая она какая...

Когда бы назвал Борис сразу Анну «стреляная», как называли ее за глаза, не пришлось бы Якову и спрашивать. Муж ее Федос Родин партизанил в здешних краях и попался немцам накануне ухода. Всех их — Федоса, Анну и двух девочек — и положили рядком возле их же сарая. Да и верно, видать, бабы живучей: умер мужик с одной пули в грудь, Анна же с тремя в животе вылежала до ночи, пока подобрали соседи, и еще едва не сутки лежала, пока подошли свои солдаты.

«Вот и Борис,— с новой завистью думал Яков,— и баба бабой, и пенсия, поди, рублей до тридцати... Только хворая небось».

Как сели, пришла Валька. По всему было понятно, что еще до прихода как-то связали их вместе, что ей это понятно тоже, и от этого он был поначалу, до хмеля, неловок и спутан. Но и сразу и потом он все не мог разглядеть как следует ее лицо, а после понял, что это оттого, что так и не увидел толком глаз на этом лице. Да и смотрелось-то ему лишь на Анну. Все заметивший Мишка то и дело нашептывал что-то Борису, а тот ласкал Якова взглядом, и от этой ласки лишь крепла в душе Якова злая твердость.

Вино было доброе, не хуже торгового, но и закуска была добра: к обеду подала Анна куриную лапшу. Мишка приехал к месту раньше других и уже спел и сплясал под балалайку Бориса. Когда снова заиграли они песню, Анны в избе не было. Яков, не таясь, словно для нужного дела вышел на двор и, увидев приоткрытую дверь сарая, передыхнул. С порога он не сразу разглядел ее после света, и стояла она совсем рядом, прислонившись спиной к свежему сену. Глаза у нее были закрыты, и лицо выражало столько всякого, что он так же тихо ступил назад. И все же она услышала, вышла следом.

— Что ты, Яша? Или худо?— Только искренняя тревога была сейчас на ее лице.— Может, воды холодной, умыться?

— Не... Кваску хотел спросить.

— А Борис что ж? Песни играет... Не знаю, настоялся ль квасок. Отвару я тебе яблочного наежу...

К концу дня Яков помнил себя плохо. Валька ходила домой еще раз, потом и Борис и она заговаривали, чтобы он сходил с ней. Анна раза два порывалась уложить его здесь, но сразу, хоть и ненадолго, трезвея, Яков отказывался.

Валькина изба снаружи походила на баню. Хозяйка зашла первая, даже не зашла, а забежала, как бы опередить, и в дверях он столкнулся вроде бы с женщиной. Казенки в избе не было, и едва Валька зажгла лампу, он увидел кровать и лег на нее лицом вниз. Ему бы тут и заснуть, но то разное, что случилось за сутки и слилось в один длинный ряд, будоражилось в голове все сильнее, тесня горло, и, вспоминая поочередно отца, Гальку, бригадира, Проску, девочку возле амбара, обоих, отца, белые ветви ивняка, посвист крыльев, трактор, Анну, отца, он тосковал все сильнее и, когда стало совсем невмоготу, схватил за руки присевшую рядом женщину и потащил ее к себе.

Вино Валька, точно, готовила доброе. Следующим днем Яков только и помнил, что утро, и то кое-как. Потом пошли не то день, не то ночь, были и Борис с Мишкой, и еще какие-то парни. Было ему и совсем худо, но прошло, и уже просил он сходить домой за гармонью, и, верно, сходили, потому что играл он и пел сам и еще с кем-то. И опять было и худо, и вроде бы утро и даже день, оказавшийся таким слепящим, что впору от него спрятаться, и он прятался в полутемную комнату или на кровать. Что кровать была отдельно, он тоже помнил. Томило его то, что каждый раз, когда было совсем ему плохо, появлялся кто-то отличный от всех и вроде бы ходил за ним, и он не мог понять, кто же это. Называл и маткой, и Галькой, и Анной, а раз так, то, значит, и была это женщина. Когда били его — а случилось и такое, — она тоже оказалась здесь же, и снова он называл разные имена и ни на одно не получил ответа. Сколько все это длилось, он соразмерить не мог, но ощущение усталости все больше укоренялось и разрасталось внутри него.

А потом, видно, пришло время очнуться, и, очнувшись, он увидел отца, сидящего рядом.

— Пора, Яша, домой, уж и нагулялся, должно... Вон как с лица спал — чисто апостол. Ноги-то еще держут?

— А чего ж им... Попить бы.

— А ты вставай, вставай... Как пройдемся, так возле озера и попьем-поедим. Погода стоит такая красивая...

Одевал его отец. Когда вышли на двор, Вальки там не оказалось, и он понял, что ее и не будет. Заложив руки за спину, отец, сгорбившись, шел по дороге, и Яков шел за ним, не глядя вокруг, хотя никого вокруг не было. У отца через плечо висела старая противогазная сумка, и отец все сдвигал ее назад, едва она начинала колотить по боку. Когда избы Кретивли ушли за бугор, Яков догнал отца и пошел вровень.

— Ты не спеши, сушью не водой — двенадцать верст вместо двух... — покосился старик.

— А то я не знаю.

— Нет и знаешь, конечно, а только и торопиться куда? Еще два дня тебе с нами маяться, кроме как сегодня...

— Как это два? — Яков стал, но отец все шагал, и он догнал его. — День сегодня какой?

— А день тот, что на прошлой неделе был — четверг, Яша... Вот и отгулял ты недельку, отмутился. Два с кусочком возле нас — четыре у

хороших людей. Последних три дня у доброй бабы. Только что копеек ты ей мало бросил...

— Что ж, я и погулять не в состоянии за два-то года?

— Нет, Яша, я об том не говорю... Твоя жизнь, ты ее и пользуй, трать, как хошь. А только какое ж веселье, когда вся морда битая да черная? Ты глянь в зеркальце, как придем...

Впереди, подняв хвост, перебежала дорогу белка. Старик остановился, проводил ее глазами и снова пошел, волоча ноги.

— С редкости теперь и увидишь. Бывало ж, утром выйду, а к обеду уж и дома. И несешь не одну, не две... Куницы стало больше — она ее и вывела. Я вот соберусь, так нашего дурака убью, а путную собаку держать стану, чтоб куниц брала. Восемнадцать рублей за одну... Сколько за них работать надо?

Долго шли молча. Чтобы уравняться опять, Якову надо было разозлиться, но сил не было, голова пусто гудела, язык скукожился, и чувствовать его было противно.

Старик свернул с дороги в бор и, оглянувшись, пояснил:

— Место тут одно есть... Поглядим.

Бор неожиданно оборвался кряжем. Из-под корней крайних деревьев в воду озера сбежал ручей, и лужайка возле него ярко зеленела на фоне хвостой земли.

— Тут и сядем.

Сев на траву, отец передвинул на живот суму, достал из нее огурцы, вареные яйца и хлеб.

Когда поели, идти уже не хотелось. Старик заснул сразу, прикрыв лицо кепкой, а Яков свернул сигарку из его портсигара, и махорка оказалась много вкусней папирос. Раз-другой ему почудились голоса за кустами, но, видно, только почудились. Он и сам знал это место, но всегда видел его с воды и не держал за особое. И вот поди ж ты... Было б ближе — и на дно сходить можно. Если щупать, так под глазом болит. И на лбу под волосами вроде шишка... Да.

Неподалеку зашуршало, и, приподнявшись на руках, Яков обомлел: почти голая девка вышла из-за кустов и шла к воде. Он еще не решил, затаиться ему или кашлянуть, как следом за ней вышла вторая такая же, а уж после шел мужик в черных очках, но тоже едва не голый. Поворачиваясь за ними, Яков задел ногой отца, и тот сразу сел, ясно глядя на него. Он кивнул на прошедших, и старик, зевнув, натянул кепку.

— Дачники, — сказал он равнодушно. — Теперь их тут много бывает. Кто пеши, кто на лодках таких легеньких... Молоко в деревне берут, картоху.

Услышав его голос, дачники обернулись, и мужик, помедлив, подошел к ним.

— Здравствуйте. Вот обещали за нами на лошади приехать. Берлинскую пристань назвали. По объяснениям, будто бы здесь...

— Она самая. А чего вам лошадь?

— Вещи у нас. Хотим на Виленское озеро попасть, а там, говорят, мокро кругом.

— Так нет, и дорога есть... Вам, конечно, она незнакома... А с лошадью где сладились?

— В Спичине. Знаете?

— Ну. Вот я с вами и доеду. Малец мой пеши, а я с вами...

— Пожалуйста, — растерянно согласился дачник и, поворотившись, крикнул: — Девочки! Собирайтесь, скоро, наверное, приедут...

Когда за деревьями загремела телега, Яков помог дачникам поднести вещи к дороге. Было их всего четыре рюкзака и тючок с лямкой —

лошадь гонять явно не стоило. С подводой приехал Колька. Он так пялился на девок, что Яков ткнул его в бок, и Колька раззаикался совсем.

На телеге с Колькой ехали вещи и старик. Дачники шли возле. Мужик, назвав свою компанию туристами, радовал старика расспросами:

— Скажите, пожалуйста, а что же это за название — Берлинская пристань?

— Берлинская? А это как раньше собственники были, ну, помещики, значит... Наш-то Миколашка то ли победней был других царей, то ли глупей, так все это вовсе за немцами было, и лес и воды. Так и шло: Берлинские дачи...

— И сами они здесь жили?

— Кто?

— Ну, помещики эти...

— А нет. Во-он тама, где тополя кудрявятся, видите?

— Да-да.

— Так там и усадьба была, только в ей Петрашка жил...

— Это кто же?

— А сам он у Берлинов вроде в работниках был, но коров дойных держал, хлеба собирал ладнова...

— Так это, видимо, управляющим был...

— Ну-ну... Антоном Ивановичем его прозывали, и зубы золотые имел.

— Слышь, старый,— Яков тронул отца за плечо,— слезай-ка, нам тут напрямик ближе...

— А? Сейчас, Яша...

— Да ближе ж тут... Мне в сапогах уж и ноги сгорели...

Мать встретила его как с погоста: выла, тискала и словно не верила, что он. Кляла и срамила Бориса, а пуще всего Вальку.

— Я ж ее, суку бесстыжую, знаю! Опоит, денежки выграбест и вот другому кому подолом мести... А над сиротой уж так измывается! Я и то говорю: на тебе, доча, хлеба в дорожку... Так засовестилась, не взяла... Ох, Яшенька! Все-то личико побито!

— Эт не беда, когда глаза глядят, не вой.— Отец снял сапоги и с наслаждением шевелил бледными пальцами.— Сироте-то в дорожку лепешку пожалела. То-то она хлеба черного не ела... А девка добрая. Тебе бы было к ней, Яша, прислониться... Так я думаю, что куда бы ты больше интересу поимел...

— А, ту! Оставь дурасть свою показывать,— окрысилась мать.— Ты и рад, чтоб сынок домой не ходил, все заботы нету...

— Дура ты, дура...

— Да куда вы, ошалели? Что за сирота?

Он видел их недоумение, когда они переглянулись.

— Так, Яша, Шурка, что при Вальке живет,— она ж ей почитай и никто,— пояснил отец.— Это ейного покойного мужика двоюродная племянница. Отца у ее куда-то свезли, он там и помёр, а matka тож в Совете каком в Луках работала, да как уволилась — и померла потом. Ну, Валька и попользовалась, когда малешенькую с вещами к себе забрала. Так теперь и корит, что, мол, она ей в тягость... А ты, видать, так хорош был, что и не упомнишь ее.

— Да не, помню,— соврал Яков.— Сюда-то она как попала?

— А прибегла, Яша,— замахала руками мать.— В лице ни кровинки, глазницами хлопаит: «Тетенька, говорит, заберите вы вашего сыночка, пока его не убили тама...» Я схватилась бежать, да и ноги не идут...

— Тьфу ты, змея,— в сердцах плюнул отец.— И чего несет? Пришла девка благородно, поздравкалась, спросила: здесь, мол, Яков, что из



армии, проживает? И я вот у стола сидевши, и Катеха зашедши была... «Тута»,— говорю. Так, мол, и так, гуляют они сильно, да едва как и не болеет он от вина, себя не помнит и всякое разное случиться может. К тому и ейный шофер приехал, так Валька и сама уж не рада: «Возьми-те вы его, что же он свой отпуск где расходует». Ну, конечно, матка в крик, а она говорит: «Вы ничего не бойтесь, он живой и здоровый». И пошли мы с ей.

— Чего ж я ее теперь не видел?

— Так засовестилась она, что Валька копейки твои вывернула, да вышла, как я к тебе сел. Да и в поле ей... Борис-то с Анной тебя тягать оттудова хотели, так ты ж и не шел. Ладно, чего об этом говорить? Ты бы поел.

— Не буду.— Яков еле стоял на ногах.— Спать лягу.

К вечеру собрался и пошел дождь. Проснувшись в сумерках, он слышал обнявший всю избу его шорох и особенно почувствовал, что лежит дома на своей постели. Надо было бы встать и поесть и еще встать по нужному делу, но вставать не хотелось, и он снова заснул, не заметив как. Разбудило его то же и уже непременно желание, было это под утро, и все кругом спали. На дворе мелко сыпало влагой, мокрый Жулик, свернувшись, лежал напротив крыльца, и поэтому Яков понял, что непогоде скоро конец.

Вернувшись в избу, он с аппетитом поел холодной картошки. Тут же лежал «беломор», и, забравшись опять под одеяло и закутив, Яков с наслаждением ощущал холодные и мокрые в тепле ноги. То чувство покоя, какое бывает с утра, когда никуда не надо спешить и еще ни о чем не задумался, настраивало его на мечтательный лад. Но стоило лишь начать думать, и снова на ум пришла Галька, но ненадолго, потому что гораздо больше его воображение заняла Шурка, которую он, как ни силился, вспомнить не мог. Там могло быть дело верное, раз так ей пришлось, что жалела и неблизким концом прибежала сюда. Хорошо было бы прийти с ней в Пухлово на танцы и чтобы там была Галька с бригадиром, а Шурка была придета лучше Гальки. Но тут он вспомнил, что танцы по субботам, а сегодня пятница, и, значит, танцы завтра, но завтра суббота и завтра же он должен уехать, а стало быть, отпуску конец. И сознание того, что он еще не получил почти ничего из всего, что должен был получить, наполнило его лихорадочной жаждой деятельности. Он и сам не мог точно определить, что ему надобно и чего он будет искать, но надо было действовать, и, вскочив с постели, он стал одеваться.

Его возня разбудила отца, и тот, свесив с печи ноги и еще не прокашлявшись, попросил подать папиросу. На их разговор проснулась и мать и, тоже закутив, жаловалась на лому от погоды. Яков испугался, что они, их разговоры задержат его на пороге того важного и необходимого, что должно было произойти в этот последний день отпуска, и, сказав, что скоро вернется, вышел на улицу.

Он шел дорогой, обходя лужи, а дорога шла через деревню и могла привести Якова лишь к концу ее. Она могла вести его и дальше, в обход озера, и тогда он снова попал бы в Кретивлю. Но что было ему делать в Кретивле? Идти к Шурке, которая, может, и ждала его, но уж никак не сейчас и даже не днем, когда она бы все равно не смогла пойти с ним и никогда бы не пошла на глазах Вальки и всей деревни. Да и куда? Если не трясся на тракторе, так еще спал в доме Анны Борис, еще спала Галька в доме, куда заказан ему доступ, и чем дальше он шел, тем неувереннее и медленнее становились его шаги. Идти было некуда, и, понимая это, он вместе с тем все медлил повернуть обратно. «Да не, не жизнь тут, одно слово — болото...» И тут же вспомнил, что толком не

поговорил с родителями о том, что больше сюда не вернется, и в этом нашел причину для возвращения.

Завтракать сели невесело. Племянник, глядя на всех, тоже притих. Он первый и заметил в окошко подъехавшего на велосипеде Бориса, и его крик об этом взбудрил Якова: может, что-то случится?

Но Борис был в рабочем — ездил в Пухлово за какой-то нужной гайкой.

— Видать, Яша, и простимся,— виновато улыбался он.— Завтра-то мы за еловиком опять будем.

— Что ж... Простимся, когда так. А кто ж меня волочил-то, Борь?

— Михаил, побратим Валькин... Да он и ничего, ты ж первый и пихнул его. А с им двое с Петухов были, ну и взялись, Шурка прибегла, так мы с Нюрой к вам... У глаза вот малешенько осталось. Слышь, старик,— расплывшись, повернулся он к отцу.— Другой день лиса за трактором ходит. И вот кого-то ловит да прыгает, хвостом вертит! Ох и смешна...

— Мышей ищет... Но негожа теперь шкура, кабы к осени... Может, и погоняем, как путную собаку заведу.

Когда Борис уехал, Яков разом и завел речь о деле.

— Ну так и с вами прощаться надо долго стоит. Так я надумал, что после службы поеду куда... Точно не знаю, а сюда не вернусь...

По всему было видно, что у стариков уже был об этом разговор, и он даже растерялся, когда мать не закричала, а лишь засморкалась. Отец, тот и вовсе просто ответил:

— Что ж, сынок, так и когда свет глядеть, как не с молодых. А не пондравится, так сюды приехать куда легче, как отсюда выехать. Может, когда винцом баловать не будешь да соблюдешь себя по форме, так что и выйдет большое. Мы, конечно, пособим, больше избы и коровки нам ничего не надо. Продадим.

— Когда квартиру где дадут — к себе возьму,— неуверенно пообещал Яков.

— А нет,— твердо сказал отец.— Когда и хошь, так разве матку, а я уж никуда. Мне ж одно озеро в очередь сниться будет... Не, Яша, нас не вороши.

— Ты рад и меня спихнуть,— мать схватила Колю,— да мы с дитем лучше тебя в сарай... С избы не пойдём!

— Ну и дура ж ты... Что об этом, сынок! А как надо тебе в дорогу рыбки запеканной, так мой план таков: когда хошь, так скидывай свою амуницию да половим в две сетки, что бог даст...

Так и не случилось того разговора, что представлял Яков.

Ловили по всему озеру. Яков греб, отец бросал связанные в одну сетки и, когда челн обходил их по кругу, стучал в борта алюминиевой чашкой-черпалкой. Ловилось негусто, но часа через три короб был полон плотвой, черехой и красницей. К обеду заметно посветлело, стало свежее. Напоследок глядели мережи: ехать назавтра Якову предстояло с почтой, и старик хотел подладить почтарей рыбой.

Все утреннее оживление у Якова прошло, жил он теперь отъездом, представлял, как вернется в часть, как встретят его. Еще думал, к кому же из ребят прибиться после службы,— звали его с собой многие. Да звали так, не всерьез, и он не мог вспомнить никого, с кем бы поехал охотно и вообще был дружен. Мать с отцом просили играть в карты, и он сначала отказался, но зашел Ванька, и сладились играть в «козла». Играли поначалу просто так и вяло, потом гость подпил, поставил полтинник, и поднялись от стола только что не к свету. Так и прошел последний этот день дома...

Почта шла обедом, и, когда прошла в сторону Глинища, Яков стал

собираться. Мать в голос взывала лишь однажды, крепилась. Отец приготовил папиросы, дал двадцать рублей и особо тридцать на новые часы. Пришли Катеха с Проской, обе нанесли огурцов и яиц, в чемодане места нашлось для всего.

Прощались, как случается часто, наспех, машина вернулась скоро. Бабы плакали, ему надоело утираться после объятий. Отец стиснул крепко, дважды уколол левую щеку, раз правую.

— Ну, Яков, не суди, когда что, а больше тебя у нас никого. Об Коле не забывай, если вдруг придется. А мы тебе... Сам понимать должен...

Якову не терпелось залезть в кузов, и когда залез, то явно и облегченно передохнул. Бабы с Колей стояли с одной стороны дороги, отец, походом взявший к озеру короб и новые дуги для мереж,— с другой. Чтобы не глядеть на них, Яков глянул кругом, и хотя смотрел вынужденно, увидел все сразу. Он подумал, что прощается со всем этим надолго, если не навсегда, и ему вдруг стало жалко, что вот теперь он уж больше не увидит озера, на котором и не рыбачил как следует, не пройдет лосиной стегой на Барсучий остров, изрытый старыми и свежими норами, не услышит, как рыдает на следу гончак... Стало обидно, что вовсе не увидел Шурку и так просто, будто подарил, уступил бригадиру Гальку, которая, может, и ждала, что он придет еще, может, и сейчас ждет. А где-то за тем ельником крупными ломтями режет землю Борис, и лисы хватают мышей за его трактором...


Он посмотрел на отца и еще раз обвел кругом взглядом. Едва ли не все деревья свели на том месте, где стояла деревня, и ее избы разбежались на пространстве, образующем почти правильный круг. Но лес плотно обступил его границы, и за бором лежало Виленское озеро, справа за дубравой текла Двинка, за близким оленьем блестело Малое озеро, из которого за день, не ленясь, доплывешь до Двины. И кругом другие деревни, где его знают или могут узнать, если назовется откуда и чей. Все знакомое, близкое и свое. Он еще раз пожалел, что за время отпуска не смог взять от всего этого то, за чем ехал. Может, не так он пытался это сделать, а может, просто короток был для этого его отпуск.

— Яшенька-а!

Машина уже катила, набирая скорость, но казалось, что это они на дороге и сама дорога отбегали назад. Далеко за родными, на повороте возле канавы, махал платком еще кто-то, но кто, он не видел, а может, и не ему махали.

---

А. Макаров родился в 1931 году в Ленинграде. После службы в армии работал слесарем разъездной бригады в Ростове. В 1953 году окончил школу рабочей молодежи. В дальнейшем занимался журналистикой. Опубликовал два рассказа — в «Смене» и в «Неделе». В «Новом мире» печатается впервые.



---

РАСУЛ РЗА

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*С азербайджанского*

### СПРОСИ

Как страдает огонь —  
спроси золу.  
Как тоскует глаз —  
это знает веко.  
Как жаждут руки  
трудиться, творить —  
спроси человека.

Отчего песни грустны,  
спроси  
у оборванной струны.

Если нога  
оставит на камне след,  
как страдал тот день,  
спроси у года.  
Много горя видал я  
на земле,  
не видал горя больше,  
чем горе народа.

Пусть о тяжести тьмы  
говорит слепой,  
я о ней говорить не стану.  
Я закрыл глаза,  
открыл глаза —

скольких друзей  
не стало!

Как страдает  
сухое русло реки —  
спроси у потока.  
Дороги длинные,  
тропинки узки,  
стоянка далеко.

Как страдает нога,  
каменистой шагая тропой,—

спроси у того,  
кто дошел  
до вершины крутой.

Я в пути.  
Я цели еще не достиг.  
Что там,  
        зной,  
                непогода?

Будет ли жить  
на земле  
мой стих?  
Не знаю.  
Спроси у народа.

### ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

В синем небе летит  
журавлиная стая,  
самолет реактивный  
напоминает.  
Поднимаясь все выше,  
клекочат негромко.  
По бокам  
облаков  
золотистая кромка.  
А внизу,  
точно нитка,  
река среди поля,  
где-то дальше холмы,  
земные мозоли...  
С неба падал, как листья,  
крик журавлиный,  
и один вдруг отстал,  
отделился от клина.  
Стая дальше летела,  
все выше взмывала,  
только место одно  
долго в ней пустовало —  
точно вынули камень  
из ожерелья...  
Ветер терся о грудь,  
шевелил его перья...  
Облака поднимались,  
журавль опускался.  
Может, пуля настигла?  
Крыло ли сломалось?  
Опустился он,  
сел на жнивье и с тоскою  
поглядел  
на своих улетающих братьев...

Нет, не ранен журавль  
и крыло не сломалось,  
просто страшную он  
вдруг почувствовал усталость.  
И ему показалось,  
что лежит он не в поле,  
а на жгучем песке  
бесконечной пустыни,  
что не тополи там,  
а слоны над водою,  
из далекого леса  
пришли к водопою  
и зеленые хоботы  
подняли к небу...  
Показалось ему, что летит он  
над морем  
и его обжигают лучи золотые...  
Он очнулся  
и, может быть, вспомнил впервые  
об охотнике...  
Где же пустыня?  
Где море?  
И спокойно глаза он закрыл,  
умирая...  
В небе скрылась давно  
журавлиная стая,  
улетела в чужие  
далекие страны,  
на чужбине его одного  
оставляя.

А вокруг тишина,  
как река голубая.

На какую бы землю  
не пришлось вам спуститься,—  
не на чужбине ли вы остаетесь,  
и куда б ни летели —  
не на чужбину ли  
вечно летите вы,  
перелетные птицы?

*Перевела М. Павлова.*



---

---

РОЛЬФ ХОХХУТ

★

## БЕРЛИНСКАЯ АНТИГОНА

*Рассказ*

*Рольф Хоххут — современный западногерманский писатель (род. в 1931 г.). Широкою известность принесла Р. Хоххуту драма «Наместник», которая переведена на многие языки и с большим успехом идет на сценах Европы и Америки.*

*Рассказ «Берлинская Антигона» — первое произведение Хоххута, публикуемое на русском языке.*

**П**оскольку обвиняемую уличили по крайней мере в одном ложном показании, генеральный судья надеялся, что сумеет ее спасти: Анна утверждала, что сразу же после бомбежки она без посторонней помощи вытащила из морга и перевезла на Кладбище инвалидов тело брата — повешенного, как неоднократно подчеркивал прокурор. И в самом деле, со строительной площадки возле университета Фридриха-Вильгельма были похищены ручная тележка и лопата. Кроме того, в ту же ночь пожарники, отряды гитлерюгенда и солдаты, как всегда после налета, уложили извлеченные из руин жертвы в спортивном зале и вдоль главной аллеи кладбища. Однако два могильщика с дотошностью, характерной для их ремесла, но в период массовых смертей такой же излишней, как гробы, неопровержимо доказали суду, что среди двухсот восьмидесяти сгоревших или задохнувшихся, которые лежали до регистрации под деревьями на гофрированной бумаге, они не видели тела раздетого и покрытого одним лишь брезентом молодого человека. Их показания отличались железной убедительностью. С детальными подробностями, особенно там, где речь шла о несущественных мелочах, они сообщили, что спустя три дня самолично опустили в яму, то есть в общую могилу, пятьдесят одного мертвеца, которых либо не удалось опознать, либо не разыскивали родственники.

Термин «братская могила» произносить было запрещено. Правительством рейха обычно хоронило своих мертвецов в общей могиле с чрезвычайно утешительным церемониалом: приглашались не только священники обоих исповеданий и маститый партийный оратор, но также взвод музыкантов караульного батальона и отряд знаменосцев.

Заседатель имперского трибунала, по-стариковски добросердечный адмирал, единственный, кто не испытывал страха в этом полупустом и запущенном зале, был настолько растроган описанием похорон, что с мягкой настойчивостью советовал подсудимой сказать наконец правду о том, где находится ее усопший брат: ибо осквернение общей могилы трупом офицера, казненного по приговору этого же суда, следует, к сожа-

лению,— он дважды вполне искренно сказал: к сожалению,— расценивать как отягчающее вину обстоятельство.

Анна, измученная и разбитая, отставивала свою ложь...

Генеральный судья, снова вступивший, пока говорил адмирал, в мысленный поединок со своим сыном, не мог больше представить себе лица Бодо; оно расплылось, как тогда в дыму паровоза,— лишь накануне отправки Бодо на Восточный фронт они достигли зыбкого соглашения. Большого, чем отмена официальной помолвки с сестрою государственного изменника, генеральный судья добиться не смог. Его отказу дать когда-либо свое согласие на такой мезальянс Бодо противопоставил угрозу немедленно жениться на этой особе, которая, надо думать, уже несколько недель каждую свободную минуту поджидала его у ворот потсдамской казармы — даже тогда, даже тогда, когда брат Анны был уже арестован!

А этот брат вместо благодарности за то, что его одним из последних самолетов, как тяжело раненного, вырвали из сталинградского котла, загло заявил после выздоровления, что не русские, а фюрер загубил шестую армию. И Бодо разделял его мнение...

Оскорбленный в своих лучших чувствах, генеральный судья не желал додумывать эту мысль до конца. Он уперся взглядом в мокрое пятно, которое, словно колоссальный отпечаток пальца, пропитало стену над бронзовым бюстом фюрера. Громадный бюст неколебимо стоял на своем постаменте, хотя во время ночной бомбежки воздушной волной вырвало даже водопроводные трубы из стен...

Генеральный судья почти не слушал молодцеватого прокурора. Ни Бодо, ни его мать явно не оценили, чего ему стоило превратить трагедию в фарс и исказить слова фюрера лишь для того, чтобы избавить эту строптивую девчонку от топора. Откажись он председательствовать на этом процессе, кто тогда взялся бы переиначить отданное Гитлером после обеда иронически-двусмысленное распоряжение, чтобы подсудимая «собственной персоной возместила моргу недостающий труп», в том смысле, будто девушке надлежит принести назад тело брата?

Фюрер, бегло проинформированный министром пропаганды, в то время как адъютант передавал ему новые депеши о политическом перевороте в Италии, наверняка даже и не думал о судебном разбирательстве: Анна должна быть обезглавлена и передана в анатомический театр ради острости тем студентам-медикам, которые, надо полагать, могли ей вынести труп брата. Здесь, в столице рейха, под злорадными взглядами дипломатического корпуса, как добавил Гитлер, не следовало поднимать шума, охотясь за безобидными смутьянами из студентов: довольно неприятностей уже было весною, когда вражеская пресса пронюхала о студенческом бунте в Мюнхене из-за того лишь, что народный суд Фрейслера ликвидировал этот бунт хотя и молниеносно, но с непростительной оглаской.

Генеральный судья, редко бывавший в главной квартире, а еще реже за столом у Гитлера, пробормотал застывшими губами: «Слушаюсь, мой фюрер», а потом, будто ослепший арестант, никак не мог дотащиться до своего автомобиля. Мог ли он, глядя в холодные, светлые, по-распутински насилующие глаза Гитлера, признаться в постыдном и невероятном — в том, что эта девушка, сестра государственного преступника, втайне обручена с его сыном!..

Теперь, чувствуя, как взмокла голова под фуражкой, он впал в недельной, интимный тон престарелого адмирала и почти доверительно обещал Анне отыскать смягчающие обстоятельства. Нетерпеливо, но точно возражал он прокурору: правда, во время тревоги подвал университета открыт и ночью; правда и то, что решетки трех окон анатомического



театра сняты, чтобы создать дополнительные выходы, и что только вследствие катастрофической суматохи, вызванной бомбежкой, подсудимая могла раздобыть ключи. Однако вынос трупа не служит целям личного обогащения: следовательно, о мародерстве не может быть и речи. Да и погребение необязательно свидетельствует о враждебности к государству, поскольку изменник являлся братом обвиняемой. Смягчающим обстоятельством следует считать и душевное потрясение, ибо за казнь брата последовало, как известно, самоубийство матери.

«Подозрительно,— подумал прокурор, лощеный гамбургец со скрипучим голосом,— подозрительно». Однако тон генерала заставил его промолчать. Он даже оскалил зубы, хотя задуманной услужливой улыбки не вышло: дело в том, что председатель, помимо прочего, имел право решать, нужен ли ему прокурор в дальнейшем или его можно отправить на фронт. Прокурор с удовольствием прибрал бы к рукам своего шефа. Разве не смешно, что вот сейчас он обещал подсудимой определенный срок, если она, находясь под стражей, выкопает тело брата из могилы; такое обещание — разумеется, сдержать его вовсе необязательно — никак не вяжется с тем, что она нарушила приказ фюрера отказываться в погребении политическим преступникам...

В то время как прокурор с большим удовлетворением отмечал, что шеф искажает закон, в то время как адмирал с печальным благоволением старости ласкал глазами потускневшие красоты этой девицы, в то время как сырое пятно над бюстом фюрера, все более увеличиваясь и темнея, въедалось в стену рядом с длинным кроваво-красным штандартом, генерал, уже задыхаясь, уже потеряв надежду, вынудил себя к откровенной жестокости. «В период тотальной войны трибунал не может тратить силы на затяжное расследование,— торопливо, хриплым голосом пригрозил он Анне и самому себе.— Вам дается двадцать четыре часа на размышление: ваши сообщники в анатомическом театре снова получат либо труп вашего брата, либо в аше тело с отрубленной головой — и тем самым поймут, что мы, национал-социалисты, беспощадно искореняем всякое пораженческое непослушание».

Отныне страх смерти не покидал Анну. Но к вечеру руки ее почти перестали дрожать, и она смогла написать Бодо. Прощальное письмо, это она знала, и Бранденбург, сердобольный охранник, который, холодея от ужаса, признал в Анне «сестру», согласился тайно отправить ее письмо полевой авиапочтой.

«Ты узнаешь, где я похоронила своего брата, а потом, когда будешь искать меня, обломай несколько веток с нашей березы, что на берегу Гафеля, и положи их на его могилу: в эту минуту ты будешь недалеко от меня».

Она хотела довериться пастору Ому, рассказать ему, куда она перенесла тело брата,— Ому по крайней мере не грозила опасность со стороны палачей и осквернителей. Эта мысль уберегла ее от раскаяния, хотя она никак не ожидала, что ее приговорят к смерти, и угроза генерального судьи потрясла ее. Чтобы страх снова не завладел ею, она заставила себя углубиться в ставшее уже сном воспоминание о той ночи десять дней назад. «Суд не верит, что вы одна доставили тело брата на Кладбище инвалидов!» — услышала она пронзительный от обиды голос генерального судьи. «Я и сама бы на их месте этому не поверила», — подумала она теперь с сарказмом, который на минуту оживил, почти развеселил ее...

По крайней мере внутренне, душой, она отвлеклась от стены и решетки, вырвалась из тюремной камеры и перенеслась на волю, вспоминая полоску земли на язычески-древнем, давным-давно закрытом кладбище вокруг сложенной из валунов церкви, что в древней части го-

рода, почти рядом с университетом. Самые могучие королевские деревья Берлина вздымаются там выше всех соборов над редкими могилами минувших столетий. И одну из могильных плит, нерушимый щит упокоения, сплуканный дождем и снегом, изуродованный, словно... словно лицо матери в последний раз, она предназначила стать могильной плитой для брата. Теперь она решила просить Ома перевести ей одно место из библии, которое она с большим трудом разобрала там: «Деяния, глава 5, стих 29», — тогда как имя усопшего уже нельзя было прочесть ни глазами, ни на ощупь.

Сколько людей нашло там покой!

Из страха Анна выкопала не слишком глубокую яму. Большим ножом она аккуратно отделила толстый слой травы и мха, а ее настороженный взгляд всякий раз, когда она поднимала голову, падал на крыши горящих домов, словно в жерло печи. Весь Берлин с хаотической деловитостью спешил тушить пожары, и Анну увлек этот горячий водоворот, когда, сразу же после отбоя, она с ручной тележкой покинула двор университета. Об этом позднее и смогла вспомнить доносчица, соученица Анны. Фридрихштрассе, уже догорая, вздыбилась огненным смерчем к небу, будто полыхающее знамя опустошения. А тут, как мирный островок, отделенный морями от оргии яростного огня, лежало темное кладбище. Никто ей не мешал. Закрытая с улицы буйными кустами форзиций, а со спины — готическим склепом, она копала не спеша и бросала землю на брезент, которым до того было покрыто тело брата. Она даже не почувствовала напряжения, когда сняла тело с тележки и, приподняв еще раз, уложила в могилу. Но она избегала смотреть на искаженное лицо, потому что днем, когда она выбежала из анатомического театра, ее вырвало. Она покрыла брата своим плащом. От облегчения, а также и оттого, что именно теперь его надо засыпать навсегда, она разрыдалась — и потом она подумала, что ей уже не скрыться: ноги, юбка, руки были сплошь перепачканы влажной землей. Из последних сил она забросала могилу. Уж потом, когда, снова став на колени, она хотела положить дерн на прежнее место, ее осенила догадка, что после этой огненной ночи десятки тысяч жителей Берлина будут испачканы точно так же. И она решила не торопиться. Бережно убрала землю, остатком присыпала корни кустов и придавила мох руками. Прежде чем выйти с ручной тележкой на улицу, она огляделась по сторонам и подождала, пока мимо загрохочет грузовик, а метров через пятьсот она добралась до первого горящего дома; несколько поодаль двое из гитлерюгенда потребовали у нее пустую тележку, уложили туда чемоданы, корзинки, а сверху усадили бившуюся в истерике женщину, которую они вытащили из подвала в полной сохранности. Анне они обещали доставить тележку завтра к главным воротам Кладбища инвалидов, а лопату и брезент она забросила в дымящиеся развалины. Позднее она нашла кран, с которого пожарники только что отвинтили шланг, и вымыла руки, лицо и ноги. А позади нее уносили трупы. Она бросилась прочь от разрушенных улиц, страстно желая укрыться у Бодо, охваченная мучительной жаждой жизни, чтобы забыть эту жизнь.

Анна охотно описала бы ему все это теперь, когда страх опять согнал ее с нар, а четыре квадратных метра камеры вдруг съезжились и ушли из-под ног, словно люк под виселицей. Ей не хотелось, чтобы он узнал, в каком она отчаянии. Поэтому она заставила себя написать, будто после того, что она сделала, смерть не кажется ей бессмысленной. Это была правда, но не полная правда. Такой же искренней была Анна, уверяя Бодо, что не может бояться смерти, когда бесчисленные поколения уже находятся «по ту сторону»; о том же, что она с содроганием хватается рукой за горло всякий раз, когда подумает о смерти и об ана-

томичке, Анна умолчала. Наконец она даже нашла известное успокоение в банальной мысли: так много людей сейчас умирает каждый день, и большинство даже не знает, чего ради,— значит, я тоже сумею. Докапываться до смысла она считала дерзостью; теперь она могла думать так: многие уже там, рано или поздно там будут все, и я должна, должна удивляться этой истиной.

Но последнее она пыталась скрыть даже от самой себя. Бранденбург стоял и дождался. Ей хотелось вложить в письмо хоть небольшую поддержку, хоть единственное словечко, которое осталось бы с ним, с Бодо, и, увидав через решетку звезду, которой она не знала, а потом еще одну, она вспомнила то, о чем они условились в последнюю встречу, когда чудесной светлой ночью шли на яхте: всегда думать друг о друге, если по вечерам они увидят Большую Медведицу—Бодо в России, она в Берлине. Письмо заканчивалось так: «Я вижу через решетку наше созвездие, нашу золотую колесницу, и потому знаю, что ты сейчас вспоминаешь обо мне. Так будет каждый вечер, и это успокаивает меня. Бодо, милый Бодо, все мои мысли и чувства к тебе я поверяю этому созвездию навеки. Значит, они дойдут до тебя, какие бы расстояния ни легли между нами».

Прямое попадание бомбы в здание трибунала удлинило срок, отпущенный Анне на размышление.

Ее защитник, назначенный судом, лишь беспомощно разводил красными короткопальными руками; впервые она увидела его за двадцать минут до слушания дела. При своем втором и последнем визите он беспрестанно оглядывался на дверь камеры, словно ждал оттуда выстрела в затылок. Потом, закрыв рот носовым платком, он торопливо прошептал: «Супруга генерального судьи сегодня утром была у меня, она плакала... Только теперь я узнал, что ее сын и вы... Короче: генерал спасет вас, если вы немедленно согласитесь...» Прервав защитника, словно ей не полагалось все это слушать, Анна возбужденно попросила доставить ей наконец какую-нибудь весточку от Бодо.

Посещения пастора были для нее опаснее. Он пытался разъяснить Анне, что, по христианскому учению, погребенный без обряда и в смерти не обретает покоя. Как ни ждала она его посещений, она облегченно вздохнула, когда он уходил. И всякий раз она плакала. Под конец ее охватило такое смятение, что она даже не знала, можно ли доверить ему тайну, предназначенную для Бодо.

Четыре дня и три ночи она делила заключение с девятнадцатилетней полячкой, вывезенной на работу в Германию. Эта полячка из хлебного мякиша вылепила ей четки, но и с ними Анна не могла молиться, так же как без них. Во время воздушной тревоги девушка — она была родом из Лодзи — наелась досыта в одной дрезденской булочной: за это ее обвинили в мародерстве и приговорили к отсечению головы. Не будучи храброй, она обладала стоицизмом, и ее присутствие приносило Анне облегчение, хотя генеральный судья надеялся, что совместное пребывание с обреченной девушкой, которая даже не имеет права оповестить своих родственников, сделает Анну покорной. Может быть, его расчеты и сбылись бы: пробил последний час польской девушки — это было в неверном утреннем свете десятого дня из отпущенных Анне на размышление, — и ее вызвали из камеры без вещей; они обнялись и поцеловались — родные сестры перед палачом. От прикосновения к уже обескровленному лицу подруги Анна внезапно ощутила холодную сталь гильотины, и этот удар топора как бы отсек Анну от ее поступка: она больше не понимала девушку, которая похоронила своего брата, она не желала больше быть этой девушкой, она хотела уничтожить сделанное. И это погубило ее. Оставленная в одиночестве, она чувствовала теперь, как содрогаются ее

нервы от каждого шага в коридоре, где даже запрещалось ступать по ослепительной дорожке из линолеума. Ее блуждающий взгляд больно ударялся о стены и застревал в прутьях решетки, через которые врываются дневной свет. «А жизнь идет своим чередом» — эта грубейшая из всех пошлостей обжигала ей сердце. Даже во время прогулки по тюремному двору при виде воробьев, прыгавших на кучах шлака, эта плоская истина казалась ей унижительной. А слова, которые Бодо сказал ей в утешение, когда она узнала, что брата повесят, теперь час за часом пригвождали ее недремлющее воображение к доске под гильотиной, куда ее пристегнут ремнями, и перед глазами ее неотступно стоял облицованный желоб для стока крови позади помоста: голова, отделенная от туловища, продолжает жить еще долго, слепая, но, видимо, в полном сознании — и живет иногда целых полчаса, тогда как смерть на виселице, как правило, наступает скоро. Подобным утверждением генеральный судья пытался однажды оправдаться перед своей семьей в том, что «изменников», которым отказано в расстреле, он приговаривает к петле, и ничем иным Бодо не мог тогда успокоить Анну. Как же теперь придется страдать ему, когда он узнает, что предстояло ей? Ибо женщин — и это он тоже сказал ей тогда — женщин, согласно предписанию фюрера, приговаривают к гильотине...

Однако позднее, когда дверь камеры отперли для пастора, она решила не отречься от своего поступка. Лицо пастора осунулось. И то, что он не сразу смог заговорить, на несколько мгновений дало Анне силу изобразить хладнокровие. Сейчас, думала она, пастор скажет, что ей уже вынесли приговор. Она дала ему понять, что это он может сказать ей. И тогда он пробормотал, поддерживая ее и сам еле держась на ногах: «Ваш жених... Бодо... застрелился в русской хате».

Немало времени прошло после этих слов, прежде чем она расслышала дальнейшее: «У него нашли только ваше письмо... Он получил его за полчаса до...»

«Письмо?» — и он прочитал в ее глазах, что она не поняла. Бодо не писал даже своей матери. Об этом он говорил ей. «Никакого письма... Ничего... для меня?..»

Пришлось пастору сказать все. «Бодо хотел быть с вами... поймите!» — вымолвил пастор, и веки его дрогнули. Он вынужден был повторить свои слова: «Бодо хотел быть с вами. Он ведь считал... он думал, что вы... что вас... уже нет в живых».

Вскоре Гитлер наградил генерального судью высшим орденом за военные заслуги и лично принял в своей главной квартире этого человека, который от частых слез стал еще преданнее. В тот же день за столом приближенные фюрера впервые услышали, как он с горечью сказал о лишенном власти, но все еще высоко им превозносимом Муссолини: глава итальянского государства мог бы взять себе за образец этого германского судью, который с героическим самообладанием поставил государственные соображения выше семейных чувств — мог бы наконец набраться мужества и расстрелять в Вероне своего зятя-изменника графа Чиано.

Своего обещания генеральный судья не отменил, но теперь — после смерти Бодо он два дня не ходил на службу — он был уже, наверно, не в состоянии вырвать преступницу из пушенной машины уничтожения. Эта машина автоматически захватила Анну в тот момент, когда ее уже как «пакет» перевели в тюрьму на Лертерштрассе. Это был специальный термин для «пациентов с нулевым шансом на жизнь», как выражались выдающиеся господа юристы, сохранявшие остроумие почти в любой ситуации.

Термин «пакет» означал: в качестве юридического лица списана со счетов и передана для обезглавливания и последующего использования трупы под официальным наблюдением. Счет за судебные издержки, а также за тюремное питание, услуги палача и «почтовые расходы» — когда речь шла о политических преступниках — высылались родственникам казненного, а в случае «ненахождения таковых» или если это были иностранцы — оплачивался из государственной казны.

С тех пор как Анна узнала, во что Бодо оценил жизнь без нее, она и сама в минуты, когда сила духа не покидала ее, считала жизнь всего лишь достойной преодоления, — и все-таки она написала прошение о помиловании и теперь самым унижительным образом зависела от него. Только физическая слабость (так как «пакеты» в своих намеренно перегретых камерах почти не получали еды, лишь изредка — горсть капусты), только эта слабость вытесняла порой ее душевные муки. Нестерпимый голод низводил ее до животного состояния, а истерическая потребность в куске мыла отвлекала ее от мысли, что закон лишил ее даже права на достаточное количество кислорода. В конце концов она и дышала только потому, что не могла правильно оценить военное положение и, поддавшись мании величия, наивно воображала, будто фюрер или господин рейхсминистр юстиции находят время заниматься какими-то там прошениями о помиловании, хотя, само собой разумеется, прошения эти, несмотря на то, что адресата они не достигали, никогда не отклонялись с чрезмерной поспешностью, а лишь после вполне «гуманного» срока, как то предписывалось постановлением от 11 мая 1937 года.

Иногда ее мертвецы — жених, мать, брат — вырывали Анну из объятий страха и содействовали тому, что самое немислимое — собственный уход из жизни — начинало казаться ей вполне допустимым и отнюдь не пугающим, как истинная, единственно надежная свобода. В такие минуты она была готова к предстоящему. По ночам же, когда она лежала, перевешивала жажда жизни. Днем под непрерывной пыткой тюремных шорохов, когда автомобиль во дворе, шаги, смех, крики и звук отпираемого замка мог возвестить приход палача, она пыталась, сидя на своей скамье под окном, отвернуться от двери, от параши и от удушающих рук, которые после суда денно и ночно тянулись к ее горлу, — пыталась спрятаться за мыслью, что одна лишь смерть может защитить ее. Смерть, а не бог. Ибо ее, слишком юную, чтобы преданно верить, отделило от него ледниковым периодом космического равнодушия, с каким он внимал своему творению, безучастный, как тюремная стена.

Она ничего не ждала «свыше», ничего, кроме скорой смерти от бомбы, потому что «пакеты» во время налетов на Берлин не переводились с пятого этажа в бомбоубежище во избежание «перегрузки персонала». Однажды ее камеру засыпало осколками стекла — удобный случай вскрыть себе вены, но надежда и слабость помешали ей. Пока же наконец она собралась с духом, наступило утро, и ее охранница, многолетняя вдова, часто тайком приносившая Анне яблоко, удалила с почти стерильной тщательностью малейшие осколки. И не только из камеры: при «перетруске» — так эта женщина называла личный обыск — она нашла также острый кусок стекла, который Анна спрятала в волосах под полосатой косынкой как последнее оружие против самого крайнего унижения. Щедрая добрая грудь этой немецкой мамы заколыхалась от смеха: так ей понравилось, что она оказалась хитрее своей пленницы; она смеялась без всякой жестокости и очень испугалась, когда впервые за все время увидела слезы в глазах Анны и вынуждена была отказать Анне в ее отчаянной, безумной мольбе вернуть осколок. Она поспешила уйти за яблоком.

Теперь даже врач наблюдал за тем, чтобы Анна взошла на эшафот

в полном здравии. И действительно, бюрократически налаженная абсурдность «совершения приговора» требовала присутствия медика, когда Анне наконец — пустая формальность на полторы минуты — зачитали необоснованное отклонение прошения и сообщили час казни. Анна, со времени объявления приговора находившаяся в кандалах, безропотно дала приковать свои ноги на короткую цепь и с шестью молодыми женщинами, из которых одна в тюрьме родила ребенка, была доставлена в машину на Плетцензее, где один полоумный сапожник-пенсионер, уже много лет ревностно цеплявшийся за свою привилегию, устался на них испуганно-похотливыми глазами и под задушевную болтовню тщательно выстриг им волосы на затылке. При этом он со старческим сладострастием пропустил сияющий водопад длинных белокурых волос Анны сквозь свои вонючие пальцы, потом, омерзительно хихикая, наматал ее волосы на свою оголенную до локтя руку и стал пританцовывать вокруг закованной девушки, беспрестанно шелкая ножницами, пока его, как собаку, не прогнали свистом. Анне пришлось снять с себя все и надеть только полосатую куртку и сандалии.

Камеры смертников оставались открытыми; приговоренные были прикованы цепью к кольцу в стене. После этого их смог еще навестить пастор Ом. Вспоминала ли теперь Анна слова Деяний, главу 5, стих 29, начертанные на могильной плите брата; была ли она той девушкой, которая, согласно хронике, умерла в этот день, «как святая»; или той, которая в закованных руках несла до самого эшафота фотографию, чтобы дать хоть какую-то поддержку глазам, — этого мы не знаем. Несколько лет спустя, отвечая на запрос, пастор Ом писал: «Не вдавайтесь в технические подробности, ибо я поседел от них».

Женщин уводили через короткие промежутки времени в мертвенно-серый двор к навесу, где их ждал палач. Туда их не смел сопровождать ни один священник. Кто был приглашен в качестве свидетеля, кто ждал рядом с трехногим столом, на котором стояли бутылка шнапса и рюмки — адмирал или прокурор, полковник авиации как представитель генерального судьи или войсковой инспектор юстиции, — тот после войны не раскрыл рта, дабы это не отразилось на пенсии. Из протокола мы знаем только о следующем: в этот день, 5 августа, как и в остальные дни, за палача был коновал Рёттгер, известный подлец, тот самый, что ровно через год затащил проволочную петлю на горле фельдмаршала Вицлебена и одиннадцати его друзей. Эта казнь была заснята на пленку, ибо фюрер и его штаб пожелали вечером в рейхсканцелярии посмотреть, как кончили свою жизнь люди, пытавшиеся 20 июля 1944 года свергнуть режим. Некий статс-секретарь поведал нам впоследствии, что даже сатанинский приспешник Гитлера, его министр пропаганды, во время показа этого фильма неоднократно подносил руку к глазам.

#### Э П И Т А Ф И Я

«Берлинский анатомический театр  
получил за 1939—1945 годы  
тела  
269 казненных женщин»

Из речи профессора Штиве в бундестаге  
20.7.1952 года по случаю восьмилетия со  
дня неудавшегося покушения на Гитлера.

*Перевел с немецкого Ф. Коньков.*



---

ЖАК ПРЕВЕР

★

## ПЕСЕНКА ПРО СЕНУ

*С французского*

Везет же этой Сене!  
Нет у нее забот.  
Тихонько днем и ночью  
Она себе течет.  
Начав свой путь с истоков,  
Не нарушая тишь,  
Течет она так скромно,  
Так тихо, а глядишь,  
Уже струится к морю,  
Пройдя через Париж.

Везет же этой Сене!  
Нет у нее забот.  
И вот когда с Парижем  
Час встречи настает,  
Когда она гуляет  
Вдоль набережных там  
В своем зеленом платье,  
С огнями по краям,  
То Нотр-Дам, нахмурясь,  
Глядит ей строго вслед.

Глядит собор угрюмо,  
Но ничего в ответ  
Ему не скажет Сена:  
Нет у нее забот,  
Тихонько днем и ночью  
Она себе течет.  
И так все дальше, к Гавру,  
И так все ближе к морю,  
И так из года в год.  
Она — как сновиденье.  
Она мечте подобна  
Среди всех тайн Парижа  
И всех его невзгод.

*Кот и птица*

В деревне мрачные лица:  
Смертельно ранена птица.  
Эту единственную в деревне птицу  
Единственный проживающий в деревне кот  
Сожрал наполовину.  
И она не поет,  
А кот, облизав окровавленный рот,  
Сыто урчит и мурлычет... И вот  
Птица умирает,  
И деревня решает  
Устроить ей похороны, на которые кот  
Приглашен: он за маленьким гробом идет,  
Гроб девочка ташит и громко рыдает;  
«О, если б я знал,— говорит ей кот,—  
Что смерть этой птицы  
Причинит тебе горе,  
Я съел бы ее целиком...  
А потом  
Сказал бы тебе, что за синее море,  
Туда, где кончается белый свет,  
Туда, откуда возврата нет,  
Она улетела, навек улетела,  
И ты бы меньше грустила, и вскоре  
Исчезла бы грусть  
С твоего лица...»

Что ни говорите, а всякое дело  
Надо доводить до конца.

*Перевел М. Кудинов.*





---

Ю. ТЫНЯНОВ

★

## ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Юрий Николаевич Тынянов (1894—1943) прожил скромную, сдержанную, а на деле острую, полную душевного напряжения жизнь. В ней не было ни суеты, ни пустот. В сущности, он не потерял даром и часа — об этом свидетельствует его архив, сохранившийся далеко не полностью и все-таки поражающий глубиной замыслов и познаний. Это — черновики опубликованных и неопубликованных произведений (в разных стадиях работы), письма, записные книжки — собрание рукописей, которое росло с годами, отражая неустанный труд исторического романиста, ученого, переводчика, эссеиста, сценариста и критика. На первый взгляд собрание выглядит лабиринтом. Но Юрий Николаевич легко преодолевал мнимую беспорядочность своего архива, который жил рядом с ним, как его «второе я», меняясь, развиваясь, обогащаясь.

Он был человеком, дорожившим ощущением безопасности, живого общения, внутренней свободы — это чувствуется и в атмосфере архива. Ни тени педантизма, преувеличенной аккуратности, фетишизма мелочей нет в этих школьных тетрадах, в конторских книгах, в блокнотах — больших, маленьких и очень маленьких, карманных. На полях — эпиграммы, в тексте — многочисленные рисунки и карикатуры, на обороте листка с важным, глубоким соображением — адрес знакомого, набросок письма.

В 1941 году он уехал из Ленинграда в эвакуацию, расставшись со своими рукописями, и жизнь архива замерла, остановилась. Тяжело больной, Ю. Тынянов пытался работать по памяти, некогда могучей, поражавшей его учеников и друзей. Так были написаны рассказы о Кульневе, о Дорохове.

Лишь через восемнадцать лет возобновилась жизнь тыняновского архива, у которого была своя сложная и трагическая судьба, — но возобновилась уже в другом, историческом смысле: за изучение рукописей принялись исследователи и друзья. Тогда и были расшифрованы страницы, предлагающиеся вниманию читателей «Нового мира».

В бумагах сохранился список пятнадцати произведений Ю. Тынянова. Из них были осуществлены только шесть: «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара», «Подпоручик Киж», «Восковая персона», «Малолетный Витушишников» и первые три части романа «Пушкин». Если окинуть взглядом все другие, оставшиеся в планах, в многочисленных выписках, а иногда в законченных страницах, становится виден широкий, граничащий с дерзостью размах.

Здесь и история знаменитых актеров Сандуновых, занявшихся разорившей их постройкой бань («Бани Сандуновские»). Здесь полная бешеного риска, поэзии и дурачества жизнь друга Пушкина Александра Ардальоновича Шишкова, бретера и дуэлянта («Капитан Шишков 2-й»). Здесь жизнь Ивана Баркова, поэта и переводчика конца XVIII века, известного своими непристойными, распространявшимися в списках стихами.

Особо следует сказать о вступлении к «Ганнибалам». Считая роман «Пушкин» главным делом своей жизни, Тынянов подходил к нему медленно, издавека. Так были написаны вступление и первая глава «Ганнибалов» (опубликованная Н. Л. Степановым в журнале «Наука и жизнь» в 1964 году). Впоследствии, оценив огромность задач, Ю. Тынянов отказался от мысли начать роман с истории Ганнибалов. Но тема «ганни-

бальства», которое он понимал как продолжение петровской линии, как смелый вызов, брошенный покорному служилому дворянству, осталась и получила новое, более широкое значение.

Не африканские гены были важны для Тынянова, а вольнолюбие, ощущение дерзости и силы, накал страстей, который противостоит в романе мелочности и легковесности семейства Пушкиных. Важна и другая сторона «ганнибальства». Роман писался в годы быстро нарастающей опасности фашизма. Равноправие народов, входивших в Российское государство,— кровное дело Пушкина. В 1821 году был открыт стихом Кавказ, в 22-м — Крым, в 24-м — Бессарабия, в прозе открыты башкиры, готовилось завоевание камчадалов, юкагиров... Оглядевшись, он назвал народы еще не завоеванные, не выговоренные им в стихах и прозе

...и финн, и ныне джгой  
Тунгуз, и сын степей калмык.

Завоевание поэзией, литературой обращено против ложного, животного, расового завоевания — оружием, кровью.

Публикуемое вступление к «Ганнибалам» показывает своеобразный путь, которым Ю. Тынянов шел к осмыслению этой темы.

Отмечу в заключение, что большинство публикуемых страниц относится к шестнадцатому, не указанному в списке замыслу Тынянова. Он хотел написать книгу воспоминаний и размышлений, начав ее с истории своего детства, «Книгу рассказов, которые не захотели быть рассказами». О независимости настоящей литературы от канонов жанра, о плодотворности произведений, возникающих «на границе, на стыке», он не раз писал в теоретических статьях. Читая неторопливые разговоры с самим собой, с городом своего детства, с ненаписанными книгами, видишь глубокого художника, задумавшегося над историей страны, над значением нашей литературы.

**В. Каверин.**

**Я** начинаю говорить сам с собою при посторонних лицах. Это дурной признак. Недавно мне рассказали, что я говорил, сидя глаз на глаз с одним человеком, довольно внятно. Человек же этот все время молчал и потом обиделся, как я предполагаю.

Все это очень смешно для посторонних. Но чтоб эти разговоры не тяготили меня более, я их записываю. Я начинаю эти рассказы, собственно разговор.

Как у каждого робкого человека, у меня много нерастраченной нежности.

Когда толкаешь женщину в трамвае, не говоришь: «простите» — потому что может получиться действительная просьба о прощении. Женщины не понимают этого и охотно обзывают нахалом или невежей такого человека, и тогда он действительно становится таким невежей: он огрызается, отчасти довольный тем, что ему не пришлось просить о прощении и что он сопричислен к лику веселых невеж.

Как многое не пригождается!

Как многое остается в обрывках, в детском, незаконченном, незащищенном виде, чтобы приходиться в гости под вечер и называться собою. Как было бы хорошо сказать белому лицу, которое раз всего и видел пять лет назад, или шелковистому белому венчику на лугу, который только и был, что в детстве, или ничем не защищенным, излишне пестрым, излишне гибким женщинам:

— Постойте, пожалуйста, как вас зовут?

Станьте в ряд, назовитесь именем.

Потому что я не знаю их имен.

И я говорю обрывкам описаний, никуда не приходящимся, рассказам, которые не захотели быть рассказами:

— Ваше имя!

### Хвостачи

Бывший сенатор, разбитый параличом, ясным, почти детским голосом рассказывал:

— Хвостовы были очень любопытные люди. Они приваживали к себе молодежь. Бывали у них всегда какие-то пажи, правоведы, универсанты. Как будто даже непонятно для чего. Так, бывают. За ужином, за обедом всегда молодежь. Ну, товарищи сыновей. А потом смотришь — тот губернатор, другой вице-губернатор, третий судья. Старик их выволакивал. Сидит как-то и говорит:

— Петкевича знаете? (Студент такой был.) Он в Западный край вице-губернатором назначен.

Я удивился. На эти должности католиков в Западный край не назначали. А Петкевич был поляк.

— Так Петкевич лютеранин, — старик говорит, — как же, Петкевич лютеранин. Лютеранин.

Года через два встретились.

— Петкевича помните? Да-а, он теперь по синоду, очень интересные мысли у него...

— Как же по синоду, — спрашиваю, — он ведь лютеранин.

— Петкевич? Он православный. Петкевич православный.

Был я как-то в Твери. Тогда уже Хвостов был в большой силе. Иду я по скверу — вижу, идет какой-то архимандрит монашеского вида, а рядом этот самый Петкевич.

Спрашиваю: кто такие?

— Это, — говорят, — вице-губернатор наш, Петкевич, а рядом — архимандрит старообрядческий, Михаил.

— Это отчего же вице-губернатор с старообрядческим архимандритом?

— Так ведь он старообрядец.

— Кто?

— Петкевич.

Вот. Старик их всюду насажал. И по совести скажу, я его очень хорошо знал, — и не знаю, что ему нужно было и даже каких он был убеждений, Хвостов. Полагаю, что никаких. Честолюбец был он страшный. Да, Хвостач. Хвостачи была любопытная публика. Гнездо.

Староверский скит в городе, где я родился, был Россией XV столетия. Я не думал об этом. Об Иване Грозном я знал по замечательной книжке сытинского издания «Удалой атаман Ермак Тимофеевич и его верный есаул Иван Кольцо». Я бы с радостью перечел эту книжку и хочу искать ее по примете: на оборотной стороне там по всей глянцево́й обложке расплескался желтый подсолнух в красной ленте.

Я не верил в Ивана Грозного, в его действительное существование, он был для меня красной молодецкой лентой на обложке.

Даже в университете, потом, я относился к Ивану Грозному, как к Ивану Кольцу. И в сознании моем по отношению к Ивану Грозному никаких особенных персмен я не ощущаю оттого, что сдавал о нем экзамен.

Опричников же я прямо любил — там были такие песенки: «Эх, ух», — и на обложке заломленная шапка с завоём посередине.

Сапожки там были гладкие, похожие на музыкальные инструменты. Со складками на перегибе, и были лучше, чем сапожки асмоловского мужичка, то есть мужичка, изображенного на коробке четвертушки асмоловского табака. (Влияние коробок и оберток было громадно. Гильзы с курящим белозубым султаном были подлинной вестью с Востока. Фотографиям же не было никакой веры.) Перо было у него на шапке, как у новобранца. Я любил опричников. Петра же я просто не знал, как не знал ничего о Казани, например, или как теперь не знаю о Перу.

А в староверский скит я просто уходил — так же, как ходил купаться. Уже на мосту, широком и гладком, но маленьком, — все затихало. Тогда мне это казалось странным. Теперь я думаю, что дело было очень просто: город сумасшедших, лавочников, жестяников, разносчиков и сапожников просто не имел дел со скитом. В реке, мелкой и близкой, ходили черными молниями пескари. Начинались пески, сырые, рудожелтые, чистые. Если бы вся земля захотела стать чистой, как вода, она вся стала бы этим песком. В песке был родник, и каждый раз я пил, наклоняясь к нему.

В город часто наезжали молчаливые латгальцы из деревень. Они ехали, никогда не оглядываясь; небритая щетина была у них на щеках, в мохнатом ворсе курток застревало сено и роса. У этих людей было другое время, другой календарь. Они смотрели на небо и безошибочно, равнодушно узнавали погоду на завтрашний день. Чисел у них совсем не было. Когда они говорили с русскими о том, что было, они долго определяли дату:

- Того дни...
- Когда Стаська утоп...
- До пожара они...
- В зиму...
- В тую зиму...

Это было в 1880 году либо в 1912.

Французы проходили их места в 1812 году; здесь бродил какой-то заблудившийся отряд, были стычки. Они натыкались на небольшие курганы-могилы, похожие на зеленых быков, вросших в землю. Поэтому Александр Первый был по связи с местом известнее, чем Третий. Второго убили. Кто убил? Убили поляки. За польскую войну. Поляки не забыли ему польскую войну. Сначала воевал с французами, потом пошел на поляков, и все бароны, все немцы с ним. Александр Первый. Был такой император.

Псков. За Великой стоял с незапамятных времен Омский полк в бледно-голубых околышах. Он посылал каждое утро через реку взволнованные и чистые звуки рожка. Случайные солдаты-новички, которые шатались парами по городу, держались под руку, как гимназистки-подруги. Широкие веснушчатые лица были еще деревенские, походка была медвежеватая, вразвалку, неторопливая. Вряд ли и они разговаривали о чем-либо друг с другом. Потом шинель уминала их, лица их обесцвечивались, вразвалку умерялась. Они уже были вечные, неизменные, все на одно лицо и ходили одиночками. Одиночками были полосатая будка и шлагбаум. Это была допавловская Россия.

Стена Стефана Батория была для нас вовсе не древностью, а действительностью, потому что мы по ней лазали.

Стена Марины Мнишек была недоступна, стояла в саду — высокая, каменная, с округлыми готическими дырами окон. Напротив, в Поган-

киных палатах, была рисовалка. Говорили, что купец Поганкин замостил улицу, по которой должен был ехать Грозный мимо его палат, конским зубом; Грозному понравилась мостовая, и он заехал к нему. Я никогда не проверял этих сведений, как не проверяешь по книгам разговоров стариков и своей собственной жизни.

Не так давно я слышал, что там, при раскопках, действительно нашли древнюю мостовую.

На реке Великой (у впадения Псковы) я видел на дне сквозь прозрачную воду железные ворота,— псковичи закрывали реку и брали дань с челнов.

---

Эта книга возникла так: я сидел на скамье и смотрел, а люди прогуливались. Пожилые рабочие медленно улыбались и не знали, куда им деть руки. Пожилые еврейки рассказывали друг другу чудовищные истории о печени и селезенке. Молодые женщины, не обращая внимания на людей, осевших по скамьям, смотрели на встречных, как смотрят извозчики, которым рассеянный седок не додал условленной платы. Был час отдыха. В это время и началась моя книга. Мне перебалило тогда за тридцать пять, и я делал все, чего моя левая нога хочет. А это уж не так просто и не так радостно, как когда-то, по-видимому, думалось людям. Моя левая нога хотела, чтоб я месяцами не двигался, чтоб я догадался, почем фунт лиха. Поэтому я и был из тех самых, на которых молодые женщины не обращали никакого внимания,— из тех, что осели на длинные скамьи. Может быть, оттого, что я привык тогда относиться к своей левой ноге с некоторым уважением и известным страхом, даже подобострастием, что я начал как-то отделять ее от всего своего существа,— может быть, именно поэтому я начал, сперва незаметно, а потом уж совершенно сознательно и даже радуясь, подставлять себя на место гуляющих. Я немного дольше обыкновенного следил за человеком, может быть, чуть покачивался в такт его походке, даже не повторял его слов, а только, если человек улыбался, я улыбался вслед за ним. Вот и все.

Тут-то в конце концов я и почувствовал, что мне стукнуло тридцать пять, что я такой, а не этакий,— тут-то я и прошелся перед собою в слишком длинном пальто, несколько торопливой походкой и с огорченным выражением лица.

И тут мне подумалось со стороны, что все небесные закаты и восходы, луны, звезды, деревья, снег, люди и многое другое, что заключается во мне, заключается ведь, пожалуй, в том смирном рыжеватом человеке, который потушил папиросу, и в этом неудачнике-актере (едва ли не суфлере), который ведь тоже когда-то знал и то и се и видел все эти луны и деревья и все другое — до отвалу, а вот поди ж ты, идет теперь своей вертлявой походкой, и шляпа у него широкополая, и трость у него с надписями, и глаза у него беспокойные.

И вот тогда, заприметив все это, я спросил не у себя, а так, скорей у этого суфлера:

— Ну, так как же?

Так началась моя книга.

---

В Каменце я видел, как начинается еврейская песня. Из окна больницы я услышал вой.

— Кто-нибудь помер, по всей вероятности,— сказал фельдшер и не выглянул в окошко. У фельдшера был бесцветный голос, как больничные стены, запахи их и халаты, съеденные сулемой.

Больничный двор был длинный, вой шел из самой глубины — от

малого белесого домика, мертвецкой. Показались две женщины, мать и дочь. Они уже не выли теперь. Выла только дочь. Мать голосила, причитала; руки у нее болтались, она рвала на себе волосы. Поравнявшись с окном, она перестала голосить; она вытянула вперед руки и мерно пошла к воротам. Она пела:

И он не мог уже сам дойти до извозчика,  
И у него не было сил,  
И он делал шаг и два шага, и останавливался,  
И он сказал мне:  
— Оставь меня в покое...

Тут же она сказала дочери совсем другим голосом, спокойно:  
— Нужно запереть мастерскую...

И опять запела полным голосом:

И ты пожалел денег на извозчика,  
Ты не хотел садиться на извозчика,  
Ты никогда не ездил на извозчиках,  
Ты всегда ходил пешком.

А дочь подвывала.

И подходя к воротам, не глядя на людей, которые стояли кругом, мать кончила, все еще вытянув руки:

А теперь уж ты поедешь на извозчике,  
А теперь уж тебе наймут извозчика,  
Мы сами найдем тебе извозчика,  
Мы отыщем хорошего извозчика,  
Самого лучшего извозчика  
Мы тебе найдем.

Два маленьких мальчика у самых ворот с большим любопытством смотрели на них. Выйдя из ворот, женщины сразу замолчали.

Мальчики ждали; на дворе стало тихо.

Тогда один залепетал:

Ты не ехал на извозчике,  
Не поедешь на извозчике,  
Я найму себе извозчика  
И поеду на извозчике...

А второй бессмысленно улыбался, готовый на все.

Я сел за стол, чтобы написать о себе, и хотя мне тридцать четыре года и я болен, я почувствовал себя восьмилетним. Возраст — колеблющаяся категория, время считают по-разному — врачи, друзья и сам человек. Врач говорил мне: «Для нас не обязателен паспорт, двадцатилетний человек может быть сорокалетним по медицинскому времени. Вашим ногам — шестьдесят лет, вашему сердцу — сорок, а вам — тридцать четыре года». Я чувствовал себя перед ним тринадцатилетним, переходного возраста мальчиком, но ничего об этом не сказал.

Я люблю математическое несовпадение в самом себе, оно позволяет мне лучше узнавать людей, чем они сами себя знают, потому что у большинства, по моим наблюдениям, возраст застывает или вовсе пропадает где-то между двадцатью и тридцатью годами. Точно так же я люблю книги и авторов с возрастом: Тютчев тридцати лет писал об «изнеможении в кости» (хотя был жизнерадостен), Пушкин был точен, как часы: в двадцать лет с половиной ему было именно двадцать с по-

ловиной лет. И согласно каким-то законам его отрочество было мутнее, сложнее, двусмысленнее, чем остальные возрасты. И здесь его часы не ошибались.

Смысл слов меняется. Пушкин, противопоставляя себя «новой знати» как человека опустившегося («униженного») старого аристократства, демонстративно называл себя «мещанином». Из приписки к Булгарину явствует, что «мещанин» было синонимом французского буржуа:

Решил Фиглярин вдохновенный:  
Я во дворянстве мещанин.

Ср. многочисленные переводы Мольерова «Le bourgeois gentilhomme» («Мещанин во дворянстве»). Смысл слова «мещанин» в законе: «Низший разряд городских жителей (мелочные торговцы, ремесленники, по денщи ки), более известный под названием поса д с к и х». Ср. также Даля: «К числу мещан принадлежат также ремесленники, не записанные в купечество». Таким образом, мещанин— это в старое время то, что теперь известно под столь же расплывчатыми терминами: мелкая буржуазия, отчасти свободная профессия и наконец даже неорганизованный пролетариат (поденщики) — со всеми переходами и извилинами. Расплывчатый социальный смысл не носит в себе как будто ничего оценочного. Откуда бы распусться в этом слове нашим оценочным смыслам?

Дело разъяснится, если мы взглянем на старый синоним слова «посадские». Лет двадцать — двадцать пять назад в Западной Руси слово «хулиган» не существовало, было слово «посадский». В посадах, в слободах оседали люди, вышедшие за пределы классов, не дошедшие до городской черты или перешедшие ее. Городские девушки, во всем подходившие под понятие мещанок, говорили: «Я за него не пойду, он посадский». Там, на городских окраинах, и появились черты, которые дали цвет, краску слова: «мещанство».

Мещанин сидел там на неверном, расплывчатом хозяйстве и косился на прохожих. Он накоплял — старался перебраться в город — или пьянствовал, тратился, «гулял» (обыкновенно злобно гулял). Чувство собственности сказывалось не в любви к собственному хозяйству, а в нелюбви к чужим (память его бродила по пахоте, воображение по двухэтажному городскому дому и купеческой чужой жене, взгляд же наткался на землю, усеянную битым стеклом и жестянками). Тайнственность быта, внутренностей мещанинова жилья была полная, и только иногда выбегала оттуда растерзанная девка или жена, — это он гулял у себя.

Стало быть: оглядка на чужих, «свои дела», иногда зависть. Почти всегда равнодушные. Особенно эти черты сказывались в крике мещанок. У них визгливые голоса. Когда муж бил жену, или когда она была детей, или ругалась с кем-либо, она всегда визжала. Пес, этот барометр социального человека, старался у мещанина быть злым. Крепкий забор был эстетической конструкцией. Внутри тоже развивалась эстетика, очень сложная. Любовь к завитушкам уравнивалась симметрией завитушек. Жажда симметрии была у мещанина необходимостью справедливости. Мещанин, даже вороватый или пьяный, требовал от литературы, чтобы порок был наказан — для симметрии. Он любил семью, как симметрию фотографий. Обыкновенно они шли, эти фотографии, по размеру, группами в пять штук, причем верхняя была часто (почти всегда), — вид, пейзаж. Помню, как одна мещанка снялась с мужем,

а на круглый столик между собой и мужем посадила чужую девочку, потому что она видела такие карточки у семейных. (Здесь уже начинается нормативность мещанской эстетики.) В состав эстетики этой входят также в большом количестве кружева. Я нигде не видел столько кружев, как в мещанских домах. Кружева удовлетворяют мещанина: 1) как абстрактная симметрия бессмыслицы, 2) как заполнение пространства. Поэтому беленькие и цветные карнизы над и под мещанскими окнами строятся также по принципу элементарной симметричности, это, так сказать, древесные кружева и оборки.

Все это нужно как заполнение пространства, которого мещанин боится. Пространство — это уже проделанный им путь от деревни к городу, и вспоминать его он боится. Он и город любит из-за скученности. Между тем асимметрия, оставляя перспективность вещей, обнажает пространство. Любовь к беспространственности, подспудности всего размашистее и злее сказывается в эротике мещанина. Достать из-под спуда порнографическую белую или розовую картинку, карточку, обнажить уголок между чулком и симметричными кружевами, приткнуть, чтобы не было дыханья, и наслаждаться частью женщины, а не женщиной.

---

Научи меня, город Щерица, говорить. Научи меня говорить спокойно.

Река получерная, вернее оловянная. Лодка. Стального цвета выгибающаяся спина. У дома удивленно приподняты над окошками карнизы (как веки). По берегу гонит белую корову баба.

Вот так спокойно — научи меня говорить.

Научи меня неправильным обмерам города и различным напластованиям пространства.

Столичный житель не знает этих загадок. Все ровно перед ним, все спокойно. Дома, как кавалерия, с невнятным шумом идут ровной рысью с обеих сторон. Поэтому трудно почувствовать в большом городе историю. Все дома сделаны дедами, описывая их, мы описываем стиль дедов.

«Здесь был убит Александр Второй».

«Это домик Петра Великого».

— Ах, так вот где он жил.

И человек идет дальше.

Дома и линейные пространства его конвоируют. В сущности говоря, не так уж интересно, где был убит Александр Второй.

Смещение перспектив, напластование пространств, насильственное соседство московского декаданса, спирто-водочного красного кирпича, болота, холмика и монастырски-белого острога и бревенчатого, стального от дождя средневековья — такова провинция. Оптический обман на каждом шагу. Если б я не родился в провинции, я не понимал бы истории.

### Читадинка

Тяжелая любовь была у дипломатов — оставлять за собою город за городом и вместе с неизвестно что выражающими белыми домами, каналами, полосочками жалюзи, строеными и лаженными даже не этими вот иностранцами, а их дедами, давно умершими, подобно тому как звезды видны нам после того, как они уже давно не существуют, — и вот вместе со всем этим оставлять — кому? на кого? — живое простое существо, которое второпях давно назвали любовью. Думает дипломат: вот и меня выбросила эта столица, эта любовь, с ее улицами и



каналами, с садами, в которых гуляют чужие люди, гуляют и покуривают.

Из края в край, из града в град...  
 Любовь осталась за тобой —  
 Где ж в мире лучшего сыскать?

Это ведь писал дипломат. Тютчев. А дипломат петровский, Куракин, не мог забыть читадинку. «В ту свою бытность был инаморат в славную хорошеством одною читадинку, называлася синьора Франческа Рота, которую имел за медресу во всю ту свою бытность. И так был инаморат, что не мог ни часу быть без нее, которая стоила мне в те два месяца 1000 червонных. И расстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти и, чаю, не выдет. И взял на мемурию ее персону и обещал к ней опять возвратиться, и в намерении всякими мерами искать того случая, чтобы в Венецию на несколько время возвратиться жить».

Так не мог забыть читадинку болезненный дипломат Куракин. Его лечили от болезней. Была у него сухая колика, скоробудика и меленхолия. Ставили ему виперу к виску, чтобы вытянула весь внутренний секрет, метали руду из правой руки, от самого мизинца, лили на него ушами холодную воду, а потом ставили в печь, принимал он кислые капли на квасу. А пришел Англинский Арескин и прямо определил: секретное несчастье. Причащал его епископ Тамбовский, а он все-таки выздоровел. Но тую читадинку так и не мог забыть. Не мог он забыть ее, эту свою читадинку. Обломок древнего рода, ососок застарелых фамилий, писал он с горечью: пришел площадной человек и все-таки служил и огорчался отсутствием наград. И собирается он строить дом, и дом хочет быть квадратом, а позади дома сад,— и не может забыть читадинку. И она как живая и со всем своим хорошеством и стоила вся как есть много денег — 1000 червонных на наши деньги. А другой человек, государев служащий, плыл морем, и на корабле умер его друг — от болезни и от морского трясения. Друга зашили в холст и спустили в море. Государев служащий стоял на корабле мрачен и записал в журнал: «Сего дня Ивашка Прохоров помер, животом. И взято холсту, бязи суровой 3 аршина и сделали мешок. И в тот мешок Ивашка поклали. Доску на бакборт поднято и с Ивашкой ноги к бакборду, а голова к нам, да к ногам гирыку пятифунтовую привезено, как отвес вяжут мурники и в море спустили. А житья его было 37 годов и 2 месяца, а было ему государева жалованья двадцать три рубля да камзол, да портами, да стол корабельный».

Примечание. Ср. обратное, то есть сумму, которую получали от женщины сто пятьдесят лет спустя: «Воспоминания Юрия Арнольди» о его женитьбе: «Осенью 1837 г. отправился я в Тамбовскую губернию, чтобы жениться. Раз навсегда уже я объявил, что не стану говорить ни о каких случаях частной моей жизни, содержание которых не представляет действительного материала для выяснения характера, или обычаев, или взглядов всего того общества, в котором я вращался, или которые не касались бы прямо артистической моей деятельности, насколько таковая оказалась сама по себе в связи с общественным движением в музыкальном или литературном мире, а потому я никак не намерен навязывать благосклонному читателю повествование о весьма обыденных семейных моих делах. Довольно уже будет упомянуть, что женился я на дочери помещицы Тамбовской губернии, Кирсановского уезда, М. Л. Сипягиной, которая обладала в с. Хилкове имением в 500 или 600 душ (в точности ныне не помню) и пользовалась большим уважением и почетом в своем кругу».

Это от гордости. И что он не навязывает читателю, и что он не пом-

нит, пятьсот или шестьсот душ. В петровскую эпоху помнили твердо и не то, что «душ», а даже рублией.

Юрий Арнольди был вообще гордый человек. «Достаточно знать, что я получил за нею 500 душ». Какая гордость!

Этот человек жил для того, чтобы писать свои воспоминания. Его не принимали, а он приходил и в другой раз, и в третий. Кто его не принимал, того он встречал на лестнице. Раз встретил Пушкина. Потом описал его: «Черные волосы, брови густые, среднего почти росту и большие глаза». Не Кукольника ли он на лестнице встретил? Кукольник хотя тоже не был черен. Вопрос, который, как кажется, должен заинтересовать новейших комментаторов.

Я полагаю, что литература меняется не так, что вот, мол, приелся такой-то метр — и появляется новый метр. Или приелась повесть — и появляется роман. Мне кажется, что и метр сам по себе приелся не может, и не повесть внезапно вызывает к себе охлаждение. Иначе — вместо ямба появился бы только хорей, а вместо повести только роман.

Мертвеет все сразу — так проходят литературные поколения: не ахматовский паузник помертвел, это помертвела вся система речи, со всеми потрохами.

А за речью стоит авторское лицо, автор. Так умирают вживе авторы. Иногда при этом они умирают и не фигурально, а на самом деле, потому что литература — это не служба и не побочная профессия, а жизнь этих людей, счастье и несчастье.

В авторском лице, рупоре — все дело. И рупор создается медленно, из материалов, которые лежат поближе, иногда из голых человеческих ладоней, не больше. Смена рупора есть литературная революция.

Ломоносов был на ораторской кафедре, Державин сменил его, облекся в халат небывалого мурзы, Карамзин сошел с кафедры, сложил вещи и уехал в путешествие. Плодилось «Гораций», «эпикурейцы», «мудрецы». Пушкин в маске такого мудреца сделал всю свою лицейскую лирику, и только в 1818 году вдруг показалось другое лицо:

...повеса вечно-праздный,  
Потомок негров безобразный.

Потом это лицо колебалось, этот голос колебался от поэмы к поэме, пока голос не стал тысячью голосов и лицо — лицом, знакомым через сто лет. Пошло опять. Лермонтов выдумывает свою генеалогию — испанца Лерму, которого быстро сменяет шотландцем Лермонтом и делает вивисекцию литературы в собственной жизни, инсценирует в жизни французские романы, гримирует стихотворения, пока не оказывается:

Наедине с тобою, брат,  
Хотел бы я побыть.

Начинается другой грим: молодой Некрасов причесывается под Голя, ходит сатириком-фельетонистом, пока не становится Некрасовым.

Все эти переодевания поколений показывают, что настоящий, естественный голос, которого достигло предыдущее поколение, больше не нужен. Метр устарел не сам по себе, он устарел, потому что в нем отзывается ода. Или элегия. Или остроумие. Или тонкость. Тонкость и остроумие тоже стареют. Пушкин в «Евгении Онегине» пишет об остроумце из отцовского поколения:

Тут был в душистых сединах  
Старик, по-старому шутивший:  
Отменно тонко и умно,  
Что нынче несколько смешно.

Голос, казавшийся глубоким, кажется хриплым, и казавшийся высоким — стал пискливым.

«Естественность» здесь не спасает: выручают эпигоны, которые превращают естественность в позу. Так, «естественный» Карамзин стал пастушком с розовым бантом благодаря Шаликову.

Не все дело в голосе, дело и в рупоре.

Новый голос и новый рупор — это смерть старого литературного поколения.

### На белой мызе

На белой мызе обвалилась штукатурка; перед ней лежал ржавый кирпич и стояла одна ужасно высокая стена с окнами и карнизом. Это была крепостная суконная фабрика. Бледная, жирная трава росла на этом месте. В доме с балюстрадой жил (или не жил, или притворился, что живет) человек с желтыми усами, никому не смотревший прямо в глаза, ровно и непрерывно пьяный. Он был высок ростом, а ножки были узкие, малые, женские. Летом, как дворянская память, являлся на нем старый, обдерганный белый китель из чертовой кожи, а в руках (тоже давняя память) хлыстик.

Он ездил верхом, и все было на счету: седло, лошадь, шоры на конских глазах, сапоги, хлыстик, белый сквозной китель, серая шляпка с перышком, вино и коньяк из городка — на неделю. Водку он пил стыдясь и любил ее пить из дорожной фляжки. Он часто всматривался, привстав в стременах, наследственным движением, вдаль, как заблудившийся в 1812 году француз. Вдали был лесок, поле, березка. Никого там не было, тогда он пускал рыжую лошадь рысью и подъезжал к фактору.

Он подъезжал к избушке еврея-фактора, кричал: «Гей», а тот, маленький, в долгополом сюртуке, с пейсами, выскакивал навстречу, прикладывался к руке; и пять малых детей в длинных сюртучках жались у отца в коленях. Он выпивал рюмку водки и проезжал дальше.

Он подъезжал к большому деревянному дому с белыми карнизами над окнами и страшными накрахмаленными гардинами над жирными цветами в окнах. Он кричал: «Гей».

Выходил фактор. Он не был фактор. Его отец когда-то был фактором, а он был перекупщик, высокий, толстый, румяный, в пиджаке, в мятых воротничках. Но увидев белый сквозной китель, он наследственным жестом припадал к руке.

Потом фактор (или перекупщик) бросался в дом и выносил на подносе рюмку водки. Барон Иксуль фон Гильдебрандт выпивал рюмку водки и проезжал дальше, стараясь не смотреть на гимназистика, факторского сына. Косвенным взглядом, прекрасно видящим, но не задерживающимся, он, как хлыстиком, водил по проезжающим латгальцам в коричневых хлебного цвета куртках. Они снимали шапки чужими четырехугольными руками, не смотря. Ерзали, елозили шапкой по голове, не до конца ее стаскивали. Совсем не кланялись.

Раз в год, когда бывал летний праздник, Залемаа, с протяжным воем, кострами и брагой, к барону Иксулю фон Гильдебрандту приезжал из города Розеншильд фон Паулин, не генерал, брат генерала, банковский служащий; госпожа Кнауэ, красавица, и адвокат Цеге фон Мантейфель; брат генерала и банковский служащий были в серых пиджаках, среднего возраста, сдержанные. С ними ехал невидный круглый человек, вез пакеты и свертки. Госпожа Кнауэ надевала белый пластрон, фигаро, подтягивала юбки пажиком; она сидела в коляске надменно, пластроном вперед, сама правила лошаадьми; рукою в лайке натягивала вожжи и шелкала бичом. Местечковые евреи сходили с дороги прямо в канаву, увидя ее. В канавах стояла вода; евреи стаскивали картузы со старых,

слежалых волос. Они не знали, кто эта барыня, потом выходили из своих канав и шли кто куда.

Барон Иксуль фон Гильдебрандт приветствовал гостей с северным немецким акцентом XVIII века. Они точно так же отвечали ему. В одиночку же все говорили как попало.

Съезжались какие-то громоздкие старые барышни в острых крахмаленных белых платьях, в черных чулках.

За стеною крепостной фабрики, за балюстрадой, казавшейся совершенно нежилою, начинался тогда непонятный и холодный остзейский разврат. У женщин вынимали из платьев груди, бережно держали их на весу, как бы взвешивали, гладили, а крахмаленные женщины смотрели на свои груди, как на посторонние вещи или плоды.

Госпожа Кнаус, не улыбаясь, застегивала свой пластрон.

Латгальцы не видели ни барона, ни госпожу Кнаус, ни старообразных барышень. Они были заняты своими кострами, брагой, воем. А потом они рассказывали о барышнях, о каждой в отдельности, о бароне, о его гостях, что ели, как ели, как там шло это дело. Было известно все. Счет был давнишний. Дед барона Иксуля фон Гильдебрандта был собачник, — там на дворе стояла каменная собачарня, там девки кормили псов. А этот барон хороший. Он любил, как был молодой, портить детей, за это его угнали из гвардии. Раньше кнутом любил забавляться. Это у него была специальность. Он никого не обижает. Мать у него была злая, померла иль нет.

Они сюда пришли с Александра с Первого, когда они поляков били. Они никого не касаются теперь. Имение не его; имение теперь у этого толстого разбойника из города. И с ним фахторов сын в компании. А ему только усадьба оставлена. Лучше бы стенку разважить на кирпич, на печки. Такая ужасная стена. Теперь пропадает. Все равно.

---

Я — читатель Публичной библиотеки с 1912 года.

Я никогда не забуду впечатления, которое на меня произвел когда-то выданный мне в читальную залу из отделения журнал двадцатых годов «Московский вестник». Поля журнала были сплошь исписаны карандашом, крупным, дрожащим, проволочным почерком. И по почерку и по резкости заметок на полях я признал Вяземского. Я тотчас об этом сказал и сразу был приглашен читать в отделение. Я получил «Московский вестник» в тот день не как читатель, а как подписчик.

Приключения с книгами бывают не менее удивительные, чем с людьми.

Я как-то отрицал принадлежность Пушкину одного слабого стихотворения, которое упорно ему приписывал один маститый тогдашний пушкинист, и отрицал на основании той же статьи (в журнале восьмидесятых годов), по которой авторство приписывалось Пушкину. В статье, между прочим, рассказывалось, как брат Пушкина, Лев Сергеевич, прочел автору статьи это стихотворение, а на прямой вопрос, обращенный к нему: принадлежит ли стихотворение А. С. Пушкину, ответил полным запямятованием и решительно отказался об этом высказаться.

Мне показалось странным, что стихотворение приписывалось Пушкину несмотря на такой ответ.

Я очень удивился, когда получил от редакции научного сборника, в который была послана моя заметка, ответ, что этой фразы Льва Пушкина в статье, которую я цитирую, нет.

Я бросился в Публичную библиотеку. Мне выдали журнал. Фразы Льва Пушкина, на которую я ссылался, не было. Я немного растерялся, но попросил другой экземпляр того же журнала. Фраза Льва Пушкина

там была. Очевидно, она выпала из набора в части тиража старого журнала. А из-за ее отсутствия стихотворение было решительно приписано Пушкину и внесено в одно из полных собраний его сочинений.

Это, разумеется, мелочь. Но когда встречаешь, например, в альманахе «Эвтерпа» 1830 года стихотворения Рылеева и Кюхельбекера за полными подписями, начинаешь интересоваться фамилией цензора, вспоминаешь, что это «массовый» тогдашний альманах, «альманах-мужик», по выражению Белинского, книги становятся тем, чем были — людьми, историей, страной.

---

Я видел в Берлине такой номер. Эстрада была обтянута снизу какой-то резиной, простыней, чем-то отвлеченным. Выходит дядя удивительно обыкновенного типа, с круглой рыжей бородкой, в котелке. Такие обыкновенные люди были только в девяностых годах. И начинает прыгать с серьезным видом, все выше, выше — до потолка. Раз прыгнул — и не вернулся. До того высоко.

Мандельштам — немножко в этом роде.

---

Борьба с фашизмом должна быть осознана всеми писателями как жизненный долг; борьба словом и делом. Фашизм должен быть разоблачен с начала до конца, во всех его проявлениях и теориях. В частности, писатель, работающий на историческом материале, должен разоблачить пышную, но лживую генеалогию, которою он, как истый выскочка, затыкает дыры своего мещанского происхождения. Их предки не Вотан и не варвары, не Цезарь и не Помпей, а убогие погромщики и позором покрытые колониальные авантюристы XIX века.

Не древнего происхождения сжигание книг на костре — это проделал в 1817 году старонемецкий дурень Ян в Вартбурге; даже книжки остались, в сущности, те же: он жег книги друга Гейне, Иммермана, теперь жгут самого Гейне.

Ветеринарные домыслы, полицейская философия и фантастическая генеалогия должны оправдать разбой неслыханного размера.

Долг писателей — разрушить до основания это убогое сооружение. Писатели должны быть готовы сменить оружие пера на оружие в буквальном смысле.

Среди западных писателей есть некоторые, напоминающие салтыковский персонаж Дю-Шарио, который «начал объяснять права человека и кончил объяснением прав Бурбонов». Борьба должна вестись и против этих пособников фашизма, будь то пособники по слабости или по отсутствию воли из жажды самосохранения.

Наибольшее впечатление в западной литературе за последнее время произвели на меня Фейхтвангер и Хемингуэй.

Роман Фейхтвангера «Успех» я считаю историческим романом в полном смысле этого слова. Неясные для многих корни германского фашизма, атмосфера, в которой он родился, обрисованы в этом романе с силой и ясностью. Этому роману предстоит длительная жизнь.

У Хемингуэя меня поразила предельная правдивость в описании западного интеллигента и подлинная человеческая ненависть к войне.

---

Когда я закрываю глаза, я чувствую дорогу и синее поле и вижу тепло этой дороги. Тогда мне становится неприятно, я вскакиваю и начинаю работать над статьей о Ломоносове, или править корректуру, или рисовать рожи на листках. В детстве я написал два каких-то рассказа. Посылал ли я их в редакции? Вероятно, они были засунуты потом в те-

радки по арифметике, и немыслимо их не только разыскать, но и вспомнить их. Это большая потеря для меня.

У меня в Ярославле в 1918 году, когда я уже был большой и большой, пропали листов двадцать печатных работы о двадцатых годах. Я никогда о них не печалился... Без двух же моих детских рассказов моя жизнь будет неполна и умру я неуспокоенный.

### «Ганнибалы». Вступление

Дело идет на этот раз о Хабеше, старой Абиссинии, о самом севере ее, стране Тигрэ, где люди говорят на языке тигринья; о той горной части Тигрэ, которая называется: страна Хамасен. В этой земле Хамасен есть река Марерб, у самой реки стояло — быть может, стоит еще и теперь — дерево сикомора, которое арабы зовут даро. Ветки его сто лет назад протягивались на тридцать шесть метров; купол дерева покрывал круг в шестьсот метров. В тени его отдыхали войска хамитов числом в тысячу пятьсот человек и больше. На верхних ветках сидели голуби, золотистые, абиссинские. Двести лет назад, если идти из Хабеша в турецкую Массову, непременно нужно было пройти мимо этого дерева. Тогда голуби провожали человека разговором. Дело идет о человеке, абиссинце, который не своей волей прошел мимо этого дерева — его вели в турецкую неволю. Разговор идет о старой Турции, которая в XVII и XVIII веках не менее важна для Европы, чем Россия, а для России не менее важна, чем Европа.

Потом попал он в Россию, во Францию, стал французский инженер и французский солдат, снова в Россию, женился на пленной шведке, капитанской дочке, пошли дети, и четырнадцать абиссинских и шведских сыновей все стали русскими дворянами.

Итак, дело идет о России.

Разговор идет о том, как ничто не застаивается на превосходной земле.

Род начинается в Абиссинии. Но турки, турецкие властные и имущие торговые люди хотят завоевать землю Хабеш, потому что самое слово Хабеш означает: пахучие смолы и ароматы, а жители этой страны называются каш или хабашат — собиратели пахучих смол и пряностей, нужных и приятных для человеческого дыхания. Турки в XVII столетии все ближе и гуще надвигаются с моря на Абиссинию. Так уводят абиссинцев в плен, в рабство, продают их. Так род, человеческое семя отрывается от Хабеша и идет по морю в Истамбул, во дворец султана. Так его крадут впоследствии, в самом скором времени, для русского посла.

И только темная кровь мешает ему позже вывести свой род от какого-нибудь человека, выехавшего «из немец» при Ярославле или при Александре Невском. Темная кровь остается отметиной, тамгой. Первая жена абиссинца-арапа, гречанка не хотела за него выходить замуж. «понеже не нашей породы». И он в скором времени замучил ее. Темная кровь осталась в губах, в крыльях носа, в выпуклом лбу, похожем на абиссинские башни, и еще криком, шуткой, озорством, пляской, песней, гневом, веселостью, русскими крепостными харемами, свирепостью, убийством и любовью, которая похожа на полное человеческое безумство, — так пошло русское ганнибалство, веселое, свирепое, двоеженцы, шутники, буяны, русские абиссинские дворяне.

Так быстро, легко и свободно они вошли в русское дворянство, что внук абиссинца и шведки бунтовал за права русского дворянства при Николае. А совершилось это потому, что и само русское дворянство было и шведским, и абиссинским, и немецким, и датским. И родословные ин-

тересны не потому, что верны, а именно потому, что задуманы и выдуманы так, как нужно это времени.

Дворянство задумало и построило национальное великорусское государство из великоруссов, поляков, калмыков, шведов, итальянцев и датчан.

И хорошо задуманы самые фамилии дворянские. Итальянцы Villa-Nuova и Casa-Nuova — Вилановский, Казановичи-Казановские; немец Гундерт-Маркт — это Марков, доктор Пагенкампф — Поганков, чешский граф Гаррах — это Горох, а потом и Горохов, и от имени его пошла Гороховая улица в Петербурге, на которой жили Обломов и Распутин. Итальянец Васко стал Басковым, и есть в Петербурге Басков переулок; итальянец Бавили стал Вавилин, Чичери — Чичерин. И датчанин Косфон-Дален стал руским Козодавлевым.

Роды не потому были дворянскими (а раньше боярскими), что были исконно-русскими, а становились исконно-русскими, великорусскими, потому что были или хотели быть боярами, а позже дворянами.

Так шло издавна.

Маркграф Мейссенский приехал в 1425 году в Россию и стал князем Мышницким, а потом Мышецким, и много позже, при Никоне, прямой потомок его князь Андрей Мышецкий стал старец Досифей, ярый водитель русского раскола.

И роды не засиживались, роды странствовали, выезжали туда, где лучше. Всегда пространства тасовались. Только когда дворянские люди чувствовали равновесие, им начинало казаться, и они заставляли верить других, что они всегда сидели на Руси, где-то неподалеку от Москвы.

А татарин Баран стал Барановым, до Ивана Четвертого, Грозного, при нем отъехал к эстам, в Балтику, там дети, внуки и правнуки стали немецкие бароны и лютеране: фон Барангоф, а потом уже при Николае I выехали опять в Россию, и этих немцев, может быть даже не зная о старой перемене по закону созвучия, снова стали звать: русские дворяне Барановы. Потому что на земле ничто долго не застаивается — идет перебор пространства, как перебор людей. Один и тот же род заносит ветер в Россию, и один перебор выплескивает из России другой.

А когда знати или же дворянству нехорошо было, настоящие даже русские переставали себя называть русскими именами, и так в разное время, например, при государе Иване IV и Симеоне Бекбулатовиче, по Москве стали скрывать свои русские имена Федор, Петр, Матвей и стали называть себя Булатами, Муратами, Ахматами. Отсюда пошли Булатовы, Ахматовы — не татаре, а великорусы. Русский Иван Четвертый Грозный говорил послам: я не русский, я из немец. А немец Александр Третий Романов с бородой баварского кронпринца любил боярский стиль у художников.

Туманное же великорусское дворянское государство принимало и изгоняло людей, рылось в бумагах, шелесгело грамотами, верными и поддельными, блюло местничество, шарило в постелях. Потому что нужна была родословная, а в родословной самое легкое первые страницы; потом уж идет труднее. Побочные дети приравнивались, конечно, к своим, так же как Пагенкампф стал Поганковым. Но государство было на страже у каждой постели. И толстогубое ганжибальство — двоеженцы с очень красной, очень густой кровью — бежало и отсиживалось всю жизнь от своих законных жен, как от несчастья, и царского фельдъегеря.

Дважды род столкнулся с Пушкиными — этим к концу XVIII века, к началу XIX века износившимся, просквозившим в пух родом, легковесным, как перо, лепечущим, развозящим легкие дворянские тела по проселочным дорогам и столичным проспектам, но и застревающим, оседающим легко, как пух, — где угодно на всю жизнь. Только два крепких

и страшных устоя сохранили к концу XVIII века эти люди: первое — мысль, что род запутался и погасает, что нужно развозить по гостиным острые слова и подновленные жилеты, не то все и вовсе позабудут, что были такие дворяне Пушкины. Эти легковверные, расточительные, говорливые люди были поразительно скупы, что-то все осыпалось у них под ногами — вдруг полетят? И они скупились, зверски торговались за гри-венник с извозчиком, и смотрели на него, как на темного врага, подрывающего благосостояние неустойчивого рода дворян Пушкиных. Но взобравшись на пролетку, улыбались легко и блаженно и уже почитали себя выше всех пешеходов; и второе — темная, скупая ревность к своим женам, ревность, доставшаяся в наследство от предков, скупость к тому последнему владению, над которым они были властны в ту меру, в которую еще иногда их манило быть властными. И неудачи их преследовали. Отцы были женоубийцы, дети стали пустодомы. Идет история обид, отсиживания, деревенских запустений, разорений, драк, супружеских воплей и французского лепета над головами пешеходов. История сужается до пределов гостиной с выцветшими обоями, она доходит до клетки с французским попугаем.

История сужается в количестве лиц — она доходит до одного человека и вдруг расширяется за все пределы. И этот человек предъявляет все счета своего рода, и все отсиживания, все оппозиции и обиды, разорения и гибели, ревность и скупость, абиссинскую нежность и свирепость он называет по имени.

В отрочестве отметили его необыкновенную холодность. Он был Пушкиным до 1820 года, Ганнибалом с двадцатого по тридцатый год. Сохранились письма и поступки его дядей Ганнибалов (Вениамина и Павла), в них чувствуются вовсю раскрытые горячие рты и сжатые кулаки дядей, а то и широкая изящность жеста. Письма Ал. Пушкина гораздо больше похожи по дыханию и руке на них, нежели на чванный и шепелявый, дрожащий лепет отца и дяди Пушкиных.

Человек был на краю своего рода, который, истончаясь, летел под откос и разорялся уже сотню лет, а тут еще и повстречался с монстрами, новой породой — ганнибальством, человек был на отлете, на полном отшибе, — он был дворянский кромешник. И он жадно искал: друзей, род, женщину, родину — как опору, как условие и пищу жизни. Он их нашел, открыл и завоевал стихом и прозой, то есть воображением и путешествиями, по военному способу своего времени.

Дело идет о России.

Разговор идет о человеке, который взял на себя счета своего рода и счета всех старых мастеров. (В XIX веке взять на себя чьи-либо счета иногда называлось: получить наследство.) Человек XIX века, который должен был предъявить дворянский билет, не мог спрятать Ганнибалов, они слишком были на памяти у всех, — их память была в крыльях носа, в выпуклом лбу etc. С Пушкиными можно было делать все, что угодно, — у Пушкиных было всего понемногу; но уж заодно потомок и Пушкиных отбирает таких, которые на отлете, на отшибе, в оппозиции. Для этого, правда, ему приходится лезть в грамоты, в боковые линии Пушкиных.

Минюя востроносого сластолюбца-отца и брюхастого лепетуна (поэта!) дядю, у которых были только карманные долги, — он выбирает свою родословную. Ни один из Пушкиных, названных им в своей биографии, ни Гаврила Григорьевич (агент царя Дмитрия), ни брат его Сулемша, ни окольный Матвей Степанович, подписавшийся под актом уничтожения местничества, ни сын его Федор Матвеевич — раскольник и стрелец, — не принадлежат к прямым предкам Пушкина. Он набрал их из боковых веток. Может быть, он отказался бы и от прямых своих пра-



деда и деда Пушкиных, если бы они не были убийцами, людьми «пылкими и жестокими».

С 1818 года он объявляет о себе, гордясь и хвастая тем, что ставит себя за пределы родовых оценок:

Потомок негров безобразный...

Дворяне, как дворня, приглашаются «критиковать коней».

За деда Авраама первая жена не хотела идти, «понеже не нашей породы». То, что Ганнибал был «не нашей породы», что он был и камердинер, и наперсник, и русский дворянин из африканских князьков,— для среднего представления николаевского времени о дворянстве,— ставит его в первый ряд предков. Тут все пригодились,— спор Пушкина с Булгариным об Аврааме Петровиче Ганнибале был делом кровного, жизненного значения для обоих; спор о том, был ли он денщиком или камердинером Петра, не должен быть забыт среди последних счетов, сведенных дуэлью и смертью.

Так он искал и нашел свой род.

И так же он искал и нашел, открыл родину.

Он первый увидел и выговорил — завоевал Россию. А были ведь такие периоды — и они возвращались, они повторялись, когда Россией, Русью называли великорусские места, не то Подмосковные, не то Тулу, не то Рязань. Он, может быть, поначалу и рад был бы назвать Россией подмосковную, да ее, подмосковной, не было. Сельцо старых арапов Макарово была сухая пустошь.

И он долго, мучительно вводил себя в семью средних дворян, но куда было спрятать выпуклый, как башня, лоб, и загнутый нос квартетона, дрожащие в гневе толстоватые губы, любовь к женщине, похожую на настоящее человеческое безумство, никогда не бывалые стихи и холод строителя больших чертежей?

Он «не нашей породы», сказали чиновники о нем то слово, какое сказала о черном прадеде неверная жена. «Он не нашей породы», — сказал полуанглийский милорд Воронцов. И средней полосы помещики сказали потея: «Да, да, не нашей он породы, кромешник он, Пушкин, сочинитель».

И он размахнулся на всю Россию, не подмосковную, не «Расею», не «Русь». В 1821 году был открыт стихом Кавказ, в 22-м Крым, в 24-м Бессарабия, в прозе открыты башкиры, готовилось завоевание камчадалов, юкагиров. Стихом он открывал, журнальной прозой завоевывал.

Вместе с тем совершалось завоевание не только в настоящем, вокруг себя, но и прошлого. Товарищ Самозванца Гаврила Пушкин продолжал оппозицию против Москвы в XVII веке, арап Петра завоевывал гостинные и наносил ущерб дочкам старой знати. Столкновение с русским крестьянством кончилось неполной и непрочной победой над Пугачевым, а на крупное дворянство он выпустил блистательным партизаном Дубровского. Предстояло расширение — завоевание в исторической прозе Кавказа.

.....

Оглядевшись, он назвал народы еще не завоеванные, не выговоренные им в стихах и в прозе, — те народы, которые еще предстояло присоединить в стихе и прозе, и, может быть, он не надеялся, что успеет, и хотел поэтического мифа, чтобы они его узнали, назвали, читая не о себе, но, конечно, читая себя.

...и финн. и ныне дикой  
Тунгуз, и сын степей калмык.

И башкиры поют теперь письмо Татьяны к Онегину.

У него были друзья, много друзей. Его ссылали, изгоняли, он отсиживался, уцелел. Он завоевал родину. Она была цыганским табором, сухой крымской землей, Михайловским, кивалем старого арапа. Старые друзья рассеялись, их заслали бог знает куда — сунули на край земли, под землю. Он нашел женщину. У него завелись новые друзья. И он очень многого добился, отплатил многие обиды своего рода, многих «пересел». «Калмык» и «тунгус» молчали.

У него была мера времени, потому что он завоевал и назвал много пространств. Он жил так, что в двадцать лет каждый мускул его был двадцатилетний, а в двадцать пять лет сердцу его было ровно двадцать пять лет.

Ему не привелось никогда быть за границей; он хотел почувствовать под ногой хоть Азию, но, когда ступил на азиатскую землю, она оказалась российской.

К тридцати годам он захотел остепениться. И вот тогда родина стала петербургской квартирой у Певческого моста, неподалеку от Зимнего дворца.

Он всех русских поэтов превзошел. Стихи перестали быть для него тем, чем были. Он стал издавать журнал, хотел издавать газету.

И дворцовые люди поблизости сказали о нем: «Он не нашей породы». Женщина его предала: «понеже не нашей породы». Он умер от раны.

Мне не хочется после этого человека говорить об его опустевшем роде. Но ведь его род, его семья продолжалась, продолжается. Один внук заведует кооперативом под Москвой. Другие его потомки уже наполовину не русские, их выплеснуло за Россию; от деда квартирона, может быть, отвернулся бы американский купец, а внуки его довольны им, поминают его, потому что деда нет и он знаменит. В Германии есть город Бонн, в нем полицей-президент — это один его внук. Есть и другие, иностранные герцоги; есть и владельцы алмазных россыпей в Африке, из которой двести лет назад прибыл Авраам, названный впоследствии Ганнибалом.

И его читают чужие внуки. Такова была до сих пор земная судьба всякого великого человека: думать, что он трудится под солнцем для себя и воюет для своего рода, а он трудится и он воюет для чужих внуков.

Вот печет солнце степей, ни на что, кроме солнца, не похожее, вот пасется скот. Вот башкир поет на своем неуловимом языке письмо Татьяны к Онегину.

Июль 1932 года — май 1933 года.



# О ЧИ Е Р Ж И    И Ж А Ш И Х    Д Ж Е Й

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

## ПОМОЩНИК — ПРОМЫСЕЛ

I

Вы по золоту ходите! Я много стбю, но если б мне дали Суздаль на два года, я бы свое состояние удвоил.

*Банкир Ротшильд.*

**Ч**лен коллегии Управления по иностранному туризму В. И. Бабкин рассказывает, что поводом для такого заявления Ротшильду послужил контраст между художественными ценностями, которые открылись ему во Владимире и Суздале, и нашим неумением принять гостей. Миллиардер заранее предупредил, что собирается приобрести сувениры, много сувениров для себя и для родственников. В Суздале предложили открытки, это не устроило. Насилу во Владимире нашли для него полдюжины подстаканников.

— Наше общественное назначение, в частности, — заставить туриста истратить до цента всю валюту, которую он отложил на памятные вещи, — говорит Владимир Иванович. — Если турист увез из страны неистраченный цент, значит, я, принимающий гостя, или нерасторопен, или недостаточно вежлив и предупредителен, или вкусом не обладаю, или не сознаю собственной выгоды. Возможно и сочетание этих качеств. В год у нас бывает примерно миллион иностранных туристов. По выкладкам нашего валютно-финансового отдела, каждый из них тратит на сто долларов меньше, чем намечал. Хотел приобрести сувениры, а не нашел ничего интересного. Считая округленно, возвращаются за рубеж сто миллионов долларов, предназначавшихся нашей казне! В печати что ни неделя — новые ахи и вздохи о промыслах, а что сдвинулось? Ваш хваленый ювелир и камнерез Суздаль, что он выдает на-гора — огурцы?

Верно, огурцы. Глянешь весной с колокольни на «богоспасаемый град Суждаль» — все огороды в стекле, блестят парниковые рамы. Невелик городок, за последние триста лет население возросло лишь вдвое, а с работой туго, предприятий нет, и у сотен семей бюджет поддерживают ранние овощи. Их сбывают в Иванове и на владимирском рынке.

Банкир с нарицательным именем — один полюс туризма и сувенирного спроса, а на другом... Я рассказал Владимиру Ивановичу банальный и все же горестный случай.

Первого октября прошлого года, в день Покрова (старый стиль в расчет не принимаясь), мы отправились поздравить с восьмисотлетием храм Покрова на Нерли. Мы — это ленинградец, работник Эрмитажа Борис Ильич Маршак, его свояченица-студентка и я. Из Владимира до Боголюбова нас вез автобус. Дорбгой Борис Ильич весело рассказывал о чудесах иконы Владимирской богородицы — той прелестной, исполненной лиризма картины, что сейчас украшает Третьяковку. Князь Андрей Боголюбский, наделенный редкостным вкусом, вывез икону из Киева. И тут, в новой северной столице Руси, в пору лихорадочного строительства, когда что ни год рождается новый архитектурный шедевр, икона творит свой цикл до удивления практичных чудес.

Это она выбрала место для знаменитого Боголюбского замка — кони, везшие икону, встали, причем именно у впадения Нерли в Клязьму: князю нужен был контроль над

перевозками недружественного Суздаля. Богородица вмешивается и в строительное дело; она отводит беду, вызванную штормовщиной: наспех построенные Золотые ворота освящались при стечении народа, а окованные медью створы ворот упали и придавили людей. Но целы и невредимы оказались придавленные! Попадья Микулы и какой-то сухорукий владимирец, внучка боярина Славяты, сама жена князь-Андрея — многие из реальных и поименно названных обитателей города были облагодетельствованы иконой! Но богородица покровительствует и Владимирской земле в целом. Так считает решительный князь Андрей. В пику киевскому духовенству Боголюбский самостийно ввел праздник Покрова и, чтоб пресечь возможные дискуссии, в одно лето возвел на заливаемом лугу рукотворный белокаменный холм, а на нем поставил храм, с которым человечеству и поныне нечего сравнить.

Когда мы добрались до храма, там не было ни души. Липы над старым руслом Клязьмы устлали холм желтыми и алыми листьями. Мы не подходили близко, чтоб не рушить впечатления громадности, поднебесности белого строения. «Лебедь» тянулась ввысь, со стен глядели удлиненные женские головки, бряцал на гусях вдохновенный царь Давид. Наша студентка ушла за старицу — взглянуть на отражение в воде среди листьев кувшинок. Борис Ильич фантазировал: Покров, надо думать, был гениальной работой, озарением молодого мастера, и тот же «зиждатель» лет через тридцать, признанный, отягченный лаврами, построит брату Андрея, Всеволоду, Дмитриевский собор, перегрузив его скульптурами...

А спутница наша все сидела неподвижно, обняв колени. Потолковав о вреде женской экзальтации, мы стали собирать в память о юбилее Покрова кленовые листья.

На обратном пути Маршак решил разговорить погрустневшую свояченицу. Девушка уносила осколок белого камня.

— Ну вот, нами уже овладела страсть к собственности. Ветку Палестины нам подай, без нее паломничество не в счет. Ладно, выкладывай, что тебе сейчас угодно приобрести?

— Про Покров или про весь Владимир?

— Про весь. Я добрый.

— Ну, царя Давида на белом камешке. Вправленного в дерево, только без всяких лаков, без ничего... А о Владимире — можно медный ковшик, а на нем слово «Гюргичь»? Поминишь, на Золотых воротах — «Гюргичь»? Грустно, непонятно и очень хорошо. А чтоб носить — цату или как там ее? Украшение вроде кулона. С грифонами, конечно, и ручной работы, живая, корявенькая... А тебе на стол — топорик Боголюбского, пусть крохотный, но чеканку повторить точно.

— Ясно. Мы новые — современные, сувениры нам нужны — тематические. Это так называется — «тематические», учти.

Спутница, повеселев, уговаривала еще купить какие-то колты-подвески, сулилась восполнить граты Маршака из будущих стипендий, а он возражал — лучше он без отдачи купит ей значок и цветную открытку с троллейбусом на фоне Золотых ворот...

Смех смехом, но у девушки был праздник, такие дни помнятся. Купить что-то отвечающее впечатлению было просто необходимо. Мы знали, что никаких резных гусяров и кованых ковшиков не найти, но за «веткой Палестины» все же отправились.

Сувенирный магазин — как любой другой. Фаянсовые тигры и жирафы, анодированный алюминий, взвод каслинских мальчиков с мячами, какие-то роговые тюльпаны — все галантерейно-красивое, блестящее, отталкивающее абсолютной одинаковостью, все ни малейшего отношения к белому, тонкому Владимиру не имеющее. И какие-то деревянные, с претензией на модерн и условность куколки. В особой витрине — сокрушительно дорогой, декоративный Палех. Девушка вздохнула: «Ладно, пошли...»

Я проводил их. Двое из ста девяноста тысяч туристов, посетивших Владимиро-Суздальский заповедник в прошлом году, так и не смогли ничего выбрать и купить на память.

Туризм делают не ротшильды. Мистеры твистеры разного уровня образованности ездить могли всегда. Могущественнейшей промышленностью века сделали туризм студенты. И фрезеровщики, учителя, колхозники, аспиранты, счетоводы, у которых во время

отпуска очень туго с деньгами. Тринадцать миллионов наших людей ежегодно едут в экскурсии и путешествия, сорок миллионов проводят отпуск не дома. Миллион советских граждан по туристским путевкам каждый год отправляется за рубеж. Много? Пока очень мало.

В одном серьезном экономическом журнале, не падком на громкие фразы, напечатано, что символом нашей эпохи является траектория спутника и фигуры туристов, шагающих по планете. Экономисты изумляются: туризм стал самой доходной статьей мировой торговли, сумма поступлений от него в шестьдесят третьем году по всем странам достигла 9,25 миллиарда долларов, а через год подскочила до 10,3 миллиарда! Это намного больше, чем дает торговля сырой нефтью, а ведь нефть всегда делала политику. Туризмом теперь занимаются министры; специальные институты изучают, как заставить человека с рюкзаком посетить город Н. и вторично приехать сюда же. Число туристов, выезжающих ежегодно за рубеж своих стран, уже перевалило на вторую сотню миллионов человек; больше двадцати миллионов гостей принимает в год Италия, почти десять миллионов — Испания, а вся Европа — почти восемьдесят миллионов! Конечно же, ротшильдов, морганов и рокфеллеров среди них мало. Едут люди среднего, даже скромного достатка, едут в кредит — клерки и фермеры, рабочие, студенты, люди свободных профессий. Знамение времени: не доверяя кинооператорам и журналистам, человек хочет все, что может, повидать сам. Великое переселение народов — пустынная вылазка рядом с современным туристским потоком. Понятно, пущены в ход и реклама, и отменный сервис, и научное прогнозирование. Тот, кого мы не прочь назвать ротозеем, над чьей стадностью иронизируем, определяет экономику целых государств, дает работу миллионам.

И давно уже безделушка, памятный пустячок, недорогая поделка кустаря привлекали к себе внимание банков и кабинетов министров. Потому что за безделушкой стоят сотни миллионов, если не миллиарды долларов в свободной валюте! Экономисты точно определили, что гостиницы, питание и транспорт поглощают только половину туристских расходов. Номера отелей не могут быть пугающе дорогими, обычно большой прибыли они не приносят, а то и убыточны. (Наша гостиница «Москва» в этом отношении — не исключение: в шестьдесят третьем году, например, номера дали семьдесят тысяч рублей убытка, его покрыли вспомогательные службы.) Но вторая половина расходов — вот где главная прибыль хозяев! Эта половина складывается из трат на сувениры, а также на развлечения и напитки. Пусть только треть второй половины расходуется на памятные покупки — и то сумма выручки в мире приближается к двум миллиардам долларов. Вот что значит кустарный «пустячок»!

Разговор с Владимиром Ивановичем Бабкиным заставил меня перелистать блокноты своих туристских поездок. Поневоле заключишь: возникла целая методика сувенирного промысла; что, где, как, кому продать — обдумано и взвешено.

Марокко, удивительный город Фес, средневековый арабский базар. Мастер, он же торговец, просит за поделку из тисненой раскрашенной кожи вдвое дороже, чем такая же с виду вещица стоит в современном магазине. «Но это же ручная работа! Хотите, при вас буду делать?» Все правильно. Ручная работа — как не предпочесть ее холодному машинному изделию, потому что сделают при вас, с какой-то вариацией в орнаменте, вы становитесь как бы участником работы. Хотите вы или нет, а мысль, что народ в лице расторопного кожевника лично для вас готовит славную вещицу, поневоле придет вам в голову. Продавай этот малый по магазинной цене — он завтра пошел бы по миру...

Один из посетивших Рим рассказывал: «Сидит старуха, настоящая сивилла, продает антикварное. «Эта брошь — семнадцатого века, эта медаль — пятнадцатого, эта гемма — четырнадцатого...» — «А какая же вещь, синьора, самая старая?» Сверкнула глазами: «Самая старая — я, синьор!» Как было у нее хоть что-нибудь не купить!» Это к мучающему наших искусствоведов и руководителей промыслов вопросу: «Что нужно народу — поделка или подделка?»

Сестра Болгария. Сувенирные салоны — сущее разорение. В Пловдиве, Тырнове, Несебре — всюду особый выбор. Чеканка; резьба по дереву, тканье, керамика, карна-

вальные куклы с бубенцами у пояса, эмаль... В 1963 году, когда стал оперяться «Балкантурист», газеты и радио несколько недель зывали: «Всех, кто знает ремесла, приглашаем на регистрацию». Испытания помогли отобрать подлинных мастеров, им дали материал для работы. Поделки стали принимать оценочные комиссии, они определяют и путь реализации (на валюту продавать или на левы). Ханжеством было бы упрекать за такое разделение: валюта нужна стране для индустриализации. Мастера высшего класса получили привилегии творческих работников, они освобождены от всевластия «вала», даже от подоходных налогов. Работа «валютного» ремесленника оплачивается вдвое, а то и втрое дороже работ среднего уровня. И вот диво: в считанные годы болгарская деревня, поселок, городок «вспомнили» ремесла, угасшие еще чуть ли не при турецком иге. Следствием экономической помощи промыслу стала ошущимая тяга молодежи в деревню: сын с фабрики возвращается к отцу, который теперь хорошо зарабатывает, и расцветает естественная передача ремесленных навыков: от отца к сыну.

Закон современного сувенирного рынка — производство и продажа уникальных, присущих только данной местности изделий. Этим достигается важное для коммерции: покупает и не профан в искусстве, и тот, кто просто следует моде; учтено и отвращение покупателя к «массовке», желание приобрести вещь с ярким индивидуальным отпечатком. В чести — факсимиле мастера. Штамп, пресс серьезных доходов сейчас не дают. Обострена тяга к экзотичности форм, к национальному колориту, к старине вообще, и тяга эта творит с кустарным промыслом, казалось бы, невысказанное: Мексика, например, «вспомнила» традиции давно забытого ацтекского искусства! Учтем эту способность ремесленников «вспоминать» для дальнейшего разговора.

И работники «Интуриста», и сотрудники министерств культуры, местной промышленности, Института художественной промышленности охотно рассказывают о тягостных безобразиях, творящихся в сувенирном деле. Специально созданная для продажи памятных вещей фирма «Березка» свой товароборот держит в основном на водке. Даже превосходное сырье — янтарь — мы обрабатываем так безвкусно, что поделки не берут, сырье стала у нас покупать ФРГ, а уж у нее «Березка» покупает оправленный янтарь. Стоит пустить фабрику сувениров, как она через квартал-другой сползает на пластмассовую, поролоновую или иную «массовку». А то и пуговицу начинает гнать: товаров нехватка, а план по валу жмет... Тезис о расцвете народного искусства у нас часто подкрепляется цифрой медалей всемирных выставок. В Брюсселе промыслы действительно получили пятьдесят семь наград. Но вот беглый перечень российских художественных ремесел, полностью или почти полностью угасших в последнее время: производство «гутного» стекла (дутые петухи, рыбы и т. д.), шемогодская резьба по бересте, хотьковская резьба по кости, вологодский «мороз по жести», керамика Скопина, псковские и курские глиняные игрушки, череповецкое тканье...

Защита художественных промыслов обычно строится на аргументе, что «ни мастер берестяных кружев, ни игрушечник, вырезавший деревянных лошадок или кузнецов, ни старушка ткачиха не подорвут экономических устоев нашего государства» (Ю. Арбат). С таким же успехом можно доказывать безвредность для государственной экономики добычи нефти!

Давление финансовых органов на кустарей привело к тому, что финансисты теперь не могут привлечь в бюджет огромное количество свободной валюты. Тут уж подлинный подрыв если не устоев, так государственных доходов. Вмешательство бесчисленных организаций, в том числе и милиции, в деликатное и хрупкое дело привело к тому, что не используются громадные ресурсы рабочей силы, сдерживается рост товарной массы; что к поре, когда расцвет туризма создал особо благоприятные условия для кустарных промыслов, прикладные искусства оказались в бедственном состоянии.

Первой причиной бед работников перечисленных выше органов называют разорванность промыслов между ведомствами: у семи, дескать, нянек... Действительно, прикладное искусство, как область беззащитная и на экономику якобы не влияющая, стало тем полем, на котором бюрократические дарования развернулись во всю мощь и ширь. Безнаказанная игра в переброску, наивная вера в то, что самое главное — кому подчиняться, создали лабиринт, удручающий своей бессмысленностью. Было время — «Северная чернь»

числилась, как и Мстёра, по ведомству бытового обслуживания, а лаковая миниатюра Федоскина проходила по управлению полиграфии. Совнархозы ликвидированы, и «Северная чернь» — в Министерстве приборостроения. В бытовом обслуживании теперь заونهжные вышивальщицы. Палех принадлежит Художественному фонду, а единоутробная сестра его Мстёра — Министерству местной промышленности. Что касается игрушки, то она в легкой промышленности. Подчас дочернее предприятие проходит не по тому ведомству, что головное. Бесконечная, угрюмая, тупая игра...

Экономическая автономность и слитность художественных промыслов — условие совершенно необходимое. Но не стало бы создание крупной фирмы под названием, допустим, «Русский сувенир» еще одной перестройкой! Если не оградить такую фирму от вируса догматизма, если не распространить на художественные промыслы реалистические принципы стимулирования, чуткости к рынку, особого внимания к качеству, провозглашенные экономической реформой, — все останется суетой сует. К чему, однако, эти оговорки?

Начальник главного управления народных художественных промыслов и производства сувениров Министерства местной промышленности Федерации В. А. Артемов считает:

— Проблему сувенира решат только крупные заводы. Нужно строить их! А денег пока не дают.

Сотрудница Министерства культуры СССР, отвечающая за промыслы, сетует:

— В Туве и на Памире еще есть камнерезы и гончары, которые делают интересные вещи. Но они пока не организованы, не объединены.

Это контуры программы, из которой так и лезет «массовка», штамп, в которой творческие особенности мастеров заведомо будут нивелироваться. Ленинградский художник Василий Михайлович Звонцов особенно дорожит одним сувениром, купленным под Бухарой у старушки узбечки. Бабушка сама слепила этого дивного зверя, чудно раскрасила его — не то лось, не то тапир какой-то... «Это слон», — сказала она Звонцову. Если старуху «организовать», ознакомить ее с анатомией слона и велеть держаться «жизненной правды», такой «слон» больше не родится.

Художественный промысел, если это впрямь изобразительный фольклор, необходимо должен иметь своей питательной средой широкие массы народа. Если и нужен пропуск в фольклор, то им могут быть только талант, одаренность, просто способности наконец. Проверка «пропусков» все-таки привилегия покупателя. Это вовсе не значит, что промыслу не нужны квалифицированные советчики и наставники в лице искусствоведов, оценщиков, подлинных знатоков. Промысел рожден в крестьянской избе: дома, известно, углы помогают. Но умельцы, надомники, неорганизованные кустари, во времена оно создавшие ремесла, — на какое место они могут претендовать в сувенирном деле? Или, без обиняков, какова механика вытеснения мастера, если он почему-то «не организован»?

Рассказывает сотрудник Министерства финансов СССР В. А. Тур:

— Право разрешать те или иные виды промыслов передано советам министров республик. Правительство Федерации, например, своим постановлением разрешило надомникам изготавливать абажуры, чинить часы, открывать парикмахерские. Художественный надомный промысел в налоговом отношении приравнен к таким занятиям. Кустарь, выбрав регистрационное удостоверение, на месяц берется под контроль фининспектором, который и определяет его доход. По доходу исчисляется и налог, шкала широкая — от четырех до восьмидесяти процентов. Надо признать, что инспектор часто механически умножал месячный доход на двенадцать, хотя кустарь может работать, скажем, три-четыре месяца в году. Налоги у надомников выше, чем у рабочих и служащих, низок, на мой взгляд, необлагаемый минимум. У нас их очень мало теперь, надомников, — несколько десятков тысяч во всей стране.

В стремлении «не дать забогатеть» кустарю финансовые органы добились того, что облагать налогами практически некого. Еще одно подтверждение, как важно в любом искусстве, в том числе и налоговом, чувство меры. Это же Министерство финансов в лице заместителя начальника управления Гознака П. Пирогова недавно отказалось изгото-

вить для Пушкинского заповедника сувенирные значки и медали, так как Ленинградский монетный двор «перегружен выполнением правительственных заказов и заказов для выставки в Монреале (Канада)». В Михайловском, Тригорском, в Пушкинских горах ежегодно бывает около трехсот тысяч человек. На сувениры разобрали ель-шартер — гигантское, любимое поэтом дерево: оно состарилось, спилили. Купить в заповеднике нечего. А в городах Псковской области 26 800 человек незанятого населения: в Опочке, в уезд которой входило село Михайловское, — 1100 человек, в Острове — 2100, в самом Пскове — около 10 тысяч. Кустарей в Псковской области — 300 человек. Сувениров ни один из них не делает.

Если фининспектор видит в кустаре потенциального капиталиста, то полномочный искусствовед — перспективного халтурщика. Строгость надзора за художественным уровнем изделий объясняют наличием «красилёй». (Как будто коверные лебеди могут тягаться в разрушении вкуса с анодированным алюминием и прочей галантерейной красотой, одобренной и тиражируемой!)

Новые «образцы» народных изделий создаются не в архангельских деревнях, не в аулах, а в Институте художественной промышленности, принадлежащем Министерству местной промышленности РСФСР. Институт — хозрасчетное предприятие, за каждый «образец» фабрики перечисляют ему деньги. Привилегия на творчество (разумеется — народное!) передана штатным сотрудникам. Сложна система «утверждений». Талантливый златокузнец Расул Алиханов (мне доводилось бывать у него в поднебесных Кубачах) уже как-то свыкся с тем, что новую вазу позволено чеканить лишь после того, как «сверху» в горы вернется утвержденный эскиз. Такая система предохранит, конечно, от коверного лебедя. Но и от неожиданного, удивляющего предохранит тоже.

А. А. Луначарская вспоминает, что в один из приходов Ленина к Луначарским (они жили тогда в Потешном дворце в Кремле) Владимир Ильич, не застав Анатолия Васильевича дома, заговорил с ней о том, что «хочет обратить особое внимание Анатолия Васильевича на народное искусство, которому он придает большое значение, считая, что у него многое может почерпнуть и многому может научиться профессиональное искусство; что он думает, что, когда схлынут заботы, народное искусство расцветет во всех концах нашей страны пышным цветом и поразит своими масштабами весь мир».

Профессиональное искусство может учиться у фольклора. Подмена второго первым — это фальсификация. Но в ленинском взгляде очень интересен и такой момент. Послереволюционная деревня еще, казалось бы, патриархальна. Вовсе еще не нужно «возродить» те или иные виды промыслов, а культурнейших людей эпохи состояние народного искусства отнюдь не радует — его расцвет видится лишь в будущем. Кстати, А. В. Луначарский прямо говорит крестьянам, бедноте Северной области, что фольклор в упадке: «Деревня... до сих пор поет, пляшет, вышивает, кружева плетет, из дерева режет, есть у нее своя кустарная промышленность... Но чем это стало, товарищи крестьяне? Когда-то русский крестьянин так пел, что весь мир, звезды небесные могли его слушать. Он создал такое народное искусство, перед которым склоняют ученые головы и изучают, как это чудеса такого вкуса мог народ из себя дать. Но когда в XV—XVI веке помещицья петля стала все туже затягиваться на крестьянской шее, тогда стала заглохнуть песня... Надо нам, рабоче-крестьянскому правительству, спешить на помощь. Мы должны всюду разбрасывать школы, которые учили бы... всему старому русскому народному искусству, оживили бы его».

Речь шла, таким образом, вовсе не о том, чтоб использовать тонкий пласт, доставшийся от предреволюционных лет, а о проникновении сквозь все наслоения к самым родникам фольклора. Между кустарной поделкой для рынка и подлинно народным изобразительным искусством знак равенства не ставился. Почему? Да потому, что художественные промыслы — это результат товарно-денежных отношений, плод развития капитализма в России. Рынок о вкусах не спорит — он диктует их, и кустарь менее всего был «свободным художником». Рязанская вышивка или хохломская роспись в тех формах, какие рождены «золотым веком» кустарной промышленности, глубоко отличны от того, что крестьяне тех же районов, из тех же материалов делали «для себя» еще в начале прошлого века. Ничего удивительного: кустарное изделие — зер-



кало вкусов потребителя. А нужно к тому ж учесть, что царизм, официально признавая за промыслом «первостепенное в государстве экономическое значение после земледелия», последовательно разрушал художественные традиции. Не из недостатка русофильства — из антинациональной своей сути. Взять ту же Владимирскую губернию — это край промыслов; в 1901 году подсобными занятиями подрабатывают 53 965 крестьян, здесь гранят хрусталь и пишут иконы, вышивают, чеканят. Здесь всегда перед глазами шедевры народного искусства — Покров на Нерли, Дмитриевский собор, фрески Андрея Рублева, — и здесь же державные «искусствоведы» свершают геростратовы подвиги. Еще в позапрошлом веке из Успенского собора, построенного Боголюбским, выбрасывают иконостас работы Андрея Рублева, его заменяют картинами, где «всё как живое». Николай I прикажет привести «в первобытный вид» Дмитриевский собор, и эту работу непоправимо осуществят «чиновник по искусственной части» Петров и «корпуса путей сообщения инженер-поручик» Абалдуев. В конце прошлого века владимирское духовенство решит разобрать на камень храм Покрова на Нерли, да не сойдется в цене с артелью каменщиков; «лебедь» случайно уцелеет. Такое не проходит бесследно.

Когда мы говорим о «возрождении» того или иного промысла, то сверяемся обычно по уровню 1913 года: в данном случае речь не о «разах» превышения, а о потерях ремесел. Волей-неволей тот уровень канонизируется, выдается чуть ли не за эталон вкуса. А пора-то была — упадочная! Слои, родивший подлинно гениальное, залегает намного, намного глубже. И внимание к тому удивительному слою у сегодняшнего потребителя, чуткого и тонкого, развитого и отзывчивого, как никогда обострено. Тут и нужно сказать о способности промысла «вспоминать» самое светлое в своей истории.

На Ивановской площади Кремля по девять с полтиной за штуку продают модели спутников с заводной музыкой. Туристы берут, особенно охотно — немцы. А нельзя ли здесь, где века работала Оружейная палата, предложить доступную поделку из меди — конечно же, чекан, ручная работа? Нельзя ли напомнить резной копией всадника с Боровицкой башни или льва со Спасской, что турист находится в Белокаменной, столпце мастеров?

«Не толкайте нас на подделку. Где тут подлинность, где традиция?»

В таком смысле и лаковая миниатюра Мстёры — подделка, потому что промысел создан в советское время, и манера, и техника письма мало общего имеют с тем, как работали здешние иконописцы. Но угадали умные люди, попали в точку — и теперь миниатюра на папье-маше едва ли не монопольный представитель нашего промысла во всем мире.

Нет, не подделка, не имитация, а напоминание о дедах, «каменосечцах и древоделях», созданное живыми руками потомков под тем же солнцем, на тех же берегах, хранящее лучик дедова дарования. И потому — полноправная художественная вещь.

В Пскове, в алтаре церкви Преполовения (XV век) — кузница реставрационных мастерских. Два мастера, обоим по семьдесят пять, куют раму флюгера на восстановленную Власьевскую башню Довмонтава города. Белобородый, лицо с фрески, сосредоточенный Кирилл Васильевич Васильев и Петр Андреевич Ефимов, говорун и прибаутчик, сущий Сократ — круглым лбом, широкой бородой и курносым носом.

Флюгер — стиг с гербом Пскова, барсом, чеканенным на меди. Эскиз сделал реставратор Всеволод Петрович Смирнов. Архитектор и живописец, окончивший Институт имени Репина, он и кузнец тоже, выученик дедов, и чеканщик. Широкий, приземистый, рыжеватая, с первой седной борода молодит его и придает кротости. В свитере и вязаной серой скуфейке — то ли водолаза напоминает, то ли ратника в кольчуге. Деды из него веревки вьют. Вот и сейчас.

С придыхом бьет «Сократ», звенит молотком дед Кирила, алый металл искрит и мнется.

- Ты куда гнешь? — замечает Смирнов. — Вот же рисунок
- Не так не хорошо. Не глянется.
- Делай, как нарисовано, Кирила!
- Не, не ладно. Туда надо развернуть и сюда тоже.
- Больно грамотный. Вещь должна восприниматься целиком.

— Приварим покрепче, будет целиком,— шутит «Сократ».

— Яйца курицу не учат,— гнет свое Кирила.

Смирнов отнимает у него молоток. Пока брус снова греется, они спорят, точнее — вздорят, бранятся Деда упрямы, а художник, кажется, просто проверяет, насколько они правы. Выходит по-ихнему. Флюгер-стяг — с такими «язычками», какие и ладны и глядятся.

Десять лет во Пскове Всеволод Смирнов реставрировал грозный Изборск, удивительную крепость в Печорах, «вычинял» готовые рухнуть древние церкви, копировал фрески, но гордость его — на берегу Великой: возрожденная Покровская башня, колоссальный каменный фрегат, громивший полки Батория. Работы его тонки, их хвалят. Он реставрирует в том же материале, а главное — руками и умом псковичей, в которых сохранилось былое мастерство и былые пути решений, архитектурных и декоративных. Откапывает и вновь являет миру таланты плотников и каменщиков, кузнецов и керамистов, что еще теплятся, но в сборно-панельном строительстве не нужны. Венел любой работы — в кузнице: крест лн на церковь, флюгер геральдический или дивное «райское древо» на шатер башни. И спорит в прокопченном алтаре.

— Боюсь — одряхлеют мои апостолы, а то и помрут,— просто говорит он.— А красоту железа понимают, металл у них из-под молотка выходит живой, теплый. Столбовые скобари. Пригели-художники заказывают им подсвечники — модно. А я хочу сделать с ними образцов двадцать памятных поделок — светильник, скажем, вешалку, ключ, штопор, щипцы печные, дверную ручку, кольцо на ворота, все по-псковски, с клеймом нашим. Не для кого, но — делаем.

Реставрируют у нас любовно, это известно. И что ни реставрационная мастерская, то целое старинное производство, то потенциальная мастерская сувениров. Те образцы, что создает уонец в споре с уважающим его знатоком искусства и истории, размножать не грешно.

Но это все речь о профессиональном, так сказать, кустаре. А ведь художественный промысел от века был подсобным занятием крестьянина, помощником ему, «второй тягой» русской деревни.

## II

Плетя брякат между порам.

*Э. В. Сняtkова, директор  
кружкового объединения «Снежинка».*

Минувшей зимою я жил в Вологде — читал в областном архиве материалы о кружевном промысле. Вечерами выходил прогуляться на берег реки.

Запомнился один вечер. Густые сумерки, на кирпичных стенах кремля, на штабелях дров и сарайчиках — шапки чистейшего снега. Темнеет громада собора, строеного Грозным в опричном своем городе, на ремонтных лесах у куполов гомонят зябнувшие галки. Небо низко, и от этого чутко и будто тепло. Пахнет березовым дымом. За льдом реки Вологды — желтые огни. Мальчишки съезжают на лыжах с крутого берега и бесконечно катятся по заснеженной глади.

На середине реки — проруби, как громадные окна с дощатыми рамами. Ограждены щитами, над каждой — лампочка, темная вода в отблесках. Это коммунальное удобство, давнее, еще думой заведенное — белье полоскать. Женщины после работы везут сюда на саночках влажные копешки рубах, наволочек, детских штанишек, становятся на колени у кромки и, переговариваясь, споро полощут.

В сумерках я не сразу понял, отчего руки у женщин так странно блестят. Резиновые перчатки! Нововведение, знак времени.

— В резине руки не зябнут,— весело объяснила одна.— А то лед намерзал на запястье.

А потом лихо подкатила саночки бойкая бабка. Разобрала свою копешку — и давай полоскать голыми руками. Я спросил, почему же она — не как все.

— Есть перчатки, да так привычной. Всегда бабы так полоскали — и ничего, здоровы были.

И справилась быстрее других.

Старуха, что из одной нужды хранит старинную привычку, — это и есть сегодняшний день кружевного промысла деревенской Вологды.

Выцветшие «дела» архива, исследования, отчеты, забытые брошюры, словом и цифрой сохраняя дух своего времени, интересно повествовали об истории кружевоплетения. Возникло оно под Вологдой около 1820 года как помещичья мануфактура. Барыня Засецкая открыла «фабрику», где работали семь крепостных девушек. Все вологодские кружевницы-плетей ведут свой род от легендарной Анны Михайловны, что одиннадцатилетней девочкой была послана барыней учиться в Пошехонье, на кружевную «фабрику» Окулова. Для глубокого освоения кружевного дела достаточно двух-трех лет, Анна же Михайловна училась будто бы целых пять и постигла все тонкости. Мануфактура Засецкой передала умение множеству женщин в окрестных деревнях.

Расцветает женский промысел с отменой крепостного права, с развитием товарно-денежных отношений. Экономическая основа у него та же, что и у всех промыслов русского Севера: долгая зима, когда в поле делать нечего, невозможность прокормиться одним земледелием, тощие почвы, требующие интенсивной обработки, то есть вложений, денег. К. Маркс пишет, что в России «...в некоторых северных областях полевые работы возможны только в течение 130—150 дней в году. Понятно, какой потерей было бы для России, если бы 50 из 65 миллионов населения ее европейской части оставалось без занятия в течение шести или восьми зимних месяцев, когда необходимо прекращаются всякие полевые работы.

...в деревнях повсюду развилась своя домашняя промышленность. Так, существуют деревни, в которых все крестьяне из поколения в поколение являются ткачами, кожевниками, сапожниками, слесарями, ножевщиками и т. д.»

Вологодское кружево поглощало в основном женский труд. Наука далекого Бранта, иных загранич упала на благодатную художественную почву: северный край даровит, самобытен и потому — переимчив. Кружево — это непременно песня, это вечерняя сказка, это при всей своей традиционности фольклор живой, творимый. Луначарский особо отметит, что «русские кружевницы пронесли свою виртуозность через самые тяжелые времена художественного равнодушия...»

Скрупулезные земские статистики свидетельствуют, что в конце века доход от кружев в крестьянском бюджете «плетущих» уездов составлял 8,04 процента. Не так уж и весомо, но те деньги давали крестьянке известную самостоятельность (до сих пор школьница сама себе на туфли заработает, а на кино и подавно), хотя достались отнюдь не легко. Труд этот, по выражению одного автора, требует «фантастической усидчивости, героического прилежания, сказочного старания». Девочку пяти лет уже засаживали учиться. Зимой кружевницы работали с восьми утра до двенадцати ночи, часов по шестнадцать в день, плетая средней руки зарабатывала в день двадцать копеек. Тридцать копеек считались большим заработком, сорок — редкой удачей. Потомственная кружевница Зинаида Васильевна Сняtkова, сейчас она руководит кружевным объединением, говорит, что и на ее памяти в деревенской семье кружев не оставляли — все делалось исключительно для сбыта. Миловидная тропининская «Кружевница» (репродукции увидишь на всех стенгазетах «Снежинки») грешит лакировкой: каторжное сидение убивало красоту, сокращало век пуще коврикатства.

В деревнях плели простые кружева, известные под названием русских, или фантажных. В Вологде же и пригородах вырабатывались гипюрные, кюли, численные, сколочные, немецкие, валансьен, брюссель и русские — само перечисление говорит и об освоении зарубежного мастерства, и о привнесении в ремесло своего. Скупали изделия так называемые «кубенки» — слово идет от названия Кубенского озера, по берегам которого лежат старинные кружевные деревни.

Как ни мала была плата, ремесло приносило гарантированный доход, и число кружевниц вырастает быстро: в 1893 году плетением занято четыре тысячи крестьянок, в 1900 — уже двадцать тысяч, в 1910 году — 35 181 женщина и даже 245 мужчин.

1913 год дает высший дореволюционный уровень — 39 тысяч человек, кружев выработано на 2,3 миллиона рублей, средний годовой заработок плетей — 34 рубля 58 копеек...

Советская власть кустарный промысел поддерживает и поощряет. В двадцать первом году создан кооперативный «Артельсоюз», чье назначение — бороться с нэпманом-посредником. Плетей вскоре появляется в каждом втором дворе, число кружевниц поднимается до рекордной цифры — пятидесяти тысяч. Документы повествуют о времени серьезном, деловом; на учете каждый рубль прибыли, проявляется забота о мастерстве. И вот окрепший кружевной промысел пробивается на европейский рынок.

Заинтересовало меня «Дело № 20». Содержало оно переписку вологодского «Артельсоюза» с советским торгпредством в Берлине. Кто-то, возглавлявший художественно-промышленный отдел представительства, заботливо, твердо и с большим знанием дела направлял борьбу северорусского промысла за европейский рынок. Конкуренция сильная, Европу наводнили фламандские, чехословацкие, китайские кружева. Тот, знающий, — он подписывается четко и энергично «М. Андреев...» — журит своих: расхлябанность нетерпима, осваивайте же, такие-сякие, приемы деловых людей, иначе нам не обойти старинные фирмы!

Более тысячи двухсот номеров изделий значилось тогда в вологодском преискуранте! Мушка и денежка, бубны и колесико, цветок, американская клетка, сердце, роза, борна, жемчужка, елочка, путаница, морозы, воронья лапка, калачик, листочек, жучок, березка, речка — было из чего выбрать. Вот поддалась одна торговая фирма, другая... В феврале 1926 года торгпредство перевело «Артельсоюзу» первые 828 рублей золотом, с тех пор переводы начинают поступать регулярно.

Кто направлял экспорт кружев? Кто удивительно совмещал в себе деловую струнку с тонким пониманием красоты северного товара? Ради интереса стал доискиваться. Оказалось, что в торгпредстве тогда работал не «М. Андреев...», а Мария Федоровна Андреева. Да, она самая — жена Горького, одна из культурнейших женщин своего времени, хорошо знакомый Ильичу человек. Высок же был уровень экономического и художественного руководства кустарным промыслом послереволюционного села!

С октября 1930 года кустарей, давным-давно кооперированных, начинают коллективизировать — создан новый «Волкружевосоюз». Документы в очень плохом виде, стиль их резко изменился — усиливается процесс бюрократизации. Разговор уже не столько о кружеве и доходах, сколько о социальном составе органов управления, о спущенном задании. Появляются фразы-заклинания: «Работа по реализации займа по кружевным артелям проходит безобразно слабо и идет самотеком, без вовлечения масс кустарок вокруг этого вопроса». Причинами срыва производственного плана называются: «недоведение артелями твердых заданий до каждой кустарки, беда заявок на керосин, позднее получение керосина низовкой, отвлечение кустарок на лесосплав, отбор денег у артелей с участием ГПУ...» «Следствием чего, — пишется дальше в том же отчете, — имеются частые случаи уноса кустаркой своей продукции обратно и распространение кулацкой агитации — на этой почве: «в артелях денег не будет до весны, и работать не стоит».

Словом, коллективизация промыслов проходит с теми же минусами администраторского толка, что и коллективизация крестьянская, и к 1934 году качество кружев и объем их производства падают настолько, что в документах проскальзывает тревога: а уцелеет ли вообще промысел? Но сельхозартели постепенно крепнут, и промысел, точное зеркало состояния крестьянской экономики, перед войной оправился, воспрял: плетут кружева почти двадцать тысяч вологжанок, на Всемирной выставке в Париже получен «Диплом золотой медали».

Кому сбывали кружева в войну — не ясно, но уже в сорок втором промысел восстановлен, солдатки подрабатывают. А вот с 1949 года идет приглушенный разговор об экономическом упадке. Штучные, впрочем, вещи, пышные и чуждые задушевному, скромному духу северного искусства, делаются и рекламируются: панно «Грузия», шторы «Свет мира над Москвой», портьеры «Московский Кремль» и т. п. Задачей кружевниц объявлено «отображать в своих рисунках окружающую нас советскую действительность». К 1954 году в промысле еще заняты 17 900 женщин.

А затем количественные изменения как-то быстро переходят в качественные, административные меры вкупе с глубокими социально-экономическими причинами приводят к тому, что старый промысел тает быстрее апрельского снега.

Какое, казалось бы, влияние на плетение кружев могут оказать низкие закупочные цены на рожь, молоко и мясо, неэквивалентность обмена, убыточность колхозов? Есть ли связь между неравенством колхозника и рабочего в социальном обеспечении, между юридическими сложностями деревенской жизни и старинным рукоделием? Есть, оказывается, да еще какая тесная!

Колхоз Севера не выручает продажей продуктов того, что затратил на их производство. Убыточное производство диктуется административным путем: от колхоза требуют необоснованных поставок, позже — выполнения планов продажи. Но не допустить развала хозяйства колхоз может только хронической недоплатой за труд. Страдают сильнее всего так называемые «полеводы», то есть работницы без постоянной должности, сильно ощущающие сезонность сельского труда, некогда коротавшие зиму за кружевом. Не имея возможности вести расширенное воспроизводство, колхоз вместе с тем не способен уже воспроизводить рабочую силу. Чтоб вырастить сына или дочку, нужна еда, деньги на одежду и обувь, нужно и все то, чего семья дать одна не может: клуб, кино, где можно увидеть, как живут в других местах, прочий «соцкультбыт». Если девчонка заработала на «шпильки», то нужен тротуар, по которому можно в этих «шпильках» ходить, иначе туфельки уведут туда, где начинается асфальт. Это в доказательстве не нуждается. Кроме того, давние юридические меры, служившие удержанию рабочей силы в колхозах, приобретают обратную силу: получив после армии паспорт, парень в «беспаспортный» колхоз не возвращается, а девчонка идет на любые ухищрения, чтоб получить тот самый паспорт. Кардинальным вопросом становится обеспечение в старости, та самая «пенсия», которую в деревнях по Сухоне и Вологде выговаривают непременно с «з» вместо «с» и почему-то не склоняют («на производстве он заслужит пенсия», «в колхозе пенсия не дают»). «Дело не только в клубах» — справедливо озглавливает одно из читательских писем газета «Известия». «Создается странное положение, — пишет автор письма, — различия между положением крестьянина и рабочего, между их трудом исчезают. Но одинаковыми правами они пока не пользуются».

Однако — к промыслу. Если колхоз административно принуждают работать в убыток, то необходимо должны быть перекрыты другие, не чисто сельскохозяйственные пути к прибыли, закрыты каналы поступлений из тех сфер, где действуют товарно-денежные отношения. Этим и было вызвано запрещение колхозам заниматься многими видами подсобных производств. Существо промысла в том, что одни и те же люди, смотря по времени года, выступают то как крестьяне, то как работники промышленности. Тем сглаживается сезонность труда, поднимается заработок. Но если в промышленности все же как-то действуют товарно-денежные отношения, а в колхозах — нет, то промыслу несдобровать. Ущемление промысла — это защита неэквивалентного обмена между сельхозартелью и государством.

Колхоз, не получающий дохода от промыслов, — заинтересован ли он в том, чтобы крестьянка сама по себе, в индивидуальном, так сказать, порядке, вливалась в сферу товарно-денежных отношений, то есть плела кружева? Нет. Ибо поступление средств от промысла отбивает охоту работать за пустопорожний трудовой день, или, официально говоря, подрывает трудовую дисциплину. Так и возникают любопытные документы — списки колхозниц, которым разрешено заниматься кружевоплетением. Я держал в руках несколько таких списков, заверенных печатью правления колхоза, — их пересылают на фабрики «Снежинки», чтоб развозчицы ниток и образцов знали, кому можно давать заказы. Плетут в подавляющем большинстве престарелые колхозницы, год рождения, проставленный особой графой, начинается чаще всего с 189...—190...

В 1956 году промысловая кооперация реорганизуется, в шестидесятом — упраздняется вовсе. Кружевницы промысловых артелей превратились в работниц государственного предприятия. Стремление деревенской плетей перейти в штатные кружевницы правление колхоза справедливо расценивает как желание «уйти на города». Число кружевниц резко снижается.

В деревне Ирхино, одной из ста деревень колхоза «Передовой», пятнадцать домов, молочная ферма, плетут в трех домах. Нина Александровна Ганичева, жена конюха, в колхозе на разных работах, зимою же — на кружевах. В уголке избы — все нехитрое оснащение: валик-подушка на пьльцах, на нем сколок — рисунок на бумаге. Кружево крепится на сколке булавками, обязательно нержавеющими. Вот они, знаменитые коклюшки — еловые палочки, катушки и отвесы разом. Плетая перебирает их, сухие коклюшки нежно звенят — «брякают». Отсюда и шутовское название ремесла: не плетет, а «брякат». Сейчас в работе черная косынка. Это — «массовка». Изделие полно чуть старомодного изящества и благородства. В сравнении с ценами на синтетику кружева стоят гроши: в самом дорогом сувенирном магазине Вологды я купил такую косынку за шестнадцать рублей. Из них в оплату кружевнице пошло двенадцать с половиной. Работает над косынкой Нина Александровна, по ее словам, две недели. Что ж, цифры совпадают: среднемесячный заработок плетей-надомницы — двадцать три рубля, в общей фабричной мастерской, где заказы выгоднее, — пятьдесят рублей.

Вернулась из школы дочка Нины Александровны, десятиклассница, пришла соседка Зоя Акиндиновна Мельникова, тоже колхозница, по штатная плетей. Хозяйка покрывает работу платком — так делают все, это охрана тайнства. Садимся за самовар.

Акиндиновна не без гордости рассказывает, что в «Снежинке» получает пенсию по полному стажу — двадцать пять пятьдесят ежемесячно. И разрешения плести ей брать не нужно — вольная птаха. Хозяйка соглашается: в «Снежинке» не в пример лучше, если б можно было, все бы к «Бурачихе» перешли. «Бурачиха», Нина Ивановна Буракова, руководит Кубенским отделением «Снежинки», ее в разговоре поминают часто, как лицо всевластное, иной раз по старой памяти и кубенкой назовут. У «Бурачихи» работницам житье: и по болезни получишь, и инвалидность признается, пенсия выше вдвое и на пять лет раньше.

Я спросил у девочки, умеет ли плести, станет ли кружевницей. «Охота была!» Будто я ее о замужестве спросил — тот же тон. Видно, в этом что-то стыдноватое, в таком старушечьем заработке.

Исподволь выясняю у кружевниц, как относятся к колхозному кружевному цеху. Зимою в бригадах делать нечего, вот бы и... Поняли тотчас — и настрожились: не новое ли указание? Нет уж, пусть колхоз в это не встревает. А вот если б «Бурачиха» приняла всех мастериц, так лучше б и не надо.

А колхоз, впрочем, и не хочет «встревать». «Передовой» — едва ли не лучшая сельхозартель области, если не считать пригородных. Тысяча триста коров с надоем в три тонны, семьсот тридцать трудоспособных, оплата на человеко-день в 1965 году два рубля шестьдесят копеек. Занятость и выручка от продукции по месяцам разнятся очень сильно: в январе работало шестьсот двадцать пять человек, реализовано продукции на тридцать две тысячи рублей, в сентябре на полях, лугах и фермах было 932 своих (с подростками и стариками) и 464 человека привлеченных — с фабрики баянов, с пуговичной, из кулинарной школы, — реализация достигла двухсот трех тысяч рублей. Колхоз в заработную плату выдал полмиллиона рублей, «Бурачиха» выплатила плетей полтора-два тысяч. Это очень важные полтора-два тысяч, потому что получают их не высоко оплачиваемый управленческий аппарат, не механизаторы и доярки, а те «полеводы», что заняты всего месяцев пять в году. Два шестьдесят на человеко-день — это ведь средняя цифра, а крайние — различаются сильно. Полтора-два тысяч Нины Ивановны «Бурачихи» — помощь серьезная. Но деньги эти — вне колхоза, вне сельского хозяйства. Никакого влияния на урожай, надой, «соцкультбыт» они не оказывают. Между колхозной экономикой и промыслом уже вырыт ров, и сам собою он не засыплется.

В декабре 1965 года в вологодском кружевом промысле было занято 6127 женщин, в том числе 2456 пенсионного возраста. Ежегодно на пенсию провожают примерно тысячу кружевниц, работать штатные плетей практически прекращают, потому что пенсионерке разрешается работать два месяца в году, иначе собес начнет прижимать с пенсией. Пополнение же составляют пятьдесят девушек — ежегодный выпуск кружевной школы. З. В. Сняtkова просто говорит, что цехи, где плетей на правах фабричных работниц, сохранятся, а «за надомницами перспективы нет».

Нет перспективы? Работники обкома дали мне материалы о ресурсах рабочей силы в колхозах. По сравнению с довоенным временем число трудоспособных в артелях сократилось примерно вчетверо. За пятилетие (1960—1964) ежегодное сокращение составило пять процентов (было 140,8 тысячи, осталось 98,7 тысячи). А с учетом механизации колхозам в 1965 году требовалось сто двадцать семь тысяч среднегодовых работников. 98,7 тысячи великоустюжских, белозерских, кубенских, кирилловских колхозниц и колхозников работают почти с равным напряжением зиму и лето: в июле 1964 года было занято 98,4 тысячи, в декабре — 90,8 тысячи. Стоит учесть отпуска, болезни, перерывы из-за погоды, и можно только удивиться той трудовой дисциплине, той организованности, какую удается обкому, райкомам партии, деревенским коммунистам поддерживать во всей области. В целом за пятилетие средний вологодский колхозник выработывал по 270 дней в году. Если бы в целом по колхозам страны мы подошли бы к этой цифре! По данным академика ВАСХНИЛ С. Г. Колеснева, государство получило бы в этом случае такое количество труда, какое вдвое превысило бы прямые затраты труда на производство черных металлов, нефти и нефтепродуктов и на добычу угля, взятые вместе!

Весь этот разговор — попытка еще раз проиллюстрировать тот факт, что пора экономической реформы принимает от предшествовавшей ей системы администрирования очень тяжелое наследство. Положения Двадцать третьего съезда партии об уравнении социально-экономических условий в городе и селе, о сближении сельского социального обеспечения с городским уровнем, о главенстве материального стимула в производстве, о лучшем использовании трудовых ресурсов в колхозах и развитии промыслов переоценить нельзя, положения эти более чем своевременны, осуществление этих принципов для северной деревни — вопрос жизни.

Тяжелые времена художественного равнодушия кружевной промысел, по слову Луначарского, пережил, не потеряв виртуозности, блестящей техники. Не хочется думать, что и наше время промыслом будет оценено, как равнодушное к красоте.

Платят у нас кружевницам баснословно мало, и кружева стоят очень дешево. Это при том, что в стоимости изделий 85 процентов занимает зарплата. Промысел поддерживает устойчивая и несколько консервативная во вкусах деревня — украинская, белорусская, грузинская. Программа 1965 года намечала выработать кружев на 1,4 миллиона рублей и на том понести 26 тысяч рублей плановых убытков. Это при двадцати трех рублях, заработанных плетеей-художницей в месяц! «Снежинке» очень трудно конкурировать с легкой промышленностью, с ее капронами-нейлонами, а ассортимент, утвержденный и санкционированный, держит промысел именно в колее конкуренции. На фабриках, затрачивая громадное количество труда редчайшей квалификации, плетут кофточки, которые, в сущности, имитируют нейлоновые. «Чтоб были нисколько не хуже!» А сопоставление-то унизительное для дивного художественного ремесла. Нейлоновые кофточки нужны, их надо выпускать сотнями тысяч, но решать эту проблему старанием немногих сбереженных кружевниц — все равно что с помощью живописцев выправлять прорыв в малярных работах.

Идет разговор о том, чтобы в кружевных цехах поставить машины. Их закупают за рубежом, кое-где «брякят» уже «плетая» с программным управлением. Думается, это для Вологды — акт капитуляции.

Думается, что рынок, в общем-то правый всегда, к кружеву сейчас несколько равнодушен по неведению. О вкусах спорить не надо, их надо воспитывать. Формировать их серьезной и тонкой рекламой. Академик Колеснев рассказывает:

— Я просто крякнул от досады, когда в Париже, в ресторане «Максим», увидел двух модниц: одну — с кружевом, другую — с оренбургским платком на плечах. Говорю своему приятелю: «Показать бы этих дам той московской молодке, что готова не есть, не пить ради заграничного дрянца, а бабкиным кружевом гребает...»

Не академики — дома моделей, журналы, ателье, крупные магазины, все те, кто направляет спрос, должны бы втолковать потребителям больших городов, как сказочно им повезло. Нигде в мире теперь так не сплетут «розовых брабантских манжет», как на русском Севере. Если даже кружева ручной работы значительно подорожают, они останутся дешевыми: это нетающий иней, это сказка о Снегурочке, это высокое искусство

русской крестьянки, а талант сберечь надо. Рублем, в частности, сберечь. Сейчас мы почти не продаем кружево за рубеж — что ж, себе будет больше. Жить в двух-трех часах езды или лета от Вологды и не мочь хоть раз в жизни купить подлинное ее изделие — с этим трудно бы было смириться.

Пока купить можно. Лишиться этой возможности — нельзя никак: «речка», «елочка», «жемчужка» вологодской плетен стали частицей национального.

### III

..Чем зажиточнее кустари, как промышленники, тем состоятельнее они, как земледельцы. Чем ниже они стоят по роли в производстве, тем ниже они, как земледельцы.

*В. И. Ленин.*

Помню состояние недоумения, с каким я впервые ехал в мещерский колхоз «Большевик». Накануне, сопоставив мало-мальски внимательно данные о поставках продуктов и об оплате труда, я пришел к выводу: такого колхоза в природе быть не может. Потому что за год уплачено людям намного, тысяч на сто, больше, чем могли дать денег все поля и фермы!

Положим, производят здесь по восемьдесят четыре центнера мяса на сотню гектаров, уровень для Мещеры невероятно высокий. Но неполная тысяча гектаров пашни кормит четыреста работников. Да какой пашни! Почвы скудные, естественное плодородие, судя по карте, ничтожно, агрономы в таких случаях говорят о «гидропонике»: растение питается тем, что положишь в землю. А как кормят! В шестьдесят четвертом году на человеко-день вышло по три рубля тридцать две копейки, а таких дней у среднего колхозника непонятным образом набралось триста восемь в году! Уплачено больше вырученного, а налоги, амортизация, накопления? Или печатные данные врут, или «в нашем болотистом, низменном крае» объявилось чудо.

А приехал — недоумение выросло. Умно распланированный поселок, опрятные, обшитые тесом коттеджи, фермы с необычно большими окнами, дом агротехнической культуры, клуб, интернат, даже такое, как конторский умывальник с фаянсовой раковинной и свежим полотенцем на сверкающем крючке, как чай для приходящих из бригад, крепкий и бесплатный, — все выдавало присутствие громадных денег. Такие «следы довольства и труда» воспринимаешь как должное, скажем, в узбекском колхозе «Политотдел» (благодаря сверхрентабельному кенафу) или в молдавской «Бируинце» (экономику держит виноград), но тут-то русский Север! Такие капиталовложения, несмотря на высокую оплату? Должно быть, у колхоза дикий долг. Или есть тут скрытый цех, делающий деньги.

С Акимом Васильевичем Горшковым доводилось встречаться и прежде. Это красивый человек с седой волнистой шевелюрой. Очки с толстенными стеклами придают ему сходство не то с букинистом, не то со старым часовщиком. Чуть прихрамывает — след гражданской. Дома одет так же, как в Москве: хорошо сшитый костюм, нейлоновая рубаха, галстук.

Принял приветливо, рассказал об урожае (люпин порадовал), о своей войне со строителями газопровода: тянут в колхоз нитку — и все тянут, окаянные, тянут, знаете ли, терпения уж нет. Речь чиста, литературна, но впечатление такое, будто знаменитый председатель боится в скороговорке обронить лишнее и потому умышленно часто повторяет «знаете ли» и «значит»... От этого частая будто бы речь неприметно превращается в медлительную, осторожную.

О Горшкове, одном из основателей колхозного движения, существует целая литература. Романтическое начало колхоза (семь бедняцких семей поселились на болоте и стали, живя в шалашах, осушать его), быстрый выход «из тьмы лесов, из топи блат» на всесоюзную арену, сама фигура интеллектуала-председателя, книголюба и сельского мудреца привлекли многих авторов. Есть содержательные вещи. Однако в подавляющем большинстве очерков Горшков изображается образцовым ортодок



сом, который исправно выполнял все рекомендации и задания, послушно подхватывал новшества (кукурузу, «елочку», а до того — лысенковский метод приготовления компостов) и потому за треть века привел хозяйство к процветанию. И никак не понять из писаного, почему расцвел из всей округи один «Большевик».

Потом мне довелось не раз бывать в Мещере. Писал в газетах и о «Большевике» и о соседях. Загадки прояснились, в речи хозяина стало поменьше дипломатичных «знаете-ли-значит». Аким Горшков несравненно богаче и интересней своих портретоз. Слово и дело его подчас разнятся, но разница эта — в пользу дела, не наоборот. Это хозяин по сути. Умный и рискованный капитан, он провел свое судно через такие рифы, на которых десятки других судов пропороли себе дно.

В тот же раз Аким Васильевич показал мне (поля были убраны, глядеть уж было не на что) новенькую агрохимическую лабораторию. Анализы почв, удобрений, кормов — основа грамотной работы для агронома, зоотехника. Единственная лаборатория района бесплатно обслуживает соседей. Вложения в землю большие, заправка гектара обходится минимум в полтораста рублей, работать наобум — разорение. Оборудование лаборатории обошлось в четырнадцать тысяч рублей. (Само собою считается: гектар дает здесь около тонны зерна, тонн пятнадцать картошки. Пусть картошка перекроет убыток от ржи — все равно чистый доход пустяковый. Лаборатория великолепна, стоит целую бригаду тракторов. Откуда деньги?)

Перебирались через канавы, вырытые газовщиками. Подведение к жилью, к фермам, — устройство первых теллиц обойдется в пятьдесят тысяч. (Да откуда же?)

Побывали на фермах. «Елочка», введенная под давлением, подорвала было надон, но от нее отказались, усилили вложения в прифермские участки и хорошим кормом восстановили молоко. (И для этого нужен зажиток. Откуда он?)

А потом — забавный эпизод. Прибежал запыхавшийся сторож пристанционного склада: подъехали на машине из колхоза «Вперед», бросили, разбойники, в кузов мешок древесного угля — и дёру. На ходу кричат, что им нечем лошадей ковать.

Аким Васильевич из конторки фермы позвонил соседу-председателю:

— Сосед! Да заложки, окаянный ты, яму, выжги угля, не посылай людей на грабеж! Как так — не умеют? А ты что — не мещерский? Присылай тех разбойников — научим. А то ведь и солью по штанам можно. тоже будет наука. — И уже мне: — Вот чудачки, лес продают за бесценок, а угля выжечь не хотят. И многие так. Целые урочища, знаете ли, свели, перерубают расчетную лесосеку, местами все красное уже выбрали. Речки забьют вершинником, сучья в кострах сожгут, пни сгноят на лесосеках. А на кругляке разве забогатеешь? Труд нужно продавать, а не дар природы, не удобрять край. Мы свой лес, знаете-ли-значит, держим в парковом состоянии, а отходы стараемся пускать в дело. Представьте, не без некоторой пользы. Старинный промысел, занятие людям.

Я пытался было расспросить подробно, но Аким Васильевич переменял тему. Он с массой подробностей обрисовал нищету и бесхозяйственность колхоза имени Дзержинского — его незадолго перед тем присоединили к «Большевику». Тощий одичавший скот, разбитый инвентарь, страшные долги, бестолковщина и воровство — тяжкое приданое получила знаменитая артель! Года за два удалось навести кой-какой порядок, но денег это потребовало уйму, другое хозяйство такое соединение наверняка бы разорило. И снова, в который уже раз, — деньги!

Правда, под вечер Аким Васильевич словно вспомнил об оборванном разговоре и попросил заместителя своего, Ивана Федосеевича, сводить меня «к станкам». Немногословный Иван Федосеевич, как оказалось, возглавляет в колхозе ту отрасль, что дает «некоторую пользу».

В неказистом дощатом сарае на краю поселка четверо дюжих парней управлялись у древошерстного станка: превращали осиновые поленья в остро пахнущие пенные стружки и тут же санным прессом тюковали их. Заступили парни в ночную смену, но работали охотно и весело. Спрос на стружку, удалось вытянуть из Ивана Федосеевича, устойчивый, берут ее стекольные, фаянсовые заводы, которым открывать свое такое производство не с руки. Дело, в общем-то, доходное, тонна стружки дает рублей сорок чистой прибыли, а станок свободно настружит тонн шестьсот в год. Они пускают второй

станок, цех будет давать в год тысяч сорок прибыли, пока ж это была разведка. Сырье? то ведь бросовое, даже на дрова не идет, не пропадать же ему было?

Двадцать четыре тысячи прибыли в год — разведка. А что ж в таком случае настоящее дело? Иван Федосеевич сказал, что пока выручали колхоз метелка и черенок. И древесный уголь, конечно. О рынках сбыта он сказал неопределенно — «отовсюду просят, главное — вагоны добыть».

Итак, один из участников денежного цеха открылся: стружка. А насколько серьезно остальное? Я добрался наконец до бухгалтерских документов, до годовых отчетов. В самом этом листании было что-то от ревизии, от недоверия стендам-брошюрам, но Иван Федосеевич мне уже не препятствовал, видимо, по опыту зная, что писать об этом все равно не станут.

Вот разъяснение мешчерской загадки — данные о весе промысла в экономике «Большевика»:

	1962 г.	1963 г.	1964 г.
Денежные доходы колхоза (тыс. руб.)	665,7	933,1	1022,1
В том числе от подсобных предприятий . . . . .	288,9	465,3	702,7
Связано метел (тыс. шт.) . . . . .	585	1099	1853
Выжжено древесного угля (т) . . . . .	1147	1066	1238
Изготовлено черенков (тыс. шт.) . . . . .	—	144	266
Затрачено человеко-дней в хозяйстве (тыс.) . . . . .	146,1	141,8	148,6
В том числе в подсобных предприятиях . . . . .	16,6	18,8	34,2
Выработано человеко-дней одним колхозником . . . . .	307	307	308

Значит, удельный вес промысла в доходах растет, до мартовского повышения цен на продукты он достиг семидесяти процентов, причем эти семьдесят процентов дались ценою только двадцати трех процентов рабочего времени! Это устойчивая, не зависящая от погоды часть поступлений, причем — немаловажная деталь — промысел дает занятость зимою полеводу, подтягивая его заработок до уровня животновода. Этим объясняется очень высокая, прямо-таки идеальная активность (308 рабочих дней в году) и достаток рабочей силы: в члены колхоза желают вступить сотни, принимают давно уж с большим разбором. Я позже сравнивал уровни хозяйствования в «Большевике» и в лучшем колхозе благодатного Ополья — суздальской артели имени Калинина, где почвы хороши, поля просторны, но промыслов нет никаких. В 1964 году норма рентабельности в «Большевике» составила 47,6 процента, в колхозе имени Калинина — 38,3 процента. Расширенное воспроизводство можно вести правильно, начиная с 45 процентов рентабельности. Мешчерский колхоз развивается здоровей и основательней опольского! Тут объяснение и громадных трат «Большевика» на культуру и быт, тут разгадка безболезненности всех нововведений.

Но разгадка принесла с собой новую кучу вопросов. Как организовано производство, дающее семьсот тысяч дохода? О фермах «Большевика» написана прорва, о промысле же не прочтешь. Каково взаимовлияние промысла и сельского производства вообще? Иначе говоря, насколько основательно обычное предостережение, что подсобные предприятия отвлекут артель от прямого ее дела, что «коммерция» и производство мяса-молока несовместны? Можно ли заниматься промыслом, не имея своего сырья? Можно ли в данных условиях отстающему колхозу подняться без промысла? Наконец, психологический поворот: как соединить «маяковую» роль Горшкова, героя и депутата, с его истинной манерой хозяйствования?

В самую горячую пору вязки метел, когда болота замерзли, а настоящих морозов еще не было, мы с партгорком «Большевика» Шамилом Давлетшиным отправились «изучать опыт» в деревню Головари. Шамиль посмеивался: березовый веник никакой политмассовой работы не требует. Нашли заказы — накинь по копейке на штуку, в считанные дни будет вагон метел. Товарно-денежные отношения правления и с колхозником и с покупателями...

Вяжут метлы в Головарях все.

Престарелые. Петр Андреевич и Екатерина Павловна Ершovy по старости и хворости надолго в лес не уходят, вяжут примерно по сотне метелок в день, зарабатывают округленно шесть рублей часов за восемь. (Колхоз платит за метелку шесть копеек, сбывает ее по двугривенному.) Рубят березовые прутья в чашобе на торфяных болотах, где настоящему лесу не быть. Оснастка простая: топорик острый и легкие козлы с сыромятным ремнем, на них-то и стягивают метлу. Когда прутья нарублены, вяжется быстро: на метелку уходит минута. Ершovy за зиму зарабатывают около полутысячи рублей, помогают замужним дочерям во Владимире и Новосибирске.

Люди с постоянной должностью. У конюха Алексея Васильевича Коробова большая семья: шесть дочек да сын, а жена хворает. Зарплата у отца — пятьдесят три рубля, и он ждет метелки, как благодетельницы. Управившись на конюшне, идет в чашобу. Мужчина старательный и ловкий, в день он вяжет до двухсот штук. Расчет у колхоза быстрый и точный. В предшествующем месяце Алексей Васильевич получил за метелку триста рублей.

Люди, сезонно работающие в колхозе. Вячеслав Коробов летом занят в Гусевском леспромхозе на подсочке, зимой же возвращается в Головари. Этот — работник горячий, в чашобе от темна до темна. Мать его, тетя Маша, старая доярка, защищая сына от обвинений в жадности, говорит, что «метелка — дело манкое», тут натура нужна. У Вячеслава, по ее словам, такая натура, чтоб и дом, и телевизор, и машина были. За месяц у него был самый высокий в Головарях заработок: четырехста восемьдесят рублей.

Технологию получения колхозом заказов до конца выяснить не удалось. У «Большевика» в основном постоянные потребители метлы — железные дороги, горкомхозы степных городов, крупные заводы. Древесный уголь закупает, например, Кировский завод Ленинграда. Впрочем, Иван Федосеевич только унаследовал старые связи, налаженные давным-давно Акимом Горшковым.

— Вязать метлы, строгать черенки мы еще в шалашах начали, в двадцать восьмом году, — рассказывал позже Аким Васильевич. — Зимой руки просили работы, да и на тягло нужны были деньги. Что одним полем не прокормиться, то ясно было за сто лет до нас. Недаром же во Владимирской губернии промыслом занимались пятьдесят тысяч крестьян!

Ассортимент диктовался условиями: залесенность, исконную беду этих мест, молодой колхоз превращает в источник дифференциальной ренты, в благо. Но вот штука: деловитый хозяин «Большевика» вскоре решил продавать государству очень редкий тогда товар — электроэнергию! Да, разом — и метлу и электричество. В тридцать третьем году Горшков привез из Москвы списанный двигатель «Бромлей», некогда освещавший почтакт. А так как мощность его была для тогдашнего колхоза великовата, стали по соглашению поставлять энергию железнодорожной станции Нечаевская. Так что лес лесом, а колхоз как бы заявлял делами о своем равноправии с любым другим предприятием. Ему навязан был неэквивалентный обмен, за зерно и мясо платили копейки, он же из сферы товарно-денежных отношений уходить не хотел, да и не мог, потому что нуждался в капитале для увеличения производства того же зерна и мяса. Накопления, накопления! К концу тридцать седьмого года в артели уже пять автомашин, два трактора, механические мастерские, звуковая киноустановка...

В это-то время (октябрь 1938 года) подсобная деятельность колхозов впервые объявляется незаконной, промысел ставится под прокурорский надзор. Постановление Совнаркома «О незаконной организации при колхозах промышленных предприятий, не связанных с сельскохозяйственным производством» связывают с именем Вышинского: он обнаружил колхоз, добывавший уголь в старой шахте, и доложил об этом Сталину. В постановлении том говорилось, что некоторые колхозы открыли «промышленные предприятия: колхозные шахты по промышленной добыче угля, краскотерочное производство, электромонтажные мастерские и т. п. Убытки, которые терпят колхозы от организации ими промышленных предприятий, превышают иногда годовой доход колхоза от сельского хозяйства. Правления колхозов покрывают эти убытки за счет доходов, причитающихся колхозникам на трудодни». Мотивировка, конечно, наивная, потому что нельзя и представить себе хозяина, который бы добровольно затевал убыточное для артели предприятие. Но практика была объявлена противогосударственной, и прокуро-

ру СССР было поручено расследовать факты, привлечь виновных к ответственности. А вскоре утверждена инструкция Наркомзема и Наркомфина о передаче государственным органам тех колхозных предприятий, что «не связаны с сельским хозяйством, продукция которых идет в продажу на сторону».

Юридическая судьба колхозных промыслов сложна и непостоянна. Запретительные постановления методически повторялись, но нехватка товарной массы, недостаток средств для развития пищевой, строительной промышленности вынуждали делать послабления: в 1949 году разрешено было колхозам строить свои маслодельные и сыроваренные заводы, в 1953 — делать кирпич, черепицу, в 1955 — изготавливать саман, камышитовые плиты. В 1960 году вышло постановление «О мерах по увеличению производства и улучшению качества пищевых продуктов из картофеля, кукурузы, овощей, фруктов и винограда и по расширению торговли этими продуктами». Любопытное многословное установление рекомендовало колхозам развивать производство крахмала, овощных и плодовых консервов, продуктов из дикорастущих плодов и ягод (абрикосов, яблок, груш, ежевики, черники, кизила и др.), сухих фруктов, квашеных, соленых, моченых и маринованных овощей, грибов, фруктов, арбузов, а также виноградных вин, для чего построить перерабатывающие пункты и небольшие винодельческие и консервные заводы с холодильниками и хранилищами для винограда, фруктов и овощей. Само упоминание ежевики или черники, бута или самана подчеркивало ограниченность разрешенных видов промысла. Во Владимирской области шли судебные процессы по делам колхозных подсобных предприятий.

А Горшков будто не может понять, что промысел «незаконен!» В сорок седьмом году он покупает на химзаводе отходы и начинает тереть белпла. Среди потребителей — областные организации. Область же и учиняет «дело». Горшков уже знаменит, ограничили строгим выговором и ликвидацией краскотерочного цеха.

Колхоз богатеет, Аким Васильевич уже Герой Социалистического Труда, он избран в Верховный Совет СССР, участвует в съездах партии. «Большевик» ставят в пример. Но пропагандируются результаты, а не методы их достижения! Поднимаются на шит наdoi и привесы, а не источники накоплений, позволившие создать породистое стадо! Именно потому, что «Большевик» — гордость области и ведет за собой других, на подсобные предприятия «Большевика» смотрят сквозь пальцы. Это дает основание затем потребовать у Горшкова внедрения «елочки», лысенковских компостов и т. п. Аким: Васильевичу понятна, разумеется, двусмысленность положения. Защищая возможность хозяйствовать разумно, давать все больше реального молока-мяса, он словно откупается пропагандой кукурузы и прочих ирреальных новшеств. Промысел свой он умышленно держит на примитивном ассортименте: цехов, в сущности, нет никаких. Но год за годом твердит с трибун: нельзя сводить мещерский лес, продавать можно только изделия. Слышащий да разумеет! И на каждую административную меру он находит свою контрмеру.

Очередной «пересмотр структуры» в 1958 году вызвал удивительный по дерзости и широте мышления шаг: Горшков посылает на целину своих людей, те пашут и засевают пшеницей тысячу гектаров ковыля, отдают совхозу, хозяину земли, средний его урожай с гектара, а остаток — домой. И «Большевик» года два беды с зерном не знал! А почему, собственно, нет? Выгодно колхозу, колхознику и государству. Как и все, что делается в «Большевике».

Как-то зимним вечером Аким Васильевич рассказал «историю о рукаве». Видно, в семье этот случай повторяется не часто, потому и сын, агроном, слушал, и сноха, миловидная Тамара Васильевна, и внучек, черноглазый девятилетний мальчик, перестал дремать, подперся кулачком и тоже слушал удивленно.

— В тридцать седьмом году аресты начались с обкома, а потом и до Гусь-Хрустального дошло. Слышим: арестован первый секретарь райкома. Я был членом бюро. Вызывают на заседание — заочно исключить секретаря как врага народа. Я сказал, что думал: про обком не знаю, но что наш секретарь — враг, никогда не поверю. Начальник НКВД оборвал, намекнул, что за такие слова отвечу. Возвращаюсь домой, объясняю Прасковье Георгиевне, она в слезы: себя погубил, а я куда с малыши? И что вы думаете — той же ночью приезжают: «Руки вверх, вражина!» Знакомые все милиционеры. Ну,

рук-то я не поднял, нет. Дом перевернули вверх дном, повели в машину, а Паня вслед бежит, пальто мне на плечи накинула.

Обвиняли меня, в основном, в том, что платил колхозникам много и тем пытался вызвать недовольство в других деревнях. Допросы, рукоприкладство, конечно, но держусь. Без меня тут колхоз послал коллективный протест в Москву, секретарь райкома приехал уговаривать — и сбежал, чтоб самого не замешали в «бунте». А я услышал, что из Ивановской тюрьмы переведут в Гусь, и вспомнил: там охрана знакомая, надо письмо передать. Написал на спинке рубахи и про обвинение, и про допросы, зашил в рукав пальто. А когда в Гусь доставили, прошу охранника: «Будь человеком, передай пальто жене, мне-то уж не понадобится». Передал. Паня моя видит нас на прогулке. Чувствую — не нашла письма. «Как дела, Аким?» — кричит. А я ей: «В рукаве дела! В рукаве!» Насилу поняла она, распоролла пальто. Мать моя взяла тот лоскут — и в Москву, в прокуратуру. Что вы думаете — разобрались, сняли обвинение...

И в этом случае проявилась натура Горшкова.

Не вина знаменитого председателя, что эталон хозяйства, созданный им для Мещеры, не был повторен в соседних артелях, что колхозы низменности в тяжком положении. К осени 1965 года пятнадцать хозяйств Гусь-Хрустального района «сидели» на картотеке № 2: поступлениями на их счета банк расплачивался с кредиторами. Урожай зерновых — по пословице: «сам придет, товарища приведет», то есть сам-два. Взрослый трудоспособный колхозник района работает в артели в среднем лишь 113 дней в году. Особенно сложно в так называемой «Курляндии» — бывшем Курловском районе. Этот угол Мещеры известен всей России «красилями» (изготовлявшими по трафарету дешевые «ковры») и отходникам-плотниками (они же «шибаи», «шабашники», «журавли» — и каких еще только прозвищ не придумано!).

В деревнях, где развился отхожий промысел, бюджеты крестьянских семей практически перестали зависеть от колхозной экономики. Избыток рабочих рук, как ни странно, подрывал и полеводство, и животноводство. Борьба с отходом велась в моральном, так сказать, аспекте. «Красиля» и «шабашника» старались то заклеить, то уговорить, не давая себе труда оценить явление экономически. Образчик такой пропаганды приводит Виктор Полторацкий в своем очерке «Красилы». Сам автор всецело на стороне «клеящихся», но это лишь придает примеру убедительности.

Районная газета Гусь-Хрустального напечатала открытое письмо журналиста Емельяненко молодому «красилю» из деревни Овинцы Виктору Макарову. «Виктор, ты можешь идти широкой светлой дорогой и приносить пользу людям, — писал газетчик. — У тебя золотые руки плотника, а они очень нужны колхозу. Одумайся и согласись, что богат не тот, кто берет, а тот, кто дает. Вот и ты отдай колхозу свой труд, свой молодой задор и энергию. И поверь, что ты станешь счастлив и богат душой».

В. Полторацкий помещает (сохраняя ошибки плотника) ответ на эту проповедь:

«Дорогая редакция! Ну, а вернее т. Емельяненко. Я вернее Виктор Макаров отвечаю на вашу статью, озаглавленную под названием «Трясина» за 24 ноября 1962 года. Да, действительно, это позорный промысел — краска. И я пока что порвал с нею. Но как ни горько, пожалуй опять придется взяться за него или за что-то. Ведь в колхозе ни гроша не получаем, спрашиваем, как же быть, что делать? Вы скажете, что нужно работать. Но ведь если работаем, то нужно что-то за это иметь, вернее получать. А мы за что обиваем руки? Возможно было бы что и получить, но... Вот ведь часто встает это слово «но» и в нем очень трудно разобраться. Мы простые колхозники иногда понимаем и чувствуем душой, что неправильно делается то или другое дело, но сделать ничего не можем, а почему я скажу: начальство, вернее председатель. Ведь его колхозники не выбирали, а поставил р-он. У него получается так, раз в районе знакомство, и — должность есть».

Вы знаете, т. Емельяненко, ведь у нас в колхозе всего 400 га земли на 800 человек рабочей силы. Это смех, если сравнить с целинными землями. И я хочу поехать в Оренбургскую область. Сейчас, как вы знаете у нас почти все уехали на калым, а вернее на заработок, я же остался дома. А ведь у меня семья двое детей с 4 до 2 лет и жена Антонина. А золотое яблоко с неба не упадет и жить чем-то надо... Извините что на-

писал где не так и не складно. С четырьмя классами много в литературе и письме не достигнуто. Досвидание — В. Макаров».

Написано как раз и складно, и умно, и глубоко. Больше ничего к характеристике красивого промысла не добавишь. Думается, что в диспуте писателя и журналиста с мещерским плотником победил безусловно последний.

А с плотничьим промыслом мне довелось знакомиться в колхозе «Искра». Удивительно красивы, полны жизни его деревни — Купреево, и Филатов, и Якимец. Дома свежие, крестовые, иные расписаны так, что стоят в снегу предивными павлинами. Многолюдно, многодетно на улицах: только что прошел зимний Никола, плотничьи бригады слетелись из дальних краев, где свадьбы гуляют, где обмывают обновы — мотоциклы, телевизоры.

Председатель колхоза Григорий Трофимович Романченко — пожалуй, единственный здесь мужчина, не уходящий в отход, — помог войти в курс дела. Пятьсот гектаров пашни в артели («я четыре года здесь — то засохнет, то замокнет, нынче зерновые так и не убирали»), сто тридцать коров, трудоспособных — семьсот человек, а зимою занято человек тридцать. На работу — по очереди, на трудовень в шестьдесят пятом году дали по рублю, колхоз — на картотеке № 2. Механизаторы — и те в отход тянутся.

Купреевские мужики освоили плотничье дело (рубят типовые фермы и колхозные клубы) всего года три назад, до того занимались лесоповалом. Впрочем, особенность здешних бригад в том, что они и лес сами заготавливают: вот делянка, лес «кверху макушкой», а вот площадка, на ней через два месяца должна стоять ферма. Четыреста плотников формируются в двадцать — двадцать пять бригад, работают больше по северу: в Вологодской, в малолюдной Архангельской областях, в Коми. В году — три сезона, одним днем все уезжают, разом и возвращаются. Сезоны «нарезаны» с учетом сенокоса и работ на приусадебных участках, объем же колхозных работ так невелик, что с ними в неделю справляются. Первый выезд после сева, с 25 мая по 10 июля, второй — после сенокоса и уборки, с 25 сентября по 19 декабря, третий — с 1 февраля по 15 апреля. Бывает, что и «пролетают», подряда не снимут, но это крайне редко. Работают только аккордно и непременно хорошо, добросовестно — худая слава очень опасна, подряда потом не добудешь. Как правило, плотник за один сезон привозит чистыми тысячу рублей, в год — три тысячи или чуть меньше. Сосед председателя Николай Федорович Зобанов стал брать с собой подростка сына, и на этого Николу они отдали матери две тысячи двести рублей. Грушин Петр Ермолаевич с сыном же за два с половиной месяца выработал 2500. Николай Николаевич Романов (его председатель уговаривает идти к себе заместителем, да гот упрямится — зарплата слаба) стал брать в поездки жену, их заработок за сезон — две тысячи.

Мне приходилось видеть мещерцев в работе — они рубили дворы под Белозерском на Вологодчине. За последний десяток лет довелось наблюдать за «шабашниками» из Чувашии, Западной Украины, Армении в Омской области и на Алтае, и на стройке дороги Абакан—Тайшет, и в Заволжье. «Длинный рубль» таких бригад — чушь, злая выдумка, тягучая клевета. Получают они на руки сметную стоимость, не больше. Банк контролирует строго, и колхоз, стройуправление, совхоз не могут уплатить «шабашнику» больше, чем положено по смете. Секрет же высоких заработков — в очень длинном рабочем дне («со светом работаем»), в блестящей организованности, отменной дисциплине и обученности каждого члена бригады. Прогулы, опоздания, пьянка исключены совершенно, мера наказания одна — того, кто работает хуже других, в следующий раз не примут в бригаду. И в иную не примут тоже. Простоев из-за материала почти не бывает: подряд обычно берут, когда у заказчика уже есть все нужное, или сами материал добывают, или параллельно ведут два объекта. Плотники хорошо читают чертежи, функции прораба обыкновенно на бригадире, самом опытном и бывалом. Материал расходуют бережно, не воруют и часто получают за сэкономленное. Смета рассчитана на скверную организацию, медленную работу, «шабашники» же работают быстро и ладно — тут весь корень. В ответ на речь о «длинном рубле» мещерский плотник обычно показывает ладонь — сплошную мозоль. В поездке живут трудно, «вкальвают» на износ, тем и вызваны значительные отпуска после сезона.

В «Искре» районный «Межколхозстрой» уже два года воздвигает типовой скотный двор, председатель убежден, что объект не сдадут и в шестьдесят шестом году.

— А нельзя ли бригаду своих плотников оставить?

— Оставлять — так всех. А то ведь война пойдет: сосед заработает, а я тут на трудодне кукуй. Всех же мне не занять.

— А почему бы колхозу не брать строительные подряды?

— Как это? Мы что ж — строительная контора? Зачем нам?

— Чтоб жить коллективно.

— На это райком не пойдет. Есть же «Межколхозстрой», тресты есть. Что еще, стройколхозы делать?

Не дотолковались мы с Романченко. Председатель уже примирился со странной своей судьбой, поднял флаг «погибаю, но не сдаюсь». Гарантированная оплата на совхозном уровне «Искре» ничего не даст, так как заработок плотника (честно добытый, подчеркнем) в несколько раз превосходит среднюю оплату совхозного рабочего. Горькое следствие догматизма: промысел перестал быть помощником колхозу.

«Большевик» — один край, «Искра» — другой. А что меж ними? Даже в буквальном, географическом смысле между ними лежат два хозяйства: колхоз имени XVI годовщины Октября и сельхозартель «Советская Армия». В этих-то деревнях промысел в движении, все выгоды и трудности, препятствия, сложности на виду.

Степан Петрович Гинин, председатель «Шестнадцатой годовщины», живой чернявый человек, несколько лет назад едва ушел от суда за подсобное предприятие: ездил просить защиты у депутата Горшкова, торопливо разорил все устройство, подтвердил бескорыстие свое, тем и спасся. Образование он получал в Институте народного хозяйства имени Плеханова, умения поставить дело ему не занимать, исподволь сделал расчеты, прощупал пути реализации, прикинул ассортимент — и ждал. Выдавал справки ста пятидесяти своим отходникам, перебивался с хлеба на квас, должен дояркам в удивительной уверенности, что долго так не прогнется. И уже осенью шестьдесят четвертого разослал по инструментальным заводам давно сохнувшие образцы — ручки к молоткам, напильникам, держакм всякие. Заказы посыпались телеграммами, он хранит чью-то директорскую резолюцию: «Образцы замечательные, обязательно заключите договор. Доложить». Столярная, оборудованная в старом коровнике, позволила занять с ноября до сенокоса девяносто мужиков, дала 54 тысячи рублей дохода. Гинин расплатился с долгами, поднял оплату на фермах, в полеводстве. Первый же денежный дождик словно смыл с хозяйства плесень бедности, а тут еще — мартовские цены. В шестьдесят пятом «Шестнадцатая годовщина» взяла по 207 центнеров картошки в целом по колхозу! Такого и «Большевик» не достигал. Намеки насчет губительности «коммерции» для урожая Гинину уже не были страшны; он задумал устройство культурного молочного хозяйства с долголетними пастбищами, с чистопородным стадом, а для этого нужны сотни тысяч!

Минувшей зимой ушли в «шабашники» только двое из полутора ста древоделей. Но узнав, что на ручке, киянке, держаке дома зарабатывают по 150—180 рублей в месяц, спешно вернулись. Вся трудность в том, что своего леса у «Шестнадцатой годовщины» нет, приходится покупать. Промысел в таких условиях может дать нужную рентабельность только при чрезвычайно основательном экономическом расчете и прогнозировании. Тут «Большевик» не скопируешь: нужно «вбить» в изделие максимальное количество труда. Гинин рассчитывает, что кубометр леса, пущенный на держакк к лопатам, дает 54 рубля дохода, на ручки к молоткам и напильникам — от 124 до полутора ста, а стоит взяться за точеные ольховые пуговицы, или красивые пряжки, или босножки-сабо («Росгалантерея» гарантирует сбыт) — можно получить все триста. В первый год колхоз купил для переработки три тысячи кубов леса, теперь намерен сокращать траты на сырье и растить валовую стоимость изделий.

У Степана Петровича понимаешь, что организация промысла — одна из сельскохозяйственных наук, не менее сложная, чем агрономия, селекция, зоотехния. Информация о спросе и предложении, определение выгоднейшего в данных условиях ассортимента, техническое обслуживание простейших мастерских, увязка подсобных колхозных и совхозных предприятий с работой промышленности — все это исключает кустарный подход,

требует четкой специализации и кооперации, требует грамотных, свободно мыслящих людей. И задолго до того, как о промысле заговорили вслух, Степан Гинин послал в облисполком проект о создании «колхозно-совхозного совета производственных предприятий».

Колхоз Гинина — это переходная, так сказать, ступень от рядового мешерского хозяйства к «Большевику». Сам переход происходит в значительнейшей степени благодаря деловитости, смелости, коммерческой струнке председателя.

А сельхозартель «Советская Армия». — рядовую, то есть крайне слабую экономически, — недавно взяла на свои плечи маленькая, хрупкая женщина, работница райплана Александра Ильинична Копейкина. Пятьдесят тысяч на картотеке № 2, даже дояркам не плачено по два года, все прохудилось, поля не кормлены лет двадцать, почерневшая избенка конторы от ветра качается — хозяйство пугало и матерых «районщиков».

Ильинична пришла с желанием вложить в дело всю душу, костями лечь, а колхоз поднять. Вместе с ним она принесла весь комплекс воспитанных районной средой пред-рассудков: что залог успеха в правильно доведенном задании, в разъяснительной работе и т. д. Она знала, что Гинин поднимается на промысле, даже леса своего не имея. Но сама она, имея лес, к подобным занятиям относилась с брезгливостью: все же «барышничество», негоже посланцу райкома братья за опасные дела. Ильинична умела разбросать задание по хозяйствам, подготовить вопрос на бюро, бывала уполномоченным, постигла и квадратно-гнездовой сев, но сделать из копейки две не умела. И это неумение считала как бы признаком «политической зрелости». Эта черта отмечает многих «районщиков». Людям десятилетия внушали, что обмен колхоза с государством и не может быть эквивалентным, что прибыль, выручка — категории для спекулянтов, а честный хозяйственник знает один план. Избавление от предприимчивости служило психологической опорой неэквивалентного обмена.

Аким Васильевич Горшков согласился помочь Ильиничне советами по ассортименту и сбыту, обещал своих людей подослать в «Советскую Армию», мне же подсказал ход: незло покритиковать Копейкину в газете за то, что в отход мужиков отпускает, а промысла не заводит, хоть вся в долгах. Газетное слово будет вроде бы «указанием», подтолкнет к действию.

Статью напечатали. Александра Ильинична не обиделась, стала, как говорится, принимать меры — и пошли тут мытарства, начались хождения по мукам, о каких мы и не подозревали.

Аким Васильевич сказал, что надо прежде всего уговорить отходников остаться на зиму, обещая твердый заработок. Затем строить мастерскую, пускать пилораму и делать снеговые лопаты, тарную дощечку, штакетник — о сбыте тревожиться нечего.

Отходники поверили, остались. Но в районе не нашлось проволоки такого-то сечения, чтоб подвести энергию. Ильинична прислала мне письмо с просьбой проволоку ту добыть. Способности газеты были явно переоценены. Потом обнаружилось, что в «Сельхозтехнике» никто не умеет отладить пилораму. Потом плотники стали денег просить: оставила дома, так помогай.

В отклик на газетную статью москвич, старый большевик С. И. Лоскутов прислал в колхоз образцы изделий из бересты: кузовки, корзиночки, очень красивые, пахнущие лесом, летним днем. Обещал научить делать сувениры, звал к себе.

Ильинична отрядила в Москву Михаила Васильевича Куделькина, плотника, бывшего бригадира и вообще человека надежного. Постигнув берестяную науку, Михаил Васильевич стал искать каналы сбыта. Мы вместе, забрав образцы, отправились в ГУМ.

В сувенирном ряду, куда мы поначалу наведались, наш товар очень понравился. Не то что покупатели — сами продавщицы, модные девушки, тянули к себе кузовки! За штуку предлагали полтора рубля. (Мы перемигнулись: нас тревожило, дадут ли тридцать копеек, без этого прибыли не видать.) Но образцы были нужны для заключения договора.

После долгих хождений по кабинетам (сувенирный отдел отсылал в хозяйственный, тот выпытывал, а есть ли у нас утвержденные цены, а можем ли мы делать обечайки для сит) мы направились к коммерческому директору ГУМа А. П. Блинову. Положил на стол ему свою бересту и объяснили, что колхоз готов поставлять ее.



Блинов повертел кузовок в руках:

— А зачем это?<sup>1</sup>

Куделькин объяснил: даме рукоделие держать, девочке за ягодой ходить (не тревожьтесь, он не протекает!), просто — память о лесе. Чисто и духовито.

— Вид у него не товарный. Видите — некругло. И шершаво...

Заметно было, что Блинов тоскливо искал мотива, чтоб отказать нам, а мотив как назло не находился. И вдруг осенило:

— Да, а вы подумали, какой пример подаете молодежи? Ведь дерево без коры не может. А после вас все стилиги начнут что-то делать из бересты — и Подмоскovie останутся без березы!

Куделькин принял это за шутку. Но коммерческий директор не шутил, мотив ему поправился, он с подъемом заговорил об охране природы, о варварстве, о русском лесе.

— А почему ж вы лыжи не боитесь продавать?

Этот вопрос Куделькина испортил все дело. Ушли мы ни с чем. Михаил Васильевич и на вокзале все мотал головой: «Ну и ну...»

Зима не принесла «Советской Армии» ни рубля. Обнаружилось, что за промысел, пусть он и кустарный, кустарно браться нельзя.

Не вина — беда Копейкиной, что не воспитана в ней деловая струнка Гинина, что нет у нее за плечами громадного авторитета и опыта Горшкова. Но без помощника-промысла ни ее колхозу, ни пятнадцати другим артелям Гусь-Хрустального не обойтись никак! Теперь уж дело не в желании — оно появилось, не в костности сознания — она исчезла. Дело за живым, творческим органом («советом» он будет называться или как иначе), о котором писал Степан Петрович. За тем органом, который и деньгами на первое время помог бы, и инженера прислал, и обеспечил сбыт, и проволоку изыскал бы — конечно, за известный процент от прибыли. Какую тьму забот могла бы снять с плеч председательницы и десятков ее коллег малая группа образованных, разворотливых специалистов!

Разрушалась система «второй тяги» долго, но так до конца и не была разрушена. Восстанавливать же ее — да по-новому, современно! — нужно как можно быстрее. Ведь доярки ждут, заработанное в позапрошлом году спрашивают.

#### IV

Развивать в колхозах и совхозах, а также в межколхозных организациях подсобные предприятия и промыслы по переработке сельскохозяйственных продуктов, производству строительных материалов, тары, товаров народного потребления, главным образом из местного сырья и отходов промышленности. Предусмотреть там, где это целесообразно, создание в сельской местности сезонных филиалов соответствующих промышленных предприятий. Выделять из государственных ресурсов технологическое оборудование и механизмы, а при необходимости — сырье, упаковочные материалы и тару для колхозных, совхозных и межколхозных подсобных предприятий и промыслов.

*Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану.*

Эксперимент с запрещением промыслов (благая цель — сосредоточить силы колхозов только на «основной деятельности» и тем решить наконец проблему производства продуктов питания) не удался. И не мог удалиться даже теоретически. Потому что человеческую энергию нельзя накапливать и хранить. Можно сберечь до весны трактор, мешок селитры, семена. Нельзя использовать летом прожитый зимой день. Всякий неиспользованный рабочий час потерян безвозвратно. Это чисто экономическая потеря для общества. Потери для самого сельского хозяйства мы пытались показать на мешерском примере. Для общества в целом губительность бюрократического эксперимента проявля-

лась в трех главных направлениях: в ухудшении занятости рабочей силы, в снижении поступающей в оборот массы товаров, в углублении разрыва между уровнем жизни разных категорий работников.

Сельское население страны составляет 107,5 миллиона человек, из работающих в общественном секторе села 70 процентов — колхозники. Так что уровень занятости члена сельхозартели чрезвычайно важная экономическая категория. В среднем по стране трудоспособный колхозник занят в общественном хозяйстве 197—199 дней в году; это составляет лишь 73—74 процента годового фонда рабочего времени, так как за норму принимаются обычно 270 дней. Напомним, что «недотянутые» до нормы человеко-дни колхозников в сумме вдвое превышают прямые затраты труда на черную металлургию, добычу угля, нефти и на производство нефтепродуктов, взятые вместе. Хуже всего используются сельские ресурсы труда в колхозах юго-запада Украины, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского и Волго-Вятского районов России, в Белоруссии, Молдавии, Азербайджане. Если в 1963 году в РСФСР средний трудоспособный колхозник отработал 241 человеко-день, а колхозница — 182 дня, то в Армении эти показатели соответственно — 207 и 138, в Молдавии — 189 и 124, в Азербайджане — 187 и 121. Это превращается в правило: чем гуще население в районе, чем лучше его возрастной состав, тем хуже занятость.

Главная причина — в сезонности затрат труда. В июле 1964 года по Союзу работало 24 381 тысяча колхозников, ими выработано 498 миллионов человеко-дней. В декабре данные соответственно: 14 934 тысячи человек, 278 миллионов человеко-дней. В среднем за минувшее пятилетие зимние затраты колхозного труда были без малого вполвину меньше летних, 9,5 миллиона колхозников зимой оставались без работы. Не могли в меру сил трудиться и пенсионеры, а их четырнадцать миллионов.

Широко распространено представление, что в колхозах не хватает рабочих рук. Местами и временами — верно, не хватает, но в большинстве артелей (данные статистики это неопровержимо доказывают) есть значительные резервы труда. И если одни колхозы страдают от недостатка работников, то в еще большей степени отягчает другие хозяйства избыток людей. Проблема в том, чтобы «первая производительная сила всего человечества», как называл Ленин рабочего, трудящегося, использовалась разумно..

Человек, не обеспеченный в селе работой большую часть года, уходил в город, промышленность охотно принимала его, тем и регулировалась занятость. Процесс этот в какой-то степени еще длится: из областей отстающего сельского хозяйства молодежи еще уходит. Из сел Псковской области в четырнадцать ее городов за 1960—1963 годы ушли 26,5 тысячи человек. Удивительно точное совпадение: в этих четырнадцати городах теперь 26,8 тысячи человек нетрудоустроенного населения. По расчетам экономистов, «поглощающие» возможности промышленности на ближайшие 10—15 лет очень ограничены. Поточное автоматическое производство понизило среднегодовой темп прироста числа рабочих вдвое по сравнению с предвоенным временем. Никак нельзя забывать и про «демографическое эхо войны»: с 1963 года начался и все нарастает приток рабочей молодежи послевоенных лет рождения, каждому из этих миллионов нужно рабочее место, жилье, место в кинотеатре.

Претворение в жизнь экономической реформы обязательно приведет к высвобождению части рабочих. Московский автокомбинат, где испытывалась новая система планирования и стимулирования, сразу же сократил число работников на семь процентов. Так поступают и на других предприятиях. Словом, город все больше способен сам покрывать свою потребность в рабочей силе. Это, понятно, не относится к быстро развивающимся восточным районам.

В самом уходе «на города» нет ничего ненормального, тем более — рокового (многие авторы «деревенщики» освещают вопрос именно так). Процесс это естественный, всемирный, сокращение доли сельских работников характерно для всех стран, интенсивно ведущих добычу хлеба насущного. У нас по проценту занятых людей сельское производство до сих пор на первом месте среди отраслей народного хозяйства. В ГДР же в сельском хозяйстве занято семнадцать работников из ста, в Швеции — всего 8,7 процента. Вся задача в том, чтобы рост производительности труда в деревне нейтрализовал

отток рабочей силы, чтобы село, сохраняя рабочую силу на уровне «пика» потребностей, обеспечивало вместе с тем достаточную занятость на протяжении всего года. Если же сезонность искусственно обостряется запрещением подсобных занятий, если применение труда в селе искусственно ограничивается административными мерами, то тем самым искусственно же вызывается отток рабочих рук из деревни в город.

Мы говорили, что зимою колхозные затраты труда почти вполнину меньше летних. Возможности же поглощать труд промыслом были сведены почти на нет: в пятилетие 1960—1964 годов удельный вес человеко-дней, отработанных на подсобных предприятиях, составил только 1,9 процента от общего числа. Между тем и эти мизерные трудовые затраты позволили колхозам произвести в 1964 году товаров на 703 миллиона рублей. Это очень много для условий, когда хозяйства были ограждены от рынка, когда всякое проявление деловой инициативы подавлялось. Это мизерно, огорчительно мало в сравнении с тем, что промысел давал до запрещения, не говоря уж — что способен дать промышленности, торговле, свободному рынку.

Достаточно сказать, что с шестидесятого по шестьдесят четвертый год добыча торфа в колхозах, совхозах и межколхозных организациях сократилась на 43 процента, заготовка бутового камня — на 65, производство пиломатериалов — на 40, изготовление черепицы — на 34 процента, сушка овощей прекращена вовсе, выпуск фруктовых консервов упал на 85 процентов, виноградного вина стало производиться меньше на треть. Практически прекращено в селе производство плетеной мебели и корзин, пуховых платков и ковров, даже веников. Колхозы были фактически лишены возможности перерабатывать продукты, даже не терпящие перевозки и хранения: от собранных овощей артелями перерабатывалось 2—3 процента, фруктов и ягод — 9 процентов, картофеля — 0,1 процента. Общеизвестно, что государственная промышленность, получившая монополию на переработку, с делом не справлялась, год за годом гибло много добра. В 1963 году, согласно годовым отчетам, колхозы скормили скоту 36,4 тысячи тонн плодов и ягод, потеряв на том 120 миллионов рублей. Это в стране, которая импортирует фрукты! Кроме того, скоту же скармливалось ежегодно около 1,2 миллиона тонн овощей, то есть 22 процента от сдаваемого государству. Таким образом, сфера потребления недополучила громадную массу ценностей.

Вообще концентрация переработки сельскохозяйственного сырья в крупных предприятиях, в городах — дело противозачинное. Перевозка скоропортящегося сырья на большие расстояния заведомо снижает качество, убавляет его количество. Чем больше завод, тем дальше от полей и ферм уходят отходы, тем сильнее нарушается закономерный обмен веществ между человеком и природой. Не случайно развитые сельскохозяйственные страны давно держат курс на рассредоточение консервной промышленности, считая идеальной организацию, при которой плод, ягода, белый гриб, гроздь, овощ поступают в переработку через час-два после того, как сорваны.

По традиции, унаследованной от дореволюционной России, сферу действия промысла мы ограничиваем производством с наименее квалифицированным трудом. (Художественного ремесла мы тут не касаемся: коклюшки, резец, штихель — это чрезвычайно сложно, хоть и «первобытно».) А данные мировой экономики утверждают, что крестьянский надомный промысел отлично ладит и со сложнейшей индустрией века — электроникой. Академик С. Г. Колеснев рассказывает:

— Знакомый японский экономист шлет свои работы, он исследует применение труда крестьян-надомников на изготовлении транзисторных приемников «Сони» и «Парасони». Они считаются лучшими в мире, постоянная модернизация... Крестьянин, конечно, делает только отдельные детали, развозчик собирает, монтаж — на конвейере. Фирме это выгодно тем, что мужику рабочего места не нужно. А крестьянская семья, не отрываясь от рисового поля, имеет верный приработок.

Я в ответ смог рассказать ученому, что во Мстёре даже вышивать совхозные работницы не могут: или иди в штат вышивальной фабрики, или сиди зиму без работы. Известно: легкая промышленность Владимирщины выросла из промысла. Ткацкие фабрики, стекольные заводы на время горячих сельских работ часто закрывались: предприниматели вынуждены были учитывать особенности быта. В сущности, и теперь, по-

сылая летом десятки тысяч рабочих на помощь колхозам, областные организации повторяют тот же маневр. Но — односторонне, потому что крестьянину зимнего выхода в промышленность нет. А колхозник Владимирской области занят только 204 дня в году, ежегодный «простой» в артелях превышает три миллиона человеко-дней! Одними метлами, снеговыми лопатами и берестой такой громады труда не поглотить.

Сегодня некавалифицированность крестьянина, его непричастность, скажем, к металлу — миф. Резервы уже обученных людей колоссальны. В 1961—1963 годах было подготовлено 1044 тысячи трактористов и комбайнеров, на машины же село только 244 тысячи. А сельский механизатор — грамотный рабочий. Любопытный пример: в Георгиевске, городке Ставрополя, строится арматурный завод, руководители окрестных хозяйств пошли с просьбой — открыть филиалы завода в колхозах и в совхозе. Инженеры намеркнули, что надо ведь работать уметь. Осмотрев изделия, хозяева уверили, что в их мастерских механизатор по нужде выполняет не в пример более сложные работы... Это не значит, конечно, что филиалы открыли.

Умение — дело наживное. И нет такой отрасли промышленности, какая хоть в малой степени не способна была бы с пользой для себя применить труд крестьянина.

По кому сильнее всего ударило запрещение промыслов? Не по административно-управленческому персоналу, не по «среднему звену» колхозов — они заняты круглый год. Не по животноводам, которые из-за особой тяжести труда оплачиваются сравнительно высоко и тоже заняты зиму и лето. Ударило оно по тому «полеводу», что на «конно-ручных» работах и прежде получал меньше других, а теперь стал к тому же меньше работать. Коснулось оно и механизатора — в половине колхозов он занят менее двухсот дней в году, но полевода все же сильнее. Удельный вес этой категории колхозников очень велик — около 50 процентов! В Российской Федерации человек «общекрестьянской» профессии в 1964 году в среднем работал 140 дней.

Известно, что оплата труда в колхозах Федерации за последние шесть лет возросла в полтора раза. Но средние данные скрывают большие различия в уровне заработка разных профессий. В российских колхозах председатель артели получил в 1964 году за человеко-день 7,22 рубля, агроном — 4,35 рубля, бригадир — 3,01 рубля, тракторист — 3,83 рубля, животновод — 2,28 рубля, а занятый в полеводстве — лишь 1,79 рубля. Если же учесть, что самих-то человеко-дней у работника со штатной должностью намного больше, чем у «полевода», то понятна станет сильная разница в годовом заработке. Средняя годовая зарплата по перечисленным профессиям выглядела соответственно так: 2223 рубля, 1270 рублей, 933 рубля, 844 рубля, 733 рубля и 346 рублей. Ясно, что и эти средние цифры сглаживают резкие ступени: в зависимости от экономики колхозов зарплата председателя колебалась в пределах 1746—3064 рублей, тракториста — в границах 651 и 1116 рублей, а «полевода» — между 172 и 614 рублями. В экономически слабых колхозах, где особенно велика доля «общекрестьянского» труда, наиболее значительна и разница в зарплате административного персонала и людей на «конно-ручных» работах. Аппарат управления в артелях пока многочисленный, его содержание в 1964 году по колхозам Федерации обошлось в 16 процентов фонда оплаты труда.

Речь не о примитивной уравниловке — она противопоказана нормально развивающемуся хозяйству, высокая квалификация и ответственность должны и вознаграждаться хорошо. Но резкие перепады в оплате противоречат самой демократичной сути артельного производства.

Вот почему трудно переоценить постановление о гарантированной оплате труда в колхозах, принятое вскоре после XXIII съезда партии. Оно благотворно скажется именно на экономике слабых хозяйств, поднимет до уровня совхозной заработную плату людей самой массовой колхозной профессии. Осуществляя новую программу планирования и экономического стимулирования, государство своими кредитами повышает нижний предел артельного заработка.

Но само собой разумеется, что гарантированная оплата не снимает, а лишь усиливает необходимость развития подсобных предприятий. Ведь и совхозный-то уровень оплаты будет идти «полеводу» только за те дни, что он занят! Если не сгладить сезон-

ность, не продлить до разумной нормы рабочий период у половины колхозников, действие правительственного решения ослабится, не даст нужных результатов.

Потому-то получивший широкую известность «пункт 17» Директив, говорящий о промыслах как о важной государственной проблеме, пункт-завоевание, свидетельствует о творческого подхода к экономике, справедливо соединяют в деревне с введением гарантированной оплаты. Это единая программа. Сочетание сельскохозяйственной и промышленной деятельности не только увеличивает фонд оплаты труда — оно создает и товарное покрытие его. По пересчетам серьезных экономистов, стоимость валовой продукции только колхозов можно поднять путем лучшего использования ресурсов труда минимум на 8 миллиардов рублей — и в ближайшее время! Это поток товаров, каких ждет рынок, потому что колхоз, в отличие от иных фабрик, не станет, не сможет производить то, что рынку не нужно. Сама необходимость реализовать товар, да подороже, не отдать выгодного покупателя соседу, само развитие прямых связей заставит колхоз высоко держать честь марки — только ведь на безрыбье рак рыба, только при товарном голоде можно сбыть брачок. Можно с уверенностью говорить, что вся плодоконсервная промышленность в скором времени встанет перед необходимостью резко улучшать и разнообразить продукцию, не то колхозы отобьют у нее потребителя. Если мешерский «Большевик» снова возьмется тереть белила, то его краска будет не хуже и уж наверняка дешевле той, что сейчас иногда появляется в магазинах — иначе колхозу не пробиться на рынок. Если колхоз Копейкиной получит возможность поставлять сувениры прямо «Березке», то Алексей Петрович Блинов в глубоком раскаянье сам пришлет в Мещеру подписанный бланк договора.

Промысел в его обновленном виде будет детищем экономической реформы. Для миллионов он станет школой хозяйствования, опирающегося на объективные законы экономики. Он приносит с собой умение торговать — то умение, которого так настоятельно требовал Ленин. «Промысел» и «промышленность» в русском языке — слова одного корня, и оба восходят к «мысли», к здравому уму.

Время мыслить, время умно хозяйствовать, время жить богаче.



# ПУБЛИЦИСТИКА

Т. ЛЕШУКОВ

★

## СВЕТ И ТЕНИ ГОРОДА ТКАЧЕЙ

I

**Л**ет сто назад наши предки говаривали: «Славна Москва калачами, Петербург — усачами, а село Иваново — ткачами». Иная слава ныне у Москвы, иная у Петербурга, давно уже ставшего Ленинградом; только Иваново, хоть и не село теперь, — по-прежнему называют городом ткачей.

Недавно я поинтересовался в горплане:

— Сколько ткачей насчитывается в Иваново?

— Тридцать три ткача, — был неожиданный ответ. — Ищите их на гобеленовом производстве при фабрике имени Дзержинского.

Оказалось, что и ткачих, то есть работниц, называющихся так по квалификации, насчитывается не более четырех тысяч человек. Это — один процент от четырехсоттысячного населения города.

Вот тебе и город ткачей!

Уместно заметить, что врачей обоего пола в городе насчитывается около двух тысяч — только в два раза меньше общего числа ткачих.

Старый ивановский врач Леонид Модестович Кибардин, «разменявший» девятый десяток, умудрял меня:

— Все проходит. Вспомним судьбу Манчестера. Город этот тоже считался когда-то текстильной мастерской Англии. И не только Англии — всего мира. Сегодня там нет ни одной текстильной фабрики, ни одного ткача. Манчестер стал городом машиностроителей, городом химиков. Та же судьба и у Иваново-Вознесенска. Когда я лет сорок назад приехал сюда, то двое из каждых трех человек, приходивших ко мне на прием, были текстильщиками. А сегодня взгляну в окно квартиры — вижу корпуса завода автокранов, налево от него — завод расточных станков, еще левее — завод измерительных приборов. За Уводью — завод чесальных машин, чуть дальше — завод «Строммашина». Десять таких заводов. Иваново становится городом машиностроения.

Социология — отнюдь не самая сильная сторона Леонида Модестовича. Разумеется, отождествлять судьбы Манчестера и Иванова нельзя, и по многим социально-экономическим причинам, но в тенденции экономического развития этих городов, безусловно, есть нечто общее.

Пытаюсь обратиться к социологам — к тем, кто пишет и защищает диссертации, получает звания кандидатов экономических, исторических и философских наук:

— Что происходит с профессией ткача? Почему она постепенно отходит на второй план, убывает в нашем городе?

Заведующая кафедрой истории СССР Ивановского пединститута Анна Владимировна Шипулина отсылает меня к трудам первого летописца города Иваново — фабриканта Якова Гарелина. В момент слияния села Иваново с Вознесенским посадом в еди-

ный безуездный город, в 1871 году, насчитывалось 48 промышленных предприятий, из которых «бумагопрядильная — одна, ткацких — чегыре и ситцевых — 38...».

Строго говоря, не ткачи, а красильщики и набойщики создали репутацию своему городу.

Можно согласиться с историками, что не ткацкие «светелки», а «набойные» избы стояли двести лет назад по берегам Уводи, что их «спонтанное» развитие привело к созданию на северо-востоке от Москвы одного из крупнейших индустриальных гнезд. Но все же народу известны имена ткача Федора Афанасьева — вожака иваново-вознесенских пролетариев в 1905 году. Героизм ткачей воспели и Дмитрий Фурманов в «Чапаеве», и Николай Погодин в пьесе «Как манящие огни». И пусть сегодня ткачи составляют всего один процент населения города. Но это процент, как говорится, ведущий.

Те же исторические документы свидетельствуют, что в XIX веке текстильщики составляли почти сорок процентов пролетариата всей страны. Тогда на заработки в города от безденежья и бесхлебицы шел деревенский мужик. Он вставал за станок, «уделявал» его, заправлял основу, следил, чтобы на полотне не оставлялось ни «близны», ни «недосеки», ни «подплетины». Грубые мужицкие пальцы, привыкшие к сохе и косе, приобретали необычайную гибкость, а глаз — зоркость, ведь требовалось из тысячи основных нитей выделить оборвавшуюся, завести ее в галево ремизы и сквозь тоненькие пластинки берда и связать тонкий-претонкий узел.

Ткачихи появились на фабриках к началу XX века, когда вырос оседлый городской пролетариат, уже не связанный с деревней ничем, кроме воспоминаний детства. Тогда-то и произошло некоторое разделение труда. Мужчины стали помогать мастеру ремонтировать станки, заправлять шестипудовые основы, их и называли — подмастерья. Ткачихам-женщинам осталось несколько более мелких операций — зарядить челнок да разыскивать и заводить оборвавшиеся ниточки основы.

Но и тогда ткачих насчитывалось не так уж много. В списке депутатов первого в России Иваново-Вознесенского Совета мы находим лишь одну ткачиху. Зато десяток ткачей. Женщин в старое время охотнее нанимали в подготовительные отделы — на перемотку и сновку пряжи. Там требовались исключительная внимательность и терпеливость. Считанный десяток движений пальцами руки, повторяющийся каждую минуту, — и так в течение всего одиннадцатичасового рабочего дня. Редко какая женщина выдерживала пять-шесть лет одуряющей однообразной работы на мотальных машинах.

Понемногу, но безостановочно сдавали ткацкие позиции мужчины. Решающий толчок к замене ткачей ткачихами дала первая мировая война. И Куваевы, и Бурылины, и Зубковы, и Гандурины нахватили много военных заказов на белье, на марлю, на «хаки» — гимнастерочную ткань, а ткать стало некому — воинский начальник одел большинство ткачей в солдатские шинели.

Революция углубила этот процесс. Были сметены все оттенки дискриминации женщин при найме — за одинаковую работу платили одинаково и мужчинам и женщинам. На бирже труда, которая существовала в годы нэпа, зародилось неписаное правило:

— Стидно мужчине отбивать женский заработок.

Поэтому, когда после гражданской войны «размораживалась» очередная ткацкая фабрика, то мужчин посылали туда подмастерьями, возчиками пряжи и основ, шлихтовалами, а к ткацким станкам ставили только женщин.

Сегодня ткачей-мужчин можно найти лишь там, где в ходу жаккардовые машины, прежде всего на фабриках льняных штучных товаров. Узрчатую камчатную скатерть или покрывало и полотно можно изготовить на очень сложном сооружении — гибриде ткацкого станка с жаккардовой машиной. Даже работники высокой квалификации не сразу разбираются в хитроумных бесчисленных перекрещиваниях шнуров (аркатов) и нитей, идущих через дырочки в картонных навесках.

В пятидесятых годах пробовали возродить профессию ткача в прежних, дореволюционных масштабах. В районных газетах печатались обращения — письма ребят, кончавших десятилетку, с обязательством закрепиться на ткацких фабриках и освоить почетную профессию ткача. Только ныне не найдешь в цехе ни одного из авторов таких писем.

Само по себе вытеснение мужского труда из ткацкого производства можно назвать прогрессивным явлением. Развитие техники привело к тому, что обслуживать станок смогла и женщина с ее меньшими запасами физической силы. Вообще ужасаться тому, что женщина отрывается от домашнего хозяйства и вовлекается в сферу производства, могут только мещане и филстеры, как об этом говорил еще Август Бебель.

Беда подходила с другой стороны. В Ивановской области насчитывается около двух десятков городов и рабочих поселков, в которых нет ничего, кроме текстильных фабрик. С годами сложилось такое разделение труда — мужчин процентов тридцать, а женщин (в том числе и ткачих) процентов семьдесят к общей численности рабочих.

Каждой весной молодую часть работниц вдруг охватывает эпидемия расчетов. Мастера не успевают писать резолюции на заявлениях об увольнении: «Согласен, при условии подыскания замены». Однако замены не находится, и решение конфликта переносится в фабком и к директору.

Мне пришлось быть свидетелем такого разговора в кабинете директора Лежневской фабрики.

Директор: Хорошо, мы дадим вам расчет. Но где же вы будете работать после нас?

Работница: Это мое дело.

Директор: Если это секрет, то мы не настаиваем на ответе. Но ведь, рассуждая здраво, не получили же вы наследство от какого-нибудь заокеанского дядюшки. Все равно придется работать где-нибудь.

Работница: Не где-нибудь, а там, где на тебя будет кому смотреть.

Директор: К матери, что ли, возвращаетесь?

Работница: Зачем? Чай, выросла, пора замуж выходить.

Директор (добродушно): Вот и хорошо. На свадьбу дирекция отпуск даст, гуляйте хоть с неделю. Может, и меня пригласите.

Работница (с вызовом): Может, дирекция мне и жениха подыщет? Не беретесь? Вот то-то, а еще директор. Смотрите, в цехе — пять подмастерьев, два возчика пряжи да ремонтников — четверка. И все они женатые. А нас в цехе, девчат, — до сотни. Мне уже двадцать пять. И так перестарок. А еще год-два поработаю — совсем старой девой останусь. (Решительно.) Нет уж, подписывайте расчет. Уеду на целину или в Братск, может, там судьбу себе устрою.

В начале пятидесятых годов такие сценки объясняли просто: женихов взяла война, ничего, дескать, не попишешь. Но шли годы, нарождались женихи, которые узнавали о прошедшей войне только по школьным учебникам да от своих отцов. И все же соотношение мужчин и женщин на текстильных фабриках не менялось. «Эпидемии» расчетов молодых текстильщиц вспыхивают каждой весной.

Только тогда плановики поняли, что демографический фактор тоже надо учитывать в своих расчетах. По ходатайству областных организаций в середине пятидесятых годов ивановцам разрешили строить четыре крупных машиностроительных завода и расширить четыре действующих, чтобы сбалансировать в городе численность работающих мужчин и женщин.

Уже одни только строительные работы привлекли немало мужской рабочей силы. Как будто проблема ткачих — ткачей решалась сама собой. Но так только казалось. Современные заводы стали мало походить на довоенные: силовые приемы обработки металла уступают место автоматике, механизации. Огромным карусельным или фрезерным станком бойко управляют вчерашние школьницы в модных брючках. Обстановку цеха текстильной фабрики не сравнишь с машиностроительным. На новом заводе — вентиляция, свет, чистота, почти бесшумная работа металлообрабатывающих станков и станочков.

В ткацком цехе — грохот двух-трех сотен станков, пыль от осыпающейся шлихты, температура не ниже двадцати восьми градусов, относительная влажность — не меньше семидесяти.

— И в такой обстановке надо работать семь часов! — с неподдельным ужасом говорили мне ученицы 22-й средней школы, которым предполагалось «давать производственный уклон» — обучать на ткачиху.



Естественно, что среди машиностроителей женщин стало не меньше, чем на одиннадцати производствах — сорока ткацких цехах — города Иваново.

Весной 1966 года «эпидемия» расчетов вспыхнула снова. На этот раз объяснения были более простые.

— Вот я, ткачиха, управляю десятью станками, утром должна вставать с пяти часов, а если работаю во второй смене, то прихожу домой к часу ночи. Устаю и недосыпаю. А сестра уходит к восьми часам утра в пошивочное ателье, к пяти часам она дома. У нее режим: спит вовремя, встает тоже. В мастерской у нее ни грохота, ни шума, ни жары, ни пыли. А заработок со мной одинаковый. И честь одна.

Так объясняла свое желание уйти с фабрики ткачиха Ольга Серова.

Не все так откровенно раскрывают мотивы ухода с текстильных предприятий, как она, но в основе лежат примерно те же причины.

Старая ткачиха Фекла Павловна Майорова, известная в тридцатых годах как запевала «виноградовского движения» на Новой Ивановской мануфактуре имени Жиделева, с горечью говорила мне:

— Если на улице двое громко разговаривают — знай, это ткачихи. Привыкли кричать, как в цехе. Мне даже в кружке политграмоты сделали замечание: дескать, громко разговариваешь. Руководитель наш, Марья Арсеньевна, из райкома, говорит, будто мы, ткачи, — легкая промышленность. А я всего-навсего и сказала: поставить бы ученых, которые так говорят, к нашим станкам на недельку — узнали бы они, насколько легка наша работа.

К чести Феклы Павловны надо отметить, что у ткацких станков она проработала почти сорок лет.

— Как мать привела после размораживания, так тут и осталась на всю трудовую катушку. Образования не было, не то что у теперешней молодежи, — это раз. А потом, где тогда полегче работу найдешь? Это два Третье — мастер сказал, что у меня на руку талант особый дан, хорошо узел вяжу, на роду ткачихой быть написано.

Фекла Павловна права — в каждой профессии нужны таланты. Иногда они раскрываются неожиданно для самих работающих. Сегодня всей стране известно имя савинской ткачихи Юлии Вечеровой. Мать ее работала на той же фабрике, и бабушка тоже. Ничем особенно не выделялась как будто и Юлия. Но однажды в цех зашел сотрудник районной газеты Александр Сонин. Он посмотрел на доску показателей и приметил, что самые «большие проценты» стоят против фамилии Вечеровой. На читателя любой газеты уже не производят впечатления бесконечные перечисления процентов. Сонин подумал о том, как интереснее подать информацию о рекордсменке цеха. Взять абсолютные цифры? Но у нее на станках заправлены разные артикулы — один «погонистый», другой поплотнее.

— Так есть же общий показатель — число уточин, которое прибавается на станках в час, — подсказал газетчику фабричный экономист.

Подсчитали уточины и удивились — оказалось, что станки Вечеровой дают столько, сколько запланировано для фабрики на последний год семилетки. Так в 1960 году появилась телеграмма ТАСС о первой в Советском Союзе ткачихе, выполнившей семилетку по производительности труда.

Но в чем секрет такого чуда? Лишь после публикации в печати совнархоз прислал специалистов — технологов и нормировщиков, которые пустили в ход весь арсенал приемов подсчета норм. И оказалось, что каждую рабочую операцию, которая положена ткачихе, Юлия Вечерова делает гораздо быстрее, чем определено инструкциями и учебниками. У молодой работницы появилось какое-то шестое чувство: она знала, когда остановится тот или иной из ее восьми станков, как нужно организовать процесс, чтобы челноки пустели не все враз, а один за другим, — ведь это избавит ее от лишних обходов своего «гнезда».

Сама Юлия Михайловна не смогла связно изложить секретов своего мастерства:

— Работаю, как все. Только стараюсь.

Сейчас, когда без отрыва от производства она добилась диплома техника-ткача и стала сменным мастером, объяснение дается такое же лаконичное:

— Скоростные приемы. Ну, и более рациональная организация ухода за станками.

В технике все можно перевести на язык формул. Но вот объяснить, почему одна ткачиха всю жизнь заряжает челнок за шесть секунд, а другая только за три,— никто не может.

Но мы ушли в сторону от основной темы. Не заниматься же фабричным отделам кадров выискиванием ткацких или прядильных талантов. Текстильные профессии массовые, и с одними талантами восемь-девять миллиардов метров не изготовишь. Как же остановить «размывание» ткацкой профессии?

Эту проблему взялись решать инженеры.

Чаще всего ткачихе на механическом станке приходится заряжать челнок и отводить пусковую рукоятку. Освободить работницу от этих трудоемких операций — вот в чем суть, так было сказано еще в начале XX века инженером Нортропом, разбогатевшим на выпуске ткацких автоматов.

Русские фабриканты не приняли этого изобретения.

— Вместо двух станков ткачиха будет обслуживать двадцать. Так ведь она и заработок потребует больший. А сколько народу придется увольнять. Нет, нет, мы и так по горло сыты забастовками.— Так ответил фабрикант Гандурин на предложение фирмы поставить автоматы.

— Строго говоря, современный автоматический станок еще далеко не полный автомат,— разъяснял мне начальник ткацкой лаборатории Ивановского научно-исследовательского текстильного института В. Н. Наумов.— Смотрите, точные шпули заряжаются на барабанах руками зарядалок. Ликвидация обрыва производится по-прежнему пальцами ткачихи. Сама технологическая схема процесса образования ткани осталась почти такой же, как на ручном станке у кустаря.

Это верно, что автоматы требуют для обслуживания гораздо меньше ткачих. Зато появляется новая профессия — зарядалки, у которых нет никаких перспектив повысить свою квалификацию и, стало быть, добиться более высокого заработка. Не идут в зарядалки — да и все! — девушки из девятого—десятого классов.

На каждой очередной выставке машиностроения появляются ткацкие станки новых остроумных конструкций. Французы и швейцарцы показали станки-автоматы, где нет барабана с ручной зарядкой шпуль. Уток подается из подвижных кассет, а те заряжаются паковками с прядей где-то за пределами цеха на автоматическом устройстве. Созданы станки, ткущие сразу по два-три полотна. На них не увидишь обычного деревянного челнока и боевого механизма. Уток подается с огромной бобины, и маленькие захватки (микрочелночки) протаскивают его сквозь зев. Десятки таких станков пущены на недавно построенном Ивановском камвольном комбинате.

Интересны станки, на которых точные нити прокладываются рапирами — тонкими стальными лентами или пластинами. Много изобретателей ломают свои головы над схемами круглоткацкого механизма.

Большие надежды возлагаются сегодня на станки, в которых уток продувается воздушной струей. На ивановских фабриках уже действует около тысячи таких станков чехословацких марок. Неладно, что у тканей на этих станках не получается хорошей кромки, такой товар неохотно берет «розничный» покупатель. Кроме того, сотни воздушных струек поднимают столько пыли, что с ней не может справиться ни одна вентиляционная установка.

— Вот вы, инженеры, все придумываете, как остроумнее примастачить узел зарядки, как предупредить затаски нити в зев и все такое. А о нас, ткачихах, забываете,— говорила на одном из производственных совещаний работница фабрики имени 8-го Марта Земцова.— Что выиграла я как ткачиха при переходе от старых станков к автоматам? Ничего. Больше того, проиграла. Раньше я обслуживала десять станков и за день «выхаживала» вокруг них пять-шесть километров. А теперь одни переходы в «гнезде» из тридцати станков, которые приходится мне обслуживать, составляют за смену пятнадцать—шестнадцать километров. Устаю гораздо больше, чем раньше, от одних переходов.

В. Н. Наумов показал мне фотографию зала одной из ткацких фабрик в США. Рабочий, обслуживающий сто станков, катался по залу на роликах.

— Конечно, решение остроумное,— заметил Валерьян Николаевич.— Но это под силу хорошему физкультурнику и то на пять-шесть лет. А потом что?

К сожалению, о том, что потом, мало задумываются и наши хозяйственники. Даже при современной загрузке работницы ее «свободное время» исчисляется за смену восемью—десятью минутами. Примерно треть времени она тратит на ликвидацию обрыва нитей. В этом и смысл существования ткачихи — станки при любом обрыве нити автоматически останавливаются. Треть и даже сорок процентов рабочего времени занимают переходы от станка к станку, остальное — профилактика, то есть наблюдение за сходом основы, чистка нитей от пуха, от шишек, от запутавшихся обрывочков пряжи.

И все это, повторяем, в обстановке непрерывного грохота батанов, при высокой температуре и влажной атмосфере.

Еще больше сказывается на самочувствии ткачихи трехсменный график с ночной работой. Систематическое недосыпание, частая смена суточного ритма не очень-то благоприятствуют укреплению здоровья.

Ивановский институт охраны труда исследовал влияние цеховой обстановки на физиологическое состояние работницы. Для опытных наблюдений надо было подобрать людей различного возраста, с разным стажем работы. Оказалось, что всего труднее было подыскать ткачих старше сорока лет. Их почти не было. После пятнадцати—двадцати лет непрерывного стажа ткачиха переставала выполнять нормы, переходила в разряд «отстающих».

— Семеновна, опять ты наш участок подводишь,— обычно начинал разговор сменный мастер с таким человеком.— Может, тебе подыскать работку полегче? В браковщицы, к примеру, стаскивать «начинки» с патронов или в «метилки». В заработке ты почти ничего не потеряешь, не то что сейчас, раз с нормами не справляешься. А там — оплата повременная, твердая.

И Семеновне волей-неволей приходится соглашаться с мастером.

\* \* \*

Зная, как завершается материнская биография, отважится ли дочка повторять ее путь?

И тут нам кажется, что решение задачи в руках не столько инженера-технолога, сколько организаторов производства и социологов.

Как нынче возмещается убыль ткачих?

В Ивановской области ежегодно заменяется автоматами около полутора-двух тысяч станков. Новые станки шире старых по габаритам. В цехе, где раньше размещались, к примеру, сто станков и их обслуживали в смену десять — двенадцать ткачих, устанавливается семьдесят автоматов. Их обслуживают три ткачихи и две зарядки. Следовательно, число работниц сокращается вдвое. Вот вам и резерв для восполнения убыли от уходящих на пенсию или переходящих в браковщицы и уборщицы (они же «метилки»).

Через семь-восемь лет автоматизация ткацких фабрик будет завершена. Где тогда будут искать ткачих?

До последнего времени, даже в годы семилетки, за свежими кадрами для текстильных фабрик выезжали в Кировскую, Вологодскую области, в автономные республики Поволжья десятки вербовщиков с мандатами и разрешениями советских властей и привозили оттуда молодых колхозниц.

При тогдашней стоимости трудодня нетрудно было увлечь молодых колхозниц обещаниями гарантированной месячной оплаты. Многие предприятия построили для завербованных специальные общежития. Через полгода в бойкой, разбитной ткачихе или прядильнице только по оканью и цоканью можно было различить застенчивую колхозницу с берегов рек Сухоны или Вятки.

Забота о быте с их плеч была снята. Молодые работницы уходили на смену, даже не убрав своих постелей,—знали, что в комнате без них будет подметено и кровати застелют казенными покрывалами. На то дирекция содержит в общежитии специального коменданта с обслугой. Единственное, что делали дома завербованные ткачихи,—они сами гладили блузки и юбки перед выходом на прогулку в парк или кино.

Через два-три года, накопив несколько чемоданов «приданого», заведя себе гардероб из штапельных и шерстяных платьев, завербованные возвращались «до дому, до хаты», где каждую ожидали и родители и «суженые».

Вот и приходилось дирекциям фабрик снова наряжать вербовщиков для поисков смены ткачихам из подросших колхозниц. С каждой осенью такие вояжи становились менее успешными. Сегодня каждому видно, что обстановка в колхозах улучшается, введена твердая денежная оплата, а заработок таких категорий, как доярки, животноводы, порой превышает заработок ткачихи.

Да и общежития постепенно перестали быть тем, чем они были вначале. Какими бы строгими ни были там правила внутреннего распорядка, как бы ни бодрствовали стоглазые аргусы—дежурные, не пускавшие никаких гостей позднее девяти часов вечера, жизнь брала свое: кто-то из девчат выходил замуж, и на правах мужа сюда кто-то вселялся. Так общежития для незамужних превращались в обычные коммунальные квартиры с общей кухней на двадцать—тридцать семейств.

«Вербовочное» русло, через которое притекали новые кадры, понемногу мелело и к началу нынешней пятилетки почти совсем пересохло.

— «Арахнэ! Вот в чем наше спасение,—возбужденно размахивая газетой «Правда», говорил знакомый секретарь райкома.—Нетканые ткани. Агрегат «Арахнэ», изобретенный чехословацкими инженерами, покончит с профессией ткачих!

Что ж, нетканые материалы, сделанные способом проклейки или простегивания (наподобие ватных одеял) могут занять свое место в нашем хозяйстве. Из-за дешевизны их охотно будут брать промышленные предприятия, особенно там, где миткаль и бязь употребляются как фильтровальный материал или как простая прокладка. При хорошей отделке нетканые материалы могут пойти на детские пальто. Но при самых оптимистических расчетах в балансе текстильных товаров они займут четыре-пять процентов — не больше.

— Трикотажная машина — вот что идет на смену ткацкому станку,—говорят поборники этой отрасли промышленности.

Слов нет, трикотажная машина в пять-шесть раз производительнее ткацкого станка. На наших глазах после войны в пределах Верхне-Волжского экономического района родилось восемнадцать трикотажных предприятий.

И все же статистика говорит, что продажа трикотажных изделий увеличивается не за счет ситца, сатина, репса и других «классических» тканей. На графике кривая реализации тех и других товаров поднимается почти параллельно.

Вряд ли нужно кого-либо убеждать в том, что потребность в одежде у человека стоит на первом месте после пищи. Академик С. Г. Струмилин в результате долговременных экономических исследований пришел к выводу, что разумно построенный по всем правилам гигиены быт требует, чтобы в семейном обиходе имелось около двухсот—двухсот пятидесяти метров ткани на каждого человека. Учтя, что гардероб человека должен обновляться примерно каждые тридцать—тридцать шесть месяцев, он считает, что ежегодно на душу населения должно производиться не менее восьмидесяти—ста метров ткани.

В царской России накануне первой мировой войны производилось примерно по пятнадцать аршин на душу населения. В прошлом году в нашей стране произведено тканей различного назначения по тридцать пять метров, или, в переводе на старую меру, по пятьдесят аршин. Но даже эта цифра в два-три раза ниже той, что назвал академик Струмилин.

На XXIII съезде партии было указано на неправомерность отставания промышленности группы «Б», в том числе и текстильной. В новой пятилетке предполагается построить более трехсот новых предприятий легкой промышленности, будет освоена

проектная мощность оборудования на тех комбинатах, которые строились в годы семилетки.

Верно, что в ходе развития техники исчезают многие профессии. Молодым текстильщикам непонятно, чем занимались раньше на фабриках мюльщицы, банкаброшницы, таскалы, каляльщицы, так как давно выброшены устаревшие мюли и банкаброши, а вместо каляльщиц действуют автоматические приборы.

Точно такое же явление можно встретить и на добыче торфа. Исчезают профессии гидромониторщика, ворочальщика, секача и другие. Новая техника — фрезерные машины, пневмоуборочные комбайны — вызвала к жизни и новые профессии.

Все реже и реже встречаешь стеклозаводы, где рабочий-стеклодув выдувает полупудовую «холяву» своими легкими. Совсем не найдешь «хлопчиков», подносящих изделия к обжигательным печам.

Нет ничего удивительного и в том, что ткачих в нашем городе становится все меньше и меньше. Но, право же, отпевать эту профессию по меньшей мере преждевременно. Почти десять миллиардов квадратных метров ткани, которые запланировано произвести к 1970 году, не могут возникнуть без пальцев ткачихи.

Поэтому-то так и тревожат факты, говорящие о начинающемся хроническом дефиците людей, готовых заниматься этой древнейшей профессией.

\* \* \*

Когда беседуешь с руководителями ткацких производств, то слышишь от них одно: — Надо поднять заработок ткачихи. Неправильно, когда она получает не больше парикмахера или продавщицы мороженого. А чаще всего меньше.

Вот тут-то и следует задуматься: а почему меньше?

Существует на фабриках такое понятие: типовое уплотнение. Предположим, на фабрике заправлен миткаль пятого артикула. Считается, что каждая ткачиха должна обслуживать десять станков. Исходя из этого, нормировщики выводят норму выработки на станок.

В этих нормах обычно учтено каждое движение работницы. Учтено и то, что станок из каждых ста минут простаивает лишь семь-восемь минут. (Напомним, что самый высокий коэффициент полезного действия металлообрабатывающих станков не превышает 0,5. Иначе говоря, полезное время работы токарного или сверлильного станка не превышает трех с половиной часов за смену.)

Я уже рассказывал о Юлии Вечеровой, о ее особом, прирожденном таланте ткачихи. Такие таланты можно найти на любом предприятии. И вот общими усилиями передовых талантливых ткачих станки в среднем вместо пяти метров миткаля в час станут давать по пять с четвертью метров. Норма перевыполнится на пять процентов. Заинтересованы в этом и ткачихи и помощники мастера: за сотканые сверх нормы метры платится в двойном и тройном размере.

Но отнюдь не в восторге от этого главный бухгалтер фабрики. На очередном докладе он сигнализирует директору:

— За каждые десять процентов перевыполнения плана нам увеличивают фонд зарплаты лишь на пять процентов. Цифра эта ничем не обоснована. Поскольку за сверхплановые метры нам приходится платить ткачихам в тройном размере, то естественно, что в фонд зарплаты мы не укладываемся. Чем грозит перерасход этого фонда, вам известно: и вы, и весь инженерно-технический персонал лишаются премиальных за перевыполнение плана, за внедрение новой техники и прочее.

— Какой выход? — нетерпеливо прерывает его директор.

— Прежде всего надо пересмотреть нормы.

В соответствии с коллективным договором нормы пересматриваются раз в год и лишь в том случае, если изменились производственные условия. И то и другое положение легко обходится ссылками на возможность не общего, а «частичного» пересмотра норм.

Через полгода нормой уже становятся пять метров двадцать сантиметров.

— Что же вы хотите,— отвечает директор представителям профсоюза.— Ведь новая норма ниже фактически достигнутого.

Все это так, если рассуждать «в общем и целом». А экономический микроскоп показывает другое. Из сотни ткачих примерно двадцать пять человек не дают даже по пять метров на станок. Двадцать пять человек лишь «дотягивают» до ста процентов. Выходит, что половина ткачих не получает премиальной добавки. С пересмотром норм все они переходят в категорию «невыполняющих», и их заработок понижается.

Через какое-то время, то ли в результате улучшения пряжи или ввода в действие новой вентиляционно-увлажнительной камеры, в среднем по цеху выработка на станок поднимается до пяти метров сорока сантиметров. Помножьте эти сорок сантиметров на две тысячи станков, заправленных миткалем, и на пятьсот семьдесят пять часов эксплуатации в месяц.

Снова повторяется сцена доклада главного бухгалтера директору, снова к норме прибавляется пять или десять сантиметров, снова ухудшается положение той группы рабочих, которые ходят в «невыполняющих».

— Что же поделаешь, если не все ткачихи одинаковы? — искренне недоумевает директор.

Вот тут-то как раз и подумают социологам о системе нормирования труда и практике установления норм выработки. Если талантливая ткачиха вроде Вечеровой сравнительно легко справляется с десятком станков, то разрешите ей обслуживать двенадцать—четырнадцать станков, но не повышайте постановочной нормы. Если ткачиха не справляется с часовой нормой на «десятке», дайте ей меньший объем работы — восемь или шесть станков. Она постепенно будет овладевать секретами своей профессии, понемногу увеличивать съем ткани с каждого станка. Она поверит в свои силы, не будет каждый квартал или каждые полгода переживать психологической травмы — ожидать очередного понижения заработка при пересмотре норм.

Фекла Павловна Майорова, о которой я упоминал выше, получает пенсионный максимум — сто двадцать рублей в месяц. Вместе со своими подругами Ольгой Прогуновой, Натальей Филимоновой она обслуживала в годы войны и позднее по двадцать механических ткацких станков и зарабатывала вдвое больше, чем на типовом уплотнении.

Что ж, это и есть социалистический принцип в действии: от каждого по способностям и каждому по труду. И как бы ни оценивала ныне ткацкое ремесло сама Фекла Павловна, она не раскаивается в том, что сорок лет простояла за ткацким станком. Нет, не раскаивается, этого не позволяют ни ее рабочая гордость, ни сто двадцать рублей пенсии.

На воротах многих ивановских фабрик висят изрядно поблекшие плакаты с лозунгами: «Все для производства!» Как любое краткое определение, этот лозунг вызывает не только много различных толкований, но и естественный вопрос: а что же человек, его здоровье, его настроение?

Нет, требуется какая-то поправка к лозунгу. Производство не самоцель. Выработка тканей нужна для того, чтобы стал краше быт советского человека, попутно создается весомый вклад и в государственный бюджет. Но разве ради таких благородных целей можно переводить ткачиху в «неткачихи» после многих лет действительно самоотверженной работы?

Все мы слышаны об отрицательной стороне конвейерной системы на капиталистических предприятиях. Но ведь сам конвейер не виноват в том, что при бешеном темпе, при однообразных операциях рабочий быстро изматывается, преждевременно стареет и выходит из строя.

У нас в стране не инженеры, а социологи, организаторы производства нашли противоядие против отрицательных сторон конвейера. У обувщиков, например, не допускается чрезмерного дробления рабочих операций. Темп движения конвейера регулируется в зависимости от самочувствия работающих. Каждый рабочий изучает по две-три операции, чтобы время от времени меняться рабочими местами с соседями.

Каждые два-три часа конвейер останавливают на пять-шесть минут для физкультурной зарядки работающих.

Много придумано и других способов, противодействующих утомляемости и одуряющему однообразию работы на конвейере. Так неужели нельзя найти способы, которые сохраняли бы ткачихе силы и бодрость на долгое время?

Профессура Ивановского медицинского института вот уже несколько лет подряд изучает физиологическое состояние большой группы работниц ткацкой фабрики имени Кирова. Было найдено, что работоспособность лучше всего сохраняется при двадцати четырех градусах тепла в цехе и при относительной влажности шестьдесят (по психрометру Августа). Эти же условия наиболее благоприятны и для технологии: меньше рвутся нитки. Накопилось много наблюдений, которые позволили определить порог утомляемости. Оказалось, что наибольшая производительность труда приходит к третьему и четвертому часу работы. После обеденного перерыва реакция ткачихи на свет и звук несколько замедляется, а к седьмому часу работы снижается на десять—пятнадцать процентов.

Простой пятиминутный отдых после каждого часа не восстанавливал трудоспособность, а только замедлял ее падение. Тогда испытуемых ткачих вводили после каждых двух часов работы в изолированную от цехового шума комнату, где специальными аппаратами нагнетался ионизированный воздух. Усталость снимало как рукой. Производительность ткачихи в седьмой и восьмой час работы оставалась такой же, как и в начале смены.

— После работы я принимаюсь за домашние дела как ни в чем не бывало,— говорила ткачиха.

Работники Ивановского научно-исследовательского института охраны труда нашли, что простой отдых в кресле-качалке через каждые два часа в течение восьми—десяти минут способен также прогнать усталость.

Рекомендации и того и другого института обсуждались с большим интересом и в профсоюзах, и в совнархозе, и в других областных организациях. Но как практически провести их в жизнь? Во-первых, где найти такие вместительные помещения, в которых люди смогли бы отдыхать и «заправляться» эликсиром бодрости в виде аэроионов? Каморки мастеров, пригодные для опытов ограниченного масштаба, нельзя приспособить для всех рабочих. Стало быть, нужны специальные пристройки, увеличение основных фондов за счет капиталовложений. Но об этом плановики и слушать не хотят — ведь пристройка не дает ощутимого прироста продукции на новые капиталовложения.

Вторая, не менее существенная препона — кто будет обслуживать станки, оставленные ткачихой на время самозарядки «волшебным воздухом»? Ее «поручница»? Но ведь у ее соседки-«поручницы» каждая минута также учтена и занята уходом и профилактикой в своем гнезде.

Нам думается, рано или поздно, а рекомендации врачей потребуют не только платонического одобрения, а и практической реализации.

Те, от которых это зависит, утверждают: уменьшится, мол, отдача продукции на рубль основных фондов. Может быть, да, а может быть, и нет. Но это же еще не подсчитано! Да ведь и при модернизации станков, механизации доставки утка и основы, замене старого оборудования автоматами все равно отдача на рубль основного капитала, как это показала практика, падает. В 1960 году она составляла 5,2 рубля, в 1965 году уже 4,9 рубля. Поэтому и опасения насчет возможных отрицательных экономических последствий кажутся фальшивыми. Ведь почему-то никто из экономистов не возражает, когда при замене автоматами механических станков валовая выработка в квадратных метрах уменьшается на пятнадцать — двадцать процентов (о причинах этого говорилось выше: автоматы дают меньшую производительность в уточинах, а требуют больше производственных площадей). Полная замена механических станков в Ивановской области повлечет потерю трехсот миллионов метров ткани.

Как выходили из такого щекотливого положения экономисты Госплана РСФСР и совнархоза? Они «рекомендовали» предприятиям увеличить выпуск более «метраж-

ных», более «погонистых» тканей. За последние десять лет по Верхне-Волжскому экономическому району выработка марли увеличилась, например, с трехсот до шестисот миллионов метров. Марля, разумеется, нужна. Но еще нужнее потребителю ситцы, сорочечные ткани, репсы, фланели, бумазея — то, что можно использовать для одежды, а не только летом для защиты кухонных окон от мух.

Пусть за десятиминутное отсутствие ткачихи из-за обрыва нитей остановится в гнезде два-три станка. Этот незначительный урон всегда будет возмещен отдохнувшей ткачихой. Наконец, пусть предприятие получит от этого какой-то ущерб, исчисляющийся в недоработке сорока—пятидесяти сантиметров полотна на ткачиху. Но разве он не окупится тем, что такая работница реже будет получать больничный бюллетень, что она не пойдет в продавщицы мороженого и предприятию не придется тратить денег на поиски и подготовку учениц вместо преждевременно выбывших из трудового строя квалифицированных людей?

Между прочим, в Иваново есть предприятие, где не жалуются на убыль ткачих. Это только что вошедший в строй камвольный комбинат. Проектировщики предусмотрели там кондиционирование воздуха. В корпусах его круглые сутки держится заданная технологами температура и относительная влажность. Чтобы не застаивалась пыль, воздух в помещении обновляется каждые четыре-пять минут. В самый жаркий день, когда на асфальтовом Кохомском шоссе сушь и пыль, здесь прохлада. Зимой ткачихи работают в блузках с короткими рукавами: ведь в цехе комнатная температура. Такая обстановка не требует специальных помещений с шезлонгами для передышки во время работы.

Можно ли кондиционирование воздуха ввести на старых предприятиях? Специалисты утверждают, что можно, хотя приспособления для этого обойдутся дороже, чем на новостройках.

Было бы несправедливо из всего того, что сказано, сделать вывод, будто в Иваново не заботятся о лучших условиях труда для текстильщиков. Примерно такое же положение с ткачами и в Кинешме, и в Вязниках, и в Костроме, и в Ярославле, и в Калининe, и в других текстильных городах и городках, где мне пришлось побывать.

\* \* \*

Года три назад в производственном обиходе появился термин — «ивановский график».

Что он означает?

Дело в том, что из-за нехватки производственных мощностей текстильщики работали в три смены. Каждая из трех работающих групп чередовала выход на работу — в одну неделю с шести часов утра, в следующую — с двух часов дня, в третью — с десяти часов вечера. Эта смена работала до пяти часов утра. О нежелательных последствиях ночной работы говорить нечего. Можно было бы ликвидировать третью смену, но это привело бы к уменьшению выпуска тканей примерно на тридцать процентов, либо заставило построить сразу в стране столько текстильных фабрик, сколько их действует в Ивановской и Владимирской областях, вместе взятых, то есть около сотни.

Хороший выход предложил коллектив Горко-Павловской ткацкой фабрики имени Павла Каминского. Здесь был составлен такой график, при котором рабочая смена длилась восемь часов, но таких смен в неделю сделали пять, а два дня подряд отводились для отдыха. При этом фабрика как производственный организм не знала выходных дней. Ее станки находились в эксплуатации все тридцать календарных дней месяца. Это позволило создать такой график, при котором каждая смена работала ночью только дважды в месяц. Раньше приходилось работать либо шесть, либо двенадцать ночей в месяц.

Около года этот график критиковали, как говорится, и «справа» и «слева».

Аргументы были самые разные.

— Не будет общего выходного дня в семье. Это угроза семейным устоям, воспитанию детей. Два выходных дня подряд введут во искушение даже непьющих,— говорили одни.



— При непрерывной эксплуатации оборудования без выходных дней не останется «оконов» для капитального ремонта и ревизии паровых машин, дизелей, трансформаторов и вообще всего энергетического оборудования. Горко-павловский график ставит нас перед риском внезапных аварий и вынужденных остановок,— говорили другие.

А сами горко-павловские ткачихи говорили:

— Два выходных дня подряд, сокращение ночной работы — да мы об этом мечтали все время! Сейчас нашу сестру по старому графику ни крестом, ни пестом не заставишь ходить на фабрику.

Первыми использовали горко-павловский график ярославские текстильщики. Результаты великолепные. Выдача больничных бюллетеней на «Красном Перекопе» сократилась на семнадцать процентов.

Только тогда ухватились за этот график и директора ивановских фабрик. Рабочие собрания, где обсуждался новый график, по ожесточенности споров напоминали митинги времен семнадцатого—восемнадцатого годов.

Наиболее резко и бездоказательно выступала за сохранение ночных смен при общем выходном дне — воскресенье — молодежь.

— При разных выходных днях нарушается коллективность — мы не можем поддерживать дружбу с молодежью машиностроительных заводов, да и в воинской части увольнительные дают только по воскресеньям...

— Доживете до наших лет, не то запоете,— возражали им семейные работницы.— При двух выходных мы первый день устроим все домашние дела — проведем уборку, стирку, а на второй день сами отдохнем — и в клуб и в кино ходим. Без ночных смен сон нормальнее, здоровье крепче.

Поголовный опрос рабочих принес победу сторонникам нового графика. Осенью минувшего года в обкоме профсоюза текстильщиков стали рассматривать динамику заболеваемости текстильщиков по годам и обнаружили: после введения графика с двухдневными ночными сменами в месяц число больничных листов с диагнозами головная боль, обострение гипертонии, катар верхних дыхательных путей и прочими стало уменьшаться. Случаи производственных травм сократились на двадцать пять процентов. В общем, промышленность сберегла за эти три года более ста тысяч рабочих дней. На фабрике имени Кирова заболеваемость, а стало быть, и число потерянных вследствие этого рабочих дней за три года уменьшилось на сорок четыре процента.

При том, что на крупнейших предприятиях города и области действуют свои поликлиники, а на восьмидесяти шести предприятиях области круглые сутки действуют здравпункты и любая работница, почувствовав недомогание, может получить квалифицированную помощь врача, ивановский график станет одним из надежных средств для борьбы с болезнями.

Не могут пока расстаться с третьими, ночными, сменами только на двух крупнейших предприятиях области — Яковлевском льнокомбинате и родниковском комбинате «Большевик». Причина одна — недостаточны паросиловые мощности.

Выход был предложен в свое время Центральным комитетом профсоюза рабочих легкой и текстильной промышленности.

— Надо возвратиться к практике двадцатых годов, когда все текстильные фабрики останавливались на двухнедельный ремонт в летние месяцы. За четырнадцать дней можно капитально отремонтировать любую паровую машину, провести ревизию любых кабелей, водоводных магистралей, трансформаторов и так далее. Лето — наиболее удобное время и для отдыха рабочих. При таком графике не нужно держать «запас», то есть группу рабочих, подменяющих рабочих, уходящих в очередные отпуски. Этот «запас» достигает сейчас десяти процентов списочного состава рабочих.

— Не можем согласиться с таким предложением. Такая остановка предприятия означает сокращение валовой выработки на четыре процента. Кто возместит бюджету недобор средств от невыпущенной продукции? — возражают работники Госплана РСФСР и Министерства финансов СССР.

Странное дело! Представители этих ведомств проявляют удивительное хладнокровие, когда видят, что многие текстильные товары не находят сбыта, «затовариваются», а потом их приходится пускать в распродажу по пониженным ценам. К концу

прошлого года, например, на складах текстильных фабрик области лежало на десять миллионов рублей нераспроданного товара да вдвое больше неходовых тканей осело на ивановской базе Ростекстильторга. А сколько таких тканей осело в розничных магазинах по всей стране! Так не лучше ли прекратить выпуск неходовых тканей и за счет этого позволить предприятиям систематически приводить в порядок свои теплоэнергетические тылы?!

Летняя двухнедельная остановка предприятия — не самоцель. Она позволит укрепиться ивановскому графику, распротиться с ночными сменами там, где это сегодня невозможно сделать, и тем самым сохранить здоровье, продлить трудоспособность десяткам тысяч ткачих и прядильщиц.

Ткачиха, которая идет на смену с хорошим настроением, зная, что ей не нужно томиться ночью в цехе, — да разве она не перекроет «потерю» теоретических четырех процентов!

С трибуны XXIII съезда партии было заявлено о том, что введение пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями стало предметом серьезного обсуждения в правительстве. Ведь забота о наиболее существенном элементе производительных сил — рабочем человеке, его здоровье отражена и в Программе РКП(б), принятой на VIII съезде партии, и в новой Программе КПСС, принятой XXII съездом.

Пятидневная рабочая неделя уже сегодня далеко не местное явление. Пятидневку с двумя выходными днями ввели днепропетровские машиностроители, ряд предприятий на Урале, в Сибири. И везде отмечено благотворное влияние ивановского графика: сократилось число пациентов в фабрично-заводских поликлиниках, исчез хронический дефицит в сметах доходов и расходов на социальное страхование, повысилась часовая выработка на одном и том же оборудовании.

Расходы на «охрану труда», то есть на введение нового графика, окупаются очень и очень быстро.

## И

Иван Андреевич Зверев полвека провел на ивановских отделочных фабриках. Получив диплом химика в 1907 году, он предложил свои услуги управляющему Большой Ивановской мануфактурой Бурылину. Всесильный управляющий принял его предложение на таких условиях: работа в химической лаборатории первые два года безо всякого жалования. «Покажите себя с наилучшей стороны, тогда и заключим контракт». — «Извините, Николай Геннадьевич, но я в стесненных обстоятельствах... Воспитывался на средства тетушки, и...» — «Принцип нашей фабрики — не вмешиваться в семейные дела своих служащих, — заявил Бурылин. — Каждый зарабатывает у нас то, что он сам стоит. Если вы способны придумать какой-либо новый рецепт проводки товара и, предположим, обработка куска ситца станет дешевле на копейку, то... Мы пропускаем за сутки по десять тысяч кусков. Одним словом, без вознаграждения толковые химики у нас не остаются».

Пришлось Ивану Андреевичу принять кабальные условия. Не так-то велик был в тогдашней России спрос на образованных химиков. Куда было идти вчерашнему студенту, разве что в учителя какой-нибудь уездной гимназии — в Тотьму или Новоузенск.

Главным колористом, то есть технологом Куваевского заведения, как в народе называли по имени владельца Большую Ивановскую мануфактуру, был некто Плужанский — польский дворянин, а его помощником — немец Флейшер. В лаборатории всем распоряжался француз Кэк. Шиком считалось у полуграмотных иваново-вознесенских купцов заполучить в свое распоряжение инженера-иностранца. А те смотрели на каждого русского химика прежде всего как на нежелательного конкурента.

Звереву достался скучный участок — определять степень белизны, полотно после выхода его из машины для мойки. Расчет у Плужанского был простой — Звереву не понравится это бесперспективное занятие, и он сам уйдет с мануфактуры.

Через два месяца Зверев предложил новый способ расшлихтовки суровья перед белинием. Этот способ укорачивал пребывание ткани в расшлихтовочных ямах и бучильных котлах, делал чище ее лицо и тем самым позволял фабриканту после окон-

чательной отделки накидывать на каждый аршин ситца или канифаса по полкопейки. Следовательно, за каждый кусок он получал дополнительно по тридцать копеек, ведь кусок — это шестьдесят аршин.

Узнав от бухгалтера, что его предположения верны и что Бурылин сумел положить в карман больше двадцати тысяч рублей, Зверев обратился к управляющему за вознаграждением. Тот дал распоряжение бухгалтеру выдать ему... сто рублей.

Добившись перевода в красильный цех, Зверев действовал уже осмотрительнее. Опытным путем он нашел такой способ крашения черным анилином, после которого ткань не боялась ни воды, ни солнца, ни щелочей. Овладей Бурылин этим рецептом, и фирма Куваева может не бояться конкурентов. Иван Андреевич показал управляющему лабораторные образцы и теперь уже сам поставил условие:

— Меня вы будете оплачивать как сменного химика. Жалованье должно быть не меньшим, чем у немцев или поляков. За каждый кусок товара, выкрашенный по моему рецепту, вы будете платить столько же, сколько главному колористу.

Бурылин вначале пытался было покуражиться, но Зверев заявил:

— Тогда честь имею кланяться. С вами у меня контракта не было. Служил я бесплатно. Предложим этот рецепт вниманию господина Фокина. Его фабрика, может, поправит тогда свои дела.

Только так русский инженер смог получить признание и соответствующую оплату своего труда.

— К чему это я рассказываю,— продолжал Иван Андреевич в беседе со мной.— Да к тому, чтобы вы поняли, какие огромные возможности для технолога и экономиста таит отделочное производство. Между тем происходит какое-то необъяснимое ложное преломление фактов в сознании руководителей нашей отрасли промышленности. Почти все капитальные ассигнования Наркомат легкой промышленности, затем Министерство текстильной промышленности, затем совнархоз направляли на покупку новых прядильных машин, на автоматизацию ткачества. Отделке доставались гроши. Стыдно сказать, мы отбеливаем в тех же бучильных котлах, красим в тех же барках, что стояли на Большой Ивановской в мои молодые годы при недоброй памяти Бурылине... Куда ни приедешь, тебя сразу приветствуют: «А-а, ивановский ткач!» Но сто лет назад в нашем городе было тридцать шесть бельно-красильных и ситцепечатных фабрик, а ткацких только четыре.

Даже перед первой мировой войной в Иваново-Вознесенске насчитывалось восемнадцать отделочных фирм и лишь восемь мелких ткацких. И все это объяснялось экономикой. В прядении и ткачестве расчеты велись на вес, а не метражом. Поэтому прибыль на затраченный капитал редко превышала восемь процентов.

Владельцы ситцепечатных фабрик на меньше, чем тридцать процентов прибыли, никогда не шли. Во-первых, фабриканты превосходно знали рынок, спрос потребителя. Куда-нибудь в Ганджу, где все жители, в том числе и женщины, предпочитали черный цвет, не пошлют ситец кубового крашения или пунцового ализарина. Знали они, где любят ситец в горошек, где — с розами. Иной раз наткнутся на «жилу» — выпустят удачный рисунок и за сезон наживают полмиллиона. Тот же Бурылин стал печатать ситец с изображением стенных часов. Из Сибири пошли заказы на целые вагоны. Какой-то фабрикант из Эльзаса вчинил Бурылину иск, обвинив его в плагиате, поскольку, дескать, право на выпуск ситца с таким рисунком закреплено за его фирмой. Началась судебная тяжба. И что же? Бурылин доказал, что его рисунок оригинален. На ситцевых «часах» куваевской фирмы стрелки показывали без четверти двенадцать, а у немца — четверть первого.

Неоспоримым документальным доказательством того, что Иваново было прежде всего городом набойщиков, ситцепечатания, служит великолепная коллекция текстильного рисунка в краеведческом музее. Она насчитывает свыше миллиона двухсот тысяч образцов.

— Конечно, в кампании борьбы с низкопоклонством перед границей был большой перекокс,— говорит старший научный сотрудник музея Сергей Федорович Логинов.— Но было и разумное зерно. Посмотрите, что делается. Выпускают роскошный многокрасочный альбом, посвященный шпалерам и вышивкам, сотканным на Западе

и хранящимся в Эрмитаже. Слов нет, культурное наследие надо популяризировать. Но ни одно издательство не хочет замечать аналогичных культурных сокровищ, накопленных в глубине России. Взять хотя бы нашу коллекцию текстильного рисунка. Посмотрите, сколько там настоящих алмазов. Очень остроумно сделана, к примеру, серия рисунков на ситце и репсе, отпечатанных к юбилейной дате — столетию изгнания Наполеона из России! В редкой деревенской избе, особенно в Сибири, не встретишь, бывало, полога из ситца с «модным» по-тогдашнему оформлением.

Действительно, по этим альбомам можно написать целое исследование, посвященное прикладному искусству раскраски тканей, и проследить формирование вкуса потребителя.

К слову сказать, старым альбомам не дают пылиться в музейном хранилище: их очень часто листают приезжие девицы и бородатые молодые люди с удостоверениями Художественного фонда РСФСР. Потом на текстильных выставках появляются чем-то мучительно знакомые рисунки. Знатоки обращаются для сравнений к бурылинским альбомам, но нередко находят в них «пробелы» с высохшими следами клея. «Оригинал утрачен», — пишут в этих случаях хранители музея.

Город Иваново дает за год около миллиарда метров различных тканей, а вся область, носящая его имя, — свыше двух миллиардов. Заказы на ивановские ситцы идут из тридцати пяти стран мира. Но рисунки набиваются, или, как говорят по-современному, печатаются, лишь на трех-четырех метрах из каждого десятка.

Много это или мало?

— Мало! — единодушно заявляют торгующие организации. — Покупателя не прельщает однообразно покрашенный товар — «гладье» залеживается на полках магазинов вчетверо дольше, чем набивной товар. Рынок спрашивает ткани с самым разнообразным оформлением: и с «классическими» рисунками — горохом, «адрианопольским огурцом», клеткой — и с самыми «модернистскими» типа «радуги».

— Много! — говорят отделочники. — По сравнению с заказами на последней ярмарке у нас не хватает мощностей для печатания ситцев на двести семьдесят миллионов метров.

— Хорошо, — отступают торговцы. — Тогда давайте глубокий прокрас «гладкого» товара. И не только сернистыми красителями, но и более дорогими — черным анилином, кубозолями. Потребитель отворачивается от тусклых, невыразительных оттенков.

— Чтобы хорошо прокрасить товар дорогими красителями, надо его предварительно расшлихтовать, отбелить и только потом пропускать через красильные «джигера». И рады бы мы это сделать, да у нас для расшлихтовки не хватает площадей и оборудования.

При последней нашей встрече Иван Андреевич Зверев поворчал по стариковской привычке:

— Разучилась, что ли, нынешняя молодежь колористике. Азбуку нашего ремесла забыли. Забрел я как-то в тот самый цех на Большую Ивановскую мануфактуру, где сменный химиком карьеру начинал, — смотрю и удивляюсь: товар в зрельнике держат не больше пяти минут. Это же варварство, безграмотность. По любому учебнику технологии меньше чем за двадцать минут краситель на полотне не проявится, не «вызреет».

Главный инженер этого предприятия Николай Васильевич Егоров невесело усмехнулся, когда я, проверив замечание Ивана Андреевича, стал расспрашивать о причинах подобной спешки.

— Поверьте, не от хорошей жизни мы стали «скоростниками». Нам приказали выпускать столько товара с вытравными рисунками, что никакого оборудования не хватит. Знаем, что законы химии приказом не отменишь, знаем, что краситель за пять минут в камере под влиянием горячего пара не вызреет. Но ведь иначе не будет «валовки», не выполнишь заказа, заплатишь штраф.

На собраниях партийного актива, где обсуждались постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС, Большую Ивановскую мануфактуру всячески критиковали за «непроизводительные расходы».

— Строго говоря, так называется у нас перекладывание денег из одного государственного кармана в другой. Наше предприятие платит ежегодно выходной базе Ростекстильторга до трехсот тысяч рублей штрафов,— рассказывает директор Большой Ивановской мануфактуры Георгий Александрович Радугин.— Тысяч двадцать платим за «необъявленный брак». Иногда мы расходимся с базой в том, что считать первым, что вторым сортом. Пусть база права, хотя мы и платим вдесятеро больше, чем обнаруженная разница в стоимости между первым и вторым сортом. А остальное — что это за штрафы? За невыполнение заказа в ассортименте — раз, за невыполнение заказа по виду-рисункам — два. Подумайте, виноваты ли мы в этих грехах?

Подумать тут действительно есть над чем. А вот в Госплане и Министерстве торговли почему-то никто не задумывается над тем, что начиная с 1956 года ситцепечатные фабрики платят ежегодно базе Ростекстильторга около двух-трех миллионов рублей штрафа. В чем же тут дело? Может, на отделочных предприятиях сидят безответственные руководители или порочна сама система штрафных санкций? За десять лет сменились и директора и главные инженеры на всех отделочных фабриках. Директора уходят и приходят, а «непроизводительные расходы» остаются.

— Ассортиментный заказ, или «расписание» по артикулам, видам отделки, рисунков, дают за три месяца до нового года или до второго полугодия. А о поступлении суровья (полуфабриката) мы узнаем только за неделю до начала хозяйственного года. И вот пример: в январе мы обязаны сдать базе двести тысяч метров шерстянки в таких-то и таких-то рисунках. Мы обращаемся за товаром к ткацкой фабрике, прикрепленной к нам, и слышим в ответ: «Нам приказано завратить этот артикул с нового года. К началу февраля вы получите свои двести тысяч». И вот только к началу февраля мы запускаем в опалку первую партию шерстянки и начинаем дней через восемь—десять сдавать ее базе. Но к тому времени юридический отдел базы предъявляет три санкции: штраф за невыполнение январской программы отгрузки по шерстянке, штраф за то, что не получили той же шерстянки по видам рисунков, и штраф за то, что «перепоставили» вместо шерстянки пусть дефицитный товар — ситец, но сверх заказа...

— По условиям типового договора,— продолжает рассказывать директор,— январская задолженность должна быть погашена в феврале. Но ткачи не могут совершить чудес — у них строго рассчитано каждое движение батана. Поэтому и в феврале мы получим от них только двести тысяч метров той же шерстянки. За «непогашенные» задолженности мы платим половину первоначальной штрафной суммы, а в апреле — за то же самое — еще двадцать пять процентов. Бывает так, что штрафы за непоставку какого-либо артикула не по нашей вине обходятся дороже его обработки. «А вы пользуйтесь теми же финансовыми рычагами и по отношению к своим поставщикам», — ехидно советуют отделочникам юристы базы. «Ехидно» потому, что юристы знают великолепно, что за недопоставку суровья отделочники могут потребовать штраф, исходя из оптовой цены, а сами платят штраф, исходя из розничной цены готового товара. А это ого-го какая разница в сумме!

Почему молчит Министерство торговли, всякому понятно. Штрафами с промышленности штопаются многие прорехи в организации оптовой торговли. Непонятно только странное молчание Министерства финансов, спокойно наблюдающего за нелепой перекачкой средств.

— Нам думается, и там молчат не без умысла,— говорит Георгий Александрович.— Раз значатся «непроизводительные расходы», то руководящий состав ИТР лишается премиальных надбавок. Экономия по фонду зарплаты возвращается финансовым органам. Это для них доходная бюджетная статья.

Итак, некоторые ведомства от этого в выигрыше. А потребитель? Он от этого остается только в накладе.

Вот какими конфликтами изобилует современная торговая хроника. К директору Ивановского горпромторга С. П. Кумкину пришла на прием группа покупательниц.

— Почему в ваших магазинах торгуют такой дрянью? — изложили они суть своей претензии.— Смотрите, купили в фирменном магазине штапель. Польстились — нарядный и недорогой. Сшили платье, а на улице попали под дождик. Понюхайте, чем от вашего штапеля пахнет!..

По рисунку нетрудно было установить, что ткань обрабатывалась на комбинате имени Ф. Самойлова.

— Что ж,— ответили с фабрики по телефону.— Претензии справедливые. Штапельные ткани проходят у нас так называемую малосминаемую отделку, их обрабатывают формальдегидами. Надо было после обработки (термофиксации) их промыть, а у нас нет оборудования для промывки. Да если бы и дали такое оборудование, то его в цехе негде ставить. Не только ваши покупательницы жалуются. Швейникам вот приходится в цехах, где шьются штапельные платья, ставить дополнительные вентиляторы.

Старейшее предприятие города — ему исполнилось двести пятнадцать лет — Большая Ивановская мануфактура перед войной пропускала за сутки четыреста пятьдесят тысяч метров, а сегодня на тех же площадях — восемьсот тысяч метров. Скорости печатных машин таковы, что ни один самый опытный раклист не сумеет определить, страфлен на полотне рисунок или нет, то есть совпадают ли его цветовые элементы или «наплывают» друг на друга. Совершенно невозможно при таких скоростях определить, не перекошено ли переплетение, не завернуло ли на полотне кромку.

На заключительном заседании комитета осенней Всесоюзной ярмарки текстильных товаров представители Министерства торговли в раздражении заявили:

— Нам нет дела до ваших «скоростей». Если увеличивается программа по видам рисунков, а этого требует покупатель, то ставьте новое оборудование, расширяйтесь!

Претензии эти следовало бы адресовать не к ивановцам, а к тем, кто регулирует направление капитальных вложений.

— Известно, кто регулирует,— заметил на это Д. С. Матвеев, колорист Новой Ивановской мануфактуры имени Жиделева.— В бывшем Совнархозе РСФСР — Кутын, ткач по профессии, в Госплане РСФСР — Спорышев, прядильщик. В Верхне-Волжском совнархозе на всех управлениях сидели ткачи. Что им до нужд отделочников!

Возможно, это обстоятельство и сыграло какую-то роль в том, что отделочники оказались пасынками в семье текстильщиков. Но где же были экономисты, которые личные, местные, профессиональные пристрастия обязаны проверять цифрой, процентом, рублем? В себестоимости каждого метра ткани семьдесят процентов составляет сырье, около семнадцати процентов — расходы на отделку. Вот где следовало бы искать резервы для удешевления тканей!

Надо менять и расширять материально-технический костяк отделочных фабрик. Похозяйски рассуждая, можно было бы давным-давно штрафы, получаемые базой Ростекстильторга, обратить на реконструкцию отделки. Тогда уж наверняка ивановские ситцы не уступили бы венгерским в шелковистости и глубине прокраса. Штапельные ткани не служили бы источником острот для эстрадных сатириков, не залеживались бы они и на складах.

Старая система безвозмездного выделения средств на капитальное строительство приводила к хозяйственным нелепицам. Государство деньги дает — их возврата никто не требует, так не все ли равно, на что их тратить. И вот в городе Приволжске возводят огромный корпус прядильной фабрики, набивают его совершенным оборудованием и... запирают на замок — нет сырья. В том же городе четвертый год подряд не могут (или не хотят) достроить паротеплоцентральный. Без пара и горячей воды нельзя наладить такие процессы, улучшающие внешний вид скатертей и покрывал, как беление и крашение пряжи, расширить цветовую гамму штучных товаров.

Впрочем, только ли от чьей-то злой воли зависело направление средств на реконструкцию? Ведь царская Россия почти не знала текстильного машиностроения. Незадолго до войны один из ивановских машиностроительных заводов специализировали на выпуске красильно-отделочного оборудования, да и то половина портфеля его заказов состояла и состоит из шлихтовальных машин, не имеющих прямого отношения к отделке. Видимо, в неприглядном положении отделочных фабрик сказались и валютные соображения. Но разве не разумнее ли было тратить валюту на покупку ситцепечатных машин, а не ситца и полотенец?! Теперь, правда, собираются строить три новых завода, которые через год-другой будут выпускать машины и агрегаты для беления и крашения тканей.

Пройдясь по лабораториям семи ивановских отделочных фабрик, невольно присоединяешься к точке зрения Матвеева. Втуне ведь лежат пока целые тома, в которых изложены сотни новых рецептов отбеливания, окраски и набивки, рецептов, найденных в лабораториях, опробованных в цехах, но, к сожалению, не реализованных из-за слабостью техники и поклонения плановиков богу вала.

Еще до войны на «Красной Талке» начала действовать первая в мире линия непрерывного отбеливания тканей. Классический способ беления протекал тридцать—тридцать шесть часов, а на потоке ткань белится за два-три часа. После войны была поставлена вторая поточная линия, которая доказала окончательно свое преимущество перед классическим способом отбеливания в котлах. Теперь любой проектировщик принимает без дискуссий новый способ отбеливания, найденный, впервые разработанный и обоснованный теоретически в Иванове.

Сотни тонн крахмала потребляли цехи, в которых товар получал завершающую отделку. А в прошлом году крахмальные заводы были вынуждены искать других потребителей — около четырехсот шестидесяти миллионов метров получили несмыываемый аппрет из поливинилового спирта, ацетатной эмульсии, карбамола, латексов. И родилось это также в лабораториях ивановских химиков. Новая отделка повышает носкость ткани на двадцать пять процентов. Каждый метр дает фабрикам восемь копеек прибыли.

Летом почти каждая четвертая женщина в возрасте до тридцати лет носила платье с оранжевыми, желтыми и красными полосами — рисунком «радуга». На этот раз ивановским отделочникам удалось быстро справиться с заказами рынка. Помогла трехцветная печать — тоже детище ивановских колористов и граверов.

Недавно появилась еще новинка — вельвет-корд, ткань с рубчиком и набивным рисунком. Придумали такой товар те же ивановские колористы.

Если мы начнем перечислять новые рецепты, предложенные ивановскими химиками, то увидим, что одна экономия от их предложений могла бы покрыть половинную долю расходов на реконструкцию. Мы не называем имен изобретателей, чтобы не вызвать у них горечи: далеко не все их предложения осуществлены в сегодняшних тесных цехах ивановских фабрик.

«Плохо жить без забот, худо без доброго слова» — говорит народная пословица. Не часто добрые слова слышатся по адресу отделочников. Правда, добрых намерений поднять их настроение было немало. Формально существует несколько премиальных систем: за перевыполнение плана, за новые рисунки, за выполнение экспортных заказов, за освоение новой техники. Все это хорошо, но беда в том, что за последние четыре года ни один коллектив отделочников не получал премий. Причина в оговорке к этим системам — «за счет фонда зарплаты». Ни для кого не секрет: фонд зарплаты и штатное расписание — две несходящиеся величины. При хроническом перерасходе спущенных сверху фондов какое может быть премирование!

\* \* \*

Петр Иванович известен в Иванове как лицо руководящее уже не первый десяток лет. И когда я завел с ним разговор о хроническом отставании отделочных фабрик, то он обычным снисходительным тоном рассказал известную всем историю о ситцевом рисунке со стенными часами.

— Полмиллиона нажил, сукин сын, — с восхищением отозвался он о фабриканте. — А ведь на старой технике, без отбельных агрегатов, без поливинилового аппрета. Не только техника, а и коммерческая жилка требуется, — наставительно добавил Петр Иванович.

— А искусство художника?

— Какого? Часы-то нарисовать? Впрочем, — спохватился он, — хороший директор без совета художника шагу не ступит.

Пришлось невольно улыбнуться. Когда финансовые органы ежегодно требовали сокращения на столько-то процентов административных расходов, то Петр Иванович,

будучи тогда директором фабрики, сократил секретаря-машинистку у заведующего ситцепечатным производством и двух художников.

Колористу, как тогда назывались начальники отделочных производств, химику высокой квалификации приходилось тратить драгоценные минуты на вызовы людей к телефону и на переписывание суточных заданий по цехам. Колорист мучился, но терпел. Когда дело дошло до сокращения художников, он встал на дыбы:

— Только через мой труп. Поймите, без художника нет ситцепечатной фабрики.

— Уплотните труд остающихся,— потребовал Петр Иванович.— Что это за работа — по неделе над одним рисунком сидят. А потом на художественном совете чашенько под брак попадает.

Не запомнил я, чем закончился тогда этот конфликт, но мне было известно, что с фабрики Петра Ивановича мало-помалу уходили талантливые художники, оставались вчерашние десятиклассницы, научившиеся рисовать «колючки», «горошек» да компоновать сорочечные рисунки из линий. Предприятию приходилось покупать рисунки в Художественном фонде и тратить на эти цели вдесятеро больше, чем стоило содержание двух-трех уволенных художников.

Начало оскудению ситцепечатного ассортимента было положено еще в тридцатые годы, когда под лозунгом досрочного выполнения пятилетнего плана с фабричных складов вывозились медные валы с награвированными для ситца рисунками и переплавлялись на Кольчугинском заводе, превращались в обычную проволоку.

Нужда заставила мудрить: пришлось текстильщикам удваивать срок службы оставшихся валов, хромируя их поверхность. Но и это не спасало положения. Вместо двух тысяч рисунков (а на каждый рисунок требуется от одного до десяти валов) в обороте оставалось каких-нибудь две-три сотни их. По пять-шесть лет подряд на тканях печатались одни и те же ромашки и незабудки. Не избалованный изобилием товаров, тогдашний рынок поглощал все, что поступало в магазины. Те годы ушли в историю. Руководители современного рынка то и дело сигнализируют о затоваривании то одним, то другим артикулом ткани. Более того, во всех крупных городах появились магазины продажи тканей с устарелой отделкой по пониженным ценам.

Естественны требования к отделочникам: «Больше разнообразия в отделке! Чаще обновляйте рисунки!» Новые рисунки (хорошие или плохие — об этом дальше) найдутся, но как их воплотить на меди?

Текстильных художников время от времени собирают, призывают смелее рвать со старым традиционным рисунком, учитывать вкусы подрастающего поколения.

Возвратятся художники в свою мастерскую и дают волю фантазии. Заведующий производством, заходя к ним, недовольно морщится:

— Вы бы, ребята, поближе к жизни. Валов у нас в обрез. Больше чем на три-четыре вала рисунки не рассчитывайте.

— А что, Василий Петрович, простаивают наши десятивальные печатные машины. Для них мы и думаем о многоцветном рисунке.

— Ничего, мы их и на три вала приспособим.

«Приспособить», упростить технологию, обеднить ассортимент — дело нехитрое. Но по-хозяйски ли это? Не ответится ли это понижением фондоотдачи? Ведь «десятивалка» — машина дорогая, куплена она в Чехословакии или ГДР, а печатать на ней заставляют простецкие дешевые ткани.

Иногда в нашей печати проскальзывают жалобы: вот, мол, не идут художники в прикладные отрасли искусства, между тем такие знаменитости, как Пикассо и Корбюзье, не брезгают продавать свои эскизы фабрикантам гобеленовых и декоративных тканей.

Мне пришлось рассматривать постатейный анализ себестоимости почти всех артикулов печатного товара. Ни в одном случае не удалось обнаружить графы — стоимость художественного оформления. Действительно, платят художнику до ста рублей в месяц, а дает он на эти деньги по четыре-пять рисунков. Если каждый рисунок тиражируется по двадцать тысяч метров, то стоимость рисунка на метр обойдется в одну десятую долю копейки.



Почему художник К. С. Логинов (фабрика имени Варенцовой), создавший рисунок «радуга», который разошелся прошлым летом тиражом в пять миллионов метров, получил вознаграждение в... тридцать рублей?

Оказывается, таковы инструкции.

Принцип личной материальной заинтересованности в подъеме народного хозяйства, провозглашенный на мартовском и сентябрьском Пленумах ЦК КПСС, давно прса распространить и на художников текстильного рисунка.

Почему же этого не сделано до сих пор? Да потому, что среди хозяйственников все еще живы старые, «купцовские» взгляды на труд художника. Рассказывают, что бывшая владелица Большой Ивановской мануфактуры Надежда Харлампиевна Куваева научилась в пансионе весьма мило рисовать акварелью букетики ландышей в альбомах подруг. Используя свои хозяйские права, она заставила колориста воспроизводить свои художественные опусы на ситце. Коммивояжеры, распространявшие товар фирмы, с отчаянием писали управляющему:

«Уважаемый Николай Геннадьевич! А товар с рисунками Надежды Харлампиевны харьковские оптовики обсмеяли, а в Ростове-на-Дону даже рассматривать не стали — не свичен казачий вкус к таким картинкам. Больше всего спрашивают с нашей фирмы ситца с леоновскими рисунками. Вышлите с первой же оказией альбомы-прейскуранты с его последними работами...»

Художник Леонов прослужил в фирме Куваевых около двадцати лет да сголько же проработал при советской власти, которая в 1939 году наградила его орденом Ленина. И было за что! До сих пор в «накатной» хранятся макеты, на которых награжены леоновские рисунки. Он был непревзойденным мастером рисунка для детских платиц и «мильфлёро» на белоземельном фоне.

Петр Иванович, о котором шла речь выше, давно уже не работает в текстильной промышленности, но его отношение к художническому делу разделяют преемники. На Большой Ивановской мануфактуре до войны, когда жив был еще Леонов, в рисовальной мастерской сидели пятнадцать художников. Теперь на этом предприятии прибавилось пять печатных машин, число рисунков, создаваемых художниками, утроилось, а число самих художников «обтягло» до девяти человек. Понятно, что в таких условиях не до углубленных творческих разработок — лишь бы выполнить месячный план. До войны ивановские художники текстиля ездили за счет предприятий в районы сбыта своих произведений — в Среднюю Азию, на Кавказ, Украину. Оттуда привозили они пухлые альбомы с зарисовками увиденных орнаментов, вышивок гладью, узоров на керамике, с зарисовками местной флоры. Надо ли подчеркивать, как это обогащало их художественный кругозор, насколько благотворно сказывалось на их продукции! Прошлым летом предполагалось (после длительного перерыва) послать на знакомство с покупателем в те же районы тридцать шесть художников, а посчастливилось совершить такие поездки лишь семерым.

— Были готовы и командировочные удостоверения, да райком и райисполком дали фабрике дополнительную разрядку послать в колхоз людей на копку картофеля, — с грустью рассказала мне художница Михайлова.

Отводились когда-то для художников творческие дни. Раз в неделю под руководством преподавателя художественного училища М. Н. Троицкого выезжали человек тридцать художников за город, куда-нибудь в пойму Уводи, и становились активными «соглядатаями природы» — пробовали силы в пейзажных этюдах, в точной передаче цветовой гаммы живых полевых цветов. Сейчас об этом только вспоминают. Какой там «творческий день», если снова и снова «трудовики» придумывают для художников «повышенные нормы».

Ни в одной рисовальной мастерской не увидишь даже журнала «Декоративное искусство», не говоря уже о «Творчестве», «Искусстве», «Художнике». Директива о сокращении ведомственной подписки задела раньше всего художников.

Зато на художественных советах, отбирающих рисунки для производства, критики по адресу творцов нового оформления хоть отбавляй.

— Производства вы не знаете, — разносит художника один из вершителей судеб, — пустили два сантиметра белой площади в этой композиции. Что сие обозначает? Зна-

чит, надо перед печатанием ткань отбеливать. Но ведь товар фоновый — можно бы и по суровью печатать.

— Снова увлечение многоцветными решениями. И без того валы стачиваешь раньше срока.

Но никто и слова не скажет об эстетической ценности подлежащих обсуждению работ. И это не удивительно: ведь судьи в совете — инженеры, теплотехники, снабженцы. Для них приемлем лишь такой рисунок, который не потребует дополнительных хлопот и затрат.

— Нужен институт промышленной эстетики, — предлагает Александр Иванович Мольков. — Тогда художник избавится от диктата невежд.

Теперь, при новой системе хозяйствования, иной директор скажет: «Зачем вы будете навязывать мне сверху даже рисунки и их расцветки? Предприятие само выберет то, что скорее разойдется в народе, что больше принесет прибыли».

Но прибыль-то приносит хороший оригинальный рисунок, новые виды отделки — несминаемая, безусадочная, лощеная, «жатая». Да мало ли чего придумано для покупателя химиками и инженерами?!

\* \* \*

Вот и прошло перед глазами читателя краткое обозрение света и теней города ткачей... Как будто сказано больше о тенях, нежели о свете. И это вовсе не потому, что автор не знает или не желает видеть светлые стороны. Он просто не хочет повторять хрестоматийных истин: да, до революции это был безудельный город, в котором не было даже своей коренной интеллигенции. Ивановский рабочий класс показал свою силу не только в 1905 году, создав первый в России общегородской Совет рабочих депутатов, но и свои организаторские способности, прогнав буржуазию и поставив на службу Советскому государству промышленный потенциал города. Михаил Васильевич Фрунзе придал этой цитадели рабочего класса то значение, которое она заслуживала. Город стал губернским, а затем областным центром. Михаил Кольцов в 1929 году назвал его «третьей рабочей столицей».

За сорок восемь лет советской власти его население увеличилось в пять раз, а полезная жилая площадь — в семь раз. Ежегодно сдается под квартиры около ста двадцати тысяч квадратных метров. В городе насчитывается сто промышленных предприятий, из них полсотни новых. Названия «Красной Талки», меланжевого и камвольного комбинатов известны в стране каждому грамотному человеку.

Иваново сохранило за эти годы облик рабочего города: крупнейшие фабрики, в том числе и Большая Ивановская мануфактура, расположены в самом центре, а не по окраинам. На его предприятиях занято около ста тысяч рабочих и выпускается различной промышленной продукции вдвое больше, чем до революции.

Все это бесспорные истины.

Но частое повторение их как-то отучило нас думать о том, что могло бы быть, если бы...

— Иваново могло бы и должно стать научным центром хлопчатобумажной промышленности, — мечтательно говорит Павел Иванович Аристов, заместитель директора Ивановского научно-исследовательского текстильного института. — По каким-то причинам этого до сих пор не случилось. Смотрите, наш институт, зарекомендовавший себя своими трудами, сорок лет ютится в прифабричных пристройках. А там все зависит от настроения директора или главного инженера: захотят — пустят, не захотят — прогонят.

Обратимся к учебному Ивановскому текстильному институту. За последние годы там почти прекратили готовить инженеров — прядильщиков и ткачей. За счет ткацкого и прядильного факультетов стали расширять швейный, механический и другие. В результате даже на городских фабриках трудно найти начальника цеха с инженерным дипломом, а половина мастеров — практики даже без дипломов техника.

В самом институте осталось три-четыре преподавателя с докторскими дипломами, а ведь институт существует сорок с лишним лет.

Один из московских профессоров на предложение занять кафедру в Ивановском институте ответил примерно так:

— Ивановские фабрики не представляют научного интереса. Там заправлен массовый ассортимент — миткаля, бязи, сатины. Гребенного прядения почти нет. Цель у руководства одна — выгнать побольше метров. Вот если бы город стал своего рода технической и экономической лабораторией для всей текстильной промышленности, тогда стоило подумать о переезде к вам.

И еще он сказал:

— Может быть, вам надо реже сравнивать свои дела с тем, что было полвека назад или до войны, а зорче смотреть вперед и суметь понять причины того, почему вы остаетесь периферией, а не научной столицей текстиля.

Тут не во всем можно согласиться с профессором. Сравнить настоящее с прошедшим всегда полезно, если, конечно, это делается не в целях самолюбования, а для того, чтобы энергичнее уходить от прошлого, находить самые прогрессивные способы создания вещей, удовлетворяющих первую по счету после пищи потребность человека.

Иваново.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМЯХ

И. ОСИПОВ

★

## НА БЕРЕГУ ОДЕРА

I

**П**оезд выбрался из кирпичного ущелья берлинских пригородов, и сразу же за окнами вагонов показались чистенькие, заботливо ухоженные дубовые рощи. На станционных платформах шагали дородные мужчины с двустволками, в зеленых вельветовых куртках и с обязательным перышком фазана, воткнутым за ленту фетровой шляпы. Возле виадука станции Эберсвельде стоял грузовик. В открытом кузове едва поместились черные туши диких кабанов — четыре трофея удачливых охотников, картинно восседавших под полосатым тентом пивного бара.

На всем протяжении недолгого пути от Берлина до Шведта — то у самых рельсов, то в отдалении — мелькают небольшие леса, рощицы. Они уцелели вместе со своими пернатыми и четвероногими обитателями в двух шагах от заводов и автострады, по которой мчатся тысячи автомобилей. Любо поглядеть, как охраняются эти зеленые островки.

Когда проводник объявил, что следующая станция — Шведт, в вагоне, кроме меня, осталось только два пассажира. Я уже знал, что они возвращаются на работу, отгуляв выходные дни у себя дома: монтажник Карл Ленгефлинг — в Эрфурте, сварщик Клаус Керхлинер — в Дрездене. Оба работают в Шведте, живут в общежитии, в «вонхейме», недавно построенном в центре города. Едва лишь поезд набрал скорость, отойдя от перрона берлинского вокзала, молодые монтажники растянулись на скамьях, положив под голову аккуратно свернутые пиджаки, и проспали сладким сном всю дорогу. Так уж, наверно, заведено у них — не терять попусту времени, когда возвращаешься на стройку, в свой «вонхейм».

Станция Шведт возникла на опушке леса — узкая деревянная платформа, приземистое, одноэтажное здание вокзала и множество пестрых указателей, любезно направляющих пассажира к дежурному по станции, билетной кассе, телефону-автомату, выходу и входу по обе стороны перрона, к газетному киоску, буфету, остановке автобуса, почтово-телеграфному окошку.

В просветах между деревьями поблескивало широкое в эту осеннюю пору, полное русло Одера. Там, вдоль границы Германской Демократической Республики и Польши, запоздало зеленели луга и на равном расстоянии друг от друга стояли рыжие скирды сена.

Карл и Клаус простились со мной и вскочили на ходу в автобус. Референт директора нефтеперегонного завода, с которым условились мы по телефону о встрече, появился только через полчаса, и у меня оказалось достаточно времени, чтобы вспомнить на этой опустевшей станционной платформе то, что вернуло к жизни город Шведт. За рощей, километрах в пяти от станции, можно было разглядеть плоские крыши его домов, а чуть дальше развевался на ветру розовый лоскут факела.

Газ, зажженный на берегу Одера, извещает каждого, кто едет в Шведт, что здесь — устье нефтяной реки, берущей начало за тысячи километров от немецкой земли.

В то летнее утро, когда в башкирской деревушке Туймазы у подножья Нарышевского холма забил первый фонтан, никто не мог бы, конечно, предвидеть, что этот поток нефти поднимет когда-нибудь из руин старинный немецкий город. Мастер Андрей Трипольский стоял на скользких, заляпанных грязью мостках буровой вышки и смотрел, как золотисто-коричневый ручей весело заполняет деревянный желоб.

С высокого холма видна была широкая равнина, исполосованная колесами грузовиков и гусеницами тракторных тягачей. Кое-где маячили вышки. Возле них земля почернела.

Это было поле сражения за девонскую нефть. К ней пробивались упорно, долго, пробивались в самые трудные времена, когда наши солдаты еще не подошли к Одеру. Гораздо важнее было тогда сверлить землю там, где уже давно нашли нефть. Каждый мотор был на счету: Уралмаш выполнял заказы фронта. Но дряхлые бурильные станки еще служили нефтеразведчикам верой и правдой. Возле них вставали на трудную мужскую вахту колхозницы.

Вскоре после войны геологи проникли к девонским пластам. Сбылось все, что предсказывал академик Иван Михайлович Губкин: таких фонтанов не получали с давних времен, когда прославился Баку. Потому и назвали приуральский район девонской нефти Вторым Баку.

В сорок девятом году я приехал в татарскую деревню Альметьево. Вдоль старинного тракта выстроились в два ряда рубленые избы, и в каждой хозяева потеснились, дав приют рабочим буровой бригады. За околищей стояли вышки. Здесь, в пятидесяти километрах от Нарышевского холма, тоже нашли девонскую нефть. Где же, думали геологи, берега подземного нефтяного моря? На все четыре стороны света простирались в глубинах земли пласты, впитавшие в себя, словно гигантская губка, миллиарды тонн нефти.

Молодой геолог Рафкат Мамлеев спросил:

— Вы уже видели нарышевский фонтан. Хотите поглядеть на альметьевский?

Мамлееву было двадцать лет, он только второй сезон работал в поисковой партии после окончания техникума, и понятно было, как не терпится ему показать свой фонтан.

Мы вышли на улицу, где в этот ранний час еще не клубилась пыль под колесами грузовиков — они сгрудились всем табуном посреди деревни, возле колхозных машин, тоже еще не получивших крова.

— Нам недалеко, пройдемся пешком, — предложил Мамлеев.

За крайней избой открылись хмурые осенние поля. Низко над черной пахотой таяли космы тумана. В просветах между ними можно было разглядеть синеватую щетину леса. Здесь не было ни одной вышки. «Где же этот альметьевский фонтан? — подумал я, шагая по рыхлой борозде. — Если за лесом, то лучше бы взять дежурную машину».

И тут, словно угадав, о чем я размышляю, Мамлеев сказал:

— Когда-нибудь еще побываете в наших краях — вот здесь, на этом поле увидите город.

Вот зачем, оказывается, привел он меня сюда. Мы подошли к деревянному колышку, вкопанному в землю посреди вспаханного поля. Обычно такие «маяки» ставят геологи, отмечая место для новой разведочной скважины. Но этот «маяк» принадлежал геодезистам. Они отметили центр будущего города.

— А парк культуры и отдыха будет в той роще, — продолжал Мамлеев.

Солнце уже всплыло над рощей, позолотив вершины елей и дубов.

— Мы узнали, — сказал Мамлеев, — что под этим полем и под рощей тоже нефть. Решили не ставить здесь вышки. Не мешать будущему городу. А нефть достанем наклонными скважинами.

И он объяснил, как будут ставить вышки за чертой города, направляя ствол каждой скважины под землей сюда, под это поле, под этот лес. И никому не помешают в городе и в будущем парке буровые бригады. Они будут жить в этом городе, добывая нефть из-под своих улиц и площадей. Нельзя было не согласиться с ним, что это очень разумное решение. И нефть получат, и городу не причинят никакого урона.

Потом мы пошли туда, где виднелось несколько вышек. Молодой геолог привел меня к фонтанной скважине, показал манометр, привинченный к черной трубе. Стрелка циферблата неподвижно застыла возле цифры «90», и я узнал, что поток нефти, идущий из девонских глубин, развивает давление в девяносто атмосфер. Мы не видели его, но можно было, приложив ухо к трубе, услышать, как шелестит за стальной стенкой фонтан, низвергаясь в закрытый резервуар.

Через пять лет я приехал в Альметьевск. В городе уже насчитывалось почти двадцать тысяч жителей. Гостиницу построили на пригорке, рядом с Домом техники. В окно виден был весь город — прямоугольники его кварталов, связанных широкими проспектами. На фоне белых стен отчетливо вырисовывалась зеленая кайма молодых тополей. Над крышами поднималось несколько строительных кранов. Далеко у самого горизонта стояли нефтяные вышки. Там где-то был и первый фонтан, возле которого Рафкат Мамлеев говорил о будущем городе.

Я не мог еще раз повидать молодого геолога — он улетел в Москву сдавать зачеты в заочном отделении института имени Губкина. Он работал уже на первом нефтяном промысле. Там же, где пять лет назад прошел с разведчиками недр. (Кстати, о том, как сегодня живет и работает Мамлеев, ставший главным геологом в Сургуте, было рассказано в очерке К. Лагунова «Нефть и люди», напечатанном в шестой книге «Нового мира».)

Разведчики продолжали дело, начатое до войны. Карты двух республик — Башкирии и Татарии — сплошь покрывались черными кружками, обозначающими новые месторождения нефти. Невдалеке от Альметьевска началось строительство еще одного города, ему дали имя Лениногорск.

Отсюда ушла на запад магистраль «Дружба». Нефть Второго Баку потекла, пересекая государственные границы, далеко, на Одер.

## 2

Вторую неделю живу в Шведте, в доме на улице Мархлевского. На этой улице только четыре больших пятиэтажных здания. Два заселены, и по вечерам все окна светятся, а остальные еще не облицованы, возле них чернеют траншеи, лежат трубы канализации, кирпич, цементные блоки.

Одна квартира в нашем доме отведена для приезжающих в командировку.

Ровно в семь часов утра к нашему дому подъезжают три вместительных автобуса. Ровно в семь пятнадцать они уходят к нефтеперегонному заводу. Автобусы везут утреннюю смену туда, где виден в посветлевшем небе золотистый лоскут газового факела. Вдоль шоссе стоят дубы и клены, заслоняя купола перегонных башен.

Загорается свет в кабине строительного крана возле пятиэтажного дома с еще забитыми фанерой оконными проемами. По улице катятся грузовики с зажженными фарами. Чинно, взявшись за руки, всегда в том месте, где это разрешено пешеходам, переходят дорогу ребята, направляясь в детский сад.

Все это каждое утро можно видеть в окно, выходящее на улицу Мархлевского. Если же взглянуть в другое, обращенное в противоположную сторону, то перед глазами встает острый шпиль кирпичи, словно сошедшей со старинной гравюры. Там же виднеется несколько кирпичных зданий казарменного облика, с маленькими незастекленными окнами и двускатными черепичными крышами. Это сараи для сушки табака. Вот уже триста лет, с той поры, когда на Одер переселились из Франции преследуемые католической церковью гугеноты, Шведт поставляет на рынок табак.

Протестантская кирха, табачные сараи и горстка одноэтажных домов — это все, что уцелело в апреле сорок пятого года. Гитлер послал в Шведт оберштурмбаннфюрера эсэсовца Скорцени и парашютистов-диверсантов, приказав любой ценой удержать «крепость на Одере». Командант Шведта Скорцени вооружил всех, кого еще не успели погнать на фронт, — мужчин старше пятидесяти лет и пятнадцатилетних школьников. На старинном каменном мосту через канал были повешены девять горожан, уклонившихся от тотальной мобилизации. Скорцени объявил населению: семьи всех, кто попадет в плен, будут уничтожены.

Когда наши войска подошли к Одеру, гитлеровцы взорвали лед на реке и в канале. Вода хлынула в низину, залила болота. Перебежчики и пленные рассказывали: эсэсовцы засели с пулеметами позади окопов, предупредив, что при малейшей попытке отступить откроют огонь по своим.

Скорцени спас свою шкуру, покинув «крепость на Одере» за несколько дней до ее падения. Но из-за него в городе осталось семнадцать процентов неразрушенных зданий.

В одном из таких домов, чудом уцелевшем при артиллерийском обстреле, в тесной комнатке магистрата молодой архитектор Хайнц Вайзе показал мне генеральный план Шведта. Подобно многим специалистам, потянувшимся в Шведт со всех концов Германской Демократической Республики, Хайнц Вайзе приехал, увлеченный масштабами стройки на берегу Одера.

— Это наша Магнитка,— говорит Вайзе, разворачивая широкий рулон ватмана на двух сдвинутых столах.— Здесь только часть стройки, будущий город. А вон там,— он протянул руку в сторону, где обрывалась у края листа прямая линия шоссе,— строится комбинат.

Молодой архитектор учился в Веймаре, работал в проектно бюро Франкфурта-на-Одере, потом в Ангермюнде. Одно время даже был начальником строительства, правда, небольшого, всего лишь на полтора миллиона марок. Нет, нельзя сказать, что эти годы прошли без всякой пользы для него как для архитектора. Каждая стройка — это и опыт, и новые знания. Даже простой, типовой проект жилого дома может стать интересной задачей. Но ему давно хотелось участвовать в каком-нибудь масштабном проектировании. Вот почему он поспешил в Шведт, стремясь оказаться у колыбели нового города.

— Этот младенец, правда, доставляет нам уйму хлопот. Сперва определили для него семнадцать тысяч жителей. Ну, и все остальное наметили в соответствии с этой цифрой. Потом переиграли — так, кажется, у вас говорят? — исходные данные. Стало тридцать тысяч жителей. Прошло еще немного времени — сказали: «Стройте город на пятьдесят четыре тысячи».

То же самое происходило и при рождении Альметьевска. Вначале думали построить город на двадцать тысяч жителей. Вскоре потребовался гораздо больший размах во всем — и в строительстве дорог, и в сооружении электростанций, и в проектировании города для нефтяников Татарии. Увеличили цифру до тридцати тысяч. Под конец решено было строить город тоже на пятьдесят тысяч жителей.

В генеральном проекте Шведта — такая же роца за городской чертой, как и там, у истоков нефтяной реки Второго Баку. Только в Альметьевске давно горят по вечерам огни в аллеях, а здесь такие аллеи пока еще лишь нарисованы на листе ватмана, и такие же матовые фонари выстроились в два ряда, и даже скамейки, мне кажется, точно такие же.

— Пока возникал генеральный проект,— продолжает Вайзе,— строители не сидели без дела. Никто еще не знал, каким будет Шведт, а город уже вставал из руин. Иначе и не могло быть.

Так, одновременно с проектированием нового Шведта началась застройка его территории. И пришлось волей-неволей учитывать при составлении различных проектов то, что уже оделось в бетон и керамику. Архитекторы еще спорили, сохранить ли исторически сложившийся центр города возле уцелевшей готической кирхи или перенести его к востоку, на скрещение будущих городских магистралей, а в новые квартиры вселялись семьи строителей нефтеперегонного завода. От вышек Татарии и Башкирии уже легла на сотни километров магистраль «Дружба». Там, на трассе гигантского трубопровода, строители опережали сроки, быстро укладывая в землю русло для нефтяной реки. Здесь, на берегу Одера, надо было встретить ее, как говорится, во всеоружии. В три смены работали монтажники на площадке нефтеперегонного завода, тоже опережая все сроки. Тысячи людей съезжались в Шведт, заполняли деревянные бараки, надеясь в скором времени получить квартиры, привезти семьи. Нельзя было ждать, пока возникнет окончательный вариант генерального плана застройки Шведта. Людям нужны были дома.

Авторы проекта Альметьевска оказались в таком же положении. Им тоже некогда было «шлифовать» проект и приходилось проектировать и строить одновременно.

Автор последнего, третьего по счету, проекта застройки Шведта профессор Рихард Паулик удачно решил свою задачу — построенное и задуманное слилось в единый изящный городской ансамбль. Вот уже четыре года Шведт строится по генеральному плану, строится добротнo, с учетом лучших достижений современного градостроительства. Задумано и осуществляется в строгой последовательности несколько комплексов, расположенных в виде полукольца. Дубовая роща будущего городского парка служит восточной границей территории застройки. С запада ее окаймляет русло канала. Высоких зданий немного, преимущественно в центре. Одно из них уже поднялось во весь десятиэтажный рост. Это тот самый «вонхейм», молодежное общежитие, куда пригласили меня попутчики в поезде Берлин — Шведт.

Желая сохранить в облике нового Шведта, среди его прямых улиц, просторных площадей, большеоконных зданий, облицованных светлым пористым бетоном, хоть что-нибудь, напоминающее о семисотлетней истории города, архитектор предложил не заслонять новыми домами готический шпиль кирхи и оставить в неприкосновенности пятиэтажные кирпичные сараи, построенные некогда для сушки табака. Разрушенный замок курфюрста Фридриха-Вильгельма будет реставрирован и войдет в городской ансамбль на тех же правах, что и кирха, и сараи табаководов.

В Шведте будет семнадцать тысяч квартир. Построено пять тысяч. В 1980 году завершат выполнение генерального плана застройки, и тогда в новом городе будут обитать пятьдесят четыре тысячи человек.

Записав в тетрадь эти цифры, я вышел из магистрата, чтобы до наступления темноты побывать там, где белые картонные кубики генерального проекта уже превратились в новые дома. Прежде всего бросается в глаза точное соответствие архитектурного замысла и его материального воплощения. Весьма поучительно это строгое соблюдение всех намеченных в проекте требований. Можно было спорить, прикидывать, как лучше использовать территорию, как расположить отдельные здания, чем их облицевать, чем отделать квартиры, лоджии, балконы. Но с той поры, когда вступил в силу утвержденный проект, все его детали, все обозначенные условия выполняются неукоснительно. Происходит так потому, что каждое требование архитектора выполняемо. Все, что он задумал, опирается только на реальные возможности, на точный учет материалов и техники, которыми располагают строители.

Снова вспомнился мне Альметьевск той поры, когда генеральный план застройки стал наконец законом. Это было почти двадцать лет назад, и, к сожалению, не удалось тогда выполнить с той же строгостью все задуманное. Многого не хватало в первые послевоенные годы, и пришлось скрепя сердце часто вносить поправки, изменять — далеко не к лучшему — первоначальный проект...

Несколько часов я провел в общежитии, где поселились тысяча двести молодых рабочих нефтеперегонного завода и строителей Шведта. На восьмом этаже отыскал комнату Карла Ленгефлинга и Клауса Керхлинера. Они снова уехали утром на «отгул» в Эрфурт и Дрезден. Третий обитатель комнаты, тоже монтажник, еще не вернулся с вечерней смены. Над его кроватью висела гитара, на столе лежал раскрытый учебник геометрии. Уборщица, отлично знающая, видимо, всю подноготную каждого обитателя вверенного ей этажа, сообщила, что он из Иены, учится на заочном отделении Берлинского технологического института, а его невеста работает в заводской амбулатории, и весной, когда построят дом для молодоженов — корпус уже готов, начались отделочные работы, — они поженятся, получат однокомнатную квартиру, и монтажник освободит эту кровать. Уборщица сказала:

— Хороший парень, а невеста мне, знаете, не очень нравится. Так, ничего особенного, смазливая блондиночка, из нынешних, прямо соскочивших с рекламы одеколona.

Не знаю, что еще рассказала бы она о частной жизни монтажника и о его невесте, если бы не распахнулась дверь вызванного мною лифта. На девятый этаж уборщица восьмого не поднялась. Каждый этаж — вполне автономное, можно сказать, предприятие бытового обслуживания. Своя кухня (только для того, чтобы подогреть пищу),



своя душевая, своя комната для занятий и, конечно, своя — более или менее словоохотливая — уборщица. У телевизора собираются все вместе — в одной просторной комнате.

Архитектор Хайнц Вайзе нисколько не преувеличивал, говоря, что центр будущего Шведта уже «выкристаллизовался». Таким бетонным кристаллом в десять этажей стоит в центре города «вонхейм», а напротив, через дорогу, подвели под крышу еще одно такой же высоты здание. Сюда-то и переедет монтажник со своей молодой женой, чем-то не угодившей придиричивой уборщице восьмого этажа. Дом для молодоженов еще не облицован, однако можно угадать, что будет он выглядеть не хуже соседа. Каждая квартира из одной комнаты и кухни имеет балкон, прикрытый с двух сторон тонкими панелями. Летом он служит как бы дополнительной комнатой — стоит лишь опустить жалюзи. Зима в здешнем краю не очень сурова, и, наверно, совсем ненадолго придется отказываться от балкона.

На плоской крыше «вонхейма» стоят скамьи, столики. С высоты десятого этажа открывается широкая панорама стройки и окрестностей Шведта. Нетрудно отыскать глазом границы каждого квартала: они нанесены на местность в точности, как и на генеральном проекте. Два таких крупных района уже вчерне застроены. Видно, что эти «комплексы» оправдывают свое наименование. В центре каждого — магазины, кинотеатр, спортивная площадка, школа, амбулатория, детский сад. Эти здания расположены таким образом, что людям, которые пользуются ими, нет нужды пересекать оживленные городские магистрали.

Автомобиль надо удалить от жилья — такое требование руководило авторами проекта. Смысл его состоит в том, чтобы отвести подальше автотранспорт от квартиры, не причиняя, конечно, никаких неудобств населению. Но что, спрашивается, лучше, полезнее: пройти от остановки автобуса пятьдесят или даже сто метров или с рассвета до ночи слышать за окном неумолчный гул моторов, скрежет тормозов?

В планировке нового Шведта предусмотрено, что поток автомобилей не захлестнет жилые дома, не будет сотрясать оконные стекла. Между улицей и фасадами оставлено место для зелени, широких тротуаров, велосипедных дорожек и просто для защиты человека от созданных им же автомобильных моторов. Пусть они выполняют свое назначение, не доставляя ежеминутно неудобств тем, кто вернулся с работы домой и жаждет тишины.

На генеральном проекте застройки Шведта магистральное шоссе, соединяющее город с нефтехимическим комбинатом, обрывается у края бумажного листа. С крыши «вонхейма» видна эта дорога на всем ее восьмикилометровом протяжении — от окраины Шведта до ворот комбината. Виден и факел, горящий там над перегонными башнями. И можно оценить предостерительность строителей Германской Демократической Республики, отодвинувших площадку большого предприятия на столь приличное расстояние от жилищ его рабочих.

Прохладный ветер середины ноября заставил меня уйти с бетонированной крыши. Спускаясь по крутой лестнице, я успел еще заметить, что ветер дует в сторону комбината, отгоняя прочь от города дым, поднимающийся над трубами, дует в лицо автобусам, идущим оттуда с дневной сменой.

Поэтому, наверно, так хорошо, все как один, принялись на улицах Шведта сажены топей и кленов. И долго не увядают цветы на подоконниках — хозяйки безбоязненно выставляют их в распахнутые окна. Кстати сказать, здесь не прячутся от сквозняков и студеного ветра. Любо поглядеть, как бегут в школу по замерзшим лужам ребята с голыми коленями и девочки без пальто.

Раз уж зашла речь о молодежи, надо назвать несколько цифр. В справочнике магистрата сказано, что из девятнадцати тысяч жителей Шведта (до войны здесь было десять тысяч человек) двенадцать тысяч еще не перешагнули за тридцать лет. Это город молодых. Почти половина всех жителей — в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет.

Можно и не знать об этих цифрах — стоит лишь пройти по улицам Шведта в послеобеденный час, когда семейные люди — а таких здесь большинство — обычно совершают прогулку или отправляются за покупками. Детские коляски пользуются

наибольшим спросом. Одним из первых открылся в Шведте универмаг для детей. С ним может поспорить разве лишь мебельный магазин — и тут постоянно толпятся новоселы, преимущественно молодые люди.

На скрещении двух главных улиц — аллеи Ленина и аллеи Маркса — стоит в Шведте скромный памятник советским воинам, павшим в сражении на Одере. Фигура бойца, красное знамя, слова признательности людям, заплатившим своей жизнью за избавление Шведта от головорезов эсэсовца Скорцени.

Памятник поставили давно, в сорок шестом году. Выпрямились, окрепли тополя, посаженные возле обелиска. Проходят по улице дети, читают вслух по складам слова, высеченные в бронзе. Постигают великую правду нашего века. Знакомятся с теми, кто стоит у колыбели нового Шведта, напутствуя всех, кому принесли они освобождение в сорок пятом году.

## 3

За воротами нефтеперегонного завода автобус убавил скорость. Далеко впереди виднелись колонны крекинга, переплетенные стальными трубами, а здесь, на подступах к действующему заводу, грохотали экскаваторы, и нельзя еще было догадаться, зачем перепажана, вздыблена рыхлая почва. За проволоочной оградой стоял нетронутый лес, но и к нему уже протянулась длинная, глубокая траншея, угрожая врезаться в самую гущу вековых дубов.

Первое впечатление о масштабах этой стройки я получил еще до того, как прошагал добрых десять километров из конца в конец по строительной площадке. Автобус доставил меня сюда из Шведта в обеденный час, в кабинетах дирекции не было ни души, и не оставалось ничего иного, как тоже отправиться в столовую.

Утренняя смена подкреплялась в огромном обеденном зале. Густо заполненный людьми в спецовках, в брезентовых куртках, он едва ли уступит в объеме Казанскому вокзалу Москвы. Для удобства клиентов, у которых времени в обрез, установлено множество касс, раздаточных прилавков, где каждый, вооружась подносом, быстро получает обед и кружку пива. Хочешь, садись у столика, а то и не присаживаясь, подойдя к высокой стойке, еще быстрее справишься с едой. Никакой сутолоки. Никаких очередей. А входят сюда ровно в полдень примерно три с половиной тысячи человек...

Можно было заметить, что некоторая часть обедавших одета в черные комбинезоны с широкими брюками навывпуск. Большие белые пуговицы, пришитые к обшлагам каждой штанины, обозначают, сколько лет работал на стройках их обладатель. Это были плотники, почетная и всегда дефицитная на стройке профессия, особенно в тот период, когда кладут бетон и нужно потрудиться над опалубкой, а затем готовить деревянную «начинку» для каждого здания. У многих, кто постарше, пять-шесть пуговиц. Те, у кого одно-два таких трудовых отличия, выглядят еще совсем юнцами. Но держатся с подчеркнутой независимостью, старательно подражая многоопытным мастерам пилы и рубанка.

Семь тысяч строителей съехались на площадку «Магнитки». Рабочих рук все-таки не хватает, администрация открыла курсы для подготовки бетонщиков, монтажников, слесарей и тех же плотников. Занятия идут в две смены. Со дня на день здесь же начнется сооружение завода удобрений — самого большого в ГДР, — и, наверно, придется даже расширить громадную столовую, чтобы не возникли очереди у касс и раздаточных прилавков.

Как это ни огорчает администрацию и рабочих, но «барачный период», видимо, затянется еще на несколько лет. Деревянные бараки — почти копия тех, что стояли, помнится, за околицей деревни Альметьево в сорок восьмом году, — уже не раз чинили, ремонтировали, красили, но отказаться от них сегодня нет никакой возможности. По мере того, как достраиваются новые дома, рабочие уходят из барачков, выписывают в Шведт жен. детей. Ни дня непустет освободившаяся койка. «Магнитка» на Одере требует новых и новых кадров. И всем нужно дать кров, все — приезжие, почти никого из местных не встретишь на строительной площадке.

— Мы пришли на голое место, — вспоминает машинист крана Карл Гудериан. — Все начинали с ноля. Рубили лес, корчевали, тонули в грязи, в болоте. После целого

дня такой работы отогреться в бараке, и кажется — нет на свете лучшего дома. Честное слово! Ну, не каждый, впрочем, так думал. Кое-кто сразу же потребовал расчет. Их не удерживали. Настоящих людей вполне хватает для стройки...

Карл Гудериан сидит в застекленной кабине десятитонного крана. Когда железный крюк поднимает с земли бетонную плиту, машинист умолкает, нарастающий гул мотора все равно заглушил бы его слова.

Он узнал о стройке на берегу Одера, находясь в армии. Военная часть, где он служил, стояла у западной границы ГДР. Солдаты спрашивали: «Где он, этот Шведт?» Отыскали на карте. «Тоже у самой границы». — «То совсем другая граница...» — «Ясно. Если бы не другая, разве строили бы возле нее такую махину!»

В общем, многие решили после демобилизации поехать в Шведт. Карл Гудериан вернулся из армии в родной Лёкнитц. Директор МТС спросил: «Ну, как — на трактор или в мастерскую?» Он огорчился, узнав, что тракторист не останется в МТС. Жена опасалась — дадут ли там, на стройке, квартиру. Они ждали первенца, и Ренаты говорила на прощанье: «Имей в виду, мы теперь люди семейные, жить в бараке не можем».

Машинист крана не скоро получил квартиру, и пришлось долго жить на два дома. Хорошо еще, что платили на стройке процентов на двадцать больше, чем в МТС.

Около трех лет Карл Гудериан жил в бараке — в первом бараке, построенном на раскорчеванной земле, и, говоря по правде, то были не самые лучшие годы его жизни. Теперь, когда приходишь с работы в свою двухкомнатную квартиру на аллее Ленина, не хочется и вспоминать тот «холостяцкий» период, бесконечные поездки из Шведта в Лёкнитц, волнения, когда болел годовалый Миша, упреки Ренаты — ей-то было в разлуке еще труднее.

Не потому ли так рано посветлели у него виски и чуть больше, чем положено в его возрасте, морщин на лице? А может быть, повинны в том болота, с которыми сражались в шестидесятом году? Вон где было самое гиблое место — как раз под фундаментом первой колонны крекинга.

Кабина машиниста крана поднята на высоту трехэтажного дома, и отсюда Карл Гудериан может следить, как вырастают колонны и заводские корпуса. Сейчас ему доставляет особое удовольствие показывать приезжему человеку: видите, сколько понастроили за каких-нибудь пять лет! Первая очередь комбината работает на полную мощность, принимает каждый месяц более двухсот тысяч тонн нефти. В этих колоннах получают бензин. А вон та, большая батарея — ближе к лесу — через три месяца тоже будет готова. Когда весь комбинат войдет в строй да еще построят завод химических удобрений — это для него прокладывают отсюда дорогу, — ежегодно возьмут из магистральной «Дружба» шесть миллионов тонн советской нефти.

Карл Гудериан неодобрительно поглядывает на меня — почему не записываю такие замечательные цифры? Не хочу признаться ему, что все данные о заводе мне уже сообщили в дирекции, и вынимаю из кармана блокнот. Так, значит, в шестьдесят девятом году будет завершено строительство. Чем он тогда займется? О, работы для этого старенького крана еще хватит и здесь, и в городе, на стройке жилых домов. Стоило бы, конечно, пойти на курсы операторов, получить хорошую специальность. Администрация и профсоюзный комитет зовут — учиться без отрыва от производства. Было бы неплохо стать оператором или техником. Но семейному человеку трудно, знаете, выкроить время для занятий. Двое ребят, жена тоже работает, не хочет быть домашней хозяйкой.

Последняя бетонная плита перенесена с земли на грузовик. Бригадир сигналил снизу: давай к шестой платформе! Старенький кран осторожно трогается с места. Выставив вперед длинный хобот, он движется по рельсам туда, где лежит груда таких же панелей.

До конца утренней смены осталось совсем немного, а нужно сегодня погрузить еще сорок пять таких двухтонных плит. Мотор будет реветь непрерывно, и вряд ли удастся продолжить разговор. Карл Гудериан работает сдельно, получает свои марки в зависимости от того, сколько тонн успеет погрузить в автомашины. Как бы моя любознательность не ударила его по карману.

Кажется, он догадался, почему я вдруг оборвал беседу, пожав ему руку. Он понимающе улыбнулся, показал на часы. Наверно, грохот мотора помешал ему поблагодарить меня за проявленную деликатность...

Первая очередь нефтеперегонного завода — это по существу вполне самостоятельное предприятие, оно дает готовую продукцию. Аппараты для переработки нефти находятся под открытым небом, вокруг — груды строительных материалов для второй очереди комбината. Издали вся его территория кажется одной строительной площадкой. То и дело надо объезжать котлованы, траншеи.

Трудно поверить, что только три месяца отпущено для завершения строительства второй очереди. Но график утвержден и, наверно, будет выполнен. Об этом говорят плакаты, выставленные всюду на видных местах. Каждый день меняют на них цифры, напоминая, сколько осталось до пуска второй очереди. Срок неумолимо сокращается, но тут же на этих листках день за днем увеличивается процент завершённых работ.

Эти плакаты ни к кому не взывают с тревогой. Они просто не дают забыть, что осталось сделать и какое для этого отпущено время. Вот и все. Но это спокойное напоминание о сроках, ежедневно меняющиеся на десятках листков, выведенные весьма аккуратно, не наспех, синим и красным цветом отчетливые цифры врезаются в память. С них начинается, ими заканчивается рабочий день.

Инженер Карл Гейнц Мельц начинает свой рабочий день там, где уже сняли такие плакаты. Начальник отдела нефтеперегонного завода проверяет, как сработала ночная смена операторов, заслушивает короткий рапорт дежурного мастера. Потом надо заглянуть в диспетчерскую, узнать, как ведут себя аппараты для очистки газа. Полтора года — не столь уж большой срок для освоения сложного технологического процесса. Никогда в ГДР не получали горючее из нефти в таких мощных установках, и каждый здесь не только выполняет свое сменное задание, но и учится, поистине не отрываясь ни на день от производства. Советские специалисты помогли смонтировать оборудование, познакомили с технологией получения газа из нефти. Они уехали домой, и тридцатитрехлетний инженер Мельц теперь самостоятельно руководит этим участком комбината.

Сын крестьянина из саксонской деревни Регесбрайтеген, Карл Гейнц Мельц несколько лет работал слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин и чуть позднее сверстников поступил в высшее учебное заведение. Диплом инженера он получил во Фрейбурге, в горной академии, в той самой аудитории, где слушал лекции по химии юноша из архангельской деревни Денисовка Михаил Ломоносов. Здесь Мельц научился добывать жидкое топливо из бурого угля. Другого сырья для бензина и горючего газа в Германии никогда не было. На химическом комбинате в Бойлене ему предоставили возможность применить полученные знания в наиболее интересной для него области — проектировании аппаратов для очистки газа. Вероятно, и сегодня он сидел бы в тихом проектно бюро, если бы не началось в Татарии строительство магистрали «Дружба». Когда укладчики Большой трубы отправились в тысячекилометровый поход к Одеру, инженер Карл Гейнц Мельц вылетел из Берлина в Уфу. Полгода он провел в цехах Ново-Уфимского завода, побывал в Альметьевске, Октябрьском, у подножья Нарышевского холма, услышал, как шелестит в стальном русле первый девонский фонтан. Все, что получил он во фрейбургской академии, надо было теперь подкрепить новыми знаниями, освоить технику, еще не применявшуюся ни в Бойлене, ни в иных химических комбинатах ГДР.

Он вернулся уже не в Бойлен, а в Шведт, где монтировали первую колонну для разделения газов. Настала самая ответственная пора в сооружении комбината, и очень редко удавалось ему навестить семью. Каждый день, придя на работу, все — от монтажников до начальника строительства — спрашивали: «Где укладчики?» Возле проходной висела карта, на ней обозначали ровной линией маршрут «Дружбы». До чего же быстро укладчики шли на запад! Совсем недавно красная линия обрывалась где-то в белорусских болотах, а сегодня уже пересекла границу Польши. Успеть бы с монтажом до того, как Большая труба форсирует Одер. Там, на трассе магистрали, ничто не задерживало укладчиков. Они перебрасывали виадуки через овраги, протягивали трубы по

дну рек и озер. Если кто-нибудь нарушал график, ему говорили: «Не сегодня-завтра труба будет на Одере».

Вслед за инженером Мельцем по его маршруту отправились операторы, мастера, диспетчеры. Почти каждый, кому поручено было встретить советскую нефть на Одере, побывал в Башкирии и Татарии.

Это накопление знаний и навыков, важных для людей, впервые прикоснувшихся к нефти, продолжается и теперь, когда завод уже дает продукцию. Каждая бригада ведет дневник. В такой аккуратно переплетенной тетради бригады Гайнца Лёве рассказано, например, и о приезде гостей из Польши, и о том, что бригада вернула заводу более трех тысяч тонн нефти, «пойманной» при очистке сточных вод. Две страницы заполнены отчетом мастера Шнайдера о поездке к советским нефтяникам. Несколько его интересных предложений помогут улучшить технологический процесс на участке бригады. Следующая страница названа «Свидание друзей» и посвящена беседе с краснодарцами. Автор записи отмечает важность подобных встреч с людьми, у которых за плечами огромный опыт. Надо полагать, пребывание гостей из Краснодара в Шведе не прошло бесследно. На других страницах дневника есть записи, развивающие мысль, которая высказана под заголовком «Свидание друзей». Бригада не упускает любую возможность перенять опыт советских химиков и добытчиков нефти.

И кажется очень значительным одно, быть может, и не столь уж само по себе существенное обстоятельство. На всей трассе «Дружбы» — от истоков до устья, от первой насосной станции на Волге до приемного парка резервуаров на Одере — «служебным» языком принят русский. И у соседей, в Польше, и здесь, на немецкой земле, несколько раз в сутки, в строго определенный час, звучат по селекторной связи слова, произносимые с акцентом, но четко выговариваемые людьми, изучившими русскую речь для того, чтобы стоять на вахте возле жизненной артерии, воплотившей в себе идею братства свободных народов.

## 4

В тот же ранний час, когда утренняя смена заполнила автобусы на улице Мархлевского, у подъезда моего дома остановился «газик». Секретарь директора «пайп-лэна», как называют здесь нефтепровод, Ирина Хольцман с присущей ей аккуратностью в любом деле исполнила то, что было обещано мне накануне. Сегодня я могу принять участие в инспекторской проверке «пайп-лэна» от завода до пограничного столба. Предвидя неудобства, которые ожидали меня с моим скудным запасом немецких слов в этой поездке, Ирина, выполняющая по совместительству еще обязанности переводчика, покинула на весь день канцелярию и отправилась в долгий и, как потом выяснилось, изрядно утомительный путь.

Когда «газик» отъехал от дома, она сунула мне в руки целлофановый пакет с бутербродами.

— Мы поедем немножко далеко, я подумала, что это пригодится.

Несколько минут мы мчались с обычной для здешних дорог стокилометровой скоростью. Стремительно приближался газовый факел, горевший теперь, в предрассветном сумраке, ярким, тревожным пламенем. Над ним стояло в низком небе зарево. Поравнявшись с заводом, водитель резко свернул в сторону. Мы съехали с шоссе. Машина пошла медленнее, подпрыгивая на гребнях пахоты, скованных первыми заморозками.

Тем временем посветлело, можно было выключить фары. Пахоте, казалось, не будет конца.

— Это табак, — обернулась ко мне Ирина, сидевшая впереди, рядом с шофером. — О нет, я не так должна говорить. Здесь будет расти табак. Несколько лет он был большой. Это называется табачная мозаика. Правильно я говорю? Теперь его вылечили и опять будут сажать.

— Значит, еще пригодятся старые сараи?

— О, конечно! У нас будут опять делать сигары. Шведские сигары — это прима!

Машина наконец остановилась посреди поля. Слесарь Вилли Кольм извлек из-под сиденья связку ключей и направился к кирпичной будке, огороженной колючей проволо-

локой. В этой ограде обнаружилась маленькая, тоже проволочная, дверца. Отперев замок, мы проникли в святая святых «пайп-лена» — к задвижке, установленной для наблюдения за нефтепроводом.

Глубоко в земле, обмурованная цементом, покоилась труба, вернее, частица Большой трубы, протянувшейся сюда через необозримые пространства. Слесарь спустился по железному трапу в камеру, где можно — в случае нужды — отвернуть несколько болтов и увидеть нефтяную реку. Она беззвучно струилась в прочном русле. Нигде снаружи не чернела просочившаяся нефть. В камере было совершенно сухо. Литая задвижка плотно прижалась к невидимому отверстию. Все обстояло в полном порядке.

— Аллес ин орднунг, — так и доложил слесарь, подняв телефонную трубку и называя номер камеры, отчетливо выведенный на ее сухой стенке.

Этим лаконичным сообщением закончился осмотр. Если бы Вилли Колям заметил хоть самое крохотное черное пятнышко, здесь пришлось бы надолго задержаться. Дело в том, что сразу же после укладки нефтепровода введен строжайший режим непрерывного наблюдения за каждым участком магистрали. Малейшая утечка, угрожающая заражением подпочвенной воды, расценивается здесь как преступление, и виновным не дают поблажки. Так заведено с первого дня. Нельзя не признать благоразумной эту строгую требовательность. Она ограждает нефтяную магистраль от беспечности, которая везде обходится очень дорого.

— Однажды был такой случай, — рассказала Ирина. — Понимаете, ну просто совсем немножко просочилось. О, что тут было! Какой шум! Приехала комиссия из Берлина. Да, да, целая комиссия. Я много писала на машинке. Одному — выговор, другому — выговор с предупреждением. Хотели даже снять с работы мастера. Ну, первый раз случилось, пожалели...

«Газик» снова пошел пересчитывать выбоины и окаменевшие гребни пахоты. Но всему, как говорится, приходит конец. Остались позади табачные плантации, и мы передохнули на укатанной до блеска проселочной дороге. Она привела в дубовую рощу, не сбросившую осенний наряд. Трудно подобрать другое слово, когда видишь старые дубы в темно-желтой, обожженной морозом узорной листве. И здесь стояла кирпичная избушка с такой же колючкой, оберегающей ее, как сказал Вилли Колям, от кабанов и оленей. В камере находилась «отдушина» — через нее выпускают газ, скопившийся в трубе.

За оградой не обнаружилось следов лесных обитателей. Ни олени, ни кабаны не пробрались через проволоку. В камере тоже все обстояло благополучно. Чуть уловимый запах нефти смешивался с запахами влажной земли и сухих листьев.

Мы были в пути уже второй час и единодушно решили сделать привал. Тут действительно пригодились целлофановый кулек нашей заботливой спутницы...

Прошло три года с той поры, когда уложили здесь Большую трубу. Узкая просека, вырубленная укладчиками, поросла густым кустарником, покачиваются на ветру стволы молоденьких кленов. Но долго еще будет заметна тропа, проложенная над магистралью. Следуя по ней, мы вскоре оказались на высокой земляной дамбе, протянутой вдоль Одера. Она защищает от весенних разливов немецкие поля. По ту сторону реки — избы и скирды польской деревни, тоже прикрытые от паводков своей дамбой.

Вилли Колям вспомнил, как на этом месте закончился дальний поход строителей магистрали.

— Здесь мы увидели советских и польских товарищей. Водолазы ходили по дну реки, смотрели, где удобнее положить трубу. А мы приготовились соединить ее с нашим участком магистрали.

В декабрьскую стужу горели на обоих берегах прожекторы, работа шла круглые сутки. На Одере звучала русская, польская, немецкая речь.

До поездки с Вилли Колямом я провел одно утро в конторе нефтепровода. Дежурила у селектора молодой инженер Гизела Уфери. Она составила сводку, сообщила директору, сколько перекачали за ночь нефти. Потом отдала телефонную трубку мастеру, лучше, чем Гизела, овладевшему русским языком, и тот поговорил с диспетчером, находившимся в пятистах километрах, где-то за советско-польской границей.

Гизела Уфер рассказала, что происходило в памятные дни в конце шестьдесят третьего года.

— В середине декабря кончились наши репетиции. Много дней мы сменяли друг друга у аппаратов, поворачивали рукоятки, нажимали на кнопки. Все делалось так, будто нефть пошла в резервуары. Включай насосы! Принять четыреста тонн в первый. Выключить моторы! Замерить второй. Подсчитываем тонны, качаем нефть, а никто ни разу и не видел ее. Двадцать первого декабря послали меня на Одер. Посадили возле задвижки — следи, дай знать, как только покажется нефть. С польского берега сообщили: «Все идет нормально, скоро она будет у вас...» Сажу над камерой, задвижка открыта. Течет в трубе вода. Ее пустили давно, когда испытывалась под давлением магистраль. Ночь, холод зверский, туман все вокруг закрыл. Не видно, что там у соседей, только доносятся голоса: «У тебя еще нет?» — «Нет, не дошла...» Течет вода. Не двигаюсь с места. Боюсь отойти, упустить момент. Звонит директор: «Ну, как — показала?» Звонит диспетчер: «Ты еще не видишь ее?» Было четверть двенадцатого, когда в камере запахло нефтью. Я позвонила диспетчеру: «Пришла!» Была у меня бутылка, зачерпнула немного и взяла с собой. Вот, сохранила на память...

В шкафу дежурного мастера среди гаечных ключей и манометров стоит бутылка с нефтью. Первый килограмм из многих миллионов тонн, которые потекли в резервуары Шведта.

Возвращаясь из инспекторской поездки, Вилли Кольт еще раз заставил наш «газик» пересчитывать гребни пахоты, но теперь уже не ради того, чтобы заглянуть в «отдушины». В стороне от шоссе, на пригорке стоял экскаватор. В свежевырытый котлован опускали бетонные блоки фундамента. Вдоль узкой траншеи лежали трубы, обернутые промасленной бумагой. Началось строительство нового «резервуарного парка» для будущего химического комбината в Шведте. Комбинат даст удобрения сельскому хозяйству. Они будут вырабатываться из той же нефти, что дает и горючее и сырье для синтетических тканей, пластмасс. Из той нефти, которой так не хватало промышленности ГДР. Отсюда потечет она и в Лойну, в перегонные башни давно уже действующего химического комбината. Бурый уголь там заменят более выгодным для химии сырьем.

Экскаватор на пригорке управился со своим делом, завтра его уведут в другое место. А сюда придет поток из стального русла нефтяной реки, которой дано славное имя «Дружба».

## 5

Записываю еще один рассказ о магистрали, о том, как она определила здесь, на Одере, еще одну человеческую судьбу. Мастеру «пайп-лэна» Гарри Бёкману двадцать три года. Это рослый крепыш («всегда был правофланговым — и в пионерском отряде, и в своей роте, на срочной службе») в очках, что, впрочем, никогда не мешало ему увлекаться мотоспортом. Теперь, правда, не участвует в гонках. Жена отговорила, да и не хватает времени тренироваться. Он довольно хорошо владеет русским языком. Бабушка была родом из Прибалтики, научила внука говорить, читать по-русски еще до того, как пошел в школу. Это пригодилось ему в Шведте, где с первых дней стройки были нужны люди, знающие «дежурный язык».

— В сорок втором году отца послали на фронт. Я родился через две недели после того, как его проводила мать. Последнее письмо написал в сорок четвертом. Потом пришло извещение, что он пропал без вести. Одиннадцать лет мать ожидала его. А когда в доме у нас появился другой, я с ним не поладил. Это был плохой человек, не хочу о нем долго рассказывать. Вскоре мать умерла. Я думал — скорей бы окончить школу и уйти. Приняли меня в механическое училище, уехал в Берлин. Получил хорошую специальность, стал токарем-шлифовальщиком.

Однажды в город Перне на завод, где я работал, приехал инженер из Шведта. Это было зимой шестьдесят второго года. Ходил он по цехам — спрашивал: кто хочет на стройку в Шведт? И рассказывал, что там нужны рабочие всех квалификаций. Только придется жить в бараках. Конечно, в первую очередь откликнулась молодежь. Я уже пять лет был в Федерации демократической молодежи. Как раз в том же году

женился. Мы жили у тещи. Сказал, что поеду на стройку, — скандал, слезы. Особенно возмущалась теща. Ты, говорит, хочешь бросить мою дочь. Вот до чего дошло. Но — с другой стороны — что же это такое? Только поженились — и едет куда-то, не берет жену. А как ее взять — в барак? Нам сказал инженер — пускай, кто женат, попросит жену немного обождать. Другого выхода нет.

Я обещал: через месяц непременно приеду. И вещи с собой прихватил только самые нужные. Не бойтесь, не сбегу. Ну, Барбара, конечно, так и не думала. За нее я был спокоен. И она тоже знала — никого мне на свете не надо, кроме нее.

Поехали мы из Перне тридцать пять человек — и холостые и женатые. Дали нам автобус, через семь часов привезли в Шведт — прямо на строительную площадку. Весь день шел снег. И тут же таял. Грязь, лужи, а сапог — ни у кого. Выдали одеяло, матрац — шагайте, ребята, в общежитие. В бараке духота, по восемь человек в маленькой комнатке. В общем — все, как говорил инженер, только еще немного хуже.

Утром повели нас смотреть, где будем работать. Там строили электростанцию для завода, клали фундамент под его корпуса. Первый день мы работали без спецодежды — кто-то не успел раздать нам. Были еще всякие другие неполадки, но об этом не буду распространяться. А в обеденный перерыв пришел к нам комсомольский организатор Зигги Гаупнер. Мы его, конечно, взяли в оборот, а он не изворачивается, все выслушал, согласился: «Справедливо возмущаетесь. — Потом сказал: — Приберегите свой пыл для других, полезных дел». И коротко обрисовал, что здесь затеяли строить. «Времени, говорит, очень мало, а сделать надо то, что еще ни разу мы в нашей стране не начинали. Будем строить большой город, большой комбинат — на миллионы тонн».

Этот Зигги Гаупнер остался с нами до конца смены, тоже работал — такой энергичный, веселый человек, прямо всех заразил, настроение поднял. Мы узнали, что он уже на трех стройках вкалывал, плотину строил, завод, электростанцию — в общем, бывалый человек, как у вас говорят. Он и теперь здесь работает — заведует всем снабжением. Вдвое старше меня, а посмотрели бы, какой крепкий, всегда бодрый, неутомимый, попробуйте за ним угнаться.

В это время стали набирать людей для нефтепровода. Начальник «пайп-лэна» Фриц Кабелитц узнал, что я говорю по-русски, пришел к нам в барак. «Хочешь, спрашивает, ко мне?» — «Зачем? Я здесь работаю по специальности, хорошо зарабатываю». — «А ты кто?» — «Механик». — «У меня будешь мастером, через два месяца станешь мастером-оператором. Мне нужен человек с русским языком. Много переговоров, много переписки. А переводчик только один, Ирина Хольцман. Помогли ей. И будешь осваивать нефтяное дело. Согласен?»

Я не сразу дал ответ. Пришло время ехать домой, я ведь обещал — через месяц приеду. Ну, привез денег, подарки. И тещу, конечно, не забыл. Настроение повернулось в мою сторону. Когда уезжал, никто уже не плакал. Поверили, что я не ошибся. А то думали — через месяц буду просить прощения...

Встретил на стройке Кабелитца, говорю: «Если не передумали, берите меня в «пайп-лэн». Так вот и стал я нефтяником. Нас было тогда человек десять, не больше, таких, можно сказать, командиров без армии. На строительной площадке ставили первые резервуары, тянули трубы к Одеру. А что будем делать, когда придет нефть, как с ней обращаться, как следить за ней в магистрали и в емкостях — все это нам еще было неизвестно.

\*Познакомился я в Шведте, в библиотеке, с интересным человеком: Доктор химии Анна Штумпф, преподаватель старших классов школы. Разговорились — она тоже знает по-русски да еще испанскому научилась. У нее дома книг — от пола до потолка. И, представьте, нашлось несколько книжек по нефтяной химии на русском языке. У нас еще их не переводили на немецкий — мало кому требовалась такая литература. Прочитал эти книги, кое-что понял в новом деле. А тут — бумага из Берлина: отправить из «пайп-лэна» в Советский Союз четверых в командировку на нефтеперегонные заводы. И самым срочным порядком.

Не знаю, послали б меня вот так, сразу же после приема на работу. Но и тут помог мне русский язык. Когда перебирали, кого включить в четверку, подумали, что



я пригодился бы, хоть по возрасту и стажу еще не мог конкурировать с другими мастерами.

Дали два дня на сборы — только и хватило заехать на несколько часов домой, обнять жену и ребенка.

В нашу группу вошли инженер Гизела Уфер, мастера Иольшлегель и Плешак. Все первый раз летели в Советский Союз. На аэродроме во Внукове искали — кто нас встречает? Ну, видно, не такие мы были важные персоны или что-то напутали в телеграмме, но — смотрим, никто нами не интересуется. Посоветовались — как быть? Мастер Иольшлегель, как самый рассудительный, предложил: едем в наше посольство. Взяли такси, я сказал, куда нам нужно.

Пока мы торчали в аэропорту, стемнело. Вышли из машины возле посольства. А дверь заперта. Милиционер подошел, узнал, кто мы, говорит: звоните смелее, должен там быть какой-нибудь дежурный. Дозвонились, и дежурный дал нам адрес отеля в Останкине. Еще раз взяли такси, и опять это влетело нам в копеечку. Ну, и далеко же от центра Останкино! Получили два номера, разместились. Старик Плешак до того утомился за день — самолет, ожидание в аэропорту, поездки по городу, — не пошел даже с нами перекусить, лег спать. А мы подкрепились и до двух часов ночи гуляли по Москве. Прошли пешком от Останкина до площади Свердлова. Откуда хватало сил — не пойму. И даже не очень, помнится, устали.

Несколько дней жили в Москве, ходили по музеям, пока не получили путевку на южную трассу «Дружбы». Там должны были взять нас на практику в насосную станцию. Это интересовало нас в первую очередь. Насосная станция — сердце нефтепровода. Во всей ГДР нет таких станций, какую строили в Шведе.

Во Львове, в управлении нефтепровода, нас встретили очень приветливо. И без всякой задержки отправились мы в деревню, где стоит насосная станция. Целый месяц работали возле операторов. Все нам показали, хорошо растолковали. Я, конечно, лучше всех запомнил каждое слово. Ведь пришлось и слушать, и повторять все по-немецки для моих товарищей.

В выходные дни мы совершали экскурсии. Там красивые места: Карпатские горы, буковый лес. Я фотографировал без конца. Целый альбом привез, покажу, когда придете в гости.

Один раз застал нас в пути сильный дождь. Добежали до какой-то деревушки. Постучались в хату. Нас впустил пожилой, болезненного вида человек. Я поблагодарил по-русски, а Гизела сказала «данке шен». «Немцы?» — спросил хозяин и сразу помрачнел. Узнав, кто мы, он закатал рукав сорочки, и мы увидели на сгибе руки вытравленный номер. «Бухенвальд», — сказал он. Гизела заплакала. Хозяин рассказал, что десять человек из этой маленькой деревни попали в Бухенвальд. «Возвратился только я. Жена не дождалась...»

Хозяин напоил нас чаем с брусничкой, сказал на прощанье: «Вы — другие немцы. Не те, которые шли за Гитлером. Смотрите, не забудьте, что тогда было...»

Каждое утро мы становились на вахту возле моторов насосной станции. Перекачивали нефть из магистрали, удаляли примеси, следили за температурой в цистернах, брали пробы. Незаметно пролетело полтора месяца. Жаль было уезжать — подружилась с операторами, мастерами.

Когда вернулись в Шведт, здесь уже стояли резервуары по десять тысяч тонн, все было готово для приема нефти. В городе строили «воихеим». Холостые присматривались — где кто будет жить, на каком этаже. А я ходил на улицу Крумбаха, в дом для семейных. На пятом этаже настилали полы в моей двухкомнатной квартире.

Барбара приехала в ноябре. Отпраздновали новоселье, а через месяц меня послали в Польшу — встречать советскую нефть. Надо было оттуда, с польской территории, проследить, как наполняется магистраль, что происходит в камерах, на линии, в дюкере.

Выдали мне разрешение на переезд границы — не паспорт, а просто бумажку, что еду по делам «Дружбы». Это название было как пароль. Пропустили меня туда, где надо было встретить нефть. Пограничники спрашивали: «Когда она будет здесь? Мы приготовили ей визу...» Я занял пост в тридцати километрах от границы. Вместе

с польскими операторами и мастерами замерял давление в магистрали, когда она стала наполняться нефтью.

«Отдушины» были открыты, и все-таки давление быстро повышалось. Вдруг труба затряслась, стрелка на манометре прыгнула до одиннадцати атмосфер. Кто-то испугался, выскочил из будки. Ну, конечно, трубы выдержали гидравлический удар, нефть прошла дальше.

Теперь все ждали, как поведет себя дюкер. Думали — вот будет история, если там, под водой, порвется шов! Еще один гидравлический удар выдержала магистраль, когда нефтяной поток хлынул в подводную трубу. На дне Одера положили два дюкера — один рабочий, другой аварийный. Оба сработали отлично.

Утром я вернулся в Шведт. Меня назначили мастером-оператором. Кабелитц сдержал слово. И у меня взял обещание — поступить в институт. «Смотри, говорит, не теряй' золотое время. Я получил диплом, когда мне было под сорок. А тебе сам бог велел учиться — практика есть, молодость есть. Не бросай свои годы на ветер». А знаете, как он учился? Кончился рабочий день — садится в машину и по автострате сто километров в час — в Берлин, сдавать зачеты. На рассвете выезжает оттуда и в семь утра — в своем кабинете, командует «пай-плэном».

Я тоже сдержал слово, поступил на тот же факультет.

Слушая Гарри Бёкмана, я вспомнил альметьевского геолога Рафката Мамлеева. В прошлом году я увидел его далеко в Сибири, на Оби. Он стал главным геологом крупного нефтепромысла, созданного возле древнего города Сургута.

Может быть, через пять-шесть лет — если доведется слова побывать на Оudere — я увижу Гарри Бёкмана уже не в скромной роли мастера-оператора. Новому, самому крупному резервуарному парку на пригорке, возле ангермюндского шоссе, потребуются главный инженер. Возможно, к тому времени Гарри Бёкман будет достоин занять этот пост. Его судьба сложилась под знаком «Дружбы» и будет, наверно, всегда неотделима от быстрого движения этой удивительной магистрали.

## 6

Последний вечер в Шведте я провел за чашкой кофе в тихой квартире Отто Боррисса, в четвертом корпусе нового «блока», заселенного всего лишь каких-нибудь две недели назад. На генеральном проекте этот квартал окаймлен зеленью. У входа в дом чернеют аккуратные ямки, возле каждой лежат тонкие стволы саженцев. Кое-где их уже опустили в землю. В город, встающий из руин, возвращается лес, вырубленный для каменных «блоков».

Почти половину своей долгой жизни, сорок семь лет, Отто Боррисс прожил в Шведте. Этого восьмидесятичетырехлетнего человека называют «живой биографией» города. В его ясном, совсем не по-стариковски остром сознании ничто не стерлось, не потускнело. Не беря с полки ни одной книги, он называл даты и события семисотлетней истории Шведта, имена его давних правителей, факты из эпохи Тридцатилетней войны и вписанные в биографию города второй мировой войны. Худощавый, очень подвижной, с глазами, в которых постоянно светится добрая улыбка, этот приветливый человек продолжает дело, начатое в далекую пору молодости: он воспитывает детей Шведта, читает лекции в школе, в Доме культуры, руководит кружками природоведения, совершает с ребятами дальние экскурсии, показывает им диапозитивы из своей уникальной коллекции, насчитывающей полторы тысячи экземпляров. И все до одного сделаны им собственноручно. Как раз перед моим приходом он пополнил свое собрание диапозитивами о новом строительстве в Шведте. На цветных стеклышках воспроизведены в точности проекты домов, и возле каждого рисунка — короткая надпись, выведенная четким почерком, твердой рукой.

Отто Боррисс — один из составителей юбилейного сборника, посвященного семисотлетию Шведта. Юбилей отмечали в 1965 году. На сорок шестой странице, рядом с фотографией первой школы, построенной после войны на улице Эрнста Тельмана, напечатан рассказ Боррисса о том, как оживал город. «В начале июля сорок пятого

года я вернулся в Шведт. Новый бургомистр спросил: «Вы педагог? Приступайте же к своим обязанностям». Все три школы были разрушены. Но с первого октября дети учились в доме, который мы приспособили для занятий.

Рядом с фотографией этого дома в юбилейном сборнике напечатаны портреты Алексея Скобелыцына и Владимира Найденова, помогавших восстановить нормальную жизнь в Шведте весной сорок пятого года. О первом коменданте Шведта майоре Бабакове сказано: «Он снабдил жителей хлебом, медикаментами, водой».

В те дни Отто Боррисс начал изготавливать диапозитивы — не было школьных пособий, карт, учебников, тетрадей. Самодельный проекционный аппарат давно отслужил свой срок, уступил место другому, более совершенному. Изображения птиц, зверей, деревьев, цветов оказались гораздо живучее, они сопровождают лекции и по сей день. Ничего примечательного нет в этих стеклышках, но каждое очень дорого учителю, напоминая о первых днях возрождения города.

На его глазах строилась бумажная фабрика, восстановлена табачная, появились первые жилые «блоки». В новый Дом культуры теперь приходит множество людей, чтобы послушать лекции. Но несколько выцветших рисунков на стекле, сохраненных в его коллекции, не утратили для учителя своей ценности, потому что он показывал их детям в полуразрушенном доме, когда во всем Шведте насчитывалось шестьдесят пять жителей.

Отто Боррисс называет имена школьников, ставших учеными, инженерами, педагогами. Один — доктор наук в университете имени Гумбольдта, другой — директор школы, третий руководит большим заводом. Приятно получать письма, начинающиеся словами: «Мой дорогой учитель!»

— На склоне лет,— говорит он,— выпало мне счастье воспитывать поколение социалистической Германии. Не знаю, кем станет каждый из школьников, которые сегодня смотрят диапозитивы, слушают лекции. Но я уверен, они будут подготовлены только для добрых дел. Они подрастают в атмосфере, способствующей развитию лучших сторон человеческой души.

/ Старый учитель Отто Боррисс — один из тех граждан Шведта, которые создают такую вот благотворную атмосферу для воспитания молодежи. Впервые за семисотлетнюю историю Шведта, бывшей резиденции прусских маркграфов, а затем гарнизонного городка, где были расквартированы шесть эскадронов драун, впервые детей готовят поистине для добрых дел. И, наверное, этому хорошо помогают лекции доктора Боррисса о природе, о прошлом Германии и о ее будущем.

Он был первым директором музея на площади Рынка. Здесь каждый экспонат вызывает не только интерес к старине, уважение к предкам, возделавшим землю, построившим каналы для осушения полей, замки давних правителей Шведта и каменные сараи для табака. Рассказ о давних временах ведет человек, проникнутый желанием внушить отвращение к насилию, к эксплуатации, к фашизму, чьи истоки выявлены здесь в глубине веков. Мечи и стрелы латников Тридцатилетней войны соседствуют с осколками снарядов образца сорок четвертого года. На стендах музея вскрыта историческая связь между многими войнами, принесшими столько горя немецкому народу и людям всей земли. Отчетливо показана в документах и гравюрах, в коротких комментариях к ним сущность враждебного человечеству прусского милитаризма, его захватнического «дранг нах остен». Тут же рассказано, к чему в свое время привел фашизм немецкую нацию и как опасны для всего мира попытки возродить его. Не случайно поэтому выставлена для обозрения фотография верзилы Думке, эсэсовца, бывшего лейтенанта полиции Шведта, пригретого ныне в полицейском управлении Ганновера.

— Дети должны знать правдивую историю родины,— говорит старый учитель.— Это поможет им впоследствии понимать свой гражданский долг и хорошо выполнять его. И открытыми глазами смотреть в будущее.

Он не отделил в музее будущее ни от прошлого, ни от нынешнего дня. На одном стенде можно увидеть два этапа в биографии города — от груды развалин «крепости на Одере», оставленных ее сбежавшим комендантом Скорцени, до пятиэтажных

«блоков» на улицах Тельмана и Ленина — и третий этап, намеченный генеральным проектом возрождения Шведта.

Школьники совершают со своим учителем экскурсии по маршруту, устремленному в будущее. Вот по этой тропинке, врезанной в лес, они приходят к строительной площадке химического комбината. Конечно, на рисунке, выставленном в музее, все выглядит не так привлекательно, как в натуре. Но зато можно одним взглядом окинуть и лес, и широкое русло Одера, и заливные луга, и даже польскую деревню по ту сторону реки. А над заводом, где из нефти получают бензин, нарисован факел, его пламя напоминает красный флаг, подхваченный сильным ветром.

Доктор Отто Боррисс шагает неторопливо: в его годы приходится экономить силы, когда впереди долгий путь. Часто останавливается, срывает цветок или стебель травы. Это ведь и прогулка в будущее, и поход юных натуралистов. Никто лучше, чем он, не расскажет столько удивительного о каждой былинке. Он получил звание доктора на кафедре естествознания в Мариенбурге. Послушать его, так нет ничего интереснее, чем эти травинки, стебельки, листочки — их аккуратно укладывают между страницами школьного гербария.

Многое и вдумчиво нужно сделать, чтобы каждый подросток, когда станет взрослым, мог «понимать свой гражданский долг и хорошо выполнять его». То, что дает детям Шведта учитель Отто Боррисс, открывает перед ними и красоту окружающего мира, и возможность сохранить, умножить своим трудом все необходимое для счастья человека. Дружба с воспитателем, перешагнувшим за восьмой десяток, оставит, наверно, глубокий след в сознании школьников.

Тщательно, как и на заре своей педагогической деятельности, он готовится к занятиям. Исторические события и явления природы, о которых он рассказывает юным и взрослым слушателям, остались такими же, как и пятьдесят лет назад, память хранит их в той же последовательности и в том же, неизменном виде. Но всякий раз они возникают перед его аудиторией в живой связи с тем, что происходит за стенами школы и Дома культуры. Каждый день приносит что-то свое, новое и в жизнь, и в рассказ Отто Боррисса, в творчество учителя, остро чувствующего свою ответственность перед любым, кто желает познать и законы мироздания, и самый лучший способ вырастить крепкое дерево из хрупкого, беззащитного саженца.

Его радует всеобщая, по его словам, тяга к знаниям, очень заметная в последние годы. Никогда в прошлом не ощущал он такого интереса у молодежи к лекциям, никогда не случилось прежде допоздна отвечать на вопросы, рекомендовать столько литературы для самообразования, давать советы — куда пойти учиться. Вероятно, он прав, говоря, что одним из значительных достижений социализма в ГДР являются, как он выразился, новые черты в облике молодого человека — стремление участвовать в больших замыслах, способность не замыкаться в узком мирке личной жизни, желание выйти на простор общественно полезной деятельности. Эти привлекательные черты наблюдает он, ежедневно общаясь с молодежью Шведта.

Тишина разлита в четыреста тринадцатой квартире четвертого «блока». Шторы широкого окна не задернуты, и видно, как входит в город вечер. Загорелась яркая лампа на верхушке крана, поставленного через дорогу, возле строящегося дома. Потемнело небо над крышами, и уже едва различим тонкий шпиль старой кирхи. Справа, поднявшись намного выше, осветился сотнями окон «вонжей». Вертящаяся дверь общежития все время в движении — возвращаются домой строители и рабочие нефтеперегонного завода.

Есть еще одна примета вечера в Шведте. Именно в этот час, когда кончилась дневная вахта, по всем улицам катятся детские коляски — самых различных конструкций, но непременно с пухлыми перинками вместо одеял. Увозят из яслей полторы тысячи жителей Шведта, родившихся за последние три года. Этот город занимает, пожалуй, первое место в ГДР по приросту населения. Как ни спешат строители, не могут опередить быстрое, как нигде, увеличение числа жителей. Не хватает мест в яслях и детских садиках. Не хватает квартир тем, кто обзавелся здесь семьей, получив право на две или две с половиной комнаты.

Седой, гладко выбритый, худощавый человек невысокого роста стоит у окна, смотрит на оживленную улицу. Тихо говорит он, ни к кому не обращаясь, как бы размышляя вслух:

— В истории моей страны этот город, по правде говоря, никогда прежде не играл особой роли. Что отметить за все семьсот лет его существования? Переселение в Шведт из Франции гугенотов, посадивших здесь первые стебли табака? Пребывание в городе русской императрицы Екатерины? Распри между маркграфами? Продажу Шведта со всеми его жителями за двадцать шесть тысяч пятьсот талеров жене браденбургского курфюрста Доротее? Дважды Шведт разрушали дотла. Ну что ж, он разделит судьбу многих городов, и его развалины ничем не отличались от других, которыми усеяли немецкую землю бесконечные войны... В окрестностях нашего многострадального города свил себе гнездо фон Браун, здесь прятались его офицеры, испытывая управляемые снаряды ФАУ-2. История Шведта, его прошлое — это сражения, руины, гибель мирных жителей. Только на пороге восьмого столетия Шведт открывает страницу своей истории, не похожую на все, что вписано за семь веков. Нефтяная река принесла нам новую жизнь. Это звучит не слишком торжественно. Это именно так. Один школьник нарисовал магистраль «Дружба» в виде большого дерева. Его корни — в Советской стране, пышная крона поднимается к небу над Одером. Дети умеют смотреть на мир широко открытыми глазами.

В комнате уже совсем темно, и лишь отблеск уличных фонарей мягко освещает лицо старого человека, рассказывающего о том, что здесь, возле устья магистрали «Дружба», юные граждане Шведта «будут подготовлены только для добрых дел».



---

---

# В МИРЕ НАУКИ

Академик П. Л. КАПИЦА

★

## МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О РЕЗЕРФОРДЕ\*

**П**ередо мной стоит очень трудная задача, хотя, казалось бы, говорить о научных достижениях такого великого ученого, как Эрнест Резерфорд, легко и просто. Ведь чем крупнее достижения ученого, тем короче и точнее можно их описать. Резерфорд создал современное учение радиоактивности, первым поняв, что это — спонтанное распадение атомов радиоактивных элементов, он первый произвел искусственный распад ядра, и наконец он первый определил планетарную структуру атомов. Каждого из этих достижений вполне достаточно, чтобы сделать человека великим физиком. Но теперь эти достижения и их фундаментальное значение хорошо известны не только студенту, но и школьнику. Все мы также знаем те необычайно простые и красивые классические эксперименты, которыми Резерфорд так убедительно делал свои открытия. Приезжать из Советского Союза, чтобы рассказывать членам Королевского общества обо всем этом, вряд ли было бы целесообразно.

Общезвестно, что из учения радиоактивности сейчас возникла самостоятельная наука, которая названа ядерной физикой. Эта наука сейчас непрерывно развивается, и из всех работ, печатающихся по всем областям физики, одна пятая часть относится к ядерным явлениям. В наши дни продолжают очень быстро развиваться как ядерная энергетика, так и использование искусственной радиоактивности в науке и технике. Все эти области поглощают основную часть расходовемых на науку средств, которые, как известно, теперь достигают сумм в миллиарды фунтов стерлингов, долларов и рублей. Все это за тридцать лет родилось из той скромной области физики, которую тогда называли радиоактивностью и отцом которой справедливо считают Резерфорда.

Проследить, как произошло это развитие ядерной физики из идей Резерфорда и его школы, — очень интересно и поучительно, но я уверен, что такие члены Королевского общества, как его президент профессор Блеккетт, сэр Джемс Чадвик, сэр Джон Кокрофт, сэр Чарлс Эллис и сэр Марк Олифант, вышедшие из школы Резерфорда и сделавшие в этой области фундаментальные открытия и работы, конечно, могли бы с большим основанием, чем я, говорить об этих вопросах.

Единственно, что я могу сделать и чем могу удовлетворить интерес членов Королевского общества, — это рассказать о самом Резерфорде, каким я его воспринимал за время моего пребывания в Кавендишской лаборатории, рассказать, как он работал, как он воспитывал нас, молодых ученых, и как происходило его общение с научным миром.

Итак, передо мной стоит задача нарисовать портрет крупного ученого и большого человека, хотя это дело художника пера, и ученому не следует браться за него. Если я все же решился это сделать, то главным образом по следующим причинам. Я приехал в Англию, в Кавендишскую лабораторию, никому не известным молодым человеком и там за тринадцать лет вырос в ученого. Эти годы моей работы были наиболее

---

\* Речь, произнесенная в Лондонском Королевском обществе 17 мая 1966 года.

счастливыми, и в том, чего мне удалось добиться, я чувствую себя обязанным неизменной заботе и вниманию, которые мне оказывал Резерфорд не только как учитель, но и как замечательно добрый и чуткий человек, которого я полюбил и с которым у меня с годами возникла большая дружба. Выступить сейчас перед вами со своими воспоминаниями — это единственный способ, которым я могу выразить свою благодарность этому большому и замечательному человеку.

Хорошо известно, что Резерфорд был не только большой ученый, но и большой учитель. Я не могу вспомнить другого ученого, современника Резерфорда, в лаборатории которого воспитывалось бы столько крупных физиков. История науки показывает, что крупный ученый — это не обязательно большой человек, но крупный учитель не может не быть большим человеком. Поэтому моя задача становится еще более трудной: мне нужно будет дать вам портрет не только ученого, но и человека. Я постараюсь нарисовать портрет Резерфорда по возможности более живым и буду иллюстрировать рассказ эпизодами, которые врезались в мою память; их много, но я выбрал те из них, которые характеризуют какую-нибудь отдельную черту Резерфорда. Я надеюсь, что это поможет вам создать в вашем воображении из этих фрагментов образ Резерфорда.

Я начну свои воспоминания с небольшого эпизода, имевшего место в тридцатые годы в Кавендишской лаборатории. В Кембридже происходил конгресс в память столетия со дня рождения Максвелла — первого директора Кавендишской лаборатории, где после него директорами были Релей, Дж. Дж. Томсон и наконец Резерфорд — четыре великих физика конца прошлого и начала этого столетий.

После торжественного заседания, где выступали ученики Максвелла, делившиеся с нами воспоминаниями, Резерфорд спросил меня, как мне понравились доклады. Я ответил: «Доклады были очень интересны, но меня поразило, что все говорили о Максвелле только исключительно хорошее и представили его как бы в виде сахарного экстракта. А мне хотелось бы видеть Максвелла настоящим живым человеком, со всеми его человеческими чертами и недостатками, которые, конечно, есть у человека, как бы гениален он ни был».

Резерфорд рассмеялся и сказал, что поручает мне после его смерти рассказать будущему поколению о том, каким он сам был в действительности. Резерфорд говорил это полушутя, и я тоже смеялся.

Теперь, когда мне хочется выполнить этот завет, то, начиная рисовать себе образ Резерфорда, чтобы представить его перед вами, я вижу, что время поглотило все мелкие человеческие недостатки и передо мной встает великий человек поразительного ума и высоких душевных качеств. Теперь я хорошо понимаю учеников Максвелла, которые выступали тогда в Кембридже.

О Резерфорде-ученом уже много говорилось и писалось. Общеизвестно, что простота, ясность мышления, большая интуиция и большой темперамент — основные черты его творческой личности. Изучая работы Резерфорда и наблюдая, как он работает, приходишь к выводу, что все же главная черта его мышления — это большая независимость и, следовательно, смелость.

Основной путь, по которому развиваются естественные науки, заключается в том, что при экспериментальном изучении явлений природы мы непрерывно проверяем, согласуются ли наши наблюдения с нашими теоретическими представлениями. Движение вперед нашего познания природы происходит тогда, когда между теорией и опытом возникают противоречия. Эти противоречия дают ключ к более широкому пониманию природы, они заставляют нас развивать нашу теорию. Чем крупнее эти противоречия, тем фундаментальнее перестройка тех законов, которыми мы объясняем процессы, происходящие в природе, и на основании которых мы используем природу для нашего культурного развития. В науке, как и в истории, определенный этап развития требует своего гения. Определенный период развития требует людей соответствующего склада мышления.

В истории развития физики, как и в любой экспериментальной науке, наиболее интересны как раз те моменты, когда приходится пересматривать фундаментальные научные концепции, и для этого неизменно ученым требуется не только ум и интуиция, но и смелое воображение.

Как иллюстрацию приведу два хорошо известных примера из истории развития физики, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Первый пример — это создание Франклином учения об электричестве. В основу этого учения Франклин положил представление о том, что электричество имеет материальную основу; оно как бы пропитывает металл и может проникать через его сплошную среду. Нам известно, что такое представление в корне противоречило представлению того времени о сплошном характере материи, но оно было принято, поскольку давало механизм, полностью объясняющий явления электростатики, известные в то время. Теперь мы знаем, что оно полностью оправдалось, когда Дж. Дж. Томсон уже стс пятьдесят лет спустя открыл электрон. Но вот что самое удивительное во всей этой истории: как могло случиться, что Франклин, раньше никогда не занимавшийся физикой, живя на отлете, в небольшом городе Америки, вдали от центров мировой науки, будучи уже человеком зрелого возраста, за несколько лет работы смог верно направить развитие целой научной дисциплины? И это произошло в середине XVIII века, когда наука развивалась на уровне таких ученых, как Ньютон, Гюйгенс, Эйлер. Как же мог Франклин достичь результатов, которые оказались недоступными для профессиональных ученых?

Другой аналогичный случай, когда пришлось пересмотреть на основе опыта фундаментальные представления, тоже хорошо известен. Это учение Фарадея об электрическом поле. Трудно найти более революционную и неожиданную идею, чем выдвинутую Фарадеем, по которой электродинамические процессы должны объясняться явлениями, происходящими в окружающем проводник пространстве. Но я привожу этот пример опять же потому, что Фарадей был ученым, не имевшим систематического научного образования, которое в те времена было на высоком уровне даже у среднего ученого Англии.

Я привел эти два хорошо известных примера для того, чтобы показать, что в науке, на определенном этапе развития новых фундаментальных представлений, эрудиция не является той основной чертой, которая позволяет ученому решать задачу, тут главное — воображение, конкретное мышление и в основном смелость. Острое логическое мышление, которое обычно свойственно математикам при постулировании новых основ, скорее мешает, поскольку оно сковывает воображение.

Умение ученого решать такого рода крупные научные проблемы, при этом не выявляя четкого логического построения, обычно называют интуицией. Возможно, что существует такой процесс мышления, происходящий в нашем подсознании, но пока его закономерности нам не известны, и, если я не ошибаюсь, даже Фрейд, наиболее глубоко разбиравшийся в подсознательных процессах, этой проблемой не занимался. Но если этот мощный процесс творческого мышления называть интуицией, то, конечно, Франклин и Фарадей им полностью владели. Несомненно, владел им и Резерфорд. Поэтому его часто называли Фарадеем наших дней.

Когда в самом начале нашего столетия Резерфорд начал заниматься радиоактивностью, то опыты уже явно выявили противоречия фундаментальнейшему закону природы — закону сохранения энергии.

Объяснение радиоактивности, впервые данное Резерфордом, как распада до того неизменной материи сразу дало ключ к пониманию этих явлений и направило по верному пути дальнейшие изыскания.

То же произошло при создании им планетарной модели атома. Эта модель в корне противоречила классической электродинамике, так как при таком орбитальном движении электронов они должны были непрерывно терять свою кинетическую энергию путем излучения. Но эксперимент по рассеянию альфа-частиц, сделанный учеником Резерфорда Марсденом (1910), однозначно указал на существование тяжелого ядра в центре атома. Резерфорд так ясно себе представлял все происходящее во время столкновения частиц, что для него противоречие даже с фундаментальными законами электродинамики не послужило препятствием для установления планетарной модели атома. Уже несколько позже, в 1913 году, Бор на основании развивающихся тогда представлений о квантовой структуре света блестяще развил теорию строения атома, которая не только дала полное согласование с планетарной моделью Резерфорда, но количественно объяснила структуру спектров, излучаемых атомом.



Своеобразный характер мышления Резерфорда легко можно было видеть, беседуя с ним на научные темы. Он любил, когда ему рассказывали об опытах, но чтобы он слушал с интересом — а по его выразительному лицу сразу было видно, слушает он с интересом или скучает, — надо было говорить только об основных фактах и идеях, не вдаваясь в технические подробности, которые Резерфорда не интересовали. Когда мне приходилось приносить ему для утверждения чертежи импульсного генератора большой мощности для получения сильных магнитных полей, то он из вежливости клал перед собой синьку, не обращая внимания на то, что она лежала перед ним вверх ногами, и говорил: «Этот чертеж меня не интересует, вы просто укажите те принципы, на которых эта машина работает». Основную идею эксперимента он схватывал очень быстро, с полуслова. Это меня поражало, особенно в первые годы моего пребывания в Кембридже, когда из-за незнания английского языка я говорил еще настолько плохо, что не мог ясно рассказать о своих идеях и опытах, и, несмотря на это, Резерфорд быстро схватывал идею и давал всегда очень интересную оценку.

Резерфорд охотно рассказывал о своих опытах, любил показывать свои установки и эксперименты. Он любил сопровождать рассказ рисунками, для этого у него в жилетном кармане всегда было несколько маленьких огрызков карандаша. Он держал карандаш по-особому, мне всегда казалось — очень неудобным образом, как-то концами трех пальцев. Чертил он слегка дрожащей рукой, рисунок был прост, состоял из небольшого числа штрихов, сделанных с большим нажимом. Довольно часто острие карандаша ломалось, тогда вынимался из кармана другой огрызок.

Многие физики, особенно теоретики, любят научные споры; процесс спора для них — способ мышления. Я никогда не слышал, чтобы Резерфорд спорил. Он высказывал свое мнение очень коротко и с предельной ясностью и конкретностью; если ему возражали, то он с интересом выслушивал возражение, но на этом дискуссия и кончалась.

Я очень любил лекции Резерфорда, я прослушал курс физики, который он читал студентам как кавендишский профессор. Я мало что узнал из этого курса нового для себя, так как физику к тому времени я знал уже неплохо, но подход Резерфорда к физике меня научил многому. Резерфорд читал с большим увлечением, математикой он почти не пользовался, явления он обычно описывал диаграммами и сопровождал лекцию четкими, но скупыми жестами, из которых было видно, как конкретно и образно он мыслит. Но интересным для меня в его лекциях было то, что он нередко менял тему. По плану он должен был читать об одном, но потом, по аналогии, его мысль переходила на другое явление, обычно связанное с каким-либо новым опытом, сделанным в области радиоактивности, и он с увлечением начинал рассказывать о том, что его сейчас занимало. При этом хуже всего приходилось его ассистенту: ему Резерфорд неожиданно предлагал сделать демонстрацию, которая не входила в первоначальный план лекции.

В Кембридже я слушал также факультативный курс лекций для студентов Дж. Дж. Томсона, он говорил о прохождении электричества через газ. Интересно было видеть, как совершенно иначе подходит к восприятию природы этот большой ученый. Если мысль Резерфорда была ближе к индуктивной, то у Томсона мысль, несомненно, была дедуктивной. Мне кажется, что при воспитании молодых ученых им исключительно полезно слушать лекции по общим курсам, которые непременно должен читать большой ученый; они научатся тому, что ни в одной книге они не смогут найти, — оригинальному подходу к пониманию явлений природы.

В связи с этим мне вспоминается одна беседа с Горэйсом Лэмбом, в которой он рассказал мне, как он слушал лекции Максвелла. Он говорил, что Максвелл не был блестящим лектором, он обычно приходил на лекции без записок и при выводе формул на доске часто ошибался и сбивался. Вот в том, как Максвелл искал и поправлял свои ошибки, Лэмб научился большему, чем из любой прочитанной им книги. Самым ценным в лекциях Максвелла для Лэмба были его ошибки. Несомненно, ошибки гениального человека так же поучительны, как и его достижения.

Когда я был в Кембридже, Резерфорд уже не работал один экспериментально, он делал свои опыты преимущественно с Чадвиком и Эллисом, но всегда принимал активное участие в опытах. Построение прибора технически осуществлял его лаборант, тогда это

был Кроу, с которым он обращался довольно сурово. Но я наблюдал, как он сам, несмотря на легкое дрожание рук, довольно ловко обращался с тонкостенными стеклянными трубочками, наполненными эманацией радия.

Хотя опыты Резерфорда вам всем хорошо известны, я не могу все же не сказать несколько слов о них. Конечно, самое привлекательное в них — это ясность в постановке задачи, простота и прямолинейность методического подхода к ее решению. Мой многолетний опыт как экспериментатора показал, что лучший способ правильно оценить учебного, как начинающего, так и полностью развившегося, — это по его естественному стремлению и умению при постановке опыта искать простое решение. К Резерфорду полностью применимо замечательное изречение неизвестного автора: «*La simplicité c'est la plus grande sagesse*»<sup>1</sup>. Мне хочется также вспомнить удивительно правильное и глубокое высказывание украинского философа Григория Сковороды. Он был крестьянского происхождения и жил во второй половине XVIII века. Он писал очень интересно, но, по всей вероятности, в Англии он неизвестен. Так вот, он примерно сказал следующее: мы должны быть благодарны богу, что он создал мир так, что все простое правда, а все сложное неправда.

Все наиболее красивые и простые опыты Резерфорда сводились к изучению законов рассеяния при ядерных столкновениях. Методика наблюдения сцинтилляций и счетчики были разработаны им совместно с Гейгером в 1908 году. Прошло более полувека, и этот метод вместе с камерой Вильсона, созданной в то же время, остаются основными методами для изучения ядра и ядерных процессов. Теперь только прибавляют оптические и резонансные методы определения ядерных моментов, но по существу вся ядерная физика не располагает большими методическими возможностями, чем те, которые были использованы во времена Резерфорда и которые в основном все были найдены им и его сотрудниками. Современное развитие ядерной физики происходит не в результате возникновения новых методических возможностей изучения ядерных процессов, а благодаря возможности изучения столкновения ядер большего количества различных элементов. Эти столкновения изучаются теперь при больших энергиях главным образом благодаря построению мощных ускорителей. Но и в наши дни ключом к познанию ядра атома остается метод, фундаментальное значение которого впервые было понято Резерфордом, — это изучение процессов соударения ядер. Как говорил Резерфорд: «*Smash the atom*»<sup>2</sup>.

Но изучение ядерных процессов при столкновении таит в себе по сей день одну большую слабость — это необходимость статистического метода обработки результатов. Хорошо известно, что нужна большая осторожность, чтобы при ограниченном числе статистических данных вывести из них общую закономерность. Кто-то, говоря о применении статистики, как-то сказал: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Правда, это было сказано о статистике общественных процессов, но до известной степени это может относиться к применению статистики в физике. Ни в одной области физики не было сделано столько грубейших ошибок и ложных открытий, как при обработке статистических данных, полученных в результате ядерных столкновений. До сих пор почти ежегодно продолжают происходить открытия новых частиц элементов и резонансных уровней, которые потом оказываются ошибочными.

Резерфорд хорошо знал, какая опасность таится в необъективности интерпретации экспериментальных данных, имеющих статистический характер, когда ученому хочется получить желаемый результат. Обработку статистических данных он проводил очень осторожно; интересен метод, который он применял. Счет сцинтилляций проводили обычно студенты, которые не знали, в чем заключался опыт. Кривые по полученным точкам проводили люди, которые не знали, что должно было получиться. Насколько мне помнится, Резерфорд и его ученики не сделали ни одного ошибочного открытия, в то время как их было немало в других лабораториях. В мое время особо строгим судьей и очень критическим при обработке статистических результатов Резерфорд считал Чадвика.

Я не работал совместно с Резерфордом, поэтому не видел его работающим в лабо-

<sup>1</sup> Простота — вот самая большая мудрость (франц.).

<sup>2</sup> Расширить атом (англ.).

ратории. Но я знаю, что до конца жизни он неизменно уделял много времени и сил своей научной работе. Пожалуй, не меньше внимания и сил он отдавал руководству молодежью, которая тогда работала в Кавендишской лаборатории. Детальное руководство работами он обычно передавал одному из своих старших сотрудников, большей частью это был Чадвик, но он всегда сам интересовался как выбором научной тематики, так и методическим подходом к решению поставленных задач. Пока работающий не начинал получать конкретных результатов, он мало обращал внимания на работу. Мелочной опекой он не занимался. Он часто приходил к нам в лабораторию на короткое время и неизменно делал замечания вроде: «Что вы тут все время топчетесь на одном месте, когда же будут результаты?» Когда я только начал работать в Кавендишской лаборатории, такие замечания на меня производили очень сильное впечатление, в особенности потому, что они делались громовым голосом и с суровым выражением лица. Впоследствии я убедился, что это были просто автоматические высказывания; Резерфорд делал их, видимо, по привычке. Возможно, он унаследовал эту привычку от новозеландских фермеров, которые, проходя на поля, считали необходимым парой «добрых» слов подбодрить работающих на полях батраков. Что это было действительно так, меня убедил следующий случай, уже происшедший после нескольких лет работы в Кавендишской лаборатории. Как-то надо было пробить фундаментальную стену, проложить проводку для какого-то эксперимента. Работа была срочная, но случилось так, что в это время была забастовка строительных рабочих и найти каменщика было исключительно трудно. Наконец это удалось. Он взялся сделать работу, но через некоторое время пришел и заявил, что отказывается здесь дальше работать. Когда его спросили почему, то он ответил, что мимо него два раза проходил джентльмен и оба раза спрашивал его, когда же он возьмется за дело по-настоящему и закончит работу. Эти замечания его сильно обидели. Когда его спросили, кто же был этот джентльмен, то по описанию с несомненностью выяснилось, что это был Резерфорд. Когда Резерфорда упрекнули и обратили его внимание на то, что в такое время надо деликатным образом обращаться со строительными рабочими, к нашему изумлению, Резерфорд отрицал, что вообще он что-либо говорил каменщику. Очевидно, когда он понукал нас за безделье в лаборатории, он это тоже делал автоматически, бессознательно. Это был у него условный рефлекс.

Самое замечательное качество Резерфорда как учителя было его умение направить работу, поддержать начинание ученого и правильно оценить полученные результаты. Самое большее, что он ценил в учениках, — это самостоятельность мышления, инициативу, индивидуальность. При этом надо сказать, что Резерфорд применял все возможное для того, чтобы выявить в человеке его индивидуальность. Я помню, еще в начале моей работы в Кембридже я как-то сказал Резерфорду: «У нас работает X, он работает над безнадежной идеей и напрасно тратит время, приборы и прочее». — «Я знаю, — ответил Резерфорд, — что он работает над безнадежной проблемой, но зато это проблема его собственная, и если работа у него и не выйдет, то она его научит самостоятельно мыслить и приведет к другой проблеме, которая уже будет иметь экспериментальное решение». Так оно потом и оказалось. Он многим готов был пожертвовать, чтобы только воспитать в человеке независимость и оригинальность мышления, и, если они проявлялись, он окружал его заботой и особо поощрял его работу.

Как пример умения Резерфорда верно направлять работу своих учеников приведу историю большого открытия, сделанного Мозели. Ее мне рассказывал Резерфорд. В 1912 году Мозели работал у Резерфорда в Манчестере. Это был очень молодой человек, но Резерфорд мне говорил о нем как о своем лучшем ученике. Он сразу же сделал небольшую, но хорошую работу. После этого он пришел к Резерфорду и рассказал о трех возможных темах работ, которые он хотел бы делать. Одна из них была как раз та классическая работа, которая сделала имя Мозели всемирно известным: установление зависимости длины линии волны рентгеновских лучей атома от положения его в периодической системе. Резерфорд отметил, что считает эту тему самой важной, и посоветовал Мозели именно ее. Резерфорд не ошибся — работа оказалась исключительно важной, но Резерфорд всегда отмечал, что идея принадлежала Мозели.

Он заботился о том, чтобы было отмечено все, что было у человека своего. Сам он это делал всегда в своих лекциях и работах. Если кто-нибудь при опубликовании

своей работы забывал оговорить, что данная идея, собственно, не его, Резерфорд сразу же обращал на это внимание автора.

Резерфорд считал, что начинающему ученому не следует давать технически трудную работу. Для начинающего работника, даже если он и талантлив, нужен успех, не то может произойти необоснованное разочарование в своих силах. Если у ученика есть успех, то надо его справедливо оценить и отметить.

Как-то в одном из откровенных разговоров Резерфорд мне сказал, что самое главное для учителя — научиться не завидовать успехам своих учеников, а это с годами становится нелегко! Эта глубокая истина произвела на меня большое впечатление. Главным свойством учителя должна быть щедрость. Несомненно, Резерфорд умел быть щедрым, это, по-видимому, главный секрет того, что из его лаборатории вышло столько крупных ученых, в его лаборатории всегда было свободно и хорошо работать, была хорошая деловая атмосфера.

Резерфорд прекрасно понимал значение, которое для него самого имели ученики. Для него дело было не только в том, что молодежь всегда поднимает производительность научной работы в лаборатории. Он говорил: «Ученики заставляют меня самого оставаться молодым». В этом глубокая истина, так как ученики не позволяют учителю отставать от жизни, отрицать все новое, что рождается в науке. Как часто мы наблюдаем, что ученые, старея, становятся в оппозицию к новым теориям, недооценивают значение новых направлений в науке. Между тем Резерфорд с легкостью и доброжелательством воспринимал такие новые идеи в физике, как волновая и квантовая механики, к которым в то время ряд крупных ученых его поколения относился необоснованно скептически. Это обычно случается как раз с теми из ученых-одиночек, у кого нет близких учеников, которыми надо руководить и которых надо двигать вперед.

Резерфорд был очень общителен и любил беседовать с приезжими учеными, которых было много. Его отношение к чужой работе обычно было внимательным. В беседе Резерфорд легко оживлялся, любил шутки и сам часто шутил, при этом он легко смеялся. Смех его был искренний, громкий и заразительный. Лицо его было очень выразительно — сразу было видно, в каком расположении духа он находится, озарен ли он чем-нибудь. Его хорошее настроение выражалось в том, что он добродушно подсмеивался над собеседником: чем больше он подсмеивался, тем больше он был расположен к человеку. Так он шутил в разговоре с Бором, так он говорил и с Ланжевенном, которых особенно любил. В его веселых замечаниях, сказанных самым добродушным образом, часто таилось большее, чем шутка. Помню, как он привел ко мне в лабораторию Милликена, сказал мне: «Позвольте вас представить Милликену, вы, несомненно, знаете, кто он. Покажите ему вашу установку для получения сильных магнитных полей и расскажите о своих опытах, но вряд ли он будет слушать вас, он сам начнет рассказывать о своих опытах». Потом последовал смех, который значительно менее громко поддержал сам Милликен. После этого Резерфорд нас покинул, и я скоро убедился, что его пророчество оказалось правильным.

Я не буду описывать, как делал Резерфорд научные доклады, мне они всегда очень нравились как по содержанию, так и по форме. Резерфорд придавал большое значение форме доклада и, по-видимому, тщательно к нему готовился. Он меня учил, как надо докладывать в Королевском обществе, и одно из его наставлений мне до сих пор врезалось в память. «Поменьше показывайте диапозитивов,— говорил он.— Когда темно в зале, слушатели, пользуясь этим, покидают лекцию».

Резерфорда интересовали не только узконаучные вопросы, но и многое в окружающем его мире. Он читал и географические и исторические книги и любил рассказывать о прочитанном. Все он воспринимал с большим темпераментом, всегда извлекал сущность. Впоследствии, когда я стал членом колледжа и когда я его провожал домой после воскресного обеда, мы часто дискутировали с ним на политические темы.

В первый день, когда я начал работать в Кавендишской лаборатории, он неожиданно заявил мне, что не допустит, чтобы я занимался коммунистической пропагандой у него в лаборатории. Для меня тогда такое заявление было полной неожиданностью, оно меня и удивило, и поразило, и обидело. Несомненно, оно было следствием тогдашней острой политической борьбы и связанной с ней пропаганды. До приезда в Англию,

в России, я был далек от того, что происходило в Европе, я так увлекался своей научной работой, что существовавшая тогда глубокая политическая рознь была мне непонятна. Впоследствии, завершив свою первую научную работу, я преподнес Резерфорду оттиск и сделал на нем надпись, что эта работа — доказательство того, что я пришел к нему работать, а не заниматься коммунистической пропагандой. Он сильно рассердился и вернул мне оттиск. Я это предвидел, и у меня был заготовлен другой оттиск с весьма подобающей надписью, который я и передал ему. По-видимому, Резерфорд оценил мою дальновидность, и инцидент был исчерпан. Для него была характерной быстрая вспыльчивость, но так же быстро он и отходил.

Впоследствии мы много раз говорили с Резерфордом на политические темы, в особенности нас всех волновал нарастающий фашизм в Европе. Резерфорд был оптимистом и считал, что все обойдется. Но мы знаем, что так не случилось.

У Резерфорда, как и у большинства людей, занимающихся наукой, были прогрессивные взгляды.

Дважды мне пришлось вовлекать Резерфорда в некоторую политическую активность. Первый раз это было в связи с Ланжевеном. Резерфорд в молодости работал с Ланжевеном в Кавендишской лаборатории в одной комнате, и они с самого начала были очень дружны. Конечно, невозможно было не дружить с человеком такого блестящего ума и исключительных душевных качеств, каким был Ланжевен. В Париже мои друзья, ученики Ланжевена, с возмущением говорили мне, что Ланжевена, несомненно самого крупного физика Франции, не выбирают во Французскую академию из-за его левых убеждений, поскольку он открыто принимал участие в левых организациях, был основателем Лиги прав человека, боролся с антисемитизмом во время процесса Дрейфуса и пр. Я рассказал Резерфорду о трудности положения Ланжевена во Франции и спросил его, выбирают ли в Англии ученых с такими левыми взглядами, как у Ланжевена, в иностранные члены Королевского общества. Резерфорд сперва сказал что-то непонятное, потом он стал говорить, какой действительно хороший человек Ланжевен, потом вспомнил, что во время войны Ланжевен очень активно наладил придуманную им ультразвуковую связь в воде через Ла-Манш. На этом разговор и кончился. В ближайшие выборы — в 1928 году — Ланжевен был выбран иностранным членом Королевского общества, и это было на много лет раньше, чем во Французскую академию.

Второй случай был в начале гитлеризма. Положение таких крупных ученых-физиков, как Штерн, Франк, Борн, и ряда других нас сильно беспокоило в условиях распространяющегося активного антисемитизма. Тогда в Кембридж приезжал ко мне Сицлард, и перед нами встал вопрос, как извлечь этих людей из Германии так, чтобы их отъезд не вызвал подозрений. Я обратился к Резерфорду, и он охотно нам помог, лично послав этим ученым приглашение приехать в Кембридж прочесть лекции.

Самые разнообразные люди интересовали Резерфорда, но особенно любил он людей, которые проявляли индивидуальность. Когда Резерфорд стал президентом Королевского общества, ему часто приходилось ездить на званые обеды и сидеть рядом с крупными общественными, финансовыми и государственными деятелями. Он любил потом рассказывать о разговоре с ними и давать им характеристики. Мне особенно помнится, какое сильное впечатление на него произвел Черчилль. Характеристика, которую он дал ему, была короткой, ясной и правильной. Больше всего мне запомнилось то, что Черчилль тогда уже считал Гитлера реальной опасностью для мира, назвав его человеком, оседлавшим тигра. Возможно, этот разговор несколько изменил оптимистический взгляд Резерфорда на будущее.

Несомненно, понимание и интерес к людям и доброжелательное отношение к ним чувствовали сами окружающие его люди, поэтому другой раз его чересчур прямолинейные высказывания, которые в обществе принято называть нетактичными, были полностью компенсированы его добродушием и доброжелательством.

Конечно, правильная оценка людей и понимание их было результатом того, что Резерфорд был тонкий психолог, люди его интересовали, и он хорошо в них разбирался. Его характеристики людей были очень откровенны и прямолинейны. Как и в науке, его описание человека было всегда кратко и очень точно. Неизменно я убеждался, что оно

правильно. Возможно, его подход к людям был тоже подсознательным процессом и мог бы быть назван интуицией.

Понимание психологии людей и интерес к ним Резерфорда мне бы хотелось обосновать двумя эпизодами. В Кембридже был небольшой, но передовой театр, в котором как раз шла пьеса Чехова «Дядя Ваня». Оказывается, Резерфорд пошел на спектакль и был им очень потрясен. Как и все произведения Чехова, она решает психологическую проблему, и не простую, но усложненную тем, что все действующие лица — глубоко интеллектуальные люди и поэтому их восприятие мира очень усложнено. В этой пьесе известный профессор гуманитарных наук после отставки приезжает в поместье жены. Дядя Ваня управляет имением и отдает этому всего себя, только чтобы было достаточно средств профессору. Дядя Ваня видит, что профессор — это дутая знаменитость, схоласт и педант. На фоне сложной психологической ситуации дядя Ваня стреляет в профессора, но промахивается. Мне помнится, с какой живостью, простотой и ясностью Резерфорд рассказывал мне ситуацию, его симпатии были на стороне дяди Вани. То, что Резерфорда это увлекало, показывает, что он любил разбираться в психологии людей.

Большое впечатление на меня произвел следующий случай, в котором проявилось умение Резерфорда обращаться с людьми. Я думаю, что прошло достаточно времени и я могу рассказать о случае, который касается очень известного в то время физика — Пауля Эренфеста. Эренфест родился в Австрии, на какой-то экскурсии в горах познакомился с русской женщиной, ученой, последовал за ней в Россию и женился на ней. Там он сделал ряд крупных работ, главным образом по термодинамике, получивших мировое признание. Он получает затем приглашение Лейденского университета занять кафедру физики, которую только что по возрастному цензу освободил великий Лоренц, создатель электронной теории металлов и один из основоположников теории относительности. В Лейдене Эренфест и его дом сделали одним из центров мировой теоретической физики. Основным качеством Эренфеста был необычайно четкий критический ум. Он был не только удивительным учителем молодежи, которая льнула к нему, — его критика считалась очень глубокой, и физики-теоретики, сделавшие крупную работу, неизменно ездили к Эренфесту, чтобы изложить ее. Эренфест всегда заметил бы малейшее противоречие или ошибку. Надо сказать, что Эренфест критиковал очень охотно, делал это с большим темпераментом и даже резко, но всегда очень доброжелательно. Критика эта была настолько серьезна и плодотворна, что к нему ездили Эйнштейн и Бор. Несмотря на разницу лет, я дружил с Эренфестом, был частым гостем его исключительно милой, гостеприимной семьи и не раз бывал свидетелем его научных бесед.

Исключительно критический ум, по-видимому, сковывал его воображение, и ему самому не удавалось делать работы, которые он мог бы считать крупными. Я не знал тогда, что со своей повышенной нервозностью Эренфест сильно переживал, что не может в своем творчестве подняться до уровня друзей, которых он критиковал. Узнал я об этих переживаниях в начале 1933 года, когда я получил от него длинное письмо, в котором он мне подробно описывает свое тяжелое душевное состояние и никчемность работы и считает, что ему долгие жить не следует. Единственно, что, по его мнению, могло бы его спасти — это покинуть Лейден и уехать подальше от своих друзей. Он просит меня, не могу ли я помочь ему устроиться в какой-либо небольшой университет в Канаде и попросить об этом Резерфорда, у которого, несомненно, в Канаде большие связи. Я, конечно, был очень взволнован, мы все любили Эренфеста и все знали, что его влияние как учителя и критика на развитие современной физики было громадно. Я перевел письмо с немецкого на английский язык и пришел к Резерфорду, который был лично мало знаком с Эренфестом. Я передал письмо и сказал, что очень боюсь за судьбу Эренфеста, так как письмо, несомненно, показывает душевную неуравновешенность, может быть, она временна, и надо сделать все возможное, чтобы помочь ему выйти из этого состояния душевной депрессии. Резерфорд сказал, чтобы я не волновался, что он все берет на себя. Я не знаю, что написал Резерфорд Эренфесту, но только через некоторое время я получил письмо от Эренфеста совсем счастливое, он писал, что Резерфорд объяснил ему, какую роль он играет в физике, конечно, ему не надо ехать в Канаду. Из

всей этой истории видно, как умело Резерфорд справлялся с очень сложными психологическими ситуациями, наверное, даже лучше, чем психиатр.

К концу 1933 года состояние депрессии, по-видимому, вернулось, и 25 сентября Эренфест прекратил свою жизнь.

Мне вспоминается еще один, уже веселый, случай, характерный для отношения Резерфорда к ребятам.

Как-то Резерфорд позвал меня к себе в кабинет, и я застал его читающим письмо и грохочущим своим открытым и заразительным смехом. Оказывается, письмо было от учеников какой-то украинской средней школы. Они сообщали ему, что организовали физический кружок и собираются продолжать его фундаментальные работы по изучению ядра атома, просят его стать почетным членом и прислать оттиски его научных трудов. При описании достижений Резерфорда и его открытий, сделанных в области ядерной физики, вместо физического термина они воспользовались физиологическим. Таким образом, структура атома в описании учеников получила свойства живого организма, что и вызвало смех Резерфорда. Я объяснил Резерфорду, как могло произойти это искажение. По-видимому, школьники сами делали перевод письма и при этом пользовались словарем, а в русском языке в отличие от английского слово «ядро» имеет два смысла. Резерфорд сказал, что он так и предполагал, и ответил ребятам письмом, в котором благодарит за высокую честь избрания и посылает оттиски своих работ.

В заключение мне хотелось бы остановиться на вопросе, обсуждение которого я несколько раз встречал в литературе. Предвидел ли Резерфорд те громадные практические последствия, к которым приведет научное открытие и изучение радиоактивности? Громадный запас энергии, который скрыт в материи, был осознан физиками уже давно, это шло параллельно с развитием теории относительности. Вопрос, который тогда не имел еще решения, — удастся ли когда-либо найти способ реализовать эти громадные запасы энергии. Известно, что возможности получения энергии за счет ядерных процессов становились все более реальными по мере понимания сущности радиоактивных процессов. Главное, неясен был вопрос, удастся ли технически осуществить эти энергетические процессы. Мне помнится, когда я говорил об этом с Резерфордом, он не проявлял к этому вопросу особого интереса. С самого начала моего знакомства с Резерфордом я обратил внимание на то, что у Резерфорда не было никакого интереса к технике и техническим проблемам, и даже казалось, что у него к ним было предубеждение, поскольку работа в области прикладных наук обычно связана с денежными интересами.

Я, будучи инженером по образованию, естественно, всегда интересовался техническими задачами. Ко мне не раз обращались за советами и с просьбой принять участие в решении технических задач в промышленности. Когда я советовался по этому поводу с Резерфордом, то он неизменно говорил мне: «Богу и Маммоне служить одновременно нельзя», — и, конечно, это было правильно.

Мне помнится еще такой разговор с Резерфордом за обедом в Тринити Колледж. Не помню, по какому поводу — под влиянием ли книги Ломброзо «Гений и помешательство» или по другой причине, — я развивал взгляд, что всякий крупный ученый должен быть до некоторой степени сумасшедшим. Резерфорд услышал этот разговор и спросил меня: «По вашему мнению, Капица, я тоже сумасшедший?» — «Да, профессор». — «А как вы это докажете?» — спросил он. «Очень просто, — ответил я. — Вы помните, несколько дней назад вы сказали мне вскользь, что получили письмо из США, в котором крупная американская фирма (не помню сейчас какая, по-видимому, это была General Electric Co), предлагала вам построить в Америке колоссальную лабораторию и при этом предлагала платить сказочное жалованье. Вы только рассмеялись на это предложение, и серьезно вы его не могли рассматривать. Так вот, с точки зрения нормального человека вы поступили, как сумасшедший». Резерфорд рассмеялся и сказал, что, по всей вероятности, я прав.

Осенью 1934 года, когда я, как обычно, поехал в Советский Союз, чтобы повидать мать и друзей, я был совершенно неожиданно для меня лишен возможности вернуться в Кембридж, и в последний раз видел Резерфорда и больше не слышал его голоса и его смеха. В Советском Союзе в продолжение последующих трех-четырех лет я не имел своей лаборатории и не мог продолжать свою научную работу. Конечно, мое душевное

состояние было тяжелым. В эти годы единственный ученый, с которым я переписывался за пределами СССР, был Резерфорд. Не реже, чем раз в два месяца, он мне писал длинные письма, которые я глубоко ценил. В этих письмах он рассказывал о жизни в Кембридже, о своих научных успехах и достижениях своей школы, писал о себе, шутил и давал мне советы, неизменно подбадривая меня в моем трудном положении. Он хорошо понимал, что главное — мне нужно скорее приступить к научной работе, которая была так резко прервана. Хорошо известно, что главным образом благодаря его участию и помощи я мог получить свое научное оборудование из Мондовской лаборатории, так что через три года я опять смог возобновить свои работы в области физики низких температур.

Я уверен, что со временем письма Резерфорда будут опубликованы, но сейчас я все же хочу привести несколько отрывков из них, которые и без комментариев говорят за себя.

Двадцать первого ноября 1935 года он пишет: «...Мне хочется дать вам небольшой совет, хотя, может быть, он и не нужен. Я думаю, что для вас самое важное — начать работать по устройству вашей лаборатории как можно скорее и постарайтесь научить ваших помощников быть полезными. Я думаю, что многие из ваших неприятностей отпадут, когда вы снова будете работать, и я также уверен, что ваши отношения с властями улучшатся, как только они увидят, что вы работаете ревностно над тем, чтоб пустить в ход ваше предприятие... Возможно, что вы скажете, что я не понимаю ситуации, но я уверен, что ваше счастье в будущем зависит от того, как упорно вы будете работать в лаборатории. Слишком много самоанализа плохо для каждого...»

15 мая 1936 года он пишет: «...Этот семестр я был более занят, чем когда-либо. Но вы знаете, мой характер очень улучшился в последние годы, и мне кажется, что никто не пострадал от него за последние несколько недель. Начните научную работу, даже если она не будет мирового значения, начните как можно скорее, и вы сразу почувствуете себя счастливее. Чем труднее работа, тем меньше времени останется на неприятности. Вы же знаете, что некоторое количество блох хорошо для собаки, но я думаю, что вы чувствуете, что у вас их больше, чем нужно...»

Коротко, ясно и бодро дает он прекрасные отцовские советы. Последнее письмо датировано 9 октября 1937 года. Он подробно пишет о предполагаемой поездке в Индию. Но в нем есть одна фраза, которую я приведу:

«...Мне приятно сказать, что физически я чувствую себя недурно, но мне хотелось бы, чтобы жизнь не была столь утомительна во время семестра».

За десять дней до смерти он не чувствовал, как она близка.

Для меня смерть Резерфорда была не только потерей учителя и друга. Для меня, как и для ряда ученых, эти годы были также концом целой эпохи в науке.

По-видимому, к этим годам надо отнести начало того периода в истории человеческой культуры, который сейчас общепринято называть научно-технической революцией. Один из главных факторов этой революции — это использование человечеством ядерной энергии. Мы все хорошо знаем, что последствия этой революции могут быть очень страшны, — она может уничтожить человечество.

Хотя мы все надеемся, что у людей хватит ума, чтобы в конечном итоге повернуть научно-техническую революцию по правильному пути для счастья человечества, но все же в год смерти Резерфорда безвозвратно ушла та счастливая и свободная научная работа, которой мы так наслаждались в годы нашей молодости. Наука потеряла свою свободу. Она стала производительной силой. Она стала богатой, но она стала пленницей, и часть ее покрывается паранджой. Я не уверен, продолжал ли бы сейчас Резерфорд по-прежнему шутить и смеяться.





# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

## ПИСАТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ, КРИТИК

*Статья вторая*

1

**П**родолжение статьи о «литературном треугольнике», давно мною задуманное, по причинам, в которых трудно дать односложный отчет, было написано не сразу. А между тем я стал получать письма читателей, напоминавших о начатом разговоре и вносивших порой поправки в мои намерения и планы. Одни предлагали свое толкование явлений и парадоксов литературной жизни, ставших предметом обсуждения в предыдущей статье<sup>1</sup>, другие советовали, в каком направлении рассматривать проблему дальше, третьи просили коснуться судьбы тех или иных произведений, вызывающих споры и кривотолки.

«Вы заинтересовались отношениями критики и читателей,— написал Б. Удинцев (Москва).— Мне думается, что не менее интересны отношения критиков и авторов». Эту же сторону дела отметил в своем письме москвич инженер А. Лукьянов. Среди читателей, написал он, «бытует мнение, что критик непременно должен быть выше писателя, что писатель — это великий путаник, доставляющий читателю массу хлопот, хотя и из добрых побуждений. Поневоле приходится ждать, что авось поможет критик, растолкует, расшифрует — глядишь, и читать-то книгу, оказывается, не следовало». А. Лукьянов, понятно, иронизирует, но что его действительно заботит, так это что «критики, судя хотя бы по тону подавляющего числа статей — от гневного до покровительственного,— абсолютно убеждены в своей идейно-эстетической исключительности, воз-

вышающей их над писателями». Читатель просит сопоставить «два вида творчества — писателя и критика», имея в виду, что «у критиков должны быть не только моральные права, но и моральные обязанности перед писателями».

Исследованием этой новой грани «литературного треугольника» и будет, пожалуй, удобнее всего продолжить разговор. Но прежде еще одно замечание.

Когда начинают бранить критику, обычно не жалеют для нее обидных и укоризненных слов. Насмешка над недалеким критиком счигается как бы признаком хорошего тона; над ним посмеиваются, его третируют, шум недовольства нарастает, и я оглядываюсь по сторонам, ищу, нет ли желающих вступить за опальный литературный род.

Может быть, писатели? Это было бы только справедливо. Не критик ли привлекает внимание публики к их книгам, хваля или пусть даже ругая их? Не он ли указывает на промахи автору, заставляя его задуматься над недостатками его труда? Не он ли старается поспеть за временем и объяснить писателю требования момента? А между тем какая судьба! Поэты и прозаики вечно третируют его как приживала, литератора без дарования, решившего возместить недостатки природных способностей пересуживанием чужих успехов и неудач. Ученые-литературоведы смотрят на него с академическим превосходством, как на поверхностного недоучку, живущего злобой дня. Читатели... о тех и говорить не стоит после приведенных выше отзывов. Придется искать опору в старом авторитете: «...Критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное до-

<sup>1</sup> См. «Новый мир», № 4, 1965.

стоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования».

Это Гоголь. Хорошо, когда так говорят о критике. Пусть не о нас, не о нынешней критике тут речь — такие слова важны и дороги: есть к чему стремиться, на что надеяться.

Право, не нам бы бранить критику — одну из самых заманчивых, сложных и опасных литературных профессий. Да, и опасных, хотя бы потому, что авторы болезненно остро реагируют на публичное обсуждение их творчества.

Говорят, что критика на то и существует, чтобы помогать писателю исправить недостатки его пера. Я лично не слишком верю в эффективность этого способа совершенствования в искусстве и не знаю случая, когда бы после внушений критики писатель решительно переменялся или сделал плохую книгу хорошей. Навязанные советы редко приносят пользу, художник должен думать сам. Другое дело, что принудительный литературный спор обычно сам по себе бывает и бесполезен, и чем выше талант мастера, тем легче ему согласиться, что труд его далек от полного совершенства, тогда как малая одаренность будет спесиво защищать себя, отвергая с порога даже самые очевидные критические замечания.

Критика не должна быть непременно приятной писателю. Ее святая обязанность защищать права читателя и оберегать его от пошлости, бездарности, идейной пустоты и несостоятельности. И пусть уж лучше обидится писатель, да читатель будет не в накладе.

Однако мы слишком плохо думали бы о критике, если бы главную цель ее полагали в том, чтобы отметить красоты и промахи, «похвалить» или «разнести» книгу, выставить ей оценку. Нам не хотелось бы видеть критику ни в роли зазывалы, расхваливающего перед публикой неходкий товар, ни в облике классной дамы, внушающей провинившемуся автору правила поведения.

В серьезной критике мысль, подсказанная книгой либо прямо извлеченная из нее, не менее важна, чем оценка. Но практика укореняет иные предрассудки, и можно заметить, что писатели, обжегшись на критике, способной лишь выставлять баллы и выносить приговоры, получили обыкновение зна-

комиться с рецензиями ускоренным способом, заглядывая в последний абзац — «хвалит» или «ругает» на этот раз книгу критик. (Так мелком взглядывают на термометр за окном — чтобы узнать, какова нынче погода.) Этим обычно исчерпывается любопытство автора к рецензенту.

А между тем в истории нашей литературы бывали примеры и другого рода взаимоотношений писателя и критика. Своим разбором пьес Островского в статье «Темное царство» Добролюбов дал общественное истолкование явлению «самодурства» и тем самым не только лучше объяснил публике значение творчества драматурга, но и самого его поддержал и укрепил на избранном им пути. Еще, быть может, интереснее другой пример. Тургенев, как известно, рассердился и обиделся на Добролюбова за его статью о романе «Накануне». Почему так случилось? Вовсе не потому, что критик «ругал» автора. Напротив, писатель мог быть лишь польщен той высокой оценкой, какая давалась его роману в статье «Когда же придет настоящий день?». Тургенева смущали революционные выводы, к которым пришел критик, рассматривая характеры его героев, их намерения и поступки. Автор «Накануне» спешил откеститься от трактовки Добролюбова. И, однако, Добролюбов был прав, когда говорил, что не прибавил и не навязал роману ничего такого, что реально не содержалось бы в нем, пусть даже вопреки намерениям автора.

«Реальная критика» Добролюбова была обращена прежде всего к читателю. Но в ней сохранялась при этом вся мера уважения к автору произведения, уважения, основанного на том, что перед критиком был живой мир, знакомый каждому, и в то же время воссозданный с той поразительной новизной, которая составляет привилегию художественного зрения. Добролюбов не искал в романе иллюстраций к своим мыслям, как это пытались представить его недалекие истолкователи. Он сам по-новому понимал жизнь, пользуясь свидетельством художника.

С плоско тенденциозными, бесхудожественными книгами «реальной критике» нечего было бы делать, — в этом случае достаточно сказать, что они неправдивы, скверно написаны — и дело с концом. Условием «реальной критики» служило не только «реально», но подлинно высокое искус-

ство. Добролюбов не имел оснований жаловаться на нехватку поводов для высказывания. Большую критику рождала большая литература. Романы Тургенева, Гончарова, пьесы Островского привлекали той органической, живой объемностью, многомерностью своего содержания, когда, как при взгляде на жизнь, возможны различные суждения и толкования, зависящие от уровня понимания читателя или критика. Оттого-то Добролюбов и приходил на основании правдивых художественных свидетельств к выводам, которых не предполагали порой сами авторы, выговаривая их с той ясностью, какую делает возможной язык публицистики и логических доказательств.

В этом, именно в этом, смысле критик способен идти впереди писателя, объясняя, растолковывая созданные им образы и картины, находя им место в более широком круге общественных явлений. Но это не должно порождать у критика чувства превосходства над писателем. Ведь даже идя в своих выводах впереди автора, он все равно следует за ним, по пути, впервые проложенному его талантом. И читатель А. Лукьянов прав, когда говорит о «моральных обязанностях критика перед писателем».

Настоящий художник обладает перед самым дальновидным критиком хотя бы одним неоспоримым преимуществом. Живое создание искусства — в сущности, бездонно, неисчерпаемо, почти как сама жизнь, и оттого интерес «Обломова» или «Накануне» не сводится для нас к тому, что сказал о них Добролюбов, как бы ни была умна и проницательна его оценка, а в каждую новую эпоху и для каждого думающего читателя приоткрывается новыми своими сторонами.

Критика, которая ставит себя по отношению к автору в положение ментора, выговаривает ему за промахи и дает советы, как их исправить, если и не вовсе бесполезна, то по крайней мере обречена на слишком узкий круг воздействия. Сам писатель более склонен обычно прислушиваться к той критике, которая обращена к читателям и служит как бы мерой общественного осознания его творчества. Заставить думать читателей — это значит и писателя самым нормальным, естественным путем подвинуть в его мыслях и выводах.

Скверно, когда критик чувствует себя человеком касты, профессионального синедриона, куда отводят авторов на суд и покаяние. Критик должен быть близок читателю, то есть по крайней мере не утратить способности читать для удовольствия, воспринимать книгу непосредственно, как поэтическое целое: беда, если он на ходу начинает производить механическую разборку на части, убивая в себе живое впечатление.

Но критик должен быть близок и писателю. Конечно, он вправе с презрением отвернуться от того, что не является искусством, и жестоко развенчать любую подделку под него. Смешно было бы требовать взаимопонимания с бездарностью или фальшью. Но едва он прикаснется к действительному творению искусства, — пусть более или менее значительному, но творению и, творению искусства, — как вступают в силу особые права. Критик только тогда вправе рассуждать о нем, если доверчиво, как свой, может войти в мир воображения писателя, оказаться окруженным толпой его героев, сострадать одним и возненавидеть других.

Людям равнодушным, с глухотой к искусству, не следовало бы заниматься критикой. «В такой разговор надо допускать только взрослых и серьезных людей. Детей не надо», — написал мне один читатель. Хорошо, когда критик имеет на плечах трезвую и ясную голову. Но он должен обладать еще и особой способностью заражаться искусством, воспаляться им, той человеческой чуткостью, какая была в высшей степени присуща, скажем, покойному Марку Щеглову. Перечитайте его статьи о Сергее Есенине, Грине, о «Русском лесе» Леонова. Ни одна талантливая, живая деталь не оставляла его равнодушным; он умел войти в мир художника, как во всякий раз новую для себя страну, и даже упреки и укоры его вряд ли казались авторам обидными, потому что были результатом увлеченного обследования этого мира изнутри и по его законам.

Нет, вовсе не легкое и не безопасное дело это тихое кабинетное занятие — разбор книг. Оно внушает чувство ответственности, тревожит и обременяет совесть, как если бы дело шло не о листах типографской бумаги с ровными линейками строчек, а о судьбах живых людей.

«Убить хорошую книгу, — говорил Миль-

тон,— почти то же, что убить человека». Еще слава богу, что хорошее искусство обладает высокой жизнестойкостью и не умирает даже после насильственной операции, сделанной на живом его теле. «Зарезать» хорошую книгу не так легко, но помешать ей по праву свободно и нормально жить среди читателей — можно.

И не всегда это происходит по злой воле, иной раз — по добросовестной ограниченности, узости, непрофессиональности. В одном рассказе Марка Твена герой имел несчастье повредить часы и обратился за помощью к часовщикам. Один, осмотрев часы, нашел, что у них корпус «вспучило», другой — что «сломан шкворень», а третий объявил, что «кое-где в механизме нужно поставить заплаты, да недурно бы подкинуть и подошвы». В конце рассказа герой начинает догадываться, куда деваются неудавшиеся паяльщики, сапожники и кузнецы: они идут в часовщики.

Мне кажется, Марк Твен не прав, и часть людей этой категории начинает заниматься критикой. Иначе чем объяснить, что по отношению к художественному произведению так часто приходится слышать подобные речи: «Корпус вспучило... Шкворень сломан... Кое-где надо поставить заплаты...» Именно здесь надо искать, вероятно, причину недоразумений, возникающих между автором книги и критиком.

## 2

Старый американский писатель Генри Дэвид Торо в своей удивительной книге «Жизнь в лесу» говорит: «Книги надо читать так же сосредоточенно и неторопливо, как они писались». Искреннее сожаление вызывает у него то, что многие люди научаются читать лишь ради бытового удобства, точно так же, как учатся считать ради записи расходов и чтобы их не обсчитывали. «Но о чтении как благородном духовном упражнении,— говорит Торо,— они почти не имеют понятия, а между тем только это и есть чтение в высоком смысле слова,— не то, что сладко баюкает нас, усыпляя высокие чувства, а то, к чему приходится тянуться на цыпочках, чему мы посвящаем лучшие часы бодрствования».

Чаще вспоминать эту хорошую мысль Торо полезно и в наш век высоких темпов и реактивных скоростей, ищущий узаконить перелистывание, проглядывание и

другие способы сокращенного знакомства с книгой. Ничто не может заменить человеку радость сосредоточенного и вдумчивого чтения. Но если для обычного читателя владение «наукой читать» может служить отличием и заслугой, то для литературного критика оно составляет род профессионального долга.

Тем досаднее, когда книги читают наспех, читают и недочитывают, а рассуждают о них «в общих чертах», отвлеченно, вдали от текста. Может быть, такая манера рассуждения еще годится для книг, которые сами пишутся поспешно, кое-как. Но если вещь написана всерьез, художник душу на нее положил, то ничего, кроме неприязни, не может вызвать это торопливое, приблизительное чтение, тем более когда оно устремлено к одному: половчее поймав, уличить автора, не принявшего в соображение, откуда ветер дует.

Обращает на себя внимание, что в наших литературных журналах редки разборы серьезные и доказательные, зато хватает обзоров, в которых мелькают имена писателей, случайные цитаты, названия произведений с краткой и безапелляционной их характеристикой. Голословная оценка, повторенная несколько раз, укрепляется и затвердевает в виде литературной репутации, гипнотически действующей на позднейших издателей и критиков. Между тем рождается она часто неведомо как — вне аргументации и объяснений.

Критик, который любит «квалифицировать», но не любит анализировать, спешит вычитать из романа «идею», ему не терпится найти в тексте то место, где она прямо сформулирована. И обнаружив такую авторскую «формулу» или то, что показалось ему «формулой», он со злорадством или восторгом демонстрирует ее, считая дальнейшие разговоры лишними.

Так было, например, с рассказом А. Солженицына «Матренин двор», где автор имел неосторожность вспомнить к случаю старинную мудрость пословицы — «не стоит село без праведника». А-а-а, так вот кто его герон, он воспекает праведничество... И критика уже не интересуется произведение как органическое целое, не интересуется полнота его художественного содержания — для того, чтобы надлежащим образом «квалифицировать» рассказ, и этого достаточно.

Но в таком случае стоит ли затрудняться, скажем, и разбором романа «Анна Ка-

ренина»? Достаточно взглянуть на эпиграф — «Мне отмщение, и аз воздам», — чтобы судить об идее и достоинствах сочинения Толстого.

Могут сказать, что пример неудачен: Толстой есть Толстой, недостижимая вершина, — к нему другая мера и подход иной. Это верно, но все это узнается обычно лишь издали, а современники судят проще. Не могу удержаться, чтобы не привести отрывок из частного письма 1876 года, когда «Анна Каренина» только еще печаталась в журнале. «Роман этот, — писала Ф. Достоевскому учительница из провинции, — настолько всех занимает, что вам следовало бы высказаться на его счет, тем более, что, читая «разборы» его, так и хочется сказать: «но как же критика *хавроньей* не назвать». Как странно, что в наш век скептицизма, анализа и разрушения нет ни одного порядочного критика, это просто какая-то насмешка судьбы! Не одна критика, впрочем, богата «хавроньями», ими богато и общество: «почему, видите ли, Толстой не описывает студентов, не описывает народ?!» Точно можно художнику, подлаживаясь под ходячие требования, писать по заказу, точно Айвазовского, положим, можно упрекнуть за то, что он рисует море и небо, а не мужика и студента...» Заметим, что письмо это принадлежит перу известной украинской писательницы и деятеля народного просвещения Христины Алчевской, человека демократического круга, симпатии которого к народу и студенчеству несомненны. Но в ее суждениях заметно то глубокое, неупрощенное понимание природы искусства, какое воспитывал своими статьями в русском читателе еще Белинский.

Вернемся, однако, к «Матрениному двору». Критические страсти, кипевшие вокруг этого рассказа года два-три назад, поостыли, улеглись, и появилась возможность спокойно рассмотреть этот становящийся уже достоянием истории литературы эпизод. Для нас он может послужить своего рода опытом в лаборатории, еще одним наглядным экспериментом, без которых все общие рассуждения об авторе, критике и читателе не имели бы силы.

Первым, если не ошибаюсь, о рассказе А. Солженицына высказался В. Полторацкий. В статье «Матренин двор и его окрестности» («Известия», 29 марта 1963 года) с подъемом говорилось об известном колхо-

зе «Большевик», расположенном, по расчетам критика, в том самом районе, где жила и солженицынская Матрена. Об успехах передового колхоза было рассказано с должной мерой убедительности. Но анализ рассказа Солженицына этими качествами уже не обладал.

«Думается мне, — рассуждал критик, — что тут дело в позиции автора — куда глядеть и что видеть. И очень жаль, что именно талантливый человек выбрал такую точку зрения, которая ограничила его кругозор старым забором Матрениного двора. Выгляни он за этот забор — и в каких-нибудь двадцати километрах от Тальнова увидел бы колхоз «Большевик» и мог бы показать нам праведников нового века...»

Совет хорош, но трудно исполним. Выглянув за забор, увидеть то, что находится в двадцати километрах, можно лишь при феноменальной дальновзоркости, неизбежно сопряженной, как уверяют окулисты, с неким дефектом зрения, позволяющим не замечать все иное, что встретится на двадцатикилометровом пути от Матрениной избы до околицы передового колхоза. Критик предлагает автору строго выбирать — куда глядеть и что видеть. Но разве художник не вправе глядеть всюду и видеть все, что только трогает и волнует его на широкой дороге жизни? Унизительно положение писателя, который, отправляясь в путь, заранее примеряет себе шоры, чтобы не заглядываться по сторонам.

Начальная оценка рассказа складывалась явно не без влияния тех явлений, какие мы ныне называем субъективизмом, когда существовала тенденция вопреки фактам доказать, что все в нашем сельском хозяйстве идет наилучшим образом, что мы вот-вот догоним Америку по маслу, мясу и молоку. В этих условиях такие произведения, как «Матренин двор», могли только раздосадовать: зачем показывать те или иные черты неблагополучия в деревне, когда все идет так хорошо?

Читатели, которых побудила высказаться о «Матренином дворе» статья В. Полторацкого, недоумевали, почему, как только литература начинает говорить о чем-то не совсем приятном, мы спешим объявить это неприятное выдумкой или сугубой односторонностью автора, вместо того чтобы задуматься, откуда взялось то или иное отрицательное явление — в хозяйстве ли, в людях или в быту, и как его поскорее изжить.

«С повестью «Матренин двор»,— писала Е. Измествьева из Ленинграда,— я «познакомилась», прочитав фельетон Полторацкого. Фельетон мне не понравился, было непонятно, почему автор должен непременно писать о колхозниках богатого колхоза, а другие темы, иное восприятие заказаны».

«В своем рассказе,— отмечал москвич А. Дриневиц,— Солженицын описал частную жизнь одной больной женщины, рассказал, какой была эта жизнь в тяжелые послевоенные годы, когда мало чего было еще и в городах, не только в деревнях... Вы жалеете,— обращается читатель к критику,— зачем Солженицын тратит зря свой талант на описание столь мало значительной жизни, не лучше ли было бы взять в герои передовых людей? Так ведь об этом уже много написано. Надо же кому-то писать и об обыкновенных людях».

«Критическая статья г. Полторацкого, на мой взгляд, необъективна и тенденциозна,— писал экономист А. Л. Хазанов из Брянска.— Мне, например, рассказ Солженицына «Матренин двор» очень понравился... Тов. Полторацкий сосредоточил все свое внимание на колхозной жизни того района, в котором развивается действие рассказа, а центральная фигура его — Матрена — волей критика перемещена на задний план. В зарисовке автора рассказа «Матренин двор» Матрена выглядит вовсе не великомученицей, а человеком праведной жизни в лучшем смысле этого слова. Ее неписанный закон — побольше дать, поменьше взять. И все, что ни делает Матрена, она делает от души, с улыбкой, несмотря на то, что личная жизнь ее сложилась весьма неудачно».

Позиция В. Полторацкого страдала столь очевидной слабостью и была такой устарелой по аргументации («Зачем писатель показал бедный, а не зажиточный колхоз?»), что никто позднее не рискнул повторить его доводов. Однако тень неодобрения упала на рассказ, и в некоторых последующих статьях «Матренин двор» был подвергнут критике уже с другой стороны.

Приоритет в разработке новой аргументации против рассказа Солженицына принадлежал, если не ошибаемся, А. Дымщицу. Свое рассуждение о «Матренином дворе», появившееся в обзорной статье «Огонька» (№ 13, 1963), он начал как бы с энергичного опровержения положений В. Полторацкого. «Да, тяжело жила в ту

пору деревня, голодно жила, во многих селах оставила свой страшный след вражеская оккупация. Видел я именно в 1953 году деревню, оставившую очень грустные впечатления. Но в ней же я видел крестьян понастоящему деятельных, почувствовал золотые сердца, уловил возможности улучшения жизни, которые в скором времени развернулись в новых исторических условиях. И это был не просто житейский случай, а жизненная правда».

А ведь неплохо сказано! В самом деле — разве не крайним напряжением сил труженика-крестьянина жило наше сельское хозяйство в тяжкие послевоенные годы и разве не «золотые сердца» таких людей, как Матрена, бескорыстных людей труда, внушали нам веру в народ и перемены к лучшему? Но читаем статью Дымшица дальше и глазам своим не верим. Оказывается, и воспоминания о деревне 1953 года, и слова о «золотых сердцах», столь очевидно навеянные образом Матрены, понадобились ему лишь для того, чтобы сказать: «У А. Солженицына же все (?) наоборот: жизненная правда обужена до житейского случая. И нельзя согласиться с писателем, что тип народного праведника, который он поэтизирует в образе Матрены, есть основа и опора всей земли нашей. Самый тип этот, если он и дожил до пятидесятих годов, есть не что иное, как анахронизм».

Если бы трудовое бескорыстие Матрены, ее «золотое сердце», отзывчивое на всякую человеческую боль и несчастье, оказались в самом деле анахронизмом, это было бы по меньшей мере печально — и мне непонятно в таком случае ликование критика. Но я не могу и не хочу верить в то, что лучшие душевные свойства Матрены анахронизм, — иначе, пожалуй, придется подумать, что нам ближе деятельный старик Фаддей.

Впрочем, о Фаддее А. Дымшиц вообще не вспоминал; вспомнили об этом герое и своеобразно дополнили аргументацию Дымшица его молодые коллеги и единомышленники. В. Сурганов написал в журнале «Москва»: «В конце концов ведь не столько облик солженицынской Матрены вызывает у нас (как водится, В. Сурганов говорит не от себя, а от имени «наших критиков и читателей».— В. Л.) внутренний душевный отпор, сколько открытое авторское любовное нищенским бескорыстием и не менее открытое стремление вознести и противопоставить его хищности собственника, гнезда-

щейся в окружающих ее, близких ей людях. Но ведь оба эти качества — лишь две стороны одной медали: одно вытекает из другого!» («Москва», № 1, 1964).

То, что критик уравнил хищность собственника и бескорыстие труженика, названное неведомо почему «нищенским», могло показаться надуманным парадоксом, неудачной шуткой, — но шутка эта имела непредвиденный успех у некоторых его собратьев по перу. О «Матренином дворе» стали говорить с той самоуверенной категоричностью, какая разрешает любые домыслы и натяжки, — будто рассказа Солженицына как реальности не существовало вовсе, а существовали лишь последующие комментарии к нему. Лариса Крячко в «Октябре» (№ 5, 1964) уже не столько оценивала рассказ сама, сколько составляла свою оценку из прежде сказанного. «Матрена и Фаддей, — писала она, — две стороны одной медали (это из Сурганова. — В. Л.), и ясно, что характер Матрены — анахронизм (а это уже из Дымшица. — В. Л.), не имеющий ничего общего с активным, целеустремленным характером нашего современника». Свое здесь одно — утверждение, что образ Матрены не имеет ничего общего с характером нашего современника. Да и то свое ли?

Хорошо известна точка зрения, согласно которой в жизни нет и не должно быть многообразия характеров, а есть один монолитный — «активный и целеустремленный» — характер нашего современника. Собственно, в жизни-то, может быть, встречаются и другие — только литературе не след ими интересоваться. Других мы попросту знать не хотим — что нам до какой-то больной и несчастной старухи?

Говорят, что теория «идеального героя» уже не имеет литературного и общественно-го кредита. Попытка создания бесплотного идеального лика, лучащегося всеми чаемыми добродетелями, признана неудачной. Но литературные критерии, возникшие на основе этой теории, взращенные ею суждения и оценки изживаются слишком медленно. И если ныне считается неловким требовать от художника создания идеального характера, то укорить его за несоответствие его героев воображаемому образцу — дело вполне возможное.

Однако я беру на себя смелость утверждать, что критики, мнения которых приведены выше, и рядом не ходили с настоящей мыслью «Матрениного двора». Кажется

даже, что она была им просто неинтересна. Иначе как могло случиться, что связь образов, единство авторской идеи, значение в общей картине мрачной фигуры чернорабочего Фаддея — все это осталось в тени, заглушенное негодованием по поводу пассивности Матрены и злосчастной поговорки о праведниках?

Увлечшись разоблачением Матрены, критики не заметили, что активным, целеустремленным характером в согласии с их требованиями обладает как раз Фаддей, и не потрудились объяснить это обстоятельство. Если бы это было сделано, то сразу стало бы ясно, что Солженицын не решает в своем рассказе вопроса об активности и пассивности — как не решает, скажем, и вопроса о свободе и необходимости, о вере и безверии и т. п. Этот вопрос искусственно, извне навязан автору критикой, как могли быть, впрочем, произвольно навязаны и любые другие вопросы.

У писателя есть своя задача, своя заветная мысль, которую при мало-мальской объективности нетрудно понять. Но прежде чем говорить о ней, не следует ли вновь обратиться к самому рассказу — иначе в мелочных спорах с критикой мы рискуем оказаться от мысли писателя, как это случилось с В. Полторацким, по меньшей мере в двадцати верстах.

### 3

Мало кто, я думаю, будет спорить с тем, что «Матренин двор» и среди рассказов Солженицына выделяется строгой художественностью, цельностью поэтического воплощения и выдержанностью вкуса во всех частностях, какую не всегда удавалось сохранить этому мастеру. «Матренин двор» в читательской среде, насколько можно судить по почте «Нового мира», был принят единодушнее, чем что-либо иное у Солженицына: во всяком случае среди многих десятков писем, в которых шла речь об этом рассказе, мне не встретилось ни одного отрицательного отзыва. Легко допустить, впрочем, что кому-то из читателей рассказ и не понравился, но они промолчали. Напротив, поток горячих, сердечных писем с выражением благодарности автору еще усилился после появления упомянутых выше статей профессиональных критиков.

Нельзя сказать, что и критика вовсе про-

шла мимо достоинств рассказа. «Да, рассказ талантлив»,—оговаривались авторы самых придирчивых рецензий на «Матренин двор». «Рассказ правдив»,—признавали самые упрямые оппоненты Солженицына. Но ведь талант писателя-реалиста заключен не в каких-то красотах описаний или слога, посторонних содержанию произведения. Талант есть власть. Власть писателя забирать нас целиком и заставляя горевать и радоваться по своей воле. Власть говорить правду в глаза, живописать жизнь и людей так, чтобы, прежде незнакомые тебе, они навсегда поселились в твоей душе.

Всем надоели плоские бумажные фигурки в роли героев рассказов и повестей. Сколько-нибудь искушенному читателю не так легко внушить, что книжный герой—живой человек, не «персонаж», не «образ», а натуральнейшее, во плоть, лицо. Никаким другим путем, как только искусством, нельзя убедить читателя, что герой—живой. Но если уж мы в это поверили, то с презрением отвернемся от всяких попыток смотреть на образ как на искусственное создание, в котором без ущерба можно прибавить одно и убрать другое. «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...» (И по тому же рецепту—если бы к характеру Матрены прибавить практичности Фаддея да сознательности председательши...)

При резкой и даже порой грубой реальности изображения рассказ построен музыкально, как стихи. Всего несколько энергичных строк зачина, где сказано, что поезда на сто семьдесят четвертом километре от Москвы долго еще замедляли ход почти до ошупи («Только машинисты знали и помнили, отчего это все. Да я»),—и нас охватывает смутное предвестие беды, обещание чего-то горького и страшного, что грудно и не хочется вымолвить сразу и о чем лучше начать говорить неспешно и издалека.

Вернувшийся из дальних мест учитель будто просит времени оглядеться, сосредоточиться, подумать и, захватив полные легкие воздуха, отойти душой в тишине от тяжелых переживаний прошлого. Он и нас приглашает к этому спокойному и несуетному, одинокому своему размышлению, заставляет жадно, как будто впервые, радоваться красоте среднерусской природы, по-

лям и перелескам, народному говору, самим названиям деревень—Часлицы, Овинцы, Шестимирово...

В своем узнавании людей и событий рассказчик не разрешает нам забегать вперед, а размеренно, спокойно ведет за собою, будто восстанавливая шаг за шагом то, что когда-то для себя открывал в них он сам. Игнатич свыкается понемногу с избой, где встречают его колченогая кошка, толпа фикусов у окна, а на стене плакат о книжной торговле, и сама хозяйка живет в «запуши», оттого что болезнь измотала ее, а жизнь течет изо дня в день безрадостная, неустроенная, полная забот. Мы смотрим на нее сначала равнодушно, как на чужую, еще не признавая в ней главного лица будущей драмы, «родного» Игнатичу человека.

Матрена приветлива, но без искательства, неприхотлива, почти неряшлива, и хотя она день-деньской крутится по дому—то у плиты, то в погребе, то в огороде, ее скорее можно назвать работающей, чем хозяйственной—уж слишком все плохо устроено у нее для спокойной жизни. Эта пожилая женщина, еще не старуха по годам, но уже старуха с блекло-голубыми глазами и неожиданно светлой, простодушной улыбкой, пропадает в бесконечном круговороте сельского житья, заполненного трудом с рассвета до заката: печь истопить, «картошь» наготовить, да чтобы топливо было припасено, да сена изловчиться достать для козы, да козу эту доить... А тут еще надо ходить за справками в сельсовет, хлопотать о самой хотя бы малой пенсии за мужа, не вернувшегося с войны, да не пропустить случая с другими бабами раздобыть торфу на зиму.

Жизнь нелегкая, «густая заботами»,—Солженицын не прячет этого ни в одной детали. Но кто скажет, что все это неправда, что так не бывало, особенно если вспомнить, что действие рассказа развертывается в начале пятидесятых годов? Право же, рассказчик не сгущает красок, не чернит фона, он сохраняет доверие читателя своей художественной честностью, объективностью. Кстати, и деревня Тальново не такая уж заброшенная, забытая боюм сторона, как показалось некоторым критикам рассказа,—в избе у Матрены и радио и электричество. Да и в самой судьбе Матрены, с которой, правду сказать, много было «наворочено несправедливостей», к середи-



не рассказа происходят добрые перемены: жизнь вроде бы начинает налаживаться, пенсию ей удастся выхлопотать, справила она себе новое пальто и валенки, повеселела. «Маненько и я спокой увидала, Игнатич».

Для писателя, претендующего на правдивое воспроизведение быта и типов деревни — не больше, самое удобное было бы поставить здесь точку. (Таких описательных, в «реальном духе», рассказов о деревенских стариках и старухах читано нами в последние годы немало.) Но у Солженицына только тут все, собственно, и начинается, и после неторопливо описанного быта «иззаботившейся» Матрены ее успокоение и веселость — как пауза в музыкальном сочинении, позволяющая слушателю перевести дух и сосредоточиться, прежде чем зазвучит, круто взмывая ввысь, новая тема.

Узнанная нами сначала в нынешнем обывденном ее быту, Матрена полнее открывается нам в своем прошлом. Трудно сразу вообразить ее молодой, красивой, сильной крестьянкой из той породы русских женщин, воспетых поэтом, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». (Может быть, эта ассоциация случайна? Но ведь молодая Матрена именно так и поступает — останавливает за узду лошадь с несущимися в озеро санями; потом эту подробность еще раз напомним автор, когда Матрена кинется пособлять мужикам на переезде — и погибнет.)

Рассказ о прошлом Матрены не просто правдив и реален, как и следует ждать от серьезного повествования, но исполнен тонкой и щемящей поэзии. Только художнику дано так оглянуться на всю жизнь человека, на изжитые годы, что будто в ясновидении выплывает перед Игнатичем из полумрака комнаты молодое, розовое лицо Матрены — «освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором». И обветшавший, серый от старости дом видится таким, каким он был когда-то: только отстроенным, со смслистым запахом свежеструганых бревен.

Отзвонит поразительное присловье: «Ишли года, как плыла вода...», и вся жизнь Матрены в этом доме, все сорок лет, прожитые под его крышей, в одно мгновение пробегут в нашем сознании. И чего только не выпало ей пережить, с какой бедой не спознаться: и одна война, и известие о смерти

жениха, и семейная драма, когда известие это оказалось ложным, а она успела выйти замуж за другого, и нужда, и гибель детей, умиравших во младенчестве; и другая война, с которой муж ее не вернулся, и вдовьи слезы, и одиночество... Пережить все это — и остаться человеком бескорыстным, отзывчивым, не проклявшим все на свете в минуту отчаяния, не озлобившимся на людей и на судьбу, — какие были потребны на это душевные силы!

Едва коснувшись прошлого Матрены, мы вступаем в мир поэтических предчувствий, предзнания того, что случится, — мир странный и опровергаемый с точки зрения логического рассудка, но неотразимо убедительный у художника. Это и угроза Фаддея отомстить не дождавшейся его Матрене, угроза, сорок лет пролежавшая в углу, как старый тесак, — и вдруг ударившая. Это и одушевленный, почти языческий мир дома, где на полу в горнице сбежалась и застыла в тревожном ожидании «безмолвная, но живая толпа» фикусов, а животные — кошка, мыши, снующие за обоями, — заранее чувят беду, как это бывало в древнерусской поэзии. И недаром в самую ночь несчастья «мышами овладело какое-то безумие...». Недаром и сама Матрена так боится поезда и суеверно пугается, когда пропадает у нее на водосвятии котелок — не из истовой веры, а будто видит в этом дурной знак, угадывает свою судьбу. Что толку в этом народном суеверии? Согласен, что в нем толку! Но случилось так, что сослужило оно у автора службу самой чистой и реальной поэзии.

Прошлое Матрены позволяет Игнатичу лучше понять ее, по-человечески приближает ее к нам. «И, как это бывает, — говорит рассказчик, — связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли в движение». Странное и неопровержимое наблюдение. Первые впечатления от хозяйки Игнатича в обычном, будничном ее быте, потом новое представление о ней, навеянное ее прошлым, всей историей ее жизни, и наконец прямое действие, конфликт, драма — таковы ступени нашего узнавания Матрены. Да, мы не угадали бы ей истинную цену, не поняли бы ее вполне, если бы не резко контрастное сопоставление с Фаддеем, с появлением которого рассказ начинает разворачиваться, как туго свернутая пружина, — быстрее, резче, еще

быстрее, еще резче, пока не ударяет своей трагической развязкой.

Старик Фаддей возникает на пороге Матрениной избы неожиданной и зловещей тенью — чужой, пригорбленный, чернобородый, как полная реальность и в то же время будто сказочное наваждение, предвестие беды, вроде того причудившегося в ночном кошмаре героине Толстого мужика, что, склонившись, колдовал над железом. Только скоро оказывается, что в Фаддее нет ни капли мистического, интересы его вполне земные, и его внешнее благообразие и достояние легко уступают место суетливой предприимчивости. Ничего не упустить, не проморгать, не потерять для себя — вот на что направлена вся его энергия, все силы его деятельной натуры. Он одержим тем, чтобы поскорее захватить участок в Черустях для дочери и зятя, чтобы урвать от Матрены все, что только можно, — сейчас, сегодня же, и он уговаривает, насаждает, чтобы, не откладывая, разделить дом и свезти со двора свою часть бревен — горницу.

Не жалко Матрене этой горницы, давно обещанной приемной дочери Кире, но дом для нее — живое существо, в нем прошли зорек лет ее жизни, и оттого ей так нелегко расставаться с ним. Фаддею же чужды эти сентиментальные бредни, и кажется, что присутствуешь при мерзком святотатстве, когда помолодевший и оживившийся вдруг Фаддей с азартом, яро выламывает бревна на своз, радуясь своей добыче. А на совесть построенный дом будто нарочно не дается разрушению, и сама природа вступается за Матрену, заметая снегом санный путь и мешая вывезти бревна. «Две недели не давалась трактору разломанная горница!» — восклицает рассказчик, откровенно восхищаясь тем, как долго сопротивлялась она бессовестному хищничеству.

Но это не она, а мы, наше нравственное чувство сопротивляется происходящему. И рассказчик с горечью и несомненным внутренним правом бросает Фаддею обвинение в убийстве: «Нет Матрены. Убит родной человек».

Вы слышите? Не умерла, не погибла, а — у б и т а. И это обвинение, будто случайно сорвавшееся в минуту горя с языка, повторено потом еще раз, чтобы мы не решили, что автор оговорился: «Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на

той же улице — у б и т а я и м ж е н щ и н а, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду». Наскоро отдавая печальный долг, он прикидывает в уме, как бы спасти остатки пропадающего добра.

Формально, юридически рассказчик не прав, обвинение, брошенное им Фаддею, несправедливо. Разве желал тот Матрениной смерти и разве не собственная ее неосторожность тому виною — зачем она бросилась помогать мужикам на железнодорожном переезде, спасать разваливающиеся сани? Постояла бы в стороне — и осталась жива. Но не могла она стоять в стороне в опасную минуту и оттого поплатилась жизнью. Тем справедливей моральный, поэтический суд, совершенный автором над Фаддеем. Это его жадность убила Матрену, беззащитную по своей доброте, по своему бескорыстию.

Жадность подгоняла Фаддея, жадность заставила его перевозить горницу в один прием двумя сцепленными санями, из-за чего сани и застряли на перевозе. Жадность и потом, после смерти Матрены, торопила его выхватывать из огня остатки бревен и делала отвратительным этого «ненасытного старика», вырвавшего себе сарай и забор при разделе скудного Матрениного наследства. Впрочем, семейный этот раздел показал, что не один Фаддей ценит имущество, вещи, нажитое добро выше всех иных человеческих ценностей и не стесняется этого даже перед лицом смерти. Таковы и сестры Матрены, которые при жизни редко навещали ее, а теперь слетелись, как воронье, чтобы не уступить жалкого сестриногo добра мужниной родне.

Вот тут-то и сказаны автором слова, которые в сложных художественных «сцеплениях» рассказа ведут его основную мысль, основную мелодию:

«Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми стыдно и глупо».

Мы привычно говорим: «накопил добра», «расхитители народного добра», не чувствуя оскорбительности этого словоупотребления для другого значения этого слова — добра как доверия, чистосердечия, ласки, внимания к людям, желания помочь, сделать что-то для них. И тут мысль Сол-

женицына, как всякая большая мысль, проста и, можно сказать, не нова. Лучшие русские писатели-гуманисты знали всегда эту тему: проклятие собственности мешанской силе и восхищение бескорыстием души трудового человека. Разбирая рассказы Чехова, Горький заметил как-то, что в человеке чаще всего борются два стремления — быть лучше и лучше жить. Можно ли сказать, что проблема эта решена для нас и осталась целиком в прошлом? Не думаю. Напротив, чем выше будет общее благосостояние, тем острее для каждого в отдельности и для всего общества встанет вопрос: как сделать, чтобы быть лучше, а не только лучше жить.

И не в этом ли надо видеть главный смысл торжественно и гулко падающих последних фраз рассказа, что без таких людей, как Матрена, «не стоит село» — «ни город» — «ни вся земля наша»?

Близоруких критиков смутило и перепугало слово «праведник» — так пугались слова «жупел» купчихи у Островского. Можно, конечно, спорить относительно уместности применения автором этого слова — слишком сросся с ним религиозно-поучительный смысл. Но надо при этом помнить, что народ всегда отличал праведников от угодников. «Не нужны нам праведники, а нужны угодники», — говорит ироническая пословица. Праведники — это не только люди «праведной жизни» в церковном смысле, но и «правдивые на деле», люди правды, как толкует это словарь Даля. Угодники же всегда одно — «угождающие» богу или людям. Обличая «праведников», легко оказаться снисходительным к «угодникам».

Это ли, однако, имел в виду сам Солженицын, так ли точно он думал, как это истолковано нами? Не знаю. Но что же тогда дает мне право говорить об объективном смысле рассказа с такой уверенностью? Может быть, лучше было бы все-таки заранее расспросить автора, что он хотел сказать своим произведением, — и дело с концом? Нет, по правде говоря, мне хоть и не безразлично вовсе, но не так уж важно, какое объяснение даст им написанному сам писатель. В реалистическом произведении — это отмечалось не раз — язык образов бывает убедительнее и точнее языка логики и формул. Надо только уметь правильно и непредвзято его прочесть.

Автор будто предвидел, какие перетолкования и превращения ожидают в критической литературе его Матрену, и в своем рассказе заранее дал высказаться людям стороннего и недоброжелательного о ней суда. Золовка Матрены уже после ее смерти по разным поводам вспоминала умершую, и все отзывы ее были неодобрительны: «И нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережнѣя; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрену выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохой). И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением».

В сущности, критика мало что прибавила к этим отзывам золовки о Матрене. Что такое добро Матрены, ее бескорыстие, как не одна лишь «глупость» и слабость? Глупо, что она работала на других — на родственников, на подруг, на колхоз, где ей ничего не платили, глупо, что первой вызвалась помочь, глупо, что взяла воспитывать чужую дочь — Киру, глупо, что этой Кире отдала пол-избы, глупо, что помогала ее перевозить и погибла, — кругом все глупо. Ах, как все это знакомо: добро — глупость, доверие — глупость, бескорыстная помощь — лучшая глупость, — так всегда говорит нам мещанин, в понятия которого о жизни не входят ни бескорыстие, ни благородство — все это какой-то отживший и смешной хлам чувств, недостойных современного человека. К несчастью, «житейская мудрость» смыкается здесь с криво понятой теорией. Слишком долго понятия добра, милосердия, сострадания к людям находились у нас под подозрением, как проявления «абстрактного» гуманизма. Нередко забывалось при этом, что коммунизм, согласно взглядам классиков марксизма, это и есть заверченный гуманизм и что именно в обществе трудящихся эти понятия впервые начинают выступать в подлинной чистоте и силе.

Противники марксизма издавна запугивали обывателя тем, что коммунизм и нравственность несовместимы. Еще в начале века реакционный философ С. Н. Булгаков проповедовал: «Марксизм по самой своей сущности импотентен внушать какие-либо нравственные идеи. Ему известны злоба, мстительность, гнев и чужда жалость, лю-

бовь, сострадание, горячая симпатия. Свой идеал—установление социалистического общества — он строит на развитии чувства зависти и ненависти...» Можно ли расценить это иначе, чем как буржуазную клевету на марксизм? Ведь развитие гуманных, нравственных начал составляло одну из целей нового общества.

В первые годы советской власти произошел любопытный эпизод. Военный комиссар С. С. Данилов обратился 8 сентября 1921 года с письмом к В. И. Ленину, в котором писал, что, на его взгляд, необходимо развивать чувство «любви, сострадания, взаимной помощи *внутри класса*, внутри лагеря трудящихся», и спрашивал мнения на этот счет Владимира Ильича. Ответное письмо Ленина впервые опубликовано недавно в 53-м томе Полного собрания его сочинений: «т. Данилов! И «внутри класса» и к *трудящимся иным* классов развивать чувство «взаимной помощи» и т. д. безусловно *необходимо*. С ком. приветом. Ленин»<sup>1</sup>.

Этот маленький штрих еще раз говорит нам о ленинском отношении к нравственным понятиям, которые иной раз третируются как «абстрактные» и «внеклассовые». Весь опыт общественного развития в нашей стране показал, как надо дорожить гуманным началом социалистического общества, как важно в самых острых классовых битвах сохранить и развивать его.

Вот почему, охотно признавая иные слабости и недостатки в характере солженицынской Матрены, мы высоко ценим нравственную основу ее характера, доброту и гуманность трудового человека.

Матрену укоряют за то, что она будто бы пассивна, бездеятельна, тогда как настоящий герой должен быть активен. Нам тоже по душе активные, деятельные люди. Но в применении к реальной жизни со всей конкретностью ее обстоятельств вопрос этот несколько сложнее, чем кажется.

Начать хотя бы с того, что сама по себе «активность», «деятельность», безотносительно к ее целям и качеству, не может считаться добродетелью. Старик Фаддей куда как «активен» — предприимчив, суетлив, деятелен, значит ли это, что он более «наш», чем безропотная Матрена? Мы справедливо протестуем против абстрактного понятия «добра», но ведь абстрактный

«активизм», культ силы, потерявшей нравственные ориентиры, еще опаснее и разрушительнее.

Критики долго вспоминали по разным поводам хлесткую фразу молодого поэта: «Добро должно быть с кулаками». Иные рассуждения на этот счет явно клонились к тому, что главный признак добра — кулак. Были бы кулаки, а насчет своей доброты нам нечего опасаться.

Да, бездеятельное добро выглядит жалко. Но не надо дело и так понимать, что активность, воля — во всех случаях жизни качества высшие и более существенные, чем доброта.

Показателен в этом смысле один критический отзыв. Желая защитить рассказ Солженицына, Л. Жуховицкий истолковал его так: «...независимо от первоначальных намерений художника, рассказ показал бессмысленность, обреченность и даже аморальность праведнической морали, несмотря на прекрасные душевные качества самой Матрены. И не желание подражать ей вызывает великолепно написанный образ старой крестьянки, а мысли довольно мрачные. Сколько зла на планете творится послушными руками таких вот праведников!» («Литературная Россия», 1 января 1964 года).

Тут что ни слово, то недоумение: почему доброта и бескорыстие Матрены бессмысленны, аморальны? И кто сказал, что мы должны «подражать» ей? И какое наконец зло творится ее «послушными руками»? Можно даже подумать, что не Фаддея мы должны больше всего ненавидеть в рассказе Солженицына, а именно Матрену, Матрену, которая всегда жила «в ладу с совестью своей», всю жизнь работала, помогала людям.

Сильно и резко прозвучавшая концовка рассказа — «не стоит село без праведника» — помешала понять его тем, кто кидается на формулы, «выжимки» и оставляет в стороне само искусство. В противном случае легко было заметить, что если Матрена и «пассивна», то пассивна она прежде всего по отношению к своей личной выгоде — поросенка не держала, «за обзаводом не гналась», имуществом своим не дорожила. Но как упрекнуть в пассивности женщину, которая взяла на воспитание чужого ей ребенка и стала ему настоящей матерью, как назвать «пассивной» женщину, безотказную в труде, в помощи соседям или колхозу?

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 187.

Матрена — прежде всего труженица. И если Фаддей приходил в счастливый раж, когда можно было что-то урвать для себя, у Матрены «было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа». Не обходилась без Матрены ни одна пахота огорода, и «любая родственница дальняя или просто соседка» могла прийти к Матрене просить помочь докопать картошку — и она охотно шла, только от денег обычно отказывалась — такая чудачка, бесребреница. А когда в колхозе не хватало рабочих рук, к Матрене, по инвалидности выбывшей из колхоза, приходила за помощью жена председателя, «женщина городская, решительная, коротким серым пальто и грозным взглядом как бы военная». Хочется напомнить всю эту небольшую и точно написанную сцену:

«Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрену. Матрена мешалась.

— Та-ак,— раздельно говорила жена председателя.— Товарищ Григорьев! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрены складывалось в извиняющуюся полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

— Ну что ж,— тянула она.— Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединёна.— И тут же спешно исправлялась:— Какому часу приходиться-то?

— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой».

«Да что говорить, Игнатич! — рассуждала потом весь вечер Матрена.— Помочь надо, конечно,— без навоза им какой урожай?» И еще осуждала за лень деревенских баб: «По мне работать — так чтоб звук у не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил».

У нас не было бы никаких нравственных оснований осудить Матрену и в том случае, если бы по своей немощи и болезням она отказалась выйти на работу. Но она работала, и работала добросовестнее других, не получая ни копейки,— так хорошо ли, нравственно ли упрекать ее в пассивности? Кстати, я не уверен, что председательша, которая выгоняет Матрену навоз вывозить, сама возьмет в руки вилы. Кажется, активность этой женщины, «грозным взглядом как бы военной» (через нее и самого

легко себе представить), ограничится призывами и наставлениями, какие она дает Матрене.

Говорить о трудовом человеке с высокомерным снобизмом или с «презрительным сожалением», как говорила о ней золовка, — не значит ли проявлять некое принципиальное бездушие? Я думаю о тетке Матрене: сколько вынесла она и выстрадала, сколько обула и накормила,— и пахала, впрягшись в соху, и в зазимки ходила копать картошку, и не разгибала спины в войну. И всякий раз в случае неудач и стихийных бед не к этой ли тетке Матрене обращались мы за выручкой и за помощью, и она никогда не отказывала в ней, как не отказала председательше.

Но вызывает ли она «желание подражать ей», может ли она служить нравственным идеалом? — слышу я протестующие, возбужденные голоса Жуховицкого, Крячко или Дымшица. И спешу ответить: увы, она слишком далека от «идеала» — суеверна, малограмотна, обременена предрассудками... Но только все это не повод, чтобы литературе не замечать ее и не говорить о ней с глубоким уважением, сердечным сочувствием.

Матрене присуща «социальная инертность», заметил один критик. Может быть, это и не вполне верно, потому что отношение к труду — это ведь тоже социальное качество, и в нашем обществе важнейшее. Но надо согласиться, что по части общественного сознания Матрена сильно уступает передовым героям нашего времени — энтузиастам, активистам, борцам. Нет у нее ни подлинной сознательности, ни широты идейных горизонтов. Только вот какой отсюда следует вывод? Будем ли мы винить ее за это? Или будем винить автора, что решился показать нам такого героя? А не умнее ли попробовать разобраться, отчего Матрена такая, а не иная, что определяло ее характер, ее сознание? Насколько выше или ниже (мы, кажется, убедились все же, что выше) ее сознание, чем у многих ее односельчан?

И если говорить о некоей «идейной ограниченности» Матрены, то не надо ли задать вопросом: а что могла она, что от нее зависело? «Все! — ответит иной критик.— Все зависит от энергии и усилий простого человека». Но ведь, не говоря уж о старости Матрены и ее болезнях, сделавших ее инвалидом, существуют некоторые объек-

тивные, в том числе материальные условия, от которых прямо зависит прогресс сознания. Матрена долгое время работала в колхозе не за деньги — за «палочки», «за палочки» трудоней в замусленной книжке». Так, может быть, она сама виновата, что за «палочки» работала, может быть, в этом и есть беда ее низкого сознания?

Вряд ли наши критики это имели в виду. Но тогда чего стоят их укоры? Ведь перебиться со своим хозяйством, чтобы как-нибудь прокормиться и согреться, — вот что с утра до вечера заботило Матрену. В те годы, о которых идет речь, особо тяжелые, трудные в послевоенной деревне годы, ей приходилось и торф подворовывать у треста — хотя какая уж в том добродетель, — и сено накашивать тайком для козы, и ячневую крупу доставать «с бою». А при таком уровне благосостояния не надо ждать, что общественная активность будет расти очень бурно.

«Матрена недостаточно просвещена, она — не борец», — говорят нам. Так просветите ее, помогите ей и таким, как она, почувствовать себя хозяевами в колхозе, на своей земле. И вместо того, чтобы корить Матрену за узкий идейный кругозор и малую активность, не лучше ли всем нам, в том числе людям, пишущим статьи, в которых мы негодуем против Матрены, проявить свою общественную активность, направить ее на то, чтобы Матрене жилось лучше, легче, чтобы она скорее достигла того уровня, когда возможна подлинно сознательная борьба за идеи и идеалы. Если ты сильный, образованный, деятельный — помоги сделать такой и Матрене. А для этого жизнь в деревне повсеместно должна стать другой, такой, за какую ныне борются партия и народ. Борются не на словах, а реальным делом — взять хотя бы последнее постановление о гарантированной оплате трудоней, надо надеяться, навсегда покончившее с работой «за палочки».

Повторим еще раз: да, Матрена — не идеальный герой. Это создает некоторые неудобства для тех, кто ищет в литературе лишь «идеалы во плоти», таких героев, которым следует во всем подражать. И автор вовсе не рассчитывает на то, чтобы его читатели взяли Матрену в образец и бросились перенимать у нее все — и добрые ее качества, и ее слабости, недостатки. Нет, самостоятельно думающий читатель дорожит тем, чтобы автор правдиво нарисовал

жизнь и передал ему свое понимание людей и событий, а практические выводы для себя он сделает отсюда сам.

И здесь главное, быть может, — честная гражданская позиция писателя. Надо смотреть правде в глаза и видеть людей такими, каковы они есть. И если мы будем доверять правде и воспитывать самосознание, в том числе и в таких людях, как тетка Матрена, — это будет истинным прогрессом общественной активности, активности не героев-единиц, а активности масс. Ведь общественная активность не обязательно должна быть сконцентрирована в какой-то фигуре рассказа, чтобы читатель зажегся ею. Можно изобразить и самую безнадежную пассивность, а в читателе пробудить чувства активные, деятельные. Так же, как, впрочем, и наоборот, можно восхищаться активным поведением героя, а читателя оставить к нему равнодушным, инертным: чего, мол, стараться, если и так все хорошо.

Потапенко в свое время называли «бодрым талантом» за то, что он рисовал привлекательных героев и героинь, изображал поверхностные, мнимые конфликты, а Чехова бранили за «уныние» в его рассказах и повестях. А на поверку вышло, что Чехов не только глубже понимал жизнь, но был и куда большим оптимистом, чем скучный Потапенко. Вообще подлинные реалисты, то есть люди, стоящие за правду, за то, чтобы смотреть на жизнь трезво и честно, по существу своего душевного склада, как ни странно это сказать, нередко оказываются «романтиками», то есть обеспокоены общими, коренными вопросами человеческого бытия, далекими от соображений личного удобства, верности общепринятому, шкурного благоустройства. Напротив, завязтые романтики и оптимисты по специальности часто совершеннейшие «реалисты» по натуре в том смысле, что за возвышенным и ни к чему не обязывающим лепетом, декламацией о счастье, мечтах, цветах и т. п. кроется самый прозаический и короткий обывательский расчет. Впрочем, все это уже не относится непосредственно к нашей теме, и я спешу вернуться к интересующему нас рассказу.

Я думаю, что сила Солженицына как художника заключается как раз в том, что он, не в ущерб трезвой правде изображения, умеет давать человечески симпатичные, положительные фигуры; он любит людей, любит своих героев, и читатель откликается

на это живое чувство. Но авторское понимание жизни, его «идеал» проявляются не в одном каком-то лице или одной нравоучительной сентенции, а в общем строе рассказа, в расстановке фигур, в их освещении, в бесчисленных художественных «сцеплениях».

И в этом смысле нельзя обойти вниманием в «Матренином дворе» самого рассказчика, мир его мыслей и чувств — широкий, гуманный, с народной враждой к мещанству, с любовью к русскому быту, речи и с оптимизмом, выношенным в страданиях. И это нам в рассказе дороже всего, дороже, может быть, и самой Матрены, как ни страдаем мы ее судьбе.

В своем уважении и любви к полуграмотной деревенской старухе рассказчик не позирует, не рисуется, и радостно думаешь: сколько добрых людей на свете. «Жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования», — говорит Игнатич в «Матренином дворе». Это редкое у героя Солженицына прямое признание как бы даже противоречит обычному вниманию автора к подробностям быта, описаниям еды, одежды, какой-нибудь незаменимой телогрейки или домашнего тряпья, «бесценного в жизни рабочего человека». Но так уж бывает — кто много толкует о возвышенном и бесплотном, о небесных кренделях, тот обычно вожделеет к кренделям вполне земным. Кто же не стыдится говорить о всякой беде и нужде голодающего и холодающего человека, тому ведома истинная высота духа.

И читатели почувствовали в рассказе эту искренность художника, его душу, которую, по замечанию Толстого, в конце концов одну только мы и ищем всегда в произведении искусства. Вот что писали они в редакцию. А. Ф. Ульянова из Ленинградской области: «Я испытываю удовольствие, большое радостное волнение, восхищение и гордость за писателя... Читаешь — и воображение сразу создает как живых: добрую до наивности, сердечную Матрену, алчного Фаддея... а поминки!.. поминки — целая картина живых разных людей». Учительница А. И. Ларюшкина из Львова: «Сколько в этом рассказе любви к скромной, простой труженице-крестьянке, только в работе находившей радости жизни... Такие рассказы нужны, чтобы искоренять недостатки в нашей жизни». П. И. Пашенко из Киева: «Матрену Васильевну нельзя не любить. Она честна, правдива, проста, трудолюбива, не жадна, всем

оказывает помощь и ничего и ни от кого не требует, хотя и живет в прескверных условиях». Каменщик М. Е. Троший (Ставропольский край): «...Передайте Солженицыну сердечно-душевное спасибо, и желаю ему многих лет жизни и счастья, и пусть его судьба хранит от всяких Фаддеев. Я имею в виду его героя из рассказа «Матренин двор», у которого так много дел, которому надо бревна перевозить, которые лежат за развороченными путями, а все остальное для него мелочи, которыми заниматься стыдно и грешно». Директор школы И. А. Карандо (Черниговская область): «...Любуешься Матреной Васильевной, «поглупому» работавшей на других бесплатно. Она не скопила имущества к смерти. А стоит ли копить? Зачем? Так и живу, ничего не имея, кроме книг. Да и те собираюсь подарить школе. А рассказ еще подкрепил это мое убеждение. Но он помог мне увидеть и понять величие человека...» М. Вершинина из Иркутской области: «Какое же надо иметь израненное сердце, чтобы написать «Матренин двор». И в то же время это теплая, солнечная, жизнеутверждающая вещь. А телогрейка действительно на все случаи жизни, — укутавшись с головою, поплакать можно, и ноги согреть, и кашу укрыть!» Токарь Востокэнергомонтажа А. Захаров из Норильска: «Очень и очень меня тронула вся правда. Короче говоря, не могу и выразить, как все меня взволновало».

Разные отзывы разных людей — одному из них понравилось одно, внимание другого остановило иное, но всех вместе привлекла к себе сердечность рассказа и его правда. Я не думаю, впрочем, как уже говорилось, что исключены отклики и иного рода. Районная газета «Ленинское знамя» 25 июня 1963 года (г. Гусь-Хрустальный) поместила, например, письмо читателя П. Журавлева, в котором о рассказе «Матренин двор» говорилось: «Мрачными красками рисует автор уголок своей родины. Ну а как живет на самом деле большинство крестьян в деревне Тальново и близлежащих деревнях, мы, гусевчане, хорошо знаем. Почти в любом доме — хорошая мебель, радиоприемники, телевизоры и т. д.». Хорошо, коли гусевчане довольны жизнью крестьян в своем районе. У нас нет никаких оснований подвергать сомнению этот факт. Жаль только, что читатель не уловил разницы между газетной корреспонденцией и рассказом; ведь Таль-

ново, где воображение писателя поселило Матрену, и Тальново, о котором пишет П. Журавлев, могут совпадать лишь внешне, по названию. Еще обиднее, что П. Журавлев случайно проглядел главную мысль рассказа. Ведь если Фаддей, предположим, приобретет хорошую мебель или радиоприемник, вопрос, волнующий автора, не будет этим решен. Матрена, как помним, «не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни». Но сохранила доброе, отзывчивое сердце и «нрав свой общительный». В этом ведь и была мысль рассказа, и так поняло ее большинство читателей.

Их не поставил в тупик и не озадачил вопрос, которым беспрестанно задавалась критика: можно ли видеть в Матрене образец для подражания? А если нет, то не печальный ли анахронизм она сама?

Я думаю, мало кто из читателей стал бы сомневаться, что своим суеверием, непросвещенностью, узким кругом идейных интересов Матрена останется в прошлом. Но ее золотое сердце, ее отношение к людям и труду, высокое бескорыстие — драгоценные черты, нужные нам и в настоящем и в будущем. Солженицын воспитывает своим рассказом уважение к трудовому человеку — и это хорошо поняли читатели.

Если выйти из дверей редакции «Нового мира» близ Пушкинской площади и пересечь улицу, мы окажемся перед домом, на стене которого — барельеф, изображающий рабочего с молотом, и девиз: «Вся наша надежда поконится на тех людях, которые сами себя кормят». Эта надпись сделана здесь в первые годы революции.

Остановимся, прочтем ее не спеша, и пусть она напомнит нам, как учила уважать революция людей труда — будь то молотобоец, знатный доменщик или никому не ведомая Матрена в селе Тальново. Забыть об этом — нельзя.

## 4

«Литература — учебник жизни» — запомнили мы со школьной скамьи. Это и впрямь так, если под словом «учебник» разуместь не плоскую дидактику, а живое познание прежде неизвестных нам сторон жизни, людей, характеров, событий, взятых в непосредственной реальности их бытия. Но в глазах критики литература слишком

часто выглядит вовсе не учебником жизни, из которого самому можно многое узнать, многому научиться, а, напротив, объектом поучения. Не доверяя художнику, критик охотнее учит литературу, как следует ей изображать жизнь, чем учится у нее.

В одном из писем Н. Н. Страхову Толстой писал, что теперь, «когда девять десятых всего печатного есть критика, то для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений». Задача, что и говорить, нелегкая, требующая понимания законов творческого труда и уважения к художнику и искусству.

Но критик часто облегчает свою задачу, не беря на себя труд следовать за автором по «бесконечному лабиринту сцеплений», а хватается за лежащую на поверхности мысль или за внешнюю характеристику героя, которая может быть обманчива: оттого в произведении читатель может прочесть об одних героях и событиях, а в критической статье, оценивающей ту же книгу, совсем о других; — так далеко разводит читателя и критика взаимное непонимание.

Иногда мне представляется конкретная до иллюзии картина. Родилось на свет произведение — правдивое и талантливое, остро и горячо говорящее о важных проблемах жизни... И вот к нему на цыпочках подкрадываются несколько теней. Тсс... Это критики.

Первый критик, подйдя вплотную к новорожденному и едва взглянув на него, заявляет, что это неправда, что «так в жизни не бывает», не бывает просто потому, что «не может быть». Этот способ критики, когда-то очень знаменитый, сейчас расценивается как архаический, сильно потерявший кредит. Дело в том, что критика эта настолько была уверена в себе, что начисто не принимала в расчет чей-либо иной опыт, кроме своего собственного. Критик начинал считать себя как бы единственным читателем произведения, не допуская и мысли о возможности проверки его суждений кем-либо другим. Опасение, что читатель сравнит это со своим опытом и наблюдениями.



и назовет критика выдумщиком, не приходило ему в голову. Условием всего этого служила, конечно, патриархальная простота нравов и строгая дисциплина среди читателей, когда не надо было беспокоиться о том, что тебе не поверят: не поверят читатели, так тем хуже для них, значит, просто они не доросли, проявляют некоторую «незрелость». Авторитет правоты, доказательности, логики — при таком способе критики, — согласитесь, ни к чему. Какое дело этому критику до читателя, если он не его хочет убедить, а хочет порадовать других критиков с тем же образом мыслей, что он сам. И что за беда, если ни он, ни те, для кого он старается, не верят в убедительность им сказанного. Важно вынести критический вердикт — и баста!

Второй критик поправляет первого. Он понимает, что такими наивными, топорными средствами работать ныне нельзя: не поверят и даже, кто знает, засмеют; читатели стали как-то свободнее, непосредственнее, развязнее, что ли, и литераторы им потакают. Надо с этим считаться. Так уж пусть будет так: «автор не лишен таланта, и то, что им изображено, в самом деле встречается в жизни, но ведь есть и другое...» Тут уже критик принимает в расчет читателя, его личный опыт. И каждый впрямь начинает думать: а он, пожалуй, прав, есть и такое и такое, это и я знаю... А критик между тем продолжает: но ведь хорошего в нашей жизни больше, чем плохого. Зачем же автор изображает наши недостатки? Что это, как не клевета на жизнь? Разве в нашей стране мало процветающих районов, зажиточных колхозов, счастливых сел?

— Много, много, — спешит согласиться читатель. — Но ведь без борьбы, без конфликтов нет и не может быть значительного реалистического искусства. И наше искусство, если оно мужественно и правдиво, не должно бежать от противоречий жизни, ее бед и трудностей. Ведь для того оно и изображает их, чтобы привлечь к ним общественное внимание и тем самым помочь изжить...

Но тут вступает в разговор третий критик. Он видит, что и второй оказался не слишком ловок и мудр, и рассуждает более обдуманно, тонко. Он говорит: «Все, что изобразил автор, наверное, так и было. Нам нужна полная правда. Но правда правде рознь. Есть малая правда, правда факта, и есть большая правда, правда

явления. Художника должна интересовать прежде всего правда явления, правда века. Пусть автор изобразил то, что есть, то, что он видел своими глазами, все равно не верьте ему — это лишь видимость правды, ее «обличье».

Так говорит критик, а перед ним лежит произведение — «рожденное, а не сотворенное» автором, живой, трепещущий кусок жизни, и стоит взглянуть на него внимательнее и доверчивее, чтобы увидеть в нем все: и бесспорную правду нашего мужественного и сложного времени, и широкий, гуманный взгляд увидевшего ее художника, и его гражданскую совесть, и его любовь и надежду, и то, что мы называем идеалом. Разве что нет в нем громких общих слов, которые служат суррогатом идеи произведения, и потому кажется оно на первый взгляд беззащитным от любой критики.

Но талантливая и правдивая книга как бы несет внутри самой себя силу сопротивления превратному суду. Она чем-то задевает своих оппонентов, не оставляет их спокойными, и они долго-долго обсуждают ее, заходят с разных сторон, подыскивают все новые аргументы, тогда как поток сочувственно оцененных ими сегодня книг уже завтра перестает кого-либо интересовать. На разные лады пересуживая книгу, в которой, по утверждению критика, есть лишь «видимость правды», в то же время не замечают или наспех благословляют книги, которые даже «видимостью правды» не отличаются.

Для читателя слова о «видимости правды» стали уже, вопреки намерениям критика, как бы условным знаком, привлекающим его внимание к произведению: «Эге! Тут что-то интересное». Читая затем книгу, он сверяет ее с тем, что сам повидал, переживал или смог наблюдать, и приходит к своим выводам. Для него, советского человека наших дней, невозможно какое-либо отделение правды от коммунистической идеологии, противопоставление одного другому. Нет в жизни ничего революционнее правды, и всякие игры вокруг этого простого понятия двусмысленны и опасны. «Кто изобрел, кто преподнес в наш литературный обиход такие пустышки, как «мелкая правда», «приземленность», «большая правда», «большая неправда»? — спрашивает в своем письме читатель из Куйбышева. — Разве что-либо подобное

есть у классиков марксизма, у Ленина? И это вздорное эпигонство выдается за марксистскую эстетику! В основу серьезного разговора о ценности художественного произведения берутся именно эти пустые понятия или насквозь фальшивые термины».

Мне трудно что-либо возразить читателю, потому что у Ленина слово «правда» и в самом деле всегда употребляется в одном значении, в том самом, в каком оно звучит, например, в этих его словах: «Надо смотреть правде в лицо и гнать от себя фразу и декламацию»<sup>1</sup>. Или в известном письме к А. Л. Шейману: «Госбанк теперь = игра в бюрократическую переписку бумажек. Вот Вам правда, если хотите знать не сладенькое чиновно-коммунистическое вранье (конн Вас все кормят, как саванника), а *правду*. И если Вы не захотите открытыми глазами через все комвранье смотреть на эту правду, то Вы — человек, во цвете лет *погибший* в тине казенного вранья. Вот это — неприятная истина, но истина»<sup>2</sup>. Вероятно, Шейман, который заявил перед этим, что Госбанк — «мощный аппарат», думал, что говорит «большую правду» вопреки «малой правде» недостатков этого учреждения. И как же высмеял его Ленин! Таких примеров однозначного употребления Лениным слова «правда» можно привести множество. Но, может быть, Ленин, так понимая правду в явлениях общественной жизни, на правду в искусстве смотрел принципиально иначе? Нет, у нас нет оснований так думать.

Вопрос о правде «большой» и «мелкой», правде «явления» и правде «факта» особенно энергично обсуждался последнее время в связи с повестью В. Семина «Семеро в одном доме», отзывы о которой успели образовать солидную по числу статей критическую литературу. Нельзя сказать, чтобы критика явила в данном случае единодушные. Одни — как, например, В. Фоменко, Ф. Светов, И. Золотусский — горячо, хоть и с разной мерой убедительности в своей аргументации, поддерживали повесть. Другие — и среди них В. Воронов, А. Елкин, Ю. Луккин, В. Оскоцкий, — признавая талант автора, оспаривали достоинства вещи именно с точки зрения ее правдивости.

Я не думаю, что повесть В. Семина — со-

вершенное создание, вполне защищенное от критики, и вижу в ней слабости и уязвимые стороны: не все идеально слажено в композиции, и в повести тесно порой от действующих лиц второго и третьего плана; обстоятельная запись житейских разговоров и впечатлений дня избытует подробностями, которые рискуют показаться лишними и отзываются стенограммой; не на все вопросы, возникающие при чтении, писатель дает удовлетворительный ответ... Но что значат все эти критические придирки перед тем, что автор написал талантливую, честную, убеждающую своей правдой книгу, изобразил несколько новых для литературы характеров, жизненность которых неопровержима, и прежде всего, конечно, Анну Стефановну — Мулю.

В. Семин вгляделся в необжитую прежде литературой сферу жизни — послевоенной жизни городской фабричной окраины. Послевоенной... Казалось бы, не совсем законное определение для конца пятидесятых — начала шестидесятых годов — времени, когда происходит действие повести. Но кто усомнится, что оно уместно и справедливо? Много лет прошло с конца войны, поднялись разрушенные города и заводы, отстроились дома, затянулись раны, многое горькое и страшное ушло и позабылось, но в саманных домиках окраины помнят о ней, будто она была вчера. Ведь самые тяжкие и труднопоправимые следы войны это те, что отпечатались в человеческих судьбах — в судьбах ребят, оставшихся без отцов, в судьбах женщин, потерявших на фронте своих мужей.

«...Поднимите руки, у кого есть отцы» — эти слова звучат в самом начале повести, чтобы отозваться потом отголоском в ее конце, и память начинает восстанавливать картины прошлого, и первое среди них воспоминание — октября 1945 года: бежит по школьному коридору мальчишка, нагнув голову и расталкивая встречных в отчаянии и обиде, чтобы не видели его дрожащих губ, — только что приоткрыл дверь в класс вернувшийся к его товарищу — Васе Томилину — отец, а его отец никогда не вернется...

Окраина с ее маленькими домишками, где каждый на виду и на счету, где столько мужчин ушло воевать и не вернулось и где жизнь с той поры идет в обычных заботах и каждодневном труде, так что некогда оглянуться на себя, эта окраина, мо-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 36, стр. 108.

<sup>2</sup> Там же, т. 54, стр. 189.

жет быть, по-особому долго чувствует на себе тень прошедшей войны, горе раннего вдовства и безотцовщины.

В праздничный день Муля, в тридцать четыре года оставшаяся вдовой с двумя детьми на руках и выходящая и выросшая из них, зовет в гости соседок и подруг, таких же безмужних, как она сама: они вспоминают военные годы, погибших своих мужей и близких, плачут, обнявшись, на плече у подруги, дурачатся, кричат «горько!», вспоминают «страшно так, чтобы оно казалось смешным», смехом стараясь разогнать тоску по неудавшейся молодости. В который раз вспоминает Муля о смерти своего мужа, погибшего на паровозе, и гости, хоть слышат этот рассказ не в первый раз, терпеливо слушают ее, зная, что этим прогоняет она свою беду и боль. А Муля все рассказывает про то, как жилось при немцах, как ездила она «на менку», добывала еду детям, как перебивалась одна, как после войны помогала устраивать школу, как растила детей, справляясь со всеми мужскими заботами, — и никто не решается прервать ее. «Ведь так тяжело и ей и им было, — говорит уже от себя автор, — и так много сил потребовалось, чтобы это тяжелое победить, так неужели же об этом не узнают люди!»

Можно лишь глубоко уважать В. Семина за выбор им главной его героини. Подвиг обычной русской женщины, колхозницы, как Матрена, или работницы, подобно Муле, так много испытавшей и пережившей в войну и столько взявшей на свои вдовьи плечи в послевоенные годы, — это огромная, скорбная и поэтическая тема, которая достойна самых высоких творческих порывов и к которой наша литература пока едва лишь прикоснулась.

Проблема окраины несводима, однако, к последствиям войны, хотя и необъяснима вполне без их учета. Ни город, ни деревня — окраина живет своей не то чтобы совсем особой, но все-таки по-своему окрашенной и регулируемой жизнью. Те добрые сдвиги и перемены, которые происходили за последние десять—пятнадцать лет в материальном и культурном уровне людей, приходят и сюда, но приходят они медленнее и позже, чем хотелось бы. В. Семин со свойственной ему объективностью письма отмечает, что живет теперь окраина не так стесненно, как прежде, и Муля может не только прокормить семью, но иной раз и накрыть для го-

стей и по-городскому богатый праздничный стол; понемногу благоустраивается окраинный быт, обновляются саманные домики; вчерашние подростки — «безотцовщина», главный резерв улицы, — начинают остепеняться, поступают на работу, иные подумывают о том, чтобы учиться дальше, а Мулина дочь Ирка, кончив университет, уже сама преподает в школе.

И все же окраина — это окраина, где ходят за водой к колонке, где простыни полощутся, обсыхая на ветру, а из окон пахнет стиркой и жареной рыбой, где все знают друг друга на своей улице, — вот дом Феди-милиционера, а вот здесь живут братья-уголовники по кличке Слоны, а вон там одноногий Генка Никольский; где помогают друг другу и сплетничают, мирятся и дерутся, пьют водку, устраивают домашние скандалы; где годами копят на новый саманный дом и привыкли считать каждую копейку, где не отучились от рукоприкладства и грубой брани, — и где живут, в общем, те же обыкновенные и большей частью хорошие наши люди, которым очень хочется помочь, хочется, чтобы жили они легче, разумнее, человечнее.

Может быть, резче всего отравляющая окраинного мещанства выразилась в нелепом убийстве, случившемся в результате бессмысленной пьяной ссоры двух дружков шоферов, которые не поделили калым, заработанный «по левой». Бессмысленная ссора из-за пустячных денег, подогретая самолюбием и подначиванием уличных приятелей, — и вот один из молодых здоровых парней убит, а другой должен отбывать срок в тюрьме.

Но не та же ли окраинная дикость во вполне приличном гражданине — отце Верочки, за которой ухаживал Мулин сын Женька? Ведь он не поколебался содрать с солдатской вдовы три тысячи рублей за полученное им в бесчестной драке с Женькой увечье. И не мещанским ли духом веет от вполне благопристойного сватовства майора (как чудесно написана вся эта сцена неудавшегося Мулиного замужества) или от степенных рассуждений совсем еще молодого Васи Томилина, рассказывающего о своей «мореходке»: «Ага... Питание трехразовое. Утром каша пшенная или перловая. Или из сечки. На растительном масле. Компот из сухофруктов или чай...» «Удивительно для своих девятнадцати лет видит Томилин мир, — замечает автор. — Если костюм, то обязательно из какого мате-

риала, сколько стоит метр. Если дом, то какая кухня, коридор, сколько метров в комнате». Можно ли сомневаться, что и пьяные драки на улице, и этот вот обывательский практицизм имеют, в сущности, одну природу, одни корни, неотделимые от всего быта саманных домишек.

Нечасто литература так пристально вглядывается в мир отношений домашних, семейных, отношений между молодыми, матерью и стариками, живущими под одной крышей и соединенными всей сложностью складывающихся в повседневном быту связей, среди которых все оттенки любви и материнской нежности, ревнивые заботы и тайное раздражение, взаимное признание, напрасные обиды, невольное соперничество и разумное снисхождение к слабостям. В хорошей, дружной семье Мули, где и она сама, и еще более молодое поколение — Ирка и Виктор — так враждебны мещанству, есть сила сопротивления узкому мещанскому быту, ужаса мелочных расчетов, препирательств из-за рубля, домашних недоразумений и ссор, зависти к соседям и кухонных перебранок. Но не может человек быть вовсе независим от годами окружавшего его быта. И даже в прекрасной женщине Муле, о высоких достоинствах которой нам еще придется говорить, есть — не могут не быть — черты, сложившиеся под влиянием «окраинных» нравов и понятий. Когда Муля со свойственной ей искренностью рассказывает о покойном муже, как он пробовал утаивать от нее деньги после полочки и как она его проучила — хоть поступок ее пожитейски понятен, — становится отчего-то душно. И когда Мулин Женька проваливается на экзамене в летное училище из-за собственной лени и нелепой шпаргалки, автор объясняет это влиянием «уличного неписаного кодекса». А в сцене, где молодая жена Женьки грубо гонит ребят из-за стола, а Женька бранится с ней и дает ей пощечину — тут и объяснять ничего не надо, — вот она, «окраина».

Можно негодовать, возмущаться ею, даже делать вид, что ее вовсе нет — она от этого не исчезнет. Можно считать ее «нетипичной», говорить о ее вытеснении из городского пейзажа — все равно она еще слишком заметна даже во внешне зримом своем выражении. «В. Оскоцкий в своей статье «Что может человек?» выдает окраину за развалюхи, оттесняемые новыми пятиэтаж-

ными домами,— пишет мне конструктор Азовского завода кузнечно-прессового оборудования Евгений Александрович Бендер.— Картина, хорошо знакомая москвичам: Новые Черемушки вытесняют Старые. Старым осталось недолго жить, так стоит ли поднимать шум! Это прием недобросовестный. Автор повести ведь прямо говорит: «А окраина тянется, тянется,— и конца ей не видно. Если сесть не на трамвай, а на пригородную электричку, то вот такой вот зеленой одноэтажной окраиной можно проехать километров шестьдесят». Это в Ростове (действие происходит в Ростове-на-Дону), а разве не та же картина, когда подъезжаешь к Москве или любому другому городу — большому или малому? Пятиэтажные дома вытесняют окраину, а она идет дальше, застраивая свободные площади... И живет эта многомиллионная окраина точно так, как показал ее Семи. Почему же жизнь этих людей всего только «мелкая правда фактика»?..»

Читатель прав, но он берет здесь внешне очевидную сторону, тогда как для В. Семина важнее, так сказать, внутренняя, духовная «окраина». «Мы с тобой не какие-нибудь одноклеточные,— убеждает Виктор Ирку.— Надо что-то делать. Надо же для чего-то жить!» Нам понятен этот непосредственный благородный порыв героя, его накопившая ненависть к быту окраины, желание вырваться из удушающей власти мелочей. Но легче всего в раздражении от того, что надо бегать за водой к колонке, чинить расшатавшуюся ставню, обдумывать, как сделать к дому пристройку в ожидании прибавления семейства, и заниматься еще тысячей хозяйственных мелочей,— легче всего в досаде выкрикнуть, что ты ненавидишь «и этот дом, и эту улицу, и всю эту окраину». Хорошо еще, что Виктору как сотруднику газеты дают вскоре удобную комнату в центре города и в его жизни как бы спадает некое «избыточное давление». Но это не повод для того, чтобы с высокомерием или брезгливостью смотреть на людей окраины, погруженных в будничные заботы, тяжелый быт, поглощающий большую часть их времени и сил: надо жить, кормить семью, воспитывать детей, вовремя подновлять хату и т. п. Все это очень очень прозаические, «приземленные» заботы, но относиться к ним с пренебрежением — позиция не слишком морально высокая.

Критика отметила видимое противоречие

в речах героя В. Семина. В середине повести читаем: «С детства я привык презирать небогатую одноэтажную окраину и немного опасаться ее. И сейчас я ее по-прежнему не люблю». А в одной из последних сцен: «Мне нравилось это чувство — быть здесь, в этой хате, на этой улице, своим». Не примирился ли герой с окраиной?

Нет, он не примирился ни с мещанской узостью, ни с грубостью нравов улицы, ни с ограниченностью интересов, ни с темнотою. Но он понял, что относиться к людям, живущим на окраине, с некоторым родом безразличного сожаления — фи, мещанство, — значит в свою очередь стоять на ограниченной, по существу мещанской точке зрения. Ведь хулиганы и уголовники и на окраине составляют меньшинство. А живут здесь большей частью обычные трудовые люди, хорошие и разные, как повсюду, и среди них такие труженики, как Муля, такие отличные мастера, как дядя Вася, такие отзвучившие ребята, как друзья Женьки, пришедшие помогать ему строить дом. Они не менее других способны к дружбе, самоотверженности, трудовой спайке — и если многие из них заражены предрассудками, если быт и нравы окраины действуют и на них, — это не значит, что мы имеем право встать по отношению к ним на позиции сухого морализма.

Когда трудом всего народа, в том числе и их самих, жизнь этих людей станет лучше, легче, удобнее, они сами потянутся к ценностям духовным, смогут в полной мере проявить свои душевные возможности и способности. Ведь Муля говорит, что если бы жизнь ее сложилась легче и ей не пришлось с юности воспитывать шестерых своих младших братьев и сестер, потом нянчиться со своими дегьми, пережить войну, смерть мужа, — она бы обязательно училась и стала бы инженером. И мы вполне верим ей — она человек способный, энергичный, — наверное, так бы оно и было. А пока Муля работница кожгалантерейной фабрики, получающая скромную зарплату и мечтающая свести концы с концами. Духовный рост, смягчение нравов на окраине прямо зависят от улучшения условий жизни людей. И некоторые хорошие признаки этого В. Семин отмечает, сравнивая окраину 1957 и 1964 годов. «Сознательность теперь увеличилась, — говорит коренной окраинный житель Жора Сирота, — Честно. Не лазают по садам. И

поножовщины меньше. Больше сознательности стало».

Было бы, однако, слишком наивным полагать, что рост материального благосостояния и удобства жизни приносят с собой культуру и духовные интересы автоматически. Материальная сторона здесь не гарантия, а лишь необходимая предпосылка. Переселяясь из развалюх в пятиэтажные крупноблочные дома, окраина часто и туда приносит с собой бескультурье, дикость и преступность. Да, кроме того, можно годами жить в центре города, пользоваться уютом и комфортом, а по психологии своей, по взглядам и интересам остаться окраинным мещанином, как можно и на окраине, и это отлично показывает В. Семин, упрямо противостоять обывательщине.

Самое верное средство для того, чтобы люди не чувствовали себя «одноклеточными какими-нибудь», — это не только и даже не в первую очередь клубы, лекции, концерты, а прежде всего содействие росту самосознания, воспитание в человеке личности, уважения к нему на производстве и в быту, уважения, из которого только и может возникнуть чувство полноправного хозяина нового общества, а не работника, наймита «от звонка до звонка». Только это может служить деятельным противоядием мещанству, началом подлинной человеческой культуры. И хотя на фабрике, где работает Муля, не очень видно желание поощрить в работниках эти черты хозяев своего предприятия и своей страны, героиня В. Семинна обладает той самостоятельностью, рабочей гордостью, независимостью и прямоотой, которые поднимают ее над бытом окраины.

Итак, что же делать, как быть, чтобы окраина ушла в прошлое? Надо браться с двух концов — улучшать, облегчать жизнь людей, условия их труда и быта, и воспитывать в обществе новые отношения, новый характер представлений о жизни. Ленин не раз предупреждал нас, что мы строим — должны построить социализм — не с «идеальными» людьми, а с тем реальным человеческим материалом, который дала нам история. И не морализация, не обличение мещанских пороков отдельных лиц, так же как не поверхностное «окультуривание», а лишь по-ленински реальный подход к жизни и ее законам может навсегда уничтожить окраину.

Вот какие мысли напрашиваются сами собой после прочтения повести В. Семинна. Они

не сформулированы автором прямо, а как бы растворены в самой художественной картине жизни, им изображенной, но несомненно, что автор рассчитывал на подобное прочтение своей повести, хотя и не дождался этого от большей части критики.

Зато читатели откликнулись на главную мысль повести очень чутко. Приведу хотя бы один образец читательского «анализа» произведения.

«Очень прошу вас, прочитайте мое письмо,— пишет Е. Бокарева из города Чкаловска Таджикской ССР.— Речь идет о повести В. Семина «Семеро в одном доме». Разумеется, я не стала бы писать по этому поводу (у меня нет ни образования достаточного, ни времени, читаю урывками, вечерами), если бы мое понимание произведения не оказалось прямо противоположным критике... Вот как я понимаю: огонь произведения В. Семина направлен против страшной мещанской идеологии. Там, где ей удастся проникнуть, она разъедает мозг и душу простого человека. Жестокость, равнодушие, бесчеловечность, презрение к простому народу, унижение собственного достоинства человека порождает в людях неверие, бездуховность, приниженность («маленькие люди», «винтики»), сложенные жизни... Народ в целом стойко сопротивляется этой бесчеловечной идеологии мещанства, но отдельные потери несет. И главным образом за счет третьего поколения... Острые произведения указывает на наши потери: на грозное явление сегодняшнего дня — бездуховность (Вася Томилин), на сломенную жизнь Женьки, на неверующую Нинку, которая утверждала: «Во всех магазинах воруют» — не испытывая ни горечи, ни разочарования. Все семеро, живущие в одном доме, и все, живущие на улице, — совершенно реальные люди, и мы их знаем.

Народ для некоторых — это огромная масса. В первом ряду очень много народных талантов, очень много маяков, очень много передовиков промышленности и сельского хозяйства, очень много общественных деятелей и т. п. Всем этим мы очень гордимся, потому что это огромные завоевания пролетарской революции. Но вот дальше для некоторых — какая-то смутная, серая, безликая масса. Автор показал нам, что народ этой массы — не абстрактное понятие, это тоже отдельные люди... Хоть для этих людей одна из главных забот — вытянуть от полочки до полочки, и хоть считают они

каждую копейку — народ этот, за редким исключением, не бездуховен. Доброта Мули, например, самой высокой человеческой пробы. Каждый ли из тех, кто провел жизнь, богатую содержанием, и был вполне обеспечен, снял бы с поезда и привел к себе в дом голодных, вшивых, грязных, оборванных детей и мать и спас им жизнь? Сильно развито в народе и чувство локтя. Никто из них не откажется прийти на помощь другим... Писатель В. Семин оказался на передовой, в рядах тех, кто глущим огнем бьет по вражеской, недоброжелательной идеологии мещанства, а возглавляют эту борьбу, как всегда, коммунисты. Все наши огромные достижения — наши радости, то темное, что есть еще в нашей жизни и с чем еще предстоит вести борьбу тяжелую и упорную, — наши заботы — все это и есть вместе Одна Большая Правда...

Читатель работает над произведением в таких же муках, как и автор. Больше всего читателю нужна помощь критики в раскрытии художественных образов. Читатель буквально кричит о такой помощи, правда в большинстве случаев кричит молча. Как же критик раскрыл эти художественные образы? Исказив и обеднив эти образы, критик свалил все в кучу и выбросил на свалку, поскольку они не имеют «человеческого облика». Все перемешанные, в какой же действительно жалкий вид пришли они...

В нашем социалистическом обществе главная и единственно приемлемая идеология — коммунистическая. Мещанская идеология не может быть у нас типичной. Но и нетипичная, она много горя приносит людям. Жгущим огнем надо выжигать самые маленькие пораженные участки. Борьба с бесчеловечной идеологией мещанства и есть борьба за полное утверждение коммунистической идеологии, формула которой: «Человек человеку — друг». Мы помним серую, лживую, бездарную литературу. Она сделала свое черное дело. Вот почему нам дорого все талантливое, вот почему так хочется сбереечь, защитить молодые таланты. Но защита должна быть открытая, законная».

## 5

Откровенно говоря, мне кажется, что непосредственная правдивость повести В. Семина произвела впечатление не только на читателей, подобных Е. Бокаревой, но и на критиков, которые сурово отозвались о ней.

Иначе зачем бы им так жарко разуверять читателя, убеждать его, что, если изображение писателя покажется ему правдивым, пусть он не верит себе — тут не более чем обман зрения, обольщение «видимостью» правды, тогда как на самом деле автор подменил большую правду — малой, «правду века» — мелкой правдой факта. Кое-кто поспешил даже подать совет автору: зачем он не вывел героя, который бы активно вмешался в происходящее и тем самым переменял в одночасье жизнь и нравы окраины, — тогда мы, может быть, помирились бы и с общей картиной, нарисованной в повести. Другой начинал так третировать «видимость правды» и с таким благородным негодованием говорить о необъяснимом пристрастии писателя к обыденным жизненным «фактам», что невольно вспоминались иронические слова Щедрина: «Факты, говоря я, бывают разные. Есть факты подходящие, есть факты неподходящие, есть даже факты, которые совсем, так сказать, не факты...»

Спору нет, если бы писатель натуралистически воспроизвел случайно вырванные из потока действительности «факты», никто бы не рискнул назвать его повесть правдивой и художественной. Но ведь картина, изображенная В. Семиным, как раз далека от бесстрастного натурализма, от простой регистрации жизненных подробностей, в ней очевидна реалистическая, прочная связь характеров и обстоятельств.

Марксизм всегда считал, что истина конкретна. Он исходил также из того, что абсолютная истина существует, но исторически, практически она складывается из бесконечного ряда относительных, частных, конкретных истин, стремящихся к истине абсолютной, но никогда не исчерпывающих ее.

Требования к художнику изображать не «малую правду факта», а «большую правду явления» внесли в это понимание нечто новое. «Большая правда», «правда века» стала выглядеть под пером некоторых критиков как таинственный абсолютизм, о котором и говорить приходится словами, слишком общими, абстрактными, уклончивыми. Но попробуем взглянуть на вещи прямо, без декламации и обиняков.

В самом деле, что такое «большая правда», «правда века»? Какой конкретный смысл вложен в эти слова? Если под ними разуместь веру в коммунизм, коммуни-

стические убеждения, — то почему так об этом и не сказать? Но тогда любому читателю станет ясно неправота, искусственность обращенных к В. Семину упреков, потому что вряд ли кто усомнится, что в своей критике тех или иных трудностей и недостатков автор исходит из желания скорее преодолеть их в интересах нашего общества, в интересах коммунистического завтра. Коммунистический подход и побуждает честного советского писателя изображать всю правду, не деля ее опасливо на «большую» и «малую», удобную и неудобную, разрешенную и запретную.

Однако чаще в контексте критических статей слова «большая правда» выступают как синоним счастливой жизни, чаемого общего благополучия, а «малая правда» обозначает изображение любых недостатков, трудностей и лишений. Теоретически все признают, что жизнь не застрахована от трагических противоречий, ошибок и утрат, неудачливых судеб и острых конфликтов. Но как только художник, понимающий, что серьезное и способное волновать людей искусство чаще всего строится на неприглаженном противоречии, конфликте, рискует изобразить, как оно бывает на самом деле, его тотчас укоряют в пристрастии к «малой правде», «правде фактика».

Иногда в таких случаях приводят известную мысль Ленина о «фактах» и «фактиках», но цитируют эти знаменитые слова в урезанном и сокращенном виде, придавая им порою смысл, обратный действительному их содержанию. Вопрос этот столь важен, что стоит привести цитату Ленина более полно, чем это делается обычно.

«В области явлений общественных, — пишет Ленин, — нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще — не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. Факты, если взять их в их целом, в их связи, не только «упрямая», но и безусловно доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже».

Приведа далее примеры ошибок в анализе конкретных исторических ситуаций. Ленин продолжает: «...надо попытаться уста-

новить такой фундамент из точных и бесспорных фактов, на который можно бы было опираться, с которым можно было бы сопоставлять любое из тех «общих» или «примерных» рассуждений, которыми так безмерно злоупотребляют в некоторых странах в наши дни. Чтобы это был действительно фундамент, необходимо брать не отдельные факты, а *всю совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без *единого* исключения, ибо иначе неизбежно возникает подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится «субъективная» стряпня для оправдания, может быть, грязного дела»<sup>1</sup>.

Это высказывание Ленина важно рассмотреть в двух отношениях: в отношении собственного его содержания и в отношении того, насколько применимо оно к художественной литературе.

Прежде всего заметим, что мысль Ленина посвящена защите «точных и бесспорных фактов», противопоставляемых им «общим» или «примерным» рассуждениям. Ленин ценит факты, взятые в их целом, в их связи, а не «фактики», внешне эффектные, но отрывочные «примеры», используемые для далеко идущих выводов. Ленин хочет воспитать уважение к точным фактам «у некоторых читателей, предпочитающих «низким истинам» «нас возвышающий обман», и у некоторых писателей, любящих провозить под флагом «общих» рассуждений об интернационализме, космополитизме, национализме, патриотизме и т. п. политическую контрабанду»<sup>2</sup>. Иными словами, «общим» рассуждениям, построенным на единичных, тенденциозно надерганных «примерах», Ленин противопоставляет выводы, основанные на обширном фундаменте фактов.

Если мы вспомним теперь, что достоверной, основанной на жизненных фактах, знакомой едва ли не любому читателю картина городской окраины в повести В. Семина противопоставлялись не факты и картины иного рода, а «общие» рассуждения о «большой правде», мы увидим, что высказывание Ленина бьет скорее по критикам писателя, чем по нашему автору.

Это тем более важно подчеркнуть, что замечательная мысль Ленина, относящаяся к научному анализу общественных явлений и в этом смысле захватывающая и литературную критику, не может быть в то же время механически перенесена на область искусства в собственном смысле слова. Удивительное дело, но предостережение Ленина об опасности принесения фактов, взятых в их конкретной связи, в жертву «общим» рассуждениям и «примерам» не было услышано настолько, что само это высказывание Ленина пострадало от произвольных «усечений» и перетолкований. Не доказали ли тем самым некоторые наши критики свое малое внимание к фактам, в том числе к фактам ленинской мысли — в ее конкретности и связях? Похоже, что им важно подобрать пример, цитату, а на общий смысл сказанного их уши забыты ватой.

Следует, в частности, напомнить, что слова Ленина о «фактах» и «фактиках» заимствованы из его статьи «Статистика и социология», то есть прямо имеют в виду статистические методы исследования в общественных науках<sup>1</sup>. И совершенно очевидно, что, хотя высказывание Ленина имеет и более общий методологический смысл, оно не может быть механически перенесено на сферу искусства: сам ленинский принцип конкретности социально-исторического исследования вопиет против отнесения рассуждений, трактующих о применении статистики в социологии, к художественной литературе.

Ведь искусство, литература относятся к той области познания, где конкретность факта, индивидуальная характерность лица или события имеют первостепенное значение. Художник поражается фактом, утверждал Добролюбов. Ленин в известном письме к Инессе Арманд отмечал, что в отличие от социологической брошюры, где важно показать и объяснить различие классовых типов, художник, романист берет «казус», индивидуальный случай, «ибо тут весь *гвоздь* в *индивидуальной* обстановке, в анализе *характеров* и психики *данных* типов»<sup>1</sup>. Художник изображает лю-

<sup>1</sup> Комментируя цитату о «фактах» и «фактиках», М. И. Ульянова обращала внимание именно на конкретный ее адрес: «Какое большое значение Владимир Ильич придавал статистике, «точным фактам, бесспорным фактам», наглядно видно из его работ, из тех черновигов, выписок и подсчетов, которые этим работам предшествовали» (предисловие к сборнику «Письма к родным»). Цит. по изданию: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 55, стр. XIX).

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 350—351.

<sup>2</sup> Там же.



дей, их быт, конкретность событий и поступков, стараясь сохранить верность непосредственным впечатлениям жизни. Конечно, закрепляя в искусстве новые явления и лица, он тем самым уже по-своему объясняет и оценивает их, но занимают его именно эти, данные явления и типы. Дело критика, социолога — поставить их в логическую связь с другими явлениями, найти им место в общей цепи фактов, указать на соотношение с другими социальными процессами.

Требовать в этом отношении абсолютной «досказанности» и «всеохватности» от художника было бы неверно. Мы можем упрекать писателя в том, что он солгал, неверно изобразил явление, был неискренен в своем рассказе, но в том, что он изобразил «не всю правду нашей жизни», а какую-то ее часть, пусть даже какой-то конкретный «казус», — мы его упрекать не вправе. Да и может ли кто из самых суровых критиков сказать, что ему подведомственна «вся правда нашей жизни», что он располагает исчерпывающим ее знанием? Естественно желать и ждать всестороннего изображения жизни от литературы в целом. Но переносить это требование на каждое конкретное произведение литературы было бы по меньшей мере неразумным. Такой «выскальзывающий» не выдержали бы ни «Война и мир», ни «Евгений Онегин» — при всей широкой панорамности этих произведений.

Недавно мы имели случай убедиться, к чему приводит требование «всеохватности» искусства в крайнем его выражении. Маститый китайский писатель и общественный деятель Го Мо-жо в известном выступлении, где он предлагал сжечь как недостойные все свои произведения и выражал готовность добровольно «повалиться в грязи» и «запачкаться мазутом», в качестве образца для профессиональных писателей ссылаясь на роман солдата Цзинь Цзин-мая: «Автор вложил в этот роман почти все курсы и политические установки партии до 1962 года и почти все идеи председателя. Пожалуй, нынешние так называемые профессиональные работники литературы и искусства фактически не смогли бы так написать...» («Литературная газета», 5 мая 1966 года). Это высказывание подкупает своей откровенностью.

Мы часто сравниваем художественные открытия с научными, но почему-то относимся к первым с куда более заносчивой требовательностью. Если астроном открыл новую звезду, мы благодарим его за это открытие, не коля ему непрерывно глаза тем, что он не дал одновременно всей картины вселенной или хотя бы ближайшей галактики. Будем же справедливее и к художнику. Пусть он показал нам лишь один уголок действительности, лишь одну ее грань, но если он сделал это правдиво, честно, с гражданской ответственностью и прямоотой, если он открыл нам в жизни что-то новое — будем за это благодарны ему.

Никто не рискнет сказать, что повесть В. Семина вобрала в себя всю нашу действительность, явилась полной ее картиной — со всеми ее победами, трудностями, надеждами и свершениями. Но существенный угол жизни она осветила, приблизила нас к пониманию всей правды о нашем времени.

Ведь правда — не застывшая формула общеизвестного, а постоянно движущийся процесс познания изменчивой, противоречивой, бесконечно разнообразной действительности. Марксистская диалектика дает нам верное средство познания правды, но она же лечит нас от самодовольства, нашептывающего нам, что мы вполне и до конца овладели абсолютной истиной.

Конечно, чем талантливее художник, чем больше он овладел передовым для своего времени мировоззрением, тем сознательнее и шире его взгляд на вещи, тем большее обобщающее значение приобретает его произведение. Но отнюдь не вопреки «малой правде», конкретным фактам жизни, чем-то поразившим и затронувшим его воображение, а только благодаря им. Нельзя же представлять себе дело так, что «малая правда», правда фактов, — это жалкая проза жизни, недостойная внимания писателя, а «большая правда» — нечто возвышенно бесплотное, существующее на горних высотах, в идеальной атмосфере, куда житейской «приземленности» путь вовсе заказан.

Художник всегда, и это естественно, стоит ближе историков, философов и социологов к отдельному человеческому существованию, к особой и единичной человеческой судьбе. И он не может третировать как «малую правду» те или иные беды, неудобства, жизненные сложности, являющиеся сугубой реальностью для отдельных людей, но которые легко и не заметить, если свое представ-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 57.

ление о жизни составлять на основании лишь статистических сводок о росте народного хозяйства и благосостояния в целом по стране.

Пусть простится мне небольшое житейское отступление, но примеры такого рода иногда неплохо освещают проблему. У моего приятеля захворал пятилетний сын. Он судорожно закашливался, и дома решили, что у него коклюш. Позвали врача. Молодая женщина-врач подняла на смех этот домашний диагноз: «Подумайте сами, какой же это может быть коклюш, если коклюш у нас ликвидирован. Об этом был доклад на районной врачебной конференции. Просто ваш ребенок простудился». Она назначила лечение от простуды, но мальчик не переставал кашлять, и неделю спустя, когда был сделан анализ, коклюш был установлен уже с несомненностью.

Молодой врач пал жертвой своего недоверия к «правде факта» и пиетета к концепции «большой правды». Случай как будто незначительный, ошибка легко поправимая, пока она единична. Но что было бы, если бы все врачи на том теоретическом основании, что коклюш у нас изжит, не принимали в расчет возможных его рецидивов, не доверяли фактам. Вероятно, случаи коклюша участились бы. Так и бывает обычно, когда начинают отмахиваться от неудобных или негодных для нас фактов.

«Горе фактам, если они не соответствуют теориям», — говорил Эддингтон. Человек часто спешит представить в мечтах то, что ему дорого, мило, что ему хотелось бы увидеть в реальности. И по слабости старается отстранить от себя — хотя бы в воображении — все, что мешает, препятствует этой мечте. В такую минуту не старайтесь обратить его внимание на неприятные, противоречащие этой мечте факты — этим вы можете лишь раздосадовать, вызвать к себе недоброе чувство. Потом, внушениями жизни, он сам неизбежно придет к признанию этих фактов, но какой ценой будет куплена тогда запоздалая «поправка» к его мечте — ценой каких потерь, каких разочарований.

И все же мечта — великое начало жизни, и надо мечтать! Не надо только поддаваться соблазну выдать свою мечту за натуральнейшую действительность, думать, что идеализированный портрет сам по себе возместит недостатки природы. Искусство не льстит, от него трудно ждать одних похвал. Ма-

чеха-царица допрашивает волшебное зеркальце в пушкинской сказке:

Свет мой, зеркальце! скажи,  
Да всю правду доложи:  
Я ль на свете всех милее,  
Всех румяней и белее...

Но зеркальце не может солгать. Заранее рассчитывать на утешительный ответ, а потом сердиться на реальное изображение за то, что оно не соответствует нашим желаниям и мечтам, так же неумно и недальновидно, как пытаться отомстить зеркальцу, разбив его.

Неизменно сладка только мечта — плоды познания бывают и горькими. Должно ли это нас испугать и заставить пренебречь ими?

Привычно твердя о познавательной роли искусства, мы все еще не можем выучиться достаточно ценить на практике способность реалистической литературы показать нам такие стороны жизни, о которых мы вовсе бы не знали или знали бы понаслышке. Опыт каждого человека, каждого читателя поневоле ограничен. Одно искусство позволяет нам мгновенно перенестись в душу людей самых разных стран и эпох, возрастов, занятий, характеров и профессий, узнать, как они живут, чем дышат, на что надеются. Оно способно с почти волшебной полнотой и естественностью представить нам целый мир и помочь понять, какие мысли занимают рабочего, выходящего после смены из проходной завода, что заботит старуху крестьянку, склонившуюся над грядками с луком и капустой, чему смеются молодые ребята в джинсах на скамейке московского бульвара, о чем плачет маленькая девочка во дворе большого дома и что думает, скажем, секретарь обкома, оставшись после заседания один в своем кабинете.

Именно поэтому художественная литература превращается в своего рода средство всеобщей связи между людьми или — если определить это узко практически — в надежнейший источник социально-психологической информации. Конечно, это еще не самое важное в искусстве, но литература может, скажем, помочь министру доподлинно представить себе, как живет, о чем думает простой рабочий — такого знания не дают никакие отчеты и сводки, — а рабочему в свою очередь, как живет, чем бывает озабочен на службе и дома министр, о котором он знает лишь по официальным газетным отчетам. Вот почему еще наша литература должна быть безусловно правдива: она не имеет пра-

ва лгать хотя бы с помощью идеализации или умолчания — иначе она нарушает важные связи в обществе, построенном на демократических и социалистических началах.

Значение литературы как источника познания, не просто удовлетворяющего человеческой любознательности, но важного для практической деятельности партии рабочего класса, прекрасно определил А. В. Луначарский. «Узнать, что такое представляют из себя все разнообразные типы крестьян,— писал он,— что делается в рабочем классе, что такое нынешний обыватель, что такое центр и провинция, какими запросами живет руководитель всего — коммунист, каков облик трудового интеллигента нашего времени и т. д.,— всего этого никакими анкетами и статистикой не сделать так, как можно сделать с помощью художественного слова... Бывает, что, когда балетрист дает нам реальный портрет какого-нибудь реального жизненного типа, раздается возглас: нет, это не похоже! На что не похоже? А не похоже на заранее составленную говорящим схему. Такой подход к литературе ничего, кроме вреда, ей не принесет. Художник должен быть колоссально правдив и брать свои образы из подлинной жизни. Всякий писатель, который подменяет жизненный образ надуманным, является лжецом и предателем по отношению к партии». Слова резкие, прямые, от каких мы стали отвыкать, и, однако, вполне справедливые. Партийность искусства неотрывна от его правдивости.

## 6

Но ведь кроме собственно «информации», познания жизни — в этом всегда слышится что-то холодное, рациональное, «мозговое», — существует то, что является душой искусства, что идеалисты считали отблеском «божества» и что, впрочем, может быть объяснено вполне материалистически как пробуждение лучших, высших человеческих чувств.

Чехов говорил, что состояние, какое мы испытываем, когда бываем влюблены, может быть, и есть нормальное состояние человека. Не то же ли и с искусством? Искусство вырывает нас из обычных, будничных впечатлений, оно возвышает душу, давая пережить в «чистом», бескорыстном виде все многообразие человеческих чувств — любви, гнева, жалости, сострадания, гордости, созерцания красоты, восхищения...

И это не холодное изучение, но п р и о б-

щение к другим людям, их незнакомой тебе прежде жизни, их труду, радости и работам. Благородные, чистейшие минуты жизни живем мы с искусством, потому что одно оно позволяет нам так коротко сойтись с самыми разными людьми, сочувствуя им и возбуждая в себе лучшие порывы сердца. От этого и радостное чувство, чувство удовольствия, наслаждения искусством, возникающее у читателя, даже когда речь идет о невеселых сюжетах, драматических или трагических образах.

Выше я обещал подробнее сказать о Муле из повести В. Семина, и сейчас самое время это сделать, потому что познавательный интерес и человеческая, художественная привлекательность этого нового в литературе характера заслуживают, как мне кажется, особого внимания.

Вот только... «Опять Семин... Неужели нельзя выбрать других примеров?» Чей-то голос останавливает меня.

Поспешу объясниться начистоту, чтобы это не мешало дальнейшему течению разговора.

Если в этой статье я пытаюсь разобрать и защитить от неправильных, на мой взгляд, толкований произведения, авторы которых коснулись острых и не всегда отрадных тем — жизненных тягот, неустроенности, нужды, бездуховности, — то вовсе не потому, чтобы по свойствам своего темперамента или характера я предпочитал бы теньевую, а не солнечную сторону жизни. Напротив, мне куда легче и приятнее было бы трактовать о человеческом счастье, высоте духовных поисков, жизнерадостности и целеустремленности, талантливо и правдиво запечатленных средствами искусства. Надо только учесть, что воспевание полноты человеческого счастья, самоотверженной борьбы, идеальных порывов, героических подвигов редко бывает правдиво, если существует где-то отдельно и вне самой обыкновенной, «прозаической», реальной жизни с ее страданиями, болью, противоречиями и утратами. К тому же критик должен слишком мало уважать себя, чтобы из осторожности или из боязни быть ложно понятым обходить стороной книги сколько-нибудь спорные и черпать свои примеры из произведений, не вызвавших особых споров, но и интереса у читателей не пробудивших, — словом, «благополучных во всех отношениях». Благодаря своей правдивости и художественности рассказ Солженицына и повесть Семина, рождая разное от-

ношение к себе, вызывая полемику и споры, тем не менее решительно выделяются среди иных, никому не интересных и не памятных книг — будь они написаны с претензией на мрачную «натуральность» или же в «светлом», «оптимистическом» духе.

Да, кстати, повесть В. Семина вовсе не оставляет после себя безотрадного, гнетущего впечатления, и причиной тому, может быть, больше всего Муля — Муля с ее неунынным и вечно деятельным нравом, с ее отзывчивостью и простотой, умением помочь другим и постоять за себя.

Трудно назвать в литературе последних лет сколько-нибудь близкий Муле по живости и верности бесчисленным прототипам образ рядовой фабричной работницы. Достижения по части изображения людей рабочего класса у нас, вообще говоря, невелики. И хотя на этот раз мы увидели перед собою не квалифицированного индустриального рабочего, занятого на современном крупном заводе, а всего лишь работницу маленькой кожгалантерейной фабрики, где делают ремешки для часов, заслуга автора в изображении психологии рабочего человека несомненна.

Правда, мы больше наблюдаем Мулю в хлопотах по дому, в кругу близких и среди соседей, чем непосредственно в цеху, и за это автор уже успел получить от критики упрек. Но разве, в сущности говоря, в этом дело? На фабрике — Анна Стефановна, в семье — Муля, героиня В. Семина по цельности своей и искренности и там и здесь проявляется одинаково. Основа ее характера остается неизменной — и под домашней крышей, и в цеху. Да и как можно представить себе иное?

Дома Муля деятельна, беспокойна, ни на минуту не присядет? Но ведь такова она и на фабрике. «Сама не спит и других на работе загоняет».

На фабрике она норовиста, спорит с начальством, учит других работниц, как жить? Но ведь и дома она никому не уступит и все перевернет по-своему. «...Беспокойная она. Я с ней не могу. Шумная», — говорит про свою невестку баба Маня.

Муля и в самом деле шумна — общительна, разговорчива, то и дело слышишь ее: «Понимаешь, Витя...», — но из простодушных ее рассказов постепенно уясняется нам трудная и по-своему героическая судьба.

Вдова солдата, одна, без мужа вырастившая двоих детей, ради них вытерпевшая все

лишения, голодавшая в войну, чтобы Женьке или Ирке перепал лишний кусок, десять лет ходившая в одном платье, а теперь по доброй воле опекающая своих уже взрослых детей с их семьями и немощных старух, никого не отказывающаяся принять и согреть («Одной Муле есть где и есть куда — вали всех до кучи!»), Муля держит весь дом на плечах, и не видно конца ее трудам.

Маленькая, плотная, энергичная, хоть уже седая, она вечно при деле, всегда на бегу и на спеху, но, какой бы беспокойной ни казалась со стороны ее жизнь, она ни с кем «не стала бы делиться ни властью, ни заботами» в доме. Работая днями на фабрике, а вечерами обстирывая и обштопывая свою семью, вставая раньше всех, чтобы сбежать на рынок и приготовить еду, и ложась последней, Муля привычно исполняет в доме еще все мужские обязанности: «мажет хату, белит ее, чинит крышу, перекапывает сад, подпирает кольями, связывает проволокой разваливающийся забор...» Но и этого всего ей мало, и она как будто нарочно ищет иных, вовсе не обязательных по ее жизни забот и хлопот. Почему-то она должна держать в голове, что какой-то ее родственник в Борисоглебске именинник, — так не пропустить поздравить; или что племянник Алька, который учится в университете и живет в общежитии, давно не появлялся в гостях и надо бы свезти ему пирожков да рубашки взять постирать... Но это как-никак родственники, а вот совсем чужой человек, приглашенный по случаю штукатур Толик. Мастером он оказывается неважным, но, едва узнав, что Толик — сирота, Муля начинает жалеть его и порывается опекать: тут же предлагает что-то выстирать, выражает готовность пойти с ним вместе покупать ему костюм на заработанные у нее же скверной побелкой деньги.

Такая не знающая себе цены отзывчивость и переплескивающее через край доброжелательство, постоянная готовность Мули нагрузить себя все новыми заботами и трудами — при том, что сфера приложения ее сил самая обычная, житейская, — могут показаться, однако, каким-то чудом. В самом деле, трудно поверить, чтобы на все это хватило времени и рук у одной стареющей уже женщины. Ведь сколько всего должна переделать Муля, прежде чем в конце длинного-длинного дня она вздохнет про себя: «Человек устал...» — и, надев очки, сядет подсчитывать при свете лампы талоны — вой

фабричный заработок. А между тем можно ручаться, что В. Семин ничего не сгустил и не преувеличил. Так же, как Муля, живут у нас тысячи и тысячи женщин, скромный подвиг труда которых мы плохо умеем замечать и ценить.

Правда, есть у Мулиной деятельной забасты и своя изнанка: нам редко по душе, когда нас принуждают принимать благодеяния, внедряют их своего рода насилем. Временами Муля рискует показаться утомительной для своих близких, ее энергичная опека бывает порой тягостна, как бы ни нуждались в ней по существу ее подопечные. Неусыпная требовательность к себе и другим мешает ей быть более покладистой, а в иные минуты она выглядит просто придиричливой, неуживчивой, даже мелочной, тем более что, как уже упоминалось, рядом с добрыми человеческими качествами в Муле все еще доживают окраинные мешанские предрассудки. И когда мы видим, например, Мулю ревнивыми глазами свекрови — баба Маня рассказывает, как «зудила» Муля своего покойного мужа, — мы поневоле соглашаемся, что характер-то у нее тяжелый. Да Муля и сама не отрицает этого, только не считает тяжелый характер недостатком.

Но вот что неоспоримо к чести Мули — это ее самостоятельное, смелое, даже дерзкое отношение к жизни, возникшее, конечно, не за один день. Жизнь Мули сложилась так, что никогда не давала ей роскоши просто плыть по течению, а постоянно требовала от нее энергии, предприимчивости, хозяйственной изворотливости, жизнестойкости. Она научилась не только приспосабливаться к условиям быта, но и по-своему их переделывать, не спускать никому и ни в чем, решительно добиваться своего — иначе как было пережить все, что выпало на ее долю: войну, нужду, болезни детей...

Знаменательная черта — Муле начисто чуждо обычное бабье суеверие. Она не боится вспоминать страшное — рассказывает о погибшем муже, о бедах войны, о том, что пришлось пережить ей самой, и всегда, замечает Семин, с оттенком вызова: «Со мной и не такое было, а это ерунда!» Болезней Муля «не признает», начальства не боится и не испытывает тени покорности перед судьбой. Иногда же такое вымолвит, что и вовсе удивит: «Я считаю, те дураки, которые рано умирают». Какое надо иметь презрение к суеверию перед судьбой, чтобы эти слова, способные вызвать неприятный озноб

и граничащие со святотатством, выговаривались так по-детски решительно и просто!

Напористость, неуступчивость — свойства, не внушающие симпатии, когда они замешаны на личном эгоизме, — здесь, у Мули, имеют совсем другую природу. Она и хотела бы, да не может жить для себя.

Бывает, она вздохнет, что личная жизнь не удалась ей, бывает, поплачет с подругами, но жалости вымогать себе не станет. Только скажет: «Человек устал» или «Человеку завтра на работу» — о себе скажет, как о постороннем, в третьем лице, чуть комично, но с понятным самоуважением трудового человека, сознающего, что она не последнее дело делает и еще нужна другим.

Иной раз она размышляет о том, чтобы «пожить для себя», освободиться наконец от утомительной заботы о взрослых уже детях — пусть сами живут как хотят, — но в серьезности этих проектов как-то мало веришь, и, что хуже всего, в них в тайне души не верит сама Муля. И когда Муля находит себе жениха и, застенчиво хохотнув, уходит завитая, блестя новыми зубами, издающими металлический присвист, с пожилым, солидным отставником-майором — легко заранее предсказать, что это ненадолго, и Муля зря тешит себя запоздалой иллюзией тихого семейного счастья. Как сможет она жить той отдельной, эгоистической жизнью, которой соблазняет ее почтенный жених — стать владелицей большой дачи с садом, пить чай на террасе... Она просто не разрешит себе этого и вернется в саманный домишко, чтобы снова вставать раньше всех, чинить развалившийся забор, купать Иркиного ребенка или стирать рубашки для Женьки-балбеса.

Узнавая Мулю, мы узнаем, познаем жизнь целого слоя людей. Но, кроме того, мы начинаем любить именно ее, такую, какая она есть — с ее великими достоинствами и маленькими слабостями; начинаем любить ее и жалеть, как себя, и больше, чем себя, и незаметно учимся вниманию к таким людям, растим в себе гуманные чувства.

Бывает, идешь по улице — навстречу чужие, безразличные лица, и вдруг — близкий, знакомый человек, и общая обоим радость нечаянной встречи. Так в повести или романе, шумном и населенном, как улица, скользишь равнодушно по страницам, пока не «зацепит» тебя чья-то чужая судьба, ставшая тебе близкой, не остановит чье-то лицо, мгновенно милое и запомнившееся. И чем дальше от нас эти люди, тем удивительнее

открытие, совершаемое искусством: они уже прежде будто были знакомы нам, так понятно они думают, страдают, чувствуют. Это в тебе, читатель, отозвались любовь автора к герою, его волнение, его беспокойная мысль.

## 7

Казалось бы, деятельная, безунынная натура Мули, ее дерзкое, самостоятельное отношение к жизни должны были заинтересовать тех критиков, которые так сожалели о пассивности солженицынской Матрены. В самом деле, при общей с Матреной трудовой основе характера героини Семина, при общем желании бескорыстного добра людям, стремлении обогреть, поддержать, помочь, при общей трудовой морали — все своими руками и по-честному, — какая разительная разница! У Матрены — легкий, покладистый, покорный характер. У Мули — трудный, беспокойный, гордый. И та робость и безответность, какая есть в солженицынской крестьянке, совершенно чужда «непримиримой и воинственной» работнице Муле.

Автор находит немало случаев подчеркнуть не только семейную, домашнюю, но и, так сказать, общественную активность характера Мули. В войну ходила она с милицией ловить бандитов, потом среди первых вызвалась помочь в строительстве разрушенной школы. Но, может быть, особенно важны в этом смысле немногочисленные, но яркие страницы, где Муля рассказывает о своей фабрике.

На фабрике уважают Анну Стефановну за то, что она работает добросовестно, умело, с увлечением, всякий раз перевыполняя план. «Организм у меня такой, — объясняет Муля. — Я за двоих молодых работаю». И еще: «Подыхаю, а не работать не могу». Но и свои рабочие права Муля знает и не даст в обиду ни себя, ни своих подруг. «На работе к начальнику меня вызовут, бабы говорят: «Читай, Аня, «живые помощи». А я говорю: «Мои «живые помощи» — чистая совесть. Никакого начальства я не боюсь».

Да, Анна Стефановна — не чета Матрене, мгновенно робевшей и терявшей дар речи перед председательшей, едва лишь та появлялась на пороге (вспомним это: «И вилы свои бери!»). Муля же стоит не только за себя, но и за других работниц, она требует соблюдения справедливости, советских порядков и законов, охраняющих интересы труженика. Дерзкая, острая на язык, она

не сомневается в том, что советские законы жизни писаны для нее и каждая буква в них за нее. И ее не проймешь дешевой демагогией. «Они мне кричат: «Вы не наш человек!» — «Это вы, говорю, не наши люди».

Муля сознательно и смело возражает неумелым руководителям, решившим увеличить производительность за счет ручного труда женщин. Это ввело в смущение некоторых критиков: удобно ли показывать нелады простой работницы с начальством? Но что делать, если на фабрике, где работала Муля, руководители, сторонники «волевых» приемов хозяйствования, пошли по самому легкому пути — повышению норм выработки без изменений в самом производстве. Или нам скажут, что это не типично и никогда не было типично?

Но что, быть может, важнее всего — это чувство хозяина в простой работнице, не просто сознанием, а нутром ставшей понимать, что такие люди, как она, главные в своей стране, и не передоверяющей свою судьбу, свой разум и труд кому-то другому, считающей себя за все ответственной и знающей свои права в социалистическом обществе.

Такой очевидный пример деятельного добра, общественной активности, — а вот же, критика в большей своей части и тут его не приняла, не одобрила, определив Мулю в своих реестрах где-то рядом с сердобольной и робкой Матреной.

А между тем «черные, непрощающие глаза» Мули в упор глядят на читателя, как бы требуя к себе внимания и напоминая о ее «непримиримом, неуживчивом» нраве и широкой, доброй душе.

В одной из критических статей я прочел недавно, что читатель испытывает острую «тоску по герою». Знакомый, примелькавшийся тезис. Но, перечитав только что несколько сотен читательских писем, я не обнаружил в них никаких следов тоски, тем более тоски по герою.

Да и откуда, если вдуматься, взяться такой тоске? Понятно, когда тоскует по герою тот, в чьей жизни мало героического, утверждающего, сознательного начала. Такая экзальтация может возникнуть из неуверенности перед жизнью, из сомнения, что трудности и противоречия действительности можно понять своим умом и разрешить самосильно. Напряженная тяга к чудесному, сверхобычному, «идеальному» указывает, как не раз замечалось, на некую не-

полноту жизни. А желание возместить ее хотя бы в искусстве говорит чаще всего лишь о неверии в себя и в рядом стоящих, слишком «обычных» для нас людей.

Если видеть положительных героев в обычных людях, пусть даже с их естественными слабостями, но с особой привлекательностью всего склада характера, лучших его черт — благородства, самоотвержения, мужества, доброты, — тогда зачем толковать о «тоске»? Такого героя легко разглядеть, например, в Муле. Или она слишком обыденна, проста, прозаична для нас?

Много раз жизнь доказывала нам, что подвиг — это слово нераздельно в сознании со словом «герой» — способны совершить в решающие минуты жизни как раз самые обычные и внешне не эффектно выглядящие люди, в которых ровно ничего нет от театральных героев.

В жизни Мули тоже бывали эпизоды, которые можно назвать героическими. Так случилось однажды во время войны, что, едуци с другими бабами «на менку», она спихнула солдата-оккупанта с подножки под колеса поезда. А позже, когда выбили немцев, с милицией ходила по вечерам ловить бандитов в балку.

Критика сожалела, что В. Семин рассказал об этом слишком скупое, не развернул шире именно эти «героические поступки» Мули. Но подобные советы могли возникнуть лишь по невниманию к замыслу автора. Разве меньше героического в каждодневном труде Мули на фабрике и дома, чем в этих исключительных моментах ее биографии?

Героями делает людей не только подвиг, концентрирующий в яркой вспышке все силы характера и души, но и подвигничество, то есть то постоянное и сильное напряжение жизни, неустанное преодоление трудностей ради выполнения своего нравственного, социального, человеческого долга, которое есть удел многих вполне обыкновенных, но замечательных людей, в том числе таких, как героиня Семина.

Муля — «маленький» человек? Но литература различает героев не по значительности их поприща, положения и, конечно уж, не по служебной номенклатуре. Положительными героями в ней могут стать и генерал Серпилин, с которым нас познакомил К. Симонов, и секретарь райкома Мартынов в «Районных буднях» В. Овечкина, и

скромная работница кожгалантерейной фабрики.

Жаль, что реальные положительные герои, люди наших дней, существующие в жизни в таком многообразии характеров, став достоянием искусства, перестают удовлетворять критику, мечтающую о герое идеальном, герое-символе. Иногда думают, что с таким героем легче пойдет дело воспитания читателя. Но сам читатель перерос такое представление о нем.

Читатель все больше научается думать сам. Так покажите ему жизнь во всей ее истине, откройте часто незаметные в своей привычности прекрасные (и отталкивающие) человеческие свойства в людях, которых он знает, которых привык видеть вокруг себя, и он горячо откликнется на это, потому что литература воспитывает не отвлеченным образом, а теми выводами, какие сердце делает из прочитанного.

Я уже говорил прежде, что теория подражания героям как цели искусства, восходящая к традициям классицизма и поэтике Буало, рассчитывает на легкую переимчивость, копирование благородных поступков, то есть имеет в виду духовно не самостоятельного, пассивного читателя, не учитывает его «сотворчества» с автором. Напротив, теория отражения, реалистического познания действительности верит в активное творческое и мыслящее начало не только в писателе, но и в читателе.

Требование критики к литературе дать идеальные примеры, образцы для подражания, на практике чаще всего сводится к конструированию условных фигур «идеального героя». Авторы невольно должны вступить в соревнование между собою — кто даст пример возвышеннее, чище, кто вообразит героя более совершенного, более идеального, — и тут нет предела фантазии. Так появляются искусственные фигуры героев вроде панферовского Морева или «кавалера Золотой Звезды» Сергея Тутаринова, если называть лишь самые запомнившиеся имена.

Мало сказать, что эти герои не приносят большой пользы воспитанию читателя. Вернее, они наносят вред, так как идиллическое изображение и самого героя, и окружающих его обстоятельств вызывает лишь недоверие у людей опытных, знающих жизнь и невольно дезориентирует людей молодых, неопытных, внушая им представление о жизни как о легкой и удачливой прогулке.

Только по недоразумению подобная дурная идеализация может считаться внутренней присущей социалистическому реализму, в действительности она не имеет ничего общего с эстетикой марксизма. И в своих теоретических суждениях, и в конкретных литературных оценках Маркс и Энгельс неизменно отдавали предпочтение «земному», реалистическому герою перед идеально-романтическим. И от этой связи с трезвой реальностью, демократическим, даже «плебейским» восприятием жизни и искусства лишь более стойким становился их высокий коммунистический идеал, опиравшийся на трудовую практику, бесстрашие правды, нераздельное с революционным и демократическим взглядом на вещи.

Выдвижение «героев», стоящих над массой, идеализированных, лишенных человеческих слабостей, марксизм всегда считал делом аристократической романтики или мешанского радикализма. Достаточно взглянуть хотя бы в полемику Маркса и Энгельса с Карлейлем, пытавшимся сделать из героев нечто вроде религиозного культа, чтобы понять, как противна эта разновидность «богостроительства» всему духу марксизма.

Напомним, что в своей книге «Герои и героическое в истории» Томас Карлейль писал: «Во все времена и во всех местах героям (великим людям) всегда поклонялись. И так будет вечно. Мы все любим великих людей: любим, почитаем их и покорно преклоняемся перед ними». Подобные же мысли развивал Т. Карлейль и в другой своей работе — «Прошлое и настоящее», и смысл его позиции Энгельс определил так: «Надо, дескать, создать новую религию, пантеистический культ героев, культ труда, необходимо во всяком случае ждать возникновения такой религии в будущем». Соглашаясь с Карлейлем в его критике бездуховности, Энгельс противопоставляет этому лишь одно «идеальное» начало — «пробуждение самосознания». «Мы хотим, — пишет он, — устранить все, что объясняет себя сверхъестественным и сверхчеловеческим, и тем самым устранить лживость, ибо претензия человеческого и естественного быть сверхчеловеческим, сверхъестественным есть корень всей неправды и лжи»<sup>1</sup>.

Эти принципиальные положения не раз находят свое подтверждение в конкретных эстетических оценках классиков марксизма.

Маркс упрекает Лассалю в том, что он писал свою драму не «шекспиризируя», а «пошлилеровски, превращая индивидуумы в простые рупоры духа времени». Энгельс в свою очередь советует Лассалю «за идеальным не забывать реалистического, за Шиллером — Шекспира». В письме к М. Каутской Энгельс замечает, что «автору никогда не следует слишком восторгаться своим героем» и т. п.<sup>1</sup>.

Но, может быть, марксизм иначе смотрел на изображение революционных героев, деятелей партии, руководителей движения — этих «людей будущего»? Нет, вот что писали по этому поводу Маркс и Энгельс: «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения, — будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, будь то в период революции, в качестве официальных лиц, — были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения»<sup>2</sup>.

Надо ли повторять, что борьба Маркса и Энгельса за реализм, правдивость в искусстве, так же как и то предпочтение, какое они оказывали Шекспиру и Рембрандту перед Шиллером и Рафаэлем, при всем уважении к гению последних, коренилась не в их субъективных пристрастиях, но стояла в кровном родстве с их общей идеологией, пониманием исторического творчества народных масс и роли отдельной личности.

Приведенные здесь суждения Маркса и Энгельса стали впервые широко известны в советских публикациях в начале тридцатых годов и оказали тогда заметное влияние на нашу эстетику. Однако дальнейшему углубленному их изучению и разработке стала заметно мешать концепция «идеального героя», сложившаяся в тридцатые — сороковые годы не без воздействия атмосферы культа личности.

Не раз раскритикованный, но вновь появлявшийся в различных своих формах

<sup>1</sup> См. сб. «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», составитель Мих. Лифшиц, т. I. «Искусство», М. 1957, стр. 9, 26, 31.

<sup>2</sup> Там же, стр. 13.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 592.



лозунг «идеального героя» пытались порою защитить с помощью авторитета Горького. Горький высоко поднял значение героической темы, пропагандировал ее в своих статьях и выступлениях. Он показал значение положительного героя для литературы социалистического реализма. Но он же пытался рассмотреть проблему героя исторически, предостерегал от плоского ее понимания.

«...В стране, которая должна быть социалистической,— писал он в 1933 году в письме Е. Добину,— мы,— по силе сопротивления большинства ее крестьянского, мелкособственнического населения,— оказались вынужденными временно поставить ставку на индивидуализм — «ударничество» и прочие приемы возбуждения трудовой энергии единиц. Что ни говорите, а это — ставка на «героя». Весьма возможно, что когда мы поем:

Никто не даст нам избавления,  
Ни бог, ни царь и не герой —

онный герой уже мысленно усмехается»<sup>1</sup>.

«Ставка на «героя», о которой пишет Горький, способна была отвлечь от изображения обычного рабочего или колхозника, человека трудового коллектива, частицы трудовой массы. Но, несмотря на это, литература всегда отставала — а в последние годы все успешнее,— свое право на изображение «простого», «маленького» человека, который на самом деле оказался не так прост и не так мал. Это не значит, что для читателей хоть сколько-нибудь потерял привлекательность благородный человеческий облик в книге — обаяние смелости, чистоты, самоотвержения, подвига, то есть всего того, что мы привычно соединяем в понятии «положительный герой». Он лишь оказался по заслугам лишен всякой претензии на исключительность, «идеальность», сверхъестественность.

Большой художник создает характеры, в которых светится жизнь в ее благороднейших и лучших проявлениях. Но одно дело сконструировать эти качества героя, другое — угадать «идеальное» начало в житейской пестроте реальных, прозаических, знакомых каждому отношений и лиц. В сущности, это умение добывать поэзию из прозы, как замечал еще Белинский, и есть несомненный признак подлинного искусства.

<sup>1</sup> «Вопросы литературы». № 12, 1964, стр. 107.

Марксизм не нуждается в конструировании отвлеченных идеалов, в своевольном «исправлении» действительности искусством. Мы верим, что жизни с нами по пути, что ветер века «в наши дует паруса», а раз так, нам незачем придумывать что-то стоящее над жизнью и служащее ей неумолчным призывом и укором. Многообразие действительности в ее революционной, оптимистической перспективе включает в себя всю полноту жизни как она есть.

«Партия говорит с народом языком правды, ничего не скрывая и не приукрашивая, показывает как реальные достижения, так и трудности нашего развития»,— говорилось в материалах XXIII съезда КПСС. Вот так же смело и честно, с мужественной убежденностью должна видеть жизнь и наша литература. Только тогда ей будет обеспечено уважение и доверие читателя.

## 8

Суд читателя — высшая инстанция для литературы. И мы готовы снова и снова повторить, что гордимся нашим читателем, радуемся тому, как приумножился он в числе и подвинулся в эстетическом вкусе и понимании за последние, такие важные в нашем общественном развитии годы.

Но так же как не всех пишущих романы, стихи и пьесы мы решились бы назвать писателями, так не всех читающих их можно назвать читателями в высоком и ответственном смысле слова. «Когда книга сталкивается с головой — и при этом раздаётся глухой пустой звук, разве всегда виновата книга?» — спрашивал философ XVIII века Лихтенберг.

В читательской массе, в том числе и в активной ее части — среди тех, кто не просто делится впечатлениями от книги со своими близкими и друзьями, но выступает на обсуждениях, пишет письма в редакцию, откликается на литературные дискуссии, — представлены самые разные социальные слои, уровни образованности, развития, вкуса. Читатели всегда и везде различны. «Одни, — отмечал Н. А. Рубакин, — схватывают только содержание, фабулу данного литературного произведения, другие уже вникают в отношения действующих лиц, третьи усваивают идею, четвертые способны к критическому отношению к этой идее и т. д.»

Библиотекари и продавцы книг знают, что, несмотря на вялые протесты печати, все рекорды и доныне бьет спрос на «шпионскую» литературу, книжки из серии «Библиотеки военных приключений». Ходко идет фантастика, романы «про любовь» с зазывными заголовками. Но дело не только в выборе книг. Можно быть любителем беллетристики невысокого полета, но можно и «Героя нашего времени» читать как беллетристику, воспринимая лишь самый наружный, «фабульный» слой повествования — кто кого полюбил, кто кому изменил и кто кого убил в конце концов... У такого читателя свои, пусть иногда безотчетные, критерии художественного интереса: его может искренне восхитить откровенно пустая книга, он прольет слезы в самом пошлом, сентиментальном месте, будет захвачен искусственной интригой, а ходульного, но эффектного героя легко примет за свой идеал.

Мы видели, что суждения тонких и умных читателей не только соперничают по своему уровню с профессиональной критикой, но порой оставляют ее позади себя. Было бы, однако, слишком наивным считать, что на литературу и критику воздействует лишь хороший, вдумчивый читатель. Разряд «читающих» и «почитывающих» в свою очередь не оставляет писателей и критиков без влияния. И когда мы бываем недовольны предвзятой или некомпетентной критикой, когда сетуем на примитивность ее суждений, нам, чтобы вполне понять природу этого явления, следует помнить: критик, строго говоря, тот же читатель, он сделан не из какого-то иного, а из того же теста, что и все другие читатели книг. Читатели «выдвинули» его из своей среды, он не может оставаться независимым от той или иной части этой среды и, бывает, несет в своих теориях и оценках все слабости и предрассудки отсталого читателя.

Есть немалое число читателей, которые ждут от книги отдыха, отвлечения, нервной разрядки. И это можно понять. Приятно почитать по дороге домой, в метро и электричке, либо дома, уже в постели, «на сон грядущий», книгу автора, избегающего тяжелых и неприятных впечатлений и не заставляющего много думать. Пусть это будет фантастическое путешествие в иные миры, на другие планеты, или приключения в джунглях Африки, или разгадка острой детективной тайны, или просто милая современная повесть — немножко смешная, немножко

трогательная и не вынуждающая напрягаться, все это вполне ко двору. Главное — чтобы автор унес нас подальше от наших ежедневных впечатлений, подальше от жизни, которую мы «и так знаем», потому что изо дня в день живем ею. То, что просто, обычно, что напоминает читателю собственную жизнь и собственный быт, часто кажется ему неподходящим предметом для искусства, попросту неинтересным. Критик, брезгающий изображением в литературе всего простого, обычного, или, как еще это называют, «приземленного», вольно или невольно вторит читательской слабости и предрассудку.

Приведу пример из смежной с литературой области. Известно, какие споры сопутствовали появлению на экране фильма «Председатель». И надо сказать, картина давала повод для споров совсем не праздных. Но некоторые критики пошли по протоптанному пути: они нашли изображение жизни послевоенной деревни в первой части фильма чересчур мрачным и сомневались, следовало ли показывать Егора Трубникова, которого прекрасно сыграл Ульянов, таким крутым и своенравным, даже жестоким в обращении с колхозниками. И если бы так думали только критики!

Мне пришлось присутствовать на обсуждении этого фильма, когда собрались председатели колхозов, агрономы, партийные работники села — то есть публика, компетентность которой в этой теме была неоспоримой. Большинство выступавших в тот вечер защищали фильм, говорили о правдивости многих его сцен, вспоминали недавнее прошлое, ссылались на собственный опыт. Но не было недостатка и в выступлениях иного рода. Один весьма уважаемый председатель колхоза сказал, что фильм не понравился ему: зачем понадобилось авторам изображать такие тяжелые сцены — и то, как гибли коровы от бескормицы, и то, что женщинам приходилось пахать на себе в первый послевоенный год, и то, как, бывало, посвистывал над головами колхозников председательский кнут. «Я не говорю, что этого не было, что это неправда, но зачем это показывать?» — повторял он. «Так, может быть, вам больше по душе «Кубанские казаки?»» — перебил оратора ироническим возгласом кто-то из присутствовавших. «А что ж, «Кубанские казаки» мне и в самом деле больше нравятся, — с невозможной убежденностью ответил вы-

ступавший.— То, что в «Председателе» показано, мы и без того знаем, сами на себе испытали, а вы покажите то, чему душа радуется, о чем мы мечтаем, на чем можно отдохнуть людям после целого дня работы в свинарнике или на поле».

Как будто в этом желании, чтобы искусство не столько отражало жизнь художественными средствами, сколько творило ее второй, улучшенный и прикрашенный вариант, есть своя правда. Пусть искусство поднимает мое настроение, успокоит, утешит, наконец развлечет — разве это так уж мало? Да, но искусство — не успокоительные капли. И слово больших художников всегда бывало беспокойным, мужественным, тревожащим душу. Потому что настоящий оптимизм питается знанием, а не верой, художественной правдой, а не утешительными иллюзиями. И если читатель по слабости хочет, чтобы искусство развлекло его, увело от тех проблем, какие ему приходится решать в жизни, критик не должен бы этому сочувствовать и потакать.

Но есть и иного рода читательская слабость, также безотчетно усваиваемая профессиональной критикой. Если одни читатели хотят, чтобы книга уносила их подальше от обычной жизни — в мир приключений, фантастики, бурных страстей, то другие надеются увидеть героем повести или романа самого себя или хотя бы «воображаемого себя», человека своего возраста, круга интересов, своей профессии. В этом также нет ничего предосудительного, пока возглас: «А милиция забыта? А пожарник не герой?» — не становится категорическим указом литературе. Само собой разумеется, что в таком случае читатель хочет видеть себя непременно в идеализированном виде — лучше, выше, чем он есть на самом деле, и если художник не удовлетворит его, переживает это как личную обиду и оскорбление «чести мундира», затрагивающее всех людей его профессии.

Эти предрассудки, отражающие некоторые особенности читательской психологии, родились не сегодня. Писателям много раз приходилось по сходным поводам вступать в объяснения со своими читателями. Однажды прилежная читательница Чехова — М. В. Киселева, владелица «милого Бабкина», имения, с которым столько связано в биографии писателя, — обратилась к Чехову с письмом, где укоряла его за выбор героини в одном из рассказов, особы скверной и

несимпатичной, и сетовала на равнодушие автора к добрым «зернам» человеческой натуры. Чехов ответил ей: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная. Суживать ее функции такую специальностью, как добывание «зерен», так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, «зерно» — хорошая штука, но ведь литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью... Что бы Вы сказали, если бы корреспондент из чувства брезгливости или из желания доставить удовольствие читателям описывал бы одних только честных городских голов, возвышенных барынь и добродетельных железнодорожников?»

Да, «зерно» — хорошая штука. И естественно, что литература наших дней, новая по своему общественному миропониманию, еще внимательнее, зорче, чем литература прошлого, примечает в жизни и людях зерна нового, передового, доброго. Только пусть не будет это в ущерб изображению всего бескрайнего поля жизни, противоречий, страстей, характеров, иначе литератор легко превратится в кондитера и косметика, поставщика подслащенного, льстивого искусства, фабрикующего по мере надобности эти «зерна» ради удовольствия не самого взыскательного читателя.

Итак, предрассудки критики, а равно и ее достоинства, возникают как отражение читательской психологии, настроений той или иной части читательской среды. Но, возникнув из неоформленных, смутных впечатлений отсталого читателя, предрассудки критического жанра возвращаются бумерангом к нему же, этому читателю, только уже закрепленные в строгих критических формулах.

«Согласитесь, трудно поверить, что повесть эту писал человек опосредствованно. Бесспорно, материал, если можно так выразиться, собран автором в процессе личного эмоционально-осмысленного восприятия...»

Что это? Чья это речь? Кто говорит так о привлекшей его внимание книге — сухой педант или утомленный своей ученостью критик? Нет, это обычный, рядовой чита-

тель из Нижнего Тагила, который начитался критических статей и боится отстать от них. Он не сразу находит слова для выражения своих эмоций и берет готовые фразы и понятия, услужливо предлагаемые ему критикой.

Это касается формы высказывания, но ведь и суждения и оценки часто берутся читателем в «готовом» виде. Печатный текст имеет еще для многих завораживающую силу, и есть категория людей, всегда разделяющих мнение, высказанное последним.

Что ему книга последняя скажет,  
То на душе его сверху и ляжет.

Читателю кажется порой, что он и сам так прежде думал, — неужели можно понимать дело иначе? Но чаще всего это иллюзия: он лишь послушно повторяет оставшееся на слуху.

Любители птиц знают: канарейки, высиженные чижиками, поют, как чижики. Когда я прочел об этом в книге одного естествоиспытателя, я понял, отчего так сварливо придирчивы и шаблонны иные отзывы читателей о литературе: просто они поют, как чижики.

Года три тому назад Расул Гамзатов опубликовал новый цикл своих стихотворений и среди них «Строфы о собраниях» и «Песню, которую поет мать своему больному сыну». Эта публикация была встречена добрыми отзывами, но откликнулись на нее и протестующие голоса. То не были голоса критиков — перед нами счастливый случай, когда критика на редкость благосклонна к поэту. То были голоса читателей.

«Строфы о собраниях» начинались так:

Собрания! Их гул и тишина,  
Слова, слова, известные заранее.  
Мне кажется порой, что вся страна  
Расходится на разные собрания.

Взлетает самолет, пыхтит состав,  
Служилый люд спешит на заседания,  
А там в речах — каких не косят трав,  
Какие только не возводят здания!

Сидит хирург неделю напролет,  
А где-то пусты операционные,  
Неделю носом каменщик клюет,  
А где-то стены недовозведенные...

«В журнале «Новый мир» напечатаны стихи Расула Гамзатова «Строфы о собраниях» и «Песня, которую поет мать своему больному сыну», — пишет в редакцию инженер Нефедьева. — Я удивлена и возмущена тем, что их поместили в журнале. Первое из них обливает грязью всю нашу жизнь, клеветает на нашу действительность, что ни строка, то ложь, клеветает на врачей, хирур-

гов, каменщиков. Если б это было так, то ничего бы мы не строили, не могли бы ходить в театр, кино, читать книги, ведь мы бы тогда сидели на собраниях. Но это не так. Собраний в последнее время стало на много меньше».

Мне не кажется большой бедою, хоть это и не совсем приятно, что инженер Нефедьева рассуждает о стихах Гамзатова с таким апломбом. В конце концов давно замечено, что медицина и литература — это две области, в которых каждый чувствует себя немного специалистом. Не слишком тревожит меня и то, что товарищ Нефедьева восприняла сатирический текст буквально и заранее огорчилась, представив себе, как ей пришлось бы каждый вечер томиться на собраниях, вместо того чтобы иной раз сбегать в кино или сходить в театр. Что сказала бы она о стихотворении Маяковского «Прозаседавшиеся», герои которого разрываюся на заседаниях — «до пояса здесь, а остальное там»? Достаточно на мгновение вообразить себя участником этой чудовищно неправдоподобной сцены, чтобы возмутиться таким издевательством над нашими людьми. А между тем именно это стихотворение Маяковского Ленин хвалил за остроту политической сатиры.

Больше заботит меня, однако, в письме Нефедьевой другое — та легкость, с какой она оперирует готовыми словосочетаниями: «обливает грязью всю нашу жизнь», «клеветает на нашу действительность», «что ни строка, то ложь...». Автор письма не выбирает выражений, потому что думает, что так принято поступать, если поэт совершил ошибку, или нам только покажется, что он ее совершил, — с ним нечего церемониться. Тов. Нефедьева пользуется проверенным критическим способом — «так в жизни не бывает». «Собраний в последнее время стало намного меньше», — сообщает она. Но пишется это в 1963 году...

«А там в речах — каких не косят трав, какие только не возводят здания...», — чтобы написать эти открыто публицистические, лукавые и острые стихи, кроме поэтического таланта, нужно было еще и гражданское мужество, сознание своей ответственности за дела страны.

Второе стихотворение Расула Гамзатова, привлечшее внимание инженера Нефедьевой, нужно привести полностью. «Песня, которую поет мать своему больному сыну» — одно из лучших лирических стихотво-

рений поэта, и мне доставляет удовольствие напомнить его читателям.

Наполняй весь дом табачным духом,  
Пей бузу. Вина захочешь — пей,  
Можешь не жалеть меня, старуху,  
Только выздоравливай скорей...

В край далекий уезжай, сыночек,  
И оттуда писем не пиши,  
В жены выбирай, кого захочешь,  
С городскими вдовами грешит!

Я тебя баюкала когда-то,  
Согревала на груди своей.  
Пей вино, кури табак проклятый,  
Только выздоравливай скорей!

(Перевод Н. Гребнева)

«Возьмите второе стихотворение, — продолжает инженер Нефедьева. — Чему учит мать своего сына? Кто поверит Гамзатову, что мать может говорить такое сыну? Ведь все прекрасно знают, что мать, у которой сын пьяница или сын, который не уважает женщину, считает себя несчастной, считает, что она когда-то что-то упустила в его воспитании. Я считаю, что такие стихи принесут только вред и ничему хорошему не научат нашу молодежь».

Товарищ Нефедьева поняла стихи так, что поэт устами матери дает прямой совет сыну пить, курить и развратничать. Как тут не испугаться, что читатели, особенно молодые, увлекутся дурным примером?

А вот другое письмо, написанное по тому же поводу, что и письмо инженера Нефедьевой. Тов. Сорокин из города Ляховичи Брестской области пишет: «Стихотворение поэта Расула Гамзатова «Песня, которую поет мать своему больному сыну» вызвало оживленный спор у нас среди работников Ляховичского горсовета. По-разному реагировали на него. Одни доходили до того, что утверждали, что это не что иное, как пошлость, чуть ли не призыв к безнравственности и разврату. Что якобы это произведение ничего общего с поэзией не имеет как по форме, так и по содержанию. Я (кстати говоря, рядовой работник, много читаю) сторонник противоположного мнения. На мой взгляд, в этом произведении заложен большой смысл. Понимаю так: у постели своего безнадежно больного сына, возможно уже на одре, старуха мать мысленно поет ему песню. Она в отчаянии, ей в данную минуту разрешено все, поскольку жизнь сына в опасности, а ей дороже всего на свете жизнь сына. В обмен на выздоровление она идет на самопожертвование и готова разрешить сыну любой порок (что нами в жизни обычно осуждается), который ей лично са-

мой органически чужд и противен. Поскольку зашел у нас такой спор, я прошу редакцию ответить — прав ли я».

Что и толковать, тов. Сорокин прав. А спор в Ляховичском горсовете — лишнее свидетельство того, что хотя и тов. Нефедьева не одинока в своих сомнениях, но есть читатель, с которым поэт Расул Гамзатов имеет счастье говорить с надеждой на полное понимание и душевный отклик. Жаль только, что защита плоской назидательности, ханжеской добродетели помешала и читательнице Нефедьевой разделить радость от чтения прекрасного стихотворения Гамзатова, а заодно оценить его подлинный воспитательный смысл.

Трудно доказывать, что лирические стихи хороши, если они сами по себе не сказали об этом сердцу. Но разве нужен особо изощренный слух, чтобы понять, какая сила материнской любви, бескорыстия, самоотвержения слышится в этой тихой песне, долетевшей к нам с гор?

Традиционный прием восточной поэзии — многократный повтор-заклинание — Гамзатов наполнил чувством, казалось бы, внятным всем. Мать закликает болезнь сына самым страшным для себя заклятием. Она перебирает в памяти то, чего всегда так боялась, так не хотела, что могло привидеться лишь в дурном сне, — вдруг сын уедет от нее и не станет писать, вдруг приведет он в дом невестку ей не по нраву, станет пить и курить... И всем этим она готова жертвовать судьбе, все лучше для нее, чем видеть его больным, страдающим и несчастным. Так, заранее прощая и забывая все на свете, может любить только мать.

Мы обычно требовательны к тем, кого любим: хотим, чтобы они жили так, как нам нравится, поступали так, как мы это им советуем, и редко согласны любить «просто так», без ответных знаков внимания и любви. Но мать, о чем бы она ни мечтала, чего бы ни хотела для себя самой, думая о судьбе сына, мгновенно отречется от всего личного, лишь бы видеть его живым и здоровым. Вот где вполне сбывается смысл пословицы: не по хорошу мил, по милу хорош. И пусть мы назовем эту любовь слепой, неразумной, все равно, вместе с великим искусством всех времен мы преклоняемся перед великой силой материнской любви. Рядом с ее чистой, благородством, святостью вряд ли можно поставить какое-нибудь другое чувство на земле.

А тут — «чему учит мать своего сына?», она «что-то упустила в его воспитании...». И это говорит читательница, женщина. Право, мне легче было бы думать, что «инженер Нефедьева» — это псевдоним, и под ним укрылся кто-то из наших критиков-педантов!

Всерьез спорить с тов. Нефедьевой — значило бы, вероятно, оказаться в смешном положении. Можно просто сказать, что она не поняла смысла прочитанных строк, и поставить на этом точку. Однако выяснить, в чем основа этого недоразумения, почему читательница истолковала стихи так, а не иначе, каким готовым стереотипом суждений она руководствовалась, было бы, пожалуй, полезно.

Инженер Нефедьева слыхала, что художественная литература должна быть назидательной, воспитывать на образцах и избегать даже упоминания о том, что могло бы послужить дурным примером, — и она глубоко усвоила это. Она привыкла думать, что те или иные отрицательные явления и типы (скажем, пьяницы, стилиаги, тунейдцы) не потому изображаются искусством, что они, к сожалению, еще бытуют в жизни, а, напротив, по злокозненности или недомыслию некоторых авторов, придумываются литературой и вследствие этого переходят в жизнь. Таким образом, отражение становится как бы первичным, а действительность — вторичной по отношению к нему. Необходимым дополнением к этому взгляду служит то, что изображение нездоровых явлений или хотя бы упоминание о них считается уже их признанием, апологетикой, за которую автор должен нести ответ. Как будто бы нам легче было знать, что эти неприглядные явления и типы продолжают встречаться в жизни не тронутые, не отраженные искусством и, таким образом, как бы вовсе не существующие при всей несомненной реальности своего бытия. Раз поэт Гамзатов позволил себе заговорить о курении табака, злоупотреблении вином и других смертных грехах — тут и разбираться нечего: он хочет закрепить их в нашем быту и тем самым отравить сознание молодежи.

Как видим, в суждениях инженера Нефедьевой, поначалу показавшихся слишком резкими и неожиданными, не так уж много индивидуального. Она лишь доводит до логического конца то, что по отношению к другим именам и книгам нередко провозглашалось критикой.

## 9

Должно быть, в горькую минуту Алексей Толстой сказал как-то: «Читатель, это бульон, в котором можно развести любую культуру литературных микробов». Я не хотел бы с этим согласиться. Но иной раз суждения читателей могут навеять подобный пессимизм.

Говорят, что нет на свете такой пустой и неумной книги, на которую не нашлось хотя бы одного сочувствующего ей читателя. И точно так же — нет такого сомнительного критического суждения, которое не было бы хоть кем-то разделено, подхвачено.

Казалось бы, мало у кого найдет поддержку мысль, что героев своих книг писатель должен выбирать согласно их рангу и общественному положению, так сказать с учетом служебной номенклатуры. Но стоило промелькнуть чему-то подобному в критике — и вот уже один из читателей, выражая свое недовольство изображением в литературе «маленького человека», пишет, что, на его взгляд, главным героем наших книг должен стать «начальник или руководящее лицо». «Без этого высшего социального типа, — поясняет свою мысль пенсионер Ф. Котенков, — дело остановится и двигать его будет невозможно. А что такое маленький человек? Это в первую очередь товарищ (или гражданин), который в силу причин, от него не зависящих, не смог подняться на высшую ступень социальной лестницы, но он к этому стремится! Это его заветная мечта. Так вот: надо ли писать о мечтателе? Нет и еще раз нет! Писать следует о тех, кто решает вопросы, раскрывать надо именно то, как доверенными товарищами решаются ответственные задачи нашего поступательного движения вперед». Так автор письма откровенно и решительно «прояснил» проблему героя.

«Что же касается вопроса искусства в целом, — продолжает Ф. Котенков, — то лозунг о доходчивости должен оставаться главным на сегодняшний день. Мы не гурманы, нам подавай яркое и жизнерадостное для подлинного вдохновения. Если мне художник не понятен, то виноват не я, а он! Ведь он для меня пишет, рисует, за это ему государство деньги платит. Итак, я на этом кончаю высказывание своих мыслей и соображений, основанных на изучении основ социалистической эстетики. В свете указанного мною следует учесть животворящие тре-

бования в художественной литературе и искусстве...»

Надо огорчить тов. Котенкова. Его соображения имеют мало общего с социалистической эстетикой, но зато густо пахнут канцелярией и приказной субординацией. Крайняя мера чиновничества в соединении с редким по откровенности презрением к «маленьким людям» имеет другим своим концом барское высокомерие по отношению к художнику, который всегда «виноват» перед тов. Котенковым.

Такие читатели встречались во все времена и ныне, благодарение небесам, не так уж часты. Но было бы неправильно недооценивать их доли участия в литературном процессе. Беда заключается в том, что все заслуженно добрые слова, произносимые в честь советского читателя, они принимают персонально на свой счет и начинают судить и рядить как бы от его имени.

Уважать читателя — не значит льстить ему, склоняться перед ним. Когда Ленин говорил Кларе Цеткин, что искусство «должно быть понятно» массам (по последнему уточнению немецкого текста — «понято» массами), что оно «должно пробуждать в них художников и развивать их», он имел в виду, что серьезные обязательства есть не только у искусства по отношению к массам, но и у масс по отношению к искусству. Хотя бы такое необходимое обязательство — учиться глубокому, неупрошенному пониманию искусства, повышать необходимую для этого культуру, развивать свой вкус, свое понимание прекрасного, а не смотреть на искусство, как на служанку, готовую приноравливаться к нам и выполнять все наши прихоти.

Мы привычно говорим, что произведение искусства — всегда открытие, любим приводить в статьях и рецензиях слова поэта: «Поэзия — вся! — езда в незнаемое», но как-то упускаем из виду, что это свойство творческой новизны как раз и создает особую трудность для читателя и критика. Художник, если он не иллюстратор давно известных истин, неизбежно идет впереди того, что уже достигнуто, закреплено массовым сознанием. Ленин говорил про Демьяна Бедного, что тот «идет за читателем, а надо быть немножко впереди». Писатель не должен отрываться от массы, от ее идей, настроений, запросов, но он не должен и приспосабливаться к ней, иначе это неизбежно

будет приспособление к «средним» вкусам, «среднему» пониманию.

Существует странный парадокс литературного процесса. Давно замечено, что большим, истинно значительным произведениям искусства далеко не всегда при первом их появлении устраивалась заслуженная встреча. Обычно лишь спустя некоторое время они получали полное и безоговорочное признание публики и критики. Не буду напоминать, какими разноречивыми толками были встречены, например, «Повести Белкина», «Отцы и дети» или «Война и мир», сколько раз печатно и устно современники этих великих книг толковали о том, что Пушкин «падает», Тургенев «исписался», а Толстой «чудит» и клеветает на русскую историю, пока с ходом времени все не помирились на том, что перед нами величайшие образцы художественного творчества, и теперь даже трудно представить, что кто-либо мог думать иначе. В истории советской литературы можно также указать на множество примеров, когда книги, включаемые ныне в золотой фонд советской классики, завоевывали себе общественное признание, что называется, с бою, а не входили, как это можно ныне предполагать, под единодушные ликующие клики. Достаточно упомянуть о том, какие споры бушевали вокруг поэмы Маяковского «Хорошо!», как скептически была принята многими «Жизнь Клима Самгина» Горького, сколько упреков и нареканий пришлось выслушать автору «Хождения по мукам». А «Тихий Дон», вызвавший недовольство и разочарование у части читателей и критики своим трагическим концом? А поэма «Василий Теркин», в которой находили «оглушение образа советского солдата»?

Конечно, у всех этих книг сразу же образовалось и множество друзей-читателей. Находились и критики, которые, не дожидаясь, пока устоятся те или иные оценки, приветствовали их появление. Но почему эти замечательные книги не были приняты сразу всеми и повсеместно, вызывали такое резкое столкновение взглядов, сопротивление, борьбу?

Это парадоксальное явление отчасти объяснимо, я думаю, понятным консерватизмом «средней», массовой психологии по отношению к новизне искусства. Речь идет не столько даже о новизне формы, сколько о новизне содержания. Художник, верный правде жизни, подмечающий в ней новые

процессы, наблюдающий новые характеры, невольно идет впереди ходячих, закрепленных, сложившихся представлений. Пусть те же или сходные явления уже привлекали прежде других мастеров и были достойно отражены ими, он видит их по-своему, в иных связях и отношениях и тем самым спорит со своими предшественниками. Он разрушает авторитетные предрассудки, приблизительные или устаревшие понятия, дает новое, более полное знание о жизни нынешнего дня, ставит читателя перед неизвестными ему ранее проблемами, беспокоит его совесть, будоражит ум.

Все это требует от читателя известного напряжения, внутренней работы, прощания с прежними понятиями и представлениями, на которое он не всегда готов. Новое усваивается с трудом, да и не со всякой правдой хочется согласиться. Давно знакомое, усвоенное, укоренившееся в сознании имеет для читателя свою силу и привлекательность. Иван Федорович Шпонька у Гоголя, хотя и был, вообще говоря, равнодушен к чтению, частенько заглядывал в гадательную книгу, так как любил встречать в ней давно им читанное. Широкий успех легкого чтения, беллетристики объясняется по существу тем же самым: беллетристика и не претендует на художественное открытие, она идет хоженными путями, как бы повторяет, разжевывает, делает более доходчивым и занимательным то, что было известно и ранее. Читатель же испытывает вполне искреннее удовольствие от встречи с уже знакомым ему предметом.

Из этого вовсе не следует, что серьезный художник фатально оказывается в менее выгодном положении, чем ловкий развлекатель, поверхностный беллетрист. Талант и правда в искусстве обладают ни с чем не сравнимой властью. И тут особенно важна роль критика, который должен вовремя оказаться рядом с художником, среди понимающих и сочувствующих ему читателей, а не с отсталой частью публики, толпящейся позади автора и дергающей его за фалды.

Консерватизм критика опаснее читательского консерватизма, поскольку критическое перо подлежит воздействию и других, отнюдь не психологических факторов. Сколько раз случалось, что, подогретая групповыми пристрастиями, конъюнктурой или догматическими установками, критика опускалась до самой грубой проработки талантливых книг. Не надо, однако, думать, что, восхваляя

плохую книгу и ругая хорошую, критик всегда поступает так по криводушию или, как говорили в старину, «из видов». Порой его просто подводит осторожность к новому, боязнь открытой и резкой правды, ориентация на отсталую часть публики, в хвосте которой он плетется. И если он не хочет учиться тому, что говорит ему искусство и сама жизнь при его посредстве, а заранее предполагает себя все это превзошедшим и хочет лишь учить и поправлять художника,— здесь та же черта отсталого, нормативного мышления: привыкнув пользоваться набором готовых мерок, критик уже не может отказаться от них и все подгоняет под шаблон.

Но жизнь идет, и время вносит свои коррективы в литературные споры. То, что сначала казалось неслыханно новым, дерзким, неприемлемым, впоследствии нередко само становится образцом и создает каноны и мерки для последующего развития искусства. Когда появились первые повести В. Пановой «Спутники» и «Кружилыха», раздавались голоса, что писательница слишком «приземлила» героев, снизила, «дегеронизировала» их и т. п. Прошло двадцать лет, и вот недавно в одной из статей, резко критиковавшей повесть «Семеро в одном доме» за «приземленность», натурализм, критику, укоряя автора, привел в качестве примера правдивого и правильного изображения жизни повесть В. Пановой «Спутники». Так движется история!

Насколько же важна в таком случае роль критика, который вовремя увидит и поддержит новое, не будет смущен его непривычным видом и не бросится измерять его прежним аршином, а попытается найти ему свою, новую меру, отвечающую содержанию нынешнего дня жизни.

Говорят, что литература обладает такой критикой, какую она заслуживает. Но бывает и наоборот. Литература последних лет дала достаточно интересных книг, критика же в значительной своей части топталась на месте или шла вспять. В такие минуты начинает особенно громко звучать голос сознательного читателя — друга и единомышленника автора, кровно заинтересованного в делах литературы.

«Критика заложена в самом народе»,— пишет В. Л. Фролов из Воскресенска. Это значит, что все растет и дальше будет расти число таких читателей, которые сами неплохо ориентируются в водовороте лите-



ратурных споров. Их не собьешь с толку на дешевой демагогией, ни пустыми восторгами, ни репликами проработочного толка. «Не стоит забывать,— пишет молодой москвич, инженер В. М. Разумихин,— что люди самостоятельно читают книги с десятилетнего возраста и сами себе составляют о них мнение, не обращая внимание на «реплики» — и с интересом относясь к серьезному, высокопрофессиональному разбору интересного художественного произведения».

Характерно, что эксцессы бездоказательной и нормативной критики читатели стремятся понять и объяснить исторически, как остатки неизжитых влияний недавнего прошлого. «Я пожилой человек,— пишет, например, читатель В. Новгородский,— и очень хорошо помню, как горе-критики в период послевоенных лет все учили, как писать, о чем писать, какой процент дать красок — черной, розовой, и что значит идеальный герой, что можно, что нельзя показывать в герое. Но все написанное по таким рецептам хранится на пыльных чердаках истории». «Время зуботычин, навешивания ярлыков ушло безвозвратно,— развивает ту же мысль учитель В. Семенихин.— Настало время разумных, квалифицированных и — главное — добросовестных разговоров о литературе. Скороспелые, сногшибательные «разоблачения» произведений теперь просто смешны и, кроме непоправимого вреда самой критике, ее авторитету, ничего не приносят».

Рост сознания читателей, их участие в литературной жизни — неоспоримый и благотворный факт наших дней. Ленин писал когда-то о том значении, какое имеет непосредственная связь авторов, редакции, издателей со своими читателями: «Всякий обмен мыслей, всякое сообщение о том впечатлении, какое производит та или иная статья или брошюра на разные слои читателей, имеет для нас особенно важное значение, и мы очень благодарны будем, если нам будут писать не только о делах в узком смысле слова, не только для печати, но для того, чтобы писатель не чувствовал себя оторванным от читателя». Эти ленинские слова мы можем повторить и сегодня. Литература — обоюдное дело читателей и писателей, а потому и ответственность за нее, за ее успехи и движение, должна быть обоюдной.

Но пусть и критик не стоит в стороне от этого кровного союза. Читатели хотят видеть критику партийной по духу, бесстрашной и прямодушной в поддержке правды, в защите интересов народа. Они хотят, чтобы все талантливое и смелое в искусстве находило поддержку и квалифицированный суд, а все бездарное, лживое и конъюнктурное подлежало бы безжалостному осмеянию. Только в таком случае критика займет место не докучной наставницы, которую уже никто не хочет слушать, а истинной выразительницы общественных и литературных интересов.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ефим Дораш.** Иван Африканович.— **Лев Кассиль.** «Оранжед» еще приплывет! — **О. Михайлов.** Профиль критика

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Пешкин.** Испытание временем.— **И. Миндлин.** Первые шаги.— **М. Шасс.** Страницы истории пролетарского интернационализма.— **И. Иноземцев.** Приключения открытий.

### Литература и искусство

#### ИВАН АФРИКАНОВИЧ

**Василий Белов.** Привычное дело (Из прошлого одной семьи). «Север», № 1, 1966.

Весной этого года в Вологде проживающий здесь писатель Василий Белов подарил мне только что вышедший номер журнала «Север», в котором напечатана его повесть «Привычное дело». Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что с некоторыми моими впечатлениями от Вологды, где я побывал трижды в течение последних полутора лет, связаны мысли о главном персонаже названной повести — Иване Африкановиче.

Вологда, как это представляется приезжему, по преимуществу город деревянный. Быть может, каменных зданий здесь и немало, особенно построенных в недавние годы, однако, если не считать кремлевского ансамбля, древних церквей и нескольких домов в стиле барокко и екатерининского классицизма, наиболее выразительны здания деревянные. Я имею в виду не одни только ампирные особняки, какие описаны в монографиях и путеводителях, но и так называемую рядовую застройку.

Прогуливаясь длинными вологодскими улицами, сколько мне помнится, сплошь в березах, я любовался искусством плотников,

которых, по уверению сотрудницы местного музея, здесь и сейчас еще именуют «розмыслами», как в XV и XVI веках называли на Руси инженеров.

Ни один дом не походил на другой, однако среди них различимы были отдельные группы, связанные известной общностью, что наводило на мысль о давно сложившейся культуре. Материал, в котором она сложилась, был коренным для России, и едва ли будет преувеличением сказать, что с топора, собственно, пошел здесь жить русский человек.

Мне вспоминались где-то прочитанные слова о человеке в зипуне, который, неустанно двигаясь с топором и сохой, расчищал место для истории от берегов Днепра до Северного океана — в сущности, с одним только топором, потому что и соху и борону, как почти все необходимое ему, от веретена до телеги, от ложки до ладьи, от колодезного сруба до двадцатиглавого собора, и смертную колоду, и крест над могилкой, он рубил, и резал, и мастерил из дерева с помощью одного топора.

Природа не была милостивой к человеку в зипуне.

Не то чтобы я прежде этого не испытывал в других местах России, но вышло так, что в первый мой приезд в Вологду стояли обжигающие морозы, во второй, на исходе лета, лили холодные дожди, а в третий, в середине апреля, тс выпал снег, то моросило, то принимался дуть леденящий ветер, и все время угрожающе высокой была вода в реке.

В эти-то дни я и читал повесть Василия Белова.

Я понимаю, конечно, что мое намерение связать Ивана Африкановича, о котором по преимуществу и говорится в повести, с историческим «человеком в зипуне» может показаться искусственным, чем-то даже в отношении этого последнего оскорбительным, если взять во внимание наивный, словно бы житиями святых сформированный взгляд на литературного героя. И все же едва ли только в силу особенной моей настроенности в ничем особым не примечательном мужике, изображенном писателем, я увидел не просто колоритную фигуру, но отмеченный чертами народности характер.

Писатель как будто и не задавался подобной целью.

Язык Ивана Африкановича, при всем том, что он по-крестьянски свеж и гибок, изобилует словами, взятыми из современного колхозного обихода, тогда как эпическому характеру, если верить иным повестям, свойственна величавая сказовость. И профессия у нашего героя не какая-нибудь кондовая, так сказать таежная, из тех, какие выбирают писателями для характеров, будто бы носящих в себе некие народные начала,— Иван Африканович всего только рядовой колхозник, делает, что велят.

К тому же и знакомимся мы с ним при обстоятельствах, для него не лестных. Вывалившись пьяный из сельпо, куда он еще утром привез посуду и где получил товар для деревенской лавки, Иван Африканович ищет морозной ночью своего Пармёнку, весь день простоявшего с возом у крыльца.

Причина, побудившая Ивана Африкановича выпить сверх законного «мерзавчика», каковой положен человеку, когда тот «до кишков на ветру промерз, а после проголодался до самых костей», весьма неосновательная, анекдотическая, что тоже не служит к его украшению. Иван Африканович поспорил на бутылку «белоглазой» со слу-

чившимся в сельпо однодеревенцем, трактористом Мишкой, выхлебает ли тот с хлебом вино из блюда. «Меня, Пармёша,— рассуждает он со своей лошадьё,— этот секрет разобрал».

Исполнены анекдотичности и все последующие события этой ночи.

Сперва, решив спяну, что Пармёнку сбился с пути, Иван Африканович поворачивает его на другую дорогу, в результате чего возвращается к тому же самому высокому крыльечку сельпо, от которого тронулся домой; затем, снова поворотив, нагоняет тракториста Мишку, оставшегося было погулять с девчатами, которых «у сельпа-то побольше, какая в пекарне, какая на почте»... Наконец, распив с Мишкой ту самую бутылку, которую он ему проиграл, герой наш решает вдруг сосватать своему приятелю сосновскую Ньюшку, благо до «Сосновки, небольшой деревеньки, что стояла на середине пути, оставалось полчаса езды».

Ночное сватовство кончилось конфузом.

Все это, казалось бы, аттестует Ивана Африкановича со стороны юмористической, однако, странное дело, вызывает он не столько омерзение, сколько доброе расположение и сочувственный интерес.

Он вовсе не пьянчужка и «отсталый элемент». Уже в одном только его разговоре с Пармёнкой угадывается не только добрый человек, любящий и понимающий животных, но и приметливый, имеющий обо всем суждение крестьянин.

Мир, в котором он живет, невелик — собственная деревня, Сосновка и еще некий административный центр с почтой, пекарней и сельпо. И не так уж богат событиями этот мир, не разнообразен впечатлениями.

Однако в силу кровной своей заинтересованности во всем, что совершается в деревенском его мире, Иван Африканович способен рассказать о нем многое, даже в пьяном разговоре с лошадьёю. О блюде, из которого Мишка хлелал крошенину, он сообщает, что взято оно у сторожихи, что оно большое, «малированное». Из его замечания о девчонках, которых «у сельпа-то побольше», которые все «толстопятые, хорошие, не то что у нас в деревне», можно сделать некий социально-экономический вывод. А как содержательны и вместе с тем поэтичны рассуждения Ивана Африкановича о достоинствах и условиях существования Пармёна и его матки Пуговки, которая «мала была да кругла», и когда он, «бывало, на ней за

сеном ездил зимой, на старые стожъя, дорога-то была вся через пень-колоду, дак она... как ящерка, с возом-то, где ползком, где скоком», не то что Пармён, который «и не пахивал и в извозе дальше сельпа не ежживал».

Ивану Африкановичу известны обстоятельства жизни не только сосновской Нюшки, его родственницы, — «грамот у нее дак все стены завешаны», — но и заозерской Верки, у которой «хозяйство и братанов много по городам», он помнит, как «зоотехника» пришла один раз на двор, а некто Куров сказал про нее: «Добра девка. только ноги дома оставила».

Однажды, еще затемно испилив порядочный костер еловых дров, Иван Африканович, когда обозначилась заря, взял топор, сумку рыбную и пошел к озеру. «Был сильный крепкий наст. Хоть на танке шпарь по волнистым белым полям, только бы звон пошел». Иван Африканович отметил, что вся речная впадина лесной опояски залита солнцем. У гуменной стены на снегу он увидел неподвижного воробья и положил его под фуфайку: «Сиди, енвалид. Отогревайся в даровом тепле». Не пропустил он ни еле заметной, зыбкой, будто дымок, зелени коры на осинах, ни крупных чистых заячьих горошин на чистом белом снегу, — «ничего нет такого в заячьих катышках, как и в коричневых стручках тетеревов, ничего отвратного».

Мерой увиденного можно измерить душевное богатство человека.

Я имею в виду и писателя, увидевшего Ивана Африкановича.

А его нужно было именно увидеть, в чем убеждаешься, читая повесть. Ничего особенного, выходящего из ряда с Иваном Африкановичем не случается, как и со множеством других так называемых рядовых колхозников. Иван Африканович воевал, вернулся живой, женился, работал в колхозе, жена чуть ли не каждый год рожала ему детей, один раз он незаконно накопил сена для своей коровы, в чем был изобличен, а затем наказан, сбежал было в город, но вскоре вернулся, снова работал, схоронил жену, как-то отправился в лес, заблудился и едва не пропал...

Что до того, что он чуть не погиб, то сельскохозяйственное производство и сама деревенская жизнь все еще зависят от стихийных сил природы, подвержены всякого рода случайностям, возникающим, когда

человек и его работа соотнесены с обширными пространствами, поросшими лесами, с озерами и болотами или, напротив, открытыми на все стороны.

Словом сказать, Иван Африканович — человек обыкновенный, и вследствие этого, мне думается, увидеть его способен писатель, отзывчивый на красоту обыкновенного, из которого по преимуществу состоит мир.

Да это и в традициях русской литературы.

Будучи традиционной, повесть Василия Белова представляется мне тем не менее открытием, потому что характера, подобного Ивану Африкановичу, в нашей литературе до сего дня не было, и, может быть, самое удивительное в этом пожиллом мужике — его любовь к жене, родившей девятых ребят, — «уйдет она в поле, на ферму ли, ему будто душу вынет».

Было бы безнравственным, разумеется, сочинять для немолодых уже крестьянина и крестьянки, которые трудно живут и много работают, этакую сентиментальную идиллию, и не в похвалу писателю, не сделавшему этого, а ради того, чтобы лишний раз напомнить, что поэтичность прозы в ее правдивости, я считаю необходимым сказать, как естественно, в житейских ее проявлениях изображена эта трогательная любовь.

В самом начале нашего знакомства с Иваном Африкановичем, когда он незримо выпивший, рассуждает с Пармёнкой, попадет ли «им» от бабы, мы узнаем, что ей, бабе-то, надо скидку делать: «Ведь у ее робетишек-то сколько? А у ее их, этих клиентов-то, ей тоже не мед, бабе-то, ведь их восемь... Али девять?» И здесь же, заметив, что «баба она, конечно, баба и есть», он принимается хвастать, что у него лично «баба не такая», она и «отряховку даст кому хошь», а ему — «ни-ни, с пьяным».

По дороге в больницу, казня себя за то, что он, «дураково поле», напился вчера, ночевал в бане, а в это время Катерину чужие люди увезли родить, Иван Африканович испытывает к жене «сладкую жалость» — «шесть годов ломит на ферме», — вспоминает, какая она была, когда он провожал ее с гулянок, с нежностью думает: «Она и сейчас еще ничего, а ежели принарядится да стопочку выпьет... Только когда ей наряжаться-то?»

В больнице, ожидая, пока Катерина родит, он не спал две ночи и ничего почти не ел, на третий день его сморило, и когда фельдшерница, искавшая его повсюду, чтобы сообщить, что у Катерины родился сын, открыла кладовку, куда уборщица складывала дрова, он спал на поленьях. «Он постеснялся даже подложить под голову старей больничный тулуп».

Катерине он не посмел признаться, что уже давно из дому.

«Непошто и пришел»,— сурово встретила мужа Катерина, когда же он спросил: «Где парень-то? Опять, наверно, весь в вашу породу», она, «словно стыдясь своей же улыбки, застенчиво сказала: «Опять».

Можно предположить, что Василий Белов знает жизнь Ивана Африкановича и Катерины, как свою собственную, потому что он родился, вырос и сейчас подолгу живет в вологодской деревне. Однако то, например, что из повседневных бытовых подробностей складывается картина «горячей» их любви, как определил ее сам Иван Африканович, объясняется не просто знанием, но и способностью писателя сочувствовать, сострадать.

Иван Африканович, возвращаясь домой из неудачной своей поездки в город, случайно узнал, что в его деревне чья-то баба умерла. Он пошел было своим путем, остановился. «И вдруг затрясся, замотал головой, побежал, снова остановился. Потом ноги у него подкосились, он хрястнулся на дорогу, зажал руками голову, перекатился в придорожную траву».

Я вспомнил, читая это, как в письме к Полине Виардо изобразил крестьянское горе Тургенев. Однажды ему случилось проходить по полю, только что выбитым ужаснейшим градом. Он подошел к сидевшей здесь семье, собравшейся было жать, и захотел утешить ее. «Но при первом моем слове,— писал Тургенев,— мужик медленно повалился ничком и обеими руками натянул свою рубаху из грубого небеленого холста на голову».

Письмо это я читал давно, и оно запомнилось мне не только изображением сраженного несчастьем крестьянина, но еще и тем, как Тургенев сказал о нем: «Это было последним движением умирающего Сократа».

Правда, когда я прочитал, как Иван Африканович, зажав руками голову, перекатился в придорожную траву, мне пришло

на память само зрелище повалившегося ничком мужика, натягивающего на голову рубаху, но затем я вспомнил слова о Сократе, и они навели меня на мысль, что Тургенев писал о крестьянине как о человеке по преимуществу.

Крестьянин был для него не «меньшим братом», не «богоносцем», не средоточием темных инстинктов, а прежде всего человеком — любящим, страдающим, чувствующим природу, размышляющим о своем хозяйстве...

Я упоминаю здесь об этом, чтобы объяснить, каким путем пришел к мысли, что Василия Белова интересует не то, что Иван Африканович — рядовой колхозник, Катерина — доярка, а Мишка — тракторист, но то, что они — люди, и не разрешением тех или иных проблем озабочен он, а просто рассказывает о жизни одной крестьянской семьи.

Между тем именно потому, что Иван Африканович изображен во всей своей человеческой сути, становится очевидным, что все его достоинства коренятся в том занятии, которое он унаследовал от предков,— в крестьянском труде, в образе жизни, этим трудом обусловленном.

«Он с детства был раноставом,— сообщает о нем автор.— Бывало, еще покойник дед говаривал голоштанному внуку: встанешь раньше, шагнешь дальше». Но ведь черта эта по преимуществу крестьянская, воспитанная суровой необходимостью в течение того короткого у нас времени, какое отпущено на полевые работы, вставать и ложиться с солнцем.

И удивительная его выносливость, когда он целый день косит в поле — для колхоза, а потом ночью в лесу — для своей коровы, развита в нем той же зависимостью земледельческого труда от природных условий.

Он и добросовестен, я бы сказал, как крестьянин, которого земля учит, что если плохо с ней обойдешься, так останешься без хлеба. «У Ивана Африкановича болела душа при виде пыльного, поросшего молочником поля, вспаханные места были не намного черней неспаханых». И он едва не избил Мишку, с которым пахал, когда тот в ответ на его требование остановить трактор, потому что при повороте вышибло вверх прицеп и плуги царапали землю, скорчив шутовскую рожу, сказал: «Три к носу...»

Даже в том, как Иван Африканович, получив справку, что колхоз отпускает его в город — со скандалом, угрожая схваченной в бешенстве кочергой, — понуро пошел прочь, испытывая жалость к председателю, мне видится совестливый, рассудительный крестьянин, самой жизнью приученный уважать законность и порядок, отсутствие которых всегда было губительно для его хозяйства, сознающий, что не дело это — бросать землю.

Во всяком случае Иван Африканович принадлежит к числу тех людей, какие, по пословице, где родились, там и сгодились, и стоило лишь ему, взяв два мешка луку, чтобы оправдать дорогу, пуститься в поиски удачи, как он растерялся, стал неловким, смешным, тогда как у себя дома он и умен, и умел, и не смешон даже в анекдотических обстоятельствах.

Здесь-то и возникает проблема, на мой взгляд, первостепенная.

К несчастью Ивана Африкановича, дома, то есть в колхозе, откуда уезжать ему — будто потерять в жизни самое нужное, без чего жить нельзя, — дома, как он вынужден признаться, ему «не греет». Когда задается вопросом, отчего это происходит, почему Иван Африканович не может накопить для себя сена, хотя трава все равно пропадает некошенная, почему он, имея в виду свои недостатки, говорит о себе с горечью: «А ты, Иван Африканович, что? Да ничего», — хотя он и пахарь, и на лошади

постоянный работник, — когда размышляешь об этом, то приходишь к мысли, что причина не только в тех ошибках, какие имели место в руководстве сельским хозяйством, но еще и в том, что Иван Африканович не хозяин у себя в колхозе, как это бы должно быть по самой природе коллективного хозяйства.

Подумав об этом, я подумал и о том, что при нынешних благоприятных для сельского хозяйства условиях, созданных последними партийными решениями, руководителям колхозов остается отнестись к Ивану Африкановичу с тем же интересом и уважением, с какими отнесся к нему писатель.

А что до Ивана Африкановича, то земля для него — привычное дело.

К такому вот чисто деловому, практическому выводу приходишь по прочтении повести Белова, хотя автор, разумеется, столь узкой цели не преследовал. Вся суть в том, что подлинно талантливое, истинно реалистическое произведение, помимо мыслей и чувств, постоянно волнующих людей, вызывает еще и такие, которые связаны с задачами, стоящими перед обществом сегодня.

Это тоже в русских традициях.

И если свести достоинства повести к одному краткому определению, то следует сказать о ней, что это хорошая русская литература.

Ефим ДОРОШ.



## «ОРАНЖАД» ЕЩЕ ПРИПЛЫВЕТ!

Г. М а ш к и н. Синее море, белый пароход. Повесть. «Детская литература». М. 1966. 128 стр.

Корабль, именующийся столь роскошно и одним уже своим названием готовый утолить самую жаркую мечту, не раз заплывает на страницы повести Геннадия Машкина, которая озаглавлена тоже поэтично и мечтательно: «Синее море, белый пароход». Повесть эта, напечатанная первоначально в журнале «Юность», привлекла читательское внимание своей темой и темпераментно-концентрированным изображением, свежестью деталей. Она была удостоена второй премии на конкурсе лучших детских книг.

Да, есть в повести и море и пароходы...

Но синие просторы с плывущим по ласковым волнам белым пароходом — это лишь как бы внутренний, затаенный эпиграф повести, взятый из песенки, распеваемой ребятами:

Синее море,  
Белый пароход.  
Сядем — уедем  
На Дальний Восток...

И лазурная мечта эта не вносит ни малейшей нотки сентиментальности в повесть, где рассказывается о делах совсем не «голубых», очень не легких, о людских отно-

шениях, опаленных недавней войной, войной, на которую так и не успели попасть мальчишки из Хабаровска. А ведь они хотели отомстить самураям и за дедушку, сожженного японскими интервентами в двадцатом году, и за отца Лесика, погибшего на озере Хасан, и за многое другое, совсем еще свежее по времени. Этот горький счет, который завели себе тайно от всех хабаровские мальчишки, остается незачеркнутым.

Гер — Герасиму, главному герою повести, от имени которого и ведется рассказ, повезло: его отец решает вместе с семьей переселиться на Южный Сахалин. И Гера заверяет своих приятелей — Борьку, Скулопендру, Лесика, — что он отправляется на Южный Сахалин как их десантный разведчик, который потом вызовет туда своих друзей и вместе с ними отомстит японцам. Недаром он везет с собой тайно целый арсенал: рогатку, крупнокалиберный патрон, самодельную ракету и набор тщательно заученных японских фраз.

Разный, очень пестрый народ прибывает заселять землю, которая стала снова частью русской, советской земли. Тут и немногословный, полный внутренней и справедливой силы усатый Семен, едва сам не погибший когда-то от рук японских самураев, — один из организаторов новой жизни на Южном Сахалине. Тут и Рыбин, хапуга, торгаш и спекулянт. Да и родная семья Геры далеко не однородна, и не все в ней гладко. Мать, натерпевшаяся нужды во время войны, вообще против переселения, страшится его и заранее настроена настроенно к новым местам и людям. Добрая бабушка как будто больше всего верит в силу икон и колдовских наговоров, исцеляющих человека от недугов, но, видимо, бессильных против туберкулеза, который точит брата Геры, маленького Юрика... Отец, в прошлом амурский рыбак, повидавший много горького и страшного на войне, теперь чуть что — тянется к водке, чтобы залить свои житейские обиды. Это честный, но огрубевший человек, не желающий стать «куркулем», внутренне презирающий все то домашнее добро, что жена в его отсутствие выменяла на табак для торговли, мечтающий «морем дышать, а не навозом!».

Океанские волны и морская болезнь во время плавания с материка на Сахалин несколько расшатывают воинственные стрем-

ления Геры. И чтобы укрепить свой дух, подбодрить и развлечь ослабевшего Юрика, мечтатель Гера продолжает сочинять начатую еще дома историю о сказочном белом пароходе «Оранжад».

«Я наплел ему, что этот пароход заплывает в Японское море. На нем живут загорелые ребята. Пароход такой огромный, что на нем цветут сады и плещутся озера с золотыми рыбками. Ребята бегают в садах, плавают в озерах и едят галеты с компотом». Но вскоре Гера убеждается, «что человеку, конечно, трудно устроить жизнь, как на белом пароходе».

Сложными, часто путаными ходами, совсем не похожими на ту схему, что придумал себе Гера вместе со своими приятелями, идет жизнь на Южном Сахалине, в возвращенной родине. Недоверие, глухая враждебность еще разделяют русских и японцев. Порой неприглядно ведут себя новоприбывшие по отношению к местным жителям, которые еще не эвакуировались в Японию. И отец Геры, работающий и, в общем-то, добродушный человек, тоже действует сперва как беззащитный завоеватель, готовый использовать все привилегии своего нового положения. И хоть брезгует он нечистоплотными делами, но, подобно Рыбину, все же готов спекулировать привезенным с материка табаком.

Но бабушка Геры, мудрая в своем большом жизненном опыте, женщина беспредельно широкого сердца, не желает считаться с оставшимся в наследство от войны разделением людей на своих и чужих, на победителей и побежденных. Спокойно, без лишних слов делает она свое дело. То табачок предложит даром японцам, не желая и слышать о деньгах или какой-нибудь мене, то тихо посидит и побеседует со старым соседом по дому, папой Ге, японским врачом, потерявшим в Хиросиме жену и дочку...

Да и сам наш герой чувствует, что в нем как-то угасает пыл мстителя. Сперва он готов был поколотить каждого встречного японского мальчишку. А потом сам же спас едва не утонувшую при нелепой стычке японскую девочку Сумико. Образ Сумико, полный нежного обаяния, постепенно становится в центре повествования, занимая все больше и больше места в сердце и воображении Геры.

Еще немало трудного и тяжелого вынужден видеть вокруг себя Гера. Нет, все идет

совсем не так, как на борту воображаемого белого парохода. Мир взрослых, который только еще начинает возвращаться в русло нормального существования, мир, понесший невосполнимые потери, еще точимый горчайшими обидами, окружает детей. Да и сами они еще во власти тех чувств и настроений, которые совсем недавно были нормой взаимоотношений между воевавшими народами. И брат Сумико, настороженный очкастый Ивао, за руку которого во время приключения на море пришлось-таки ухватиться Гере, как за руку товарища, еще не освобожден от мрачной самурайской романтики, и родные, вроде дядюшки Кимуры, прочат его в солдаты божественного Микадо.

Но люди рождаются не для того, чтобы враждовать между собой и уничтожать друг друга. Война противоестественна. Она чужда всему человеческому. И дети, в которых все органично, все непосредственно — и ненависть и любовь, — не в силах уже противостоять голосу дружбы и оставаться в состоянии взаимной вражды.

Об этом и рассказывается в повести Геннадия Машкина, рассказывается умно, честно, сердечно, но без налета какого бы то ни было всепрощающего благодушия. События, о которых говорится в повести, кажутся трудно одолжимых, а порой и трагических обстоятельств в жизни прежнего населения острова и тех, кто по праву обосновывается ныне здесь. Нежная дружба с Сумико, распознание глубоко человеческих черт жизни тех, кто вчера был нашим врагом, производят ошеломляющий переворот в душе и сознании Геры. И в какие-то моменты, когда, например, пьяный отец разбивает банку с золотой рыбкой, подаренной Сумико больному Юрику, в Гере возникает неприязнь к отцу... А после пожара в доме спекулянта Рыбина снова вспыхивает в мальчике чувство недоверия к японским соседям. Вместе с Рыбиным он готов думать, что дом поджег дядя Сумико — Кимура.

Оказавшись во власти этого подозрения, Гера помогает организовать поиск укрывшегося на островке Кимуры и его семьи. Все это в конце концов приводит к гибели доброго и дельного Семена, который раньше, говоря о японских ребятах, предсказывал Гере: «Еще так скоретишься с ними — водой не разольешь».

Оружие, которое когда-то припас Гера

для мести самураям, не пришлось использовать по назначению. Патрон выбросил еще из вагона отец. Рогатку, из которой Гера убил, к огорчению японцев, их цаплю, отнял и выкинул Семен. А ракету Гера пустил, чтобы дать сигнал тонувшим японцам.

И постепенно зревший где-то в глубине мальчишеского сознания протест против всего, что грязнит и поганит жизнь, сеет рознь, низводит порой и честных, хороших людей до уровня жадных ловчил, — протест этот в конце концов приводит к взрыву: Гера вытаптывает, яростно уничтожает табачные «плантации», разведенные возле жилья родителями и Рыбиным. А когда рассвирелевший Рыбин норовит расправиться с мальчишкой, на помощь ему бросается очкастый «самурайчик» Ивао и впивается зубами в руку спекулянту-табаководу. И тут уж и мать Геры, и отец, и бабушка, взявшая на всякий случай кочергу, чтобы защитить внука, — все оказываются союзниками, людьми, похожими на тех, что ходят по палубе белого парохода.

Но приплывает совсем другой пароход. И приходится расстаться с Сумико, Ивао, с папой Ге. Уплывает и дядя Кимура, который, хотя и «не перестает улыбаться», однако твердит: «Запад есть Запад, Восток есть Восток... И вместе им никогда не быть!..» Но все равно это уже не убивает в Гере укоренившегося отныне убеждения, что «надо стараться делать так, чтобы чувствовать, будто мы все плывем на одном пароходе, белом пароходе «Оранжид». И верится, он еще приплывет к нашим берегам этот белый корабль. И тогда все должны быть вместе: и Гера, и Сумико, и Ивао, и Юрий, и Борька, и Скулопендра, и Лесик!..»

«Синее море, белый пароход» — первое произведение Геннадия Машкина, бывшего до того иркутским геологом. Лучшие страницы повести запоминаются удивительной зримостью изображения. Маленький герой книги любит рисовать, и это в свою очередь как бы помогает автору передать едва уловимые краски и оттенки. У Машкина много ярких, хорошо схваченных глазом, порой хранимых, по-видимому, с детства в памяти живописных деталей. Искусно подобраны и добротны скреплены автором и подробности, так сказать, сюжетного характера. Например, Гера, расставаясь со своими хабаровскими приятелями, организующими оркестр, говорит сурово, что он на Сахалин



не за флейтами едет. А в конце повести он решает послать товарищам для их оркестра японскую свирель, вымененную отцом на табак. Это не пресловутое, обязательно стреляющее в последнем акте ружье, висевшее в начале на стене, которое у иных авторов может палить, и назойливо. Нет, у Машкина эти многочисленные, обыгрываемые в разных аспектах подробности служат словно бы рифмами, связывая отдельные эпизоды, передавая движение сюжета, разрешая иной раз важные его коллизии.

Правда, может быть, не следовало бы так усиленно подготавливать читателя к эпизоду с пожаром, заставляя не один раз действующих лиц говорить о возможности поджога. Не очень достоверными и точно услышанными показались мне рифмованные речения маленького Юрки: они слишком взрослые по построению и фразеологии для такого малыша.

Несколько искусственно подогревается у читателя интерес к Рыбину, о котором Гера несколько раз говорит, что где-то видел его раньше. А потом выясняется, что видели-то Рыбина всего-навсего на базаре, в Хабаровске, где он, как ему и пристало, торговал японскими мелками. К чему же тут его мнимая загадочность?

Стоит сказать также, что, при всей ответственности и живости ситуации, повести не

хватает где-то общего фона той жизни, которая в целом утверждается на Южном Сахалине. Люди переезжают сюда каждый со своим, хорошим или плохим. Об этом говорится в повести сильно и правдиво. Но не всегда остается ясным, что принципиально нового принесли с собой советские люди в жизнь острова. Тут автор как бы убоился оказаться слишком «политичным». Впрочем, при работе для отдельного издания Геннадий Машкин нашел интересные и верные черточки, передающие то новое, что принесла советская власть на Южный Сахалин и что, конечно, не могло пройти и мимо внимания маленьких его жителей.

Повесть Геннадия Машкина будут читать — и уже с увлечением читают — большие и маленькие. Герой повести Гера со всеми его хорошими чертами и ошибками, честными, смелыми поступками и наивными просчетами, мечтами и сомнениями будет, несомненно, импонировать нашим юным читателям. В повести чувствуется следование традициям Гайдара и Катаева, Пантелеева и Житкова. И в то же время она самостоятельна и вносит в детскую литературу нечто новое, свое. Хочется надеяться, что флаг «Оранжеда» еще не раз будет развеиваться над новыми книжками, держащими курс к детям!

Лев КАССИЛЬ.



## ПРОФИЛЬ КРИТИКА

**М. Иофьев.** Профили искусства. Литература, театр, живопись, эстрада, кино. «Искусство». М. 1965. 322 стр.

Жизнь М. Иофьева оборвалась внезапно, в авиационной катастрофе, когда ему было тридцать четыре года. Некоторое время продолжали выходить его старые статьи, затем и имя его исчезло со страниц печати. Оценить написанное им по статьям и рецензиям, разбросанным в самых различных журналах, не представлялось возможным. Теперь его работы разных лет собраны воедино (составители сборника — В. Гаевский и Б. Зингерман). И хотя можно упрекнуть составителей в некоторых просчетах (мы не увидим, к примеру, в сборнике развернутых рецензий на книги К. Чуковского, П. Нилина, Ю. Нагибина, в то время как для неглубокой заметки «На-

ша Барият» место нашлось), «Профили искусства» дают верное и достаточно полное представление о том, что успел сделать М. Иофьев за свою сравнительно короткую творческую жизнь.

М. Иофьев писал много, и круг его тем был чрезвычайно широк (живопись Ватто и проза Бунина, танцевальное искусство Деиде и стихи Расула Гамзатова), однако каждая статья несла на себе отпечаток его индивидуальности, его характера, его личности. Писать о критических работах М. Иофьева — значит писать о нем как о человеке.

Ученик А. М. Эфроса и А. К. Дживелегова, он глубоко воспринял идею о непрерыв-

ности культурной традиции. Отсюда — тот богатый фон, на котором он анализирует творчество любого художника, будь то драматический актер, танцовщица или писатель.

Статьи Иофьева могут показаться перенасыщенными специальными (балетными или театральными) терминами. Критик и сам сознавал, что обращается к сравнительно узкой аудитории. Но разве возможно было бы, скажем, писать о французской балетной труппе «Гранд-Опера», не прибегая к профессиональному языку? Нет, этого требовал сам предмет — в данном случае классический танец с его устойчивой и как бы неподвластной времени системой приемов, с его столетиями разрабатывавшейся техникой.

В тех случаях, когда от частного — например, от разбора хореографического замысла и воплощения его солистами и кордебалетом — критик шел к выявлению общих закономерностей, на помощь приходили широкие сопоставления. Так, характеризуя выступления в Москве балета «Гранд-Опера», М. Иофьев отмечал чеканное изящество, графичность, одухотворенный рационализм стиля. «Здесь уже проявилась не только хореографическая, но и более широкая традиция — от Расина до Франса, от Пуссена до Дега, в балетной музыке — от Люлли до Де-либа».

Следя за Константиной Роек (Ларисой Огудаловой в пьесе Островского «Бесприданница»), критик отмечает кульминацию роли, когда Ларису просят спеть. Но что поет Огудалова-Роек?

«Не искушай», — просила Лариса Островского.

«Нет, не любил он», — утверждала Лариса Комиссаржевской.

«Он не придет», — вздыхала Лариса Бабановой.

«Что это жизнь?» — спрашивала Лариса-Роек».

Отдельное явление (тема рецензии) тем самым возвращается в историко-эстетический контекст, подготавливается вывод: «В авторе «Бесприданницы» Роек полюбила прежде всего романтика и мудреца».

Статьи М. Иофьева никогда не вызывали шумных споров, но и не проходили незамеченными. Для того, чтобы породить толки и широкие отклики, их автору был необходим гражданский, общественный темперамент. Однако в его критических откликах мы не найдем прямого, непосредственного со-

отнесения материала исследования со временем. Как будто разговор ведется об искусстве, и только о нем.

В предисловии к сборнику Б. Зингерман точно отметил, что М. Иофьев не обладал ни даром проникновенного лирика, ни способностями темпераментного публициста. И в том и в другом сам он (с понятной нам категорической несправедливостью) видел лишь проявление неделового или дилетантского подхода к искусству. Когда один критик опубликовал несколько статей с лирическими, преувеличенно «художественными» зачинами, М. Иофьев сказал ему при встрече:

— Послушайте, переходите уж на прозу! Так по крайней мере будет честнее...

Как всегда бывает, наши недостатки и достоинства происходят из одного корня. В его собственном выборе критического профиля сказалась и его узость, и его сила. В конечном счете связи со временем возникали только опосредствованно, через явления искусства и заключенный в них смысл. «Мечта о человеке» — так названа одна из лучших статей книги, но этот заголовок можно было бы вынести на обложку сборника.

На первый взгляд тема статьи опять специальная, узкая: Бабанова в роли Раневской (чеховский «Вишневый сад» в театре имени Маяковского). Но искусство любимой актрисы позволяет М. Иофьеву, во-первых, тактично, тонко произвести переоценку сложившейся литературной трактовки, а во-вторых, высказать свои затаенные мысли о призвании человека и его праве на счастье.

У статьи есть свой сюжет, пульсирующий и живой (здесь М. Иофьев стремился учиться у К. Чуковского-критика). Автор вспоминает поначалу, какую оценку вызвал образ Раневской вчера и сегодня (для Короленко она — «дворянская клушка»; по Горькому — «слезоточивая», «дряблая», «паразит»; для Н. Эфроса — «беззаботная и наивная «душечка»). «Окончательно развенчал Раневскую В. Ермилов. В его подробном и безжалостном анализе раскрыты «коварные обстоятельства», сближающие Раневскую с Яшей, Шарлоттой, Симеоновым-Пищиком. Мотивы поведения Раневской — неискренни, ее поступки — неблагоприятны. Ее трагедия — только пародия. Этот отзыв приобрел силу и вес. Казалось, спорить можно теперь лишь об оттенках, о де-

талях. Существо характера уже установлено, фантазии постановщика начертан путь, своеобразно исполнительницы указаны границы». Ясно, что сам М. Иофьев не согласен с такой оценкой. Но как поведет он спор? Иной критик весь свой запал тут же употребил бы на полемику с преувеличениями Ермилова — Иофьев о них забывает. Информировав читателя, он переходит к предмету своей статьи — собственно искусству.

Талант Бабановой открыл ему «новые, неожиданные грани чеховской мудрости». Конечно, это Чехов дал актрисе возможности, мимо которых легко было пройти и которыми Бабанова воспользовалась. Ее Раневская обретает право на трагедию — это трагедия человека, потерявшего жизненную цель. Роль, обновленная Бабановой, представляет в ином свете всю пьесу: «Вишневый сад» так и не стал вовлечен. Раздумья о прошлом и будущем России вывели пьесу из бытового круга, озарили поэтической значительностью ее характеры и уничтожили беззаботный смех». Poleмика с оценками, приведенными в начале статьи, развивается, но как бы помимо критика, одной лишь логикой разбора спектакля.

И вот новый поворот сюжета. Раневская — в ряду других ролей Бабановой, неизменно мечтающей о человеке окрыленном и счастливом. Не потому ли М. Иофьев так и любил дарование Бабановой, что находил в ее образах созвучное и близкое себе? То духовное обогащение в борьбе человека за его свободу и цельность, которое видит М. Иофьев в ряде ее ролей (например, в арбузовской Тане), было главным и в его собственной биографии. Как-то само собой подразумевалось, что писал он только о близком себе, отвергая самую мысль о возможности приспособленчества, ремесленного выполнения «заказа». Его жизненная «теория» и «практика» не приходили в противоречие. И мечта о гармоничной личности жила во всех его работах, начиная со студенческого, но глубокого исследования «маленьких трагедий» Пушкина, написанного еще в 1950 году и напечатанного теперь впервые.

В лаконичном комментарии к сборнику мы часто встретим это многозначительное: «Публикуется впервые». Как правило, это те статьи М. Иофьева, которые принадлежат к лучшим его работам. Таковы портреты Таирова и Вертинского, балерин Чороховой и Нинель Петровой, заметки об

искусстве Клавдии Шульженко и Констанции Роек, обширная работа, посвященная поздней новелле Бунина, и полемическая статья по поводу пьесы Володина «Пять вечеров» (последнее, что написал М. Иофьев)

Иофьев не разграничивал «высоких» и «низких» жанров. Он одинаково бережно относился ко всему, что его трогало, что вызывало эмоциональный отклик: к словесной магии Бунина и к искусству эстрадного шансонье Вертинского, к судьбе володинских «фабричных девчонок» и к «высоким стремлениям» Петровой — Марии в балете «Бахчисарайский фонтан». Всякий раз сугубо внутренняя (не профессиональная даже, а чисто человеческая) заинтересованность заставляла его обращаться к той или иной теме.

«Существуют привязанности, которых мы себе не прощаем. Такой любовью окружено творчество Вертинского», — уже в первых строчках этого небольшого очерка вы чувствуете, что строгий рецензент и поклонник совмещены. В результате создается необычный сплав восхищения и критики; волнение не проходит, но оно не мешает холодному анализу: «Если бы Вертинский рассказывал незаинтересованно или разоблачая, он был бы скучен — слишком незначительные его герои. Рассказывать о них со слезами было бы смешно. Но у Вертинского лирика пересекается иронией, причем и то и другое свидетельствует об отношении автора к самому себе. Песни его, о чем бы он ни пел, есть личные признания; сделанные в такой необычной манере, они не могут не увлекать. Пародии обезврежены заранее: Вертинский готов отнести к себе с той насмешкой, какую заслуживает, но, поверив в иронию, мы тем сильнее поверим в драматизм его положения».

М. Иофьев отмечает, что песенки Вертинского — всегда маленькие новеллы, преимущественно о любви. Не так ли и «Три вальса» в исполнении Клавдии Шульженко — «долгая повесть, рассказанная в несколько минут»? Искусство сжимает биографию эмоций, биографию чувства. Это его качество с особой силой сказалось в поздней прозе Бунина, которой М. Иофьев посвятил развернутую статью, целое исследование. Он рассматривает главным образом бунинские рассказы из сборника «Темные аллеи» с их любовной темой, звучащей на всех регистрах — от одических песнопений во славу строгой любви до юморесок и анекдотцев.

Почему рассказы, написанные далеко от России, да и по времени действия относящиеся к «давно прошедшему», трогают и волнуют нас? Этот вопрос принуждает М. Иофьева провести скрупулезное — социальное и эстетическое — исследование бунинской новеллистики. Трагедия старого писателя, обусловившая узость его пореволюционной тематики, одновременно бросила особый ответ на лучшие его произведения поздней поры. «Рассказы, помеченные 30-ми и 40-ми годами,— пишет Иофьев,— в то время как действие их относится чуть ли не к началу века, все же кажутся не мемуарными, а современными. Разумеется, это современность, открытая восприятию Бунина; едва ли необходимо оговаривать его статичность и ограниченность. И все же именно она придает живую патетику новеллам, продиктованным как будто далекими воспоминаниями». И в другом месте, о философской новелле: «За библейской мудростью легко угадывается непосредственность личного горя».

В бунинских рассказах о любви исследо-

ватель вскрывает мотивы борьбы, тяжбы с природой и вечностью в требовании идеального чувства, презрительное отвержение героями пошлой буржуазной «современности». Хочется особо выделить мастерский разбор «Чистого понедельника».

Дарование критика определило его стиль. Это не плавный и широкий, одухотворенный внутренними, еще не отстоявшимися волнениями слог. Нарочитая, деловая суховатость. Короткая фраза, абзац, рассеченный паузами и точками. «Ощущением грозы герои Бунина полны, так сказать, в любую погоду», «Простодушие мешало Таирову быть непогрешимым» («Памяти Таирова») и т. д.— эти и другие броские характеристики шли не от словесного щегольства, не оттого, что перо «вело» за собой критика. Эмоции, отданные жизни, пропущенные через нее, вернулись, отстоявшись в афористических формулировках.

Книга «Профили искусства» заслуживает внимательного чтения.

**О. МИХАЙЛОВ.**

★

### Политика и наука

## ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

**П. Г. Матушкин. Урало-Кузбасс. Борьба Коммунистической партии за создание второй угольно-металлургической базы СССР. Южно-Уральское книжное издательство. Челябинск. 1966. 424 стр.**

**В** истории нашего экономического строительства урало-кузнецкая проблема занимает особое место. В свое время она привлекала самое пристальное внимание экономистов и политических деятелей США, Англии, Франции, Германии и других стран. Они рассуждали так: удастся Советскому Союзу решить эту проблему, сможет он вовлечь в хозяйственный оборот природные богатства восточных районов страны — и тогда он встанет в ряд наиболее могущественных индустриально развитых государств и выдвинутая В. И. Лениным задача догнать и перегнать перестанет быть «химерой», превратится в реальность и капиталистическому миру придется с этим считаться. А не удастся это — Россия останется зависимой от развитых капитали-

стических стран, и они смогут навязывать ей свою волю.

Урало-кузнецкая проблема стала, таким образом, оселком, на котором проверялась вся наша экономическая система, впервые опробовалось «оружие нашего планового социалистического строительства в масштабе, соответствующем его мировому значению...» (Г. М. Кржижановский).

Методы и приемы решения урало-кузнецкой проблемы, невиданно смелый подход к размещению производительных сил и сегодня поучительны при решении очередных задач коммунистического строительства. Между тем история урало-кузнецкой проблемы оказалась опутанной всякого рода домыслами и легендами, часто не имевшими ничего общего с истиной. И очень отраднo,

что книга П. Г. Матушкина не только рассеивает этот туман, но и разоблачает широко распространенное за рубежом, а в известной мере и у нас убеждение, что в решении этой задачи существенную роль играла иностранная помощь.

Автор проделал огромную работу. Он извлек из архивов много до сих пор не опубликованных документов, сумел сопоставить их и подвергнуть анализу. П. Г. Матушкин напоминает, что многие передовые люди нашей страны (в том числе Радищев и Герцен) связывали будущий экономический прогресс России с использованием природных ресурсов Сибири, что первые заметки практического подхода к делу выдвинул Д. И. Менделеев, который решительно высказался за использование на Урале привозного кузнецкого или экибастузского (казахстанского) угля. «Страстный призыв Менделеева: «Надо будить Урал», — пишет автор, — остался в царской России без ответа».

Впрочем, это несколько неточно, ответ был: тогдашний руководитель горного департамента К. И. Богданович в изданной им в 1911 году книге «Железные руды России» писал: «Среди не только широкой публики, но и лиц, заинтересованных в горной промышленности, распространено мнение о неисчерпаемости минеральных богатств, в частности железных руд, России. Такое мнение, неоднократно и энергично выраженное таким блестящим представителем науки, как Менделеев, основано на цифре возможного запаса железных руд, определенного Менделеевым. Сделанный мной подсчет действительного и вероятного запаса для всего Урала на основании действительных разведок... почти в 9 раз меньше».

Трудно сказать, чего больше в этом утверждении — лицемерия или невежества. В то время Россия в геологическом отношении являлась почти белым пятном. Нет смысла приводить здесь цифровые данные, показывающие, насколько далек был Богданович от знания подлинного положения вещей. И хотя он столь решительно опроверг утверждения Д. И. Менделеева об огромных залежах железной руды на Урале, — проблема комбинирования природных богатств Сибири и Урала все же привлекала к себе внимание. Бывший до тех пор личной собственностью царской фамилии Кузнецкий бассейн в 1912 году был отдан в

концессию и через подставных лиц стал достоянием иностранного капитала. Созданное для его эксплуатации акционерное общество кузнецких каменноугольных бассейнов (Копикуз) декларировало широкие планы, в которые входила и переработка угля на кокс для снабжения им металлургии Урала, и основание металлургии в Сибири. Однако этим планам не дано было сбыться.

Летом 1917 года Временное правительство России, в котором, как известно, широко был представлен так называемый промышленный мир, прибегло к американской экспертизе: стоит ли заниматься этим делом, насколько оно перспективно? Ответ был отрицательный. Американцы пришли к выводу, что комплексное использование уральских железных руд и кузнецкого угля экономически не оправдано. И на правительственном совещании в июне 1917 года заявлено было, что ни о каком строительстве железной дороги к горе Магнитной не может быть и речи.

А в августе начались переговоры с группой японских капиталистов о продаже им горы Магнитной за двадцать пять миллионов рублей.

На этом и заканчивается краткая, но поучительная дооктябрьская история Урало-Кузбасса.

Идея комплексного использования природных ресурсов и наиболее рационального размещения производительных сил проистекала из самой сущности нового строя. Автор напоминает о заседании Совнаркома РСФСР 12 апреля 1918 года, происходившем под председательством В. И. Ленина. На заседании рассматривалось предложение Академии наук об учете естественных богатств России. И тогда же стал вопрос о комбинировании богатств Урала и Сибири.

«Из воспоминаний П. И. Воеводина, беседовавшего в мае 1918 года с Лениным, — пишет П. Матушкин, — видно, что Владимира Ильича в это время очень интересовали вопросы, связанные с Урало-Кузнецкой проблемой. В разговоре с Воеводиным, работавшим тогда председателем областного Совета народного хозяйства Западной Сибири, Ленин стремился получить исчерпывающую информацию о положении в Кузнецком бассейне. «Мне стало ясно, — писал Воеводин, — что о Сибири, ее политическом и хозяйственном положении, осведомлен он был прекрасно».

Незадолго до этой беседы горно-металлургический отдел ВСНХ объявил конкурс на проект создания единой хозяйственной организации, охватывающей области горно-металлургической промышленности Урала и Кузнецкого каменноугольного бассейна.

Вопрос об Урало-Кузбассе обсуждался и на состоявшемся в конце мая — начале июня 1918 года Первом Всероссийском съезде Советов Народного Хозяйства, в работе которого В. И. Ленин принимал участие.

Ленинская постановка вопроса об Урало-Кузбассе вызвала на съезде нападки троцкистов и «левых коммунистов». Однако верх взяли сторонники Ленина. Съезд решил «создать прочную металлургическую базу на Урале путем организационно-технического объединения промышленной жизни Урала и Западной Сибири».

Была создана урало-кузнецкая комиссия, в работе которой принимали участие виднейшие ученые. Разрабатывались варианты транспортных решений. Ленин следил за ходом финансирования этих работ. В разработку урало-кузнецкой проблемы вовлекались сибирские организации, профессора Томского технологического института. Но вся эта работа была прервана из-за иностранной интервенции и гражданской войны.

Полтора года на Урале и в Сибири шла битва с интервентами и белогвардейцами. Но и в это время Ленин не оставлял забот об Урало-Кузбассе. В телеграмме реввоенсовету 5-й армии от 15 декабря 1919 года Ленин требовал: «Позаботьтесь всячески о взятии в целостности Кузнецкого района и угля». Однако спасти промышленность востока от разрушения не удалось.

Работы, необходимые для подъема народного хозяйства Урала и Сибири, Владимир Ильич всегда рассматривал в комплексе. Сил и средств у страны было крайне мало, но Уралу и Сибири отдавали максимум возможного. На заседаниях СТО в 1920—1921 годах часто ставились вопросы, связанные с увеличением добычи угля в Сибири, обеспечением угольных копей рабочей силой, улучшением жилищных условий.

На рассмотрение правительственных органов представлен был ряд проектов использования природных богатств Урала и Сибири. «Вокруг Урало-Кузнецкой проблемы, — пишет П. Г. Матушкин, — шла ожесточенная борьба прогрессивных и консервативных сил... Новый этап в разработке Урало-Куз-

нецкой проблемы был связан с планом ГОЭЛРО... Уральский и Западно-Сибирский районы вошли в план ГОЭЛРО как его важнейшая составная часть. В. И. Ленин внимательно следил за ходом разработки планов этих районов». Автор перечисляет ряд специальных трудов, имевшихся в библиотеке Ленина, приводит выдержки из рассказа беседовавшего с Лениным в конце 1920 года С. М. Франкфурта, из которых видно, что Владимир Ильич проявлял интерес и к методам добычи угля.

Двадцатого мая 1921 года Ленин подписал постановление СТО об ударных работах в Кузнецком бассейне. Летом того же года СТО принял решение об использовании американской промышленной эмиграции. Была создана Автономная индустриальная колония (АИК Кузбасса). В эту организацию вошли рабочие многих стран — США, Канады, Франции, Германии, Голландии, Финляндии и других, и она сыграла известную положительную роль в развитии производительных сил Кузбасса. Именно ею были, в частности, построены первые коксовые батареи в Сибири, а в 1924 году переведена была с древесного угля на кузнецкий кокс одна из домен Нижне-Салдинского завода. На Урал пошли первые эшелоны кокса. Так сделан был первый шаг по пути минерализации металлургии Урала.

Подводя итоги этому исключительно трудному периоду развития советской экономики, П. Г. Матушкин пишет: В. И. Ленин «всемерно способствовал разработке Урало-Кузнецкой проблемы и претворению ее в жизнь, видя в создании нового индустриального центра на Востоке великое будущее страны, гарантию от возможной империалистической агрессии». Было создано бюро для проектирования Тельбесского завода — Тельбессбюро.

Известно, что ленинский курс на индустриализацию подвергся резким нападкам троцкистов и «правых». Среди противников Урало-Кузбасса в том значении, которое ему придавал Ленин, оказались и старые спецы, занимавшие видные посты в плановых и хозяйственных органах. Особенно яростной была «атака» украинских экономистов. Они утверждали, что себестоимость металла, который будет выплавляться на заводах Урало-Кузбасса, будет значительно дороже украинского.

«Активизация противников Урало-Кузбасса на Украине была не случайна, — пишет

П. Г. Матушкин.— Специалисты из украинского Госплана нашли покровительство со стороны Л. М. Кагановича, работавшего тогда первым секретарем ЦК КП(б) Украины. Каганович выступал в 30-х годах против строительства новых металлургических и машиностроительных заводов на востоке страны. Выделение средств на развитие промышленности Урала и Сибири он называл опасным разбрасыванием капиталовложений по различным углам и ратовал за сосредоточение их только на Украине».

П. Г. Матушкин отмечает решительную позицию И. В. Сталина в проведении в жизнь ленинской идеи о создании второй угольно-металлургической базы СССР, но вместе с тем подчеркивает, что в течение многих лет инициатива и почти все заслуги создания Урало-Кузбасса приписывались Сталину. Тем самым умалялась роль В. И. Ленина, партии и советского народа в решении этой важнейшей народнохозяйственной проблемы...

Одновременно принижалось участие в создании Урало-Кузбасса и таких видных деятелей партии и Советского государства, как М. И. Калинин, В. В. Куйбышев, Г. М. Кржижановский, Г. К. Орджоникидзе, замалчивалась активная деятельность на стройках гигантов тяжелой индустрии В. И. Межлаука, И. Д. Кабакова, Р. И. Эйхе, С. М. Франкфурта и других партийных и хозяйственных работников.

П. Г. Матушкин стремится до конца восстановить историческую правду. Он напоминает, что на XVI съезде партии И. В. Сталин, «исходя из чисто волевого подхода, без всякого научного обоснования, потребовал пересмотра пятилетнего плана развития черной металлургии в сторону его резкого увеличения». План производства чугуна был повышен с десяти миллионов до семнадцати миллионов тонн.

«Из них 6 млн. тонн,—продолжает автор,—должны были дать Урал и Сибирь, что было совершенно невыполнимым. Решение съезда о доведении выплавки чугуна в 1932—33 году не менее чем до 17 млн. тонн впоследствии было пересмотрено как совершенно нереальное. XVII партийная конференция сняла лозунг «За 17 млн. тонн чугуна», оставив в силе наметки пятилетнего плана».

В книге показана организаторская роль Коммунистической партии в создании Ура-

ло-Кузбасса. Реализация решений о создании второй угольно-металлургической базы страны требовала большого напряжения сил. Страна не располагала необходимым опытом проектирования и строительства предприятий такого масштаба, как главные опоры Урало-Кузбасса — Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты. Пришлось прибегнуть к иностранной помощи, но это не дало ожидавшихся результатов. По разным соображениям консультанты старались всячески оттягивать решение сложных технических вопросов. Автор приводит много фактов такого рода. В конечном счете пришлось расторгнуть договоры с консультировавшими фирмами и положиться на собственные силы.

В книге приводится ряд документов (многие используются впервые), разоблачающих утверждение, будто бы иностранная инженерно-техническая помощь сыграла сколько-нибудь значительную роль в создании Урало-Кузбасса. Все обстояло далеко не так. Советские ученые и специалисты не приняли предложенных консультаций.

«Подводя итоги нашим взаимоотношениям,—писал начальник Кузнецкого комбината С. М. Франкфурт главному инженеру американской фирмы «Фрейн» мистеру Эверхарду в конце 1932 года,—нельзя не отметить, что корпорация причинила нам крупный материальный ущерб допущенными ошибками... Значительное количество командиров — сотрудников Вашей корпорации оказались не соответствующими своему назначению, они были командированы обратно, нанося нам одни убытки».

«Американские специалисты, работавшие на Магнитострое,—пишет в другом месте автор,—категорически выступали против задувки доменной печи зимой. Вице-президент фирмы «Мак-Ки» мистер В. А. Хэйвен по этому вопросу представлял протесты и ультиматумы начальнику строительства Магнитостроя Я. С. Гугелю, обращался с жалобами к Г. К. Орджоникидзе. Американцы требовали не только отложить пуск завода до весны, но и пригласить из США 200 инженеров, техников и мастеров, необходимых для пуска домны. По их мнению, советские люди не могут справиться с этим ответственным делом». Все их протесты были отклонены, и 1 февраля 1932 года домна выдала первый чугун.

Книга П. Г. Матушкина насыщена (а порой и перенасыщена) фактами, документа-

ми. В последних частях книги автор оценивает роль Урало-Кузбасса в годы Великой Отечественной войны, его значение в создании материально-технической базы коммунизма.

Проблема Урало-Кузбасса была успешно решена и выдержала самые серьезные испытания. Урало-Кузнецкий комплекс был первым решительным шагом к использованию богатейших природных ресурсов Сибири, на чем решительно настаивал Ленин. Владимир Ильич предвидел, что со временем в сферу хозяйственной деятельности будут вовлечены не только природные ресурсы Западной Сибири (Кузбасс), но и Восточной. Автор приводит такой факт: при

просмотре программы работ комиссии ГОЭЛРО В. И. Ленин внес две поправки, и обе они касались Сибири. Так, в абзаце программы, касающемся электрификации Сибири, было написано: «...а в Сибири принимается во внимание только западная ее часть». В. И. Ленин вставил после слов «а в Сибири» слово «пока».

Ленинский курс на всемерное использование природных ресурсов востока успешно осуществляется. И в Западной и в Восточной Сибири созданы могучие оплоты индустрии, их вклад в построение материально-технической базы коммунизма трудно переоценить.

**И. ПЕШКИН.**

★

## ПЕРВЫЕ ШАГИ

**Проблемы общественной психологии. Под редакцией В. Н. Колбановского и Б. Ф. Поршнева. «Мысль». М. 1965. 470 стр.**

Общественная психология до самого последнего времени была у нас не в чести. В предисловии к рецензируемому сборнику это объясняется тем, что во время культа личности «не было заинтересованности в правдивой и точной информации о социально-психологических процессах, происходящих в разных социальных группах». Но дело не только в этом.

Еще в начале тридцатых годов социальная психология была объявлена антимарксистской, буржуазной, реакционной наукой. Социальную психологию «закрыли», так же как и генетику, и конкретную социологию, как пытались закрыть кибернетику...

Социальная психология, как известно, находится где-то на стыке между философией и психологией. После Октябрьской революции интерес к ней возрос. Но догматическая нетерпимость повлияла и на психологию. Даже такой видный советский психолог, как С. Л. Рубинштейн в книге «Бытие и сознание», увидевшей свет в 1957 году, писал: «Проповедовать особую историческую психологию, это по большей части не что иное, как защищать любезную сердцу реакционеров «социальную психологию», являющуюся, по существу, не чем иным, как попыткой психологизировать социологию, т. е. проташить идеализм в область изучения общественных явлений».

По свидетельству В. Н. Колбановского, С. Л. Рубинштейн имел намерение подвергнуть критике эти свои утверждения, но этому помешала его преждевременная смерть. Очевидно, авторы сборника могли бы упомянуть и других представителей философии и психологии, принимавших участие в ликвидации социальной психологии.

Но наряду с субъективными причинами, приведшими к исключению социальной психологии из марксизма, необходимо обратиться и к ее истории.

Марксистская социальная психология не появилась на свет божий, как Афина Паллада из головы Зевса, сразу в полном вооружении. Поначалу она была лишь вкраплена в экономические, исторические, философские исследования основоположников марксизма. Как отрасль знания, марксистская социальная психология стала складываться лишь к концу прошлого века. Ее становление неразрывно связано было с тем, что аналогичный процесс происходил и в буржуазной философии, социологии и психологии.

Социальная психология понадобилась буржуазии для того, чтобы «разобраться» в причинах массового революционного движения пролетариата. Она понадобилась для борьбы против марксизма. Родиной буржуазной социальной психологии стала



прежде всего Франция. Французская буржуазия больше, чем какая-либо другая, была напугана революционным пролетариатом, готовым, как показала Парижская коммуна, штурмовать самое небо. Идеологи буржуазии Лебон, Тард и другие, выполняя ее социальный заказ, стали разрабатывать вопросы социальной психологии.

Связь Г. В. Плеханова с рабочим движением Франции общеизвестна. Но не только это обстоятельство обратило взоры Г. В. Плеханова к вопросам общественной психологии, но и потребности русского революционного движения. В России, как ни в одной другой стране, был накоплен громадный, не потерявший своего значения и поныне материал социально-психологических исследований. Речь идет о писателях-народниках, которым Плеханов, сам пришедший к марксизму от народничества, посвятил серию статей. К сожалению, в сборнике ни единым словом не упоминаются русские писатели — социальные психологи (не назван даже самый выдающийся из них — Глеб Успенский). К слову сказать, наши социологи, тщательно изучающие центры и окраины западноевропейской и американской социологии и социальной психологии, не уделяют внимания таким предшественникам ее в России, как земские статистики, которых высоко ценили Маркс и Ленин.

Один из видных представителей современной американской социологии, Лазарсфельд писал: «Иногда спрашивают: «.. Есть ли вообще какое-нибудь социологическое обобщение, которое бы не было предвосхищено философами или писателями?»

Русская философия, теснейшим образом связанная с литературой, иной раз сливающаяся с ней, как это имело место в творчестве Н. Чернышевского и М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского и Л. Толстого, предвосхитила очень многое из того, что сейчас выдается за последнее слово современной социальной психологии.

Думается, что в сборнике об общественной психологии следовало бы сказать и о советских писателях, которые поднимают эти проблемы. Речь идет о таких, в сущности, социально-психологических исследованиях, как «Районные будни» В. Овечкина, произведения Тендрякова, Троепольского, «Деревенский дневник» Е. Дороша...

В первой части сборника, несомненно, привлечет внимание статья Б. Д. Парыгина

«Вопросы социальной психологии в работах Г. В. Плеханова», в которой справедливо отмечается, что Плеханов — выдающийся представитель марксистской социальной психологии — смело ставил ее сложные вопросы... И тут следовало со всей определенностью подчеркнуть, что «заккрытие» социальной психологии в начале тридцатых годов — отнюдь не случайно совпало с «падением» на довольно длительный срок интереса к философским трудам Г. В. Плеханова. Само понятие общественной психологии, к которому неоднократно обращался Г. В. Плеханов, расценивалось как проявление буржуазной социальной психологии. Так, в учебнике по диалектическому и историческому материализму, вышедшем в то время под редакцией М. Б. Митина, утверждалось, что самый термин «общественная психология» дает повод думать о фрейдизме — о «бессознательном», — и ввиду этого, по мнению авторов, термин этот научно несостоятелен. Не следовало бы, пожалуй, вспоминать «о преданьях старины глубокой», если бы, скажем, в монографии В. Фоминой «Философские взгляды Г. В. Плеханова», вышедшей в 1955 году, не утверждалось то же самое. Более того, уже в то время, когда начался процесс восстановления социальной психологии, К. К. Платонов, Н. С. Мансуров, Е. В. Шорохова (в докладе на Втором съезде психологов в 1963 году) критиковали Г. В. Плеханова примерно в том же ключе. Даже в сборнике, где справедливо сказано, что «критическое восприятие» работ Г. В. Плеханова, «затрагивающих вопросы социальной психологии», приобрело «силу предубежденного отношения», видны следы прежнего подхода к работам Г. В. Плеханова.

Вторая часть сборника посвящена теоретическим проблемам общественной психологии и представляет как бы модель будущего курса социалистической психологии, который, насколько нам известно, еще пока не поставлен ни в одном учебном заведении. Содержание этой части больше говорит не о том, что уже сделано, а о том, что предстоит сделать. В этом направлении и необходимо вести речь. Думается, что не совсем правильно начинать с утверждения, что «диалектико-материалистическое учение об общественной психологии было создано Марксом и Энгельсом задолго до появления буржуазной социальной психологии». Известно, что Маркс и Энгельс не да-

ли и определения понятия «социальная психология». Правда, они не особенно жаловали дефиниции, но Энгельс отмечал, что они имеют большое практически-педагогическое значение.

В теоретической части сборника также видна недооценка значения для социальной психологии литературы и искусства. Более того, несколько претенциозно утверждается, что «общественная психология имеет огромную важность для литературы и искусства», и мысль эта подкрепляется утверждением, что в литературе широко применяются «приемы сведения индивидуального к социальному».

Надо различать общественную психологию как составную часть общественного сознания, без которой действительно нельзя сделать и шага в литературе и искусстве, и научную дисциплину — социальную психологию, которая все еще находится у нас в отрывочном, если не младенческом состоянии. Ей самой многому надо поучиться в познании общественных явлений как у искусства в целом, так и у литературы в особенности. Социальной психологии как научной дисциплине еще предстоит затратить немало усилий в борьбе за свое место в арсенале гуманитарных наук. Это подтверждает и статья, рассматривающая предмет, методы и актуальные проблемы советской общественной психологии.

Нельзя не отметить, что в работах по социологии и психологии, появившихся в последнее время, позитивное изложение принципов марксистской социальной психологии выглядит иной раз значительно бледнее, нежели «критический пересказ» работ современных буржуазных социальных психологов и социологов.

Те силы, которыми уже сейчас располагает общественная психология, надо, очевидно, сосредоточить на проблемах, которые сегодня настойчиво выдвигает сама жизнь. К сожалению, от такого рода акций социальная психология пока еще далека. В этом убеждаешься, когда читаешь третью часть сборника, посвященную конкретным социально-психологическим исследованиям.

Первая статья этой части — «Социальная психология и религия» — с очень большой натяжкой может быть отнесена к разделу

конкретного исследования. В ней есть интересные соображения, уже известные из ранее опубликованных статей ее автора (В. Р. Букина), но некоторые практические рекомендации требуют уточнений и пояснений. Так, в частности, обстоит дело с полностью одобренными автором общественными судами над баптистами. Известно ведь, что эти процессы, проходившие в ряде городов в 1960—1962 годах, вызвали «эмоциональное недоумение и осуждение» не только по адресу баптистов, но и по адресу тех административно настроенных атеистов, которые иной раз перешагивали рубеж, за которым начинается категорически отвергаемое партией хотя бы малейшее оскорбление чувств верующих.

Содержательная статья В. Е. Гусева «Фольклор как источник изучения социальной психологии» также с большим трудом может быть отнесена к конкретному исследованию. Глубокая по историческому и теоретическому материалу, она очень скромна в практических выводах.

В собственном смысле слова конкретные исследования представлены в трех статьях: Е. С. Кузьмина «Из опыта изучения производственных коллективов», Я. Л. Коломинского «Некоторые экспериментальные данные для критики социометрии» и П. М. Якобсона «О характере межиндивидуальных связей в коллективе первоклассников». Однако авторы недостаточно отчетливо определили тот стык между социологией и психологией, который занимает социальная психология. Это, разумеется, ни в коей мере не умаляет теоретического и практического значения исследований, основанных на эксперименте. Но это еще раз говорит о том, что социальная психология должна значительно четче определить границы своего жизненного пространства.

Социальной психологии, освобожденной от всякого рода наслоений и предубеждений, предстоит долгая и плодотворная жизнь. Об этом убедительно говорит и рецензируемый сборник. Давно известно, что первая ласточка не делает весны. Но появление ее свидетельствует о том, что весна наступает.

**И. МИНДЛИН.**

★

## СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

**В. В. Вишнякова-Акимова. Два года в восставшем Китае. 1925—1927. Воспоминания. «Наука». М. 1965. 391 стр.**

**А. И. Черепанов. Записки военного советника в Китае. Из истории Первой гражданской революционной войны (1924—1927). «Наука». М. 1964. 286 стр.**

Помощь Советского Союза Китаю в годы, когда там шла гражданская война, освещена в нашей литературе крайне недостаточно. Советским людям, в особенности нашему молодому поколению, события того времени и их участники почти неизвестны. Настало время рассказать о них. В преддверии пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции выпуск такой литературы представляется особенно своевременным.

Летом 1925 года студентка восточного факультета Дальне-Восточного университета В. В. Вишнякова-Акимова приехала на практику в Китай. Вскоре она стала работать переводчиком с нашими военными советниками в северных районах Китая, потом — в аппарате главного политического советника М. М. Бородина в Кантоне, затем в Ханькоу. Сорок лет спустя, незадолго до своей смерти, она выпустила воспоминания об этой поездке.

Автор второй рецензируемой книги — генерал-лейтенант А. И. Черепанов, бывший участник гражданской войны. Он приехал в Китай в 1923 году в составе первой пятерки военных советников, приглашенных Сунь Ят-сеном для работы в войсках гуанчжоуского (кантонского) правительтва. А. И. Черепанов был одним из организаторов военной школы в Вампу, где готовились офицерские кадры китайской национально-революционной армии. Он был непосредственным участником многих важных военных мероприятий того периода, встречался с виднейшими политическими и военными деятелями Китая, а также со многими советскими политическими и военными работниками.

Его записки освещают более ранний период консолидации революционных сил Китая, показывают неутомимую деятельность Сунь Ят-сена по реорганизации гоминьдана и созданию в Кантоне национально-революционной армии и национального правительства, говорят о подавлении мятежа купеческих наемников — «бумажных тигров», о

первом и втором Восточных походах и о подготовке похода на Север.

Воспоминания В. В. Вишняковой-Акимовой охватывают события, имевшие место на северо-западе Китая, где долго хозяйничали китайские милитаристы, а также в районах Южного и Центрального Китая, где решались основные вопросы китайской революции и где миллионы рабочих и крестьян стремительно втягивались в революционную борьбу. Воспоминания заканчиваются описанием уханьского периода китайской революции и ее поражения в 1927 году, когда национальная буржуазия, испугавшись огромного размаха революционного движения рабочих и крестьянских масс, совершила предательство и вступила в сделку с империалистическими державами.

В обеих книгах весьма ярко показана обстановка, сложившаяся в Китае к середине двадцатых годов: междоусобные войны больших и малых генеральских клик раздирают на части страну, которая стала полуколонией Англии, Японии, США, Франции и других империалистических государств; и в то же время нарастает революционно-освободительное движение, усиливается борьба за сплочение рабочих, крестьян, интеллигенции, мелкой и средней национальной буржуазии. Коммунистическая партия Китая проводит в этот период тактику единого фронта, стремясь к объединению всех революционных сил народа и сотрудничеству с гоминьданом, сохраняя при этом идейную и организационную самостоятельность своей партии.

Воспоминания В. В. Вишняковой-Акимовой — не научно-исследовательский труд, глубоко анализирующий политическую и военную историю китайской революции. Это живой и непосредственный рассказ свидетельницы и участницы событий. Студентка-китаистка, влюбленная в Китай, — она живо интересуется повседневной жизнью великой страны, ее древней и своеобразной культурой, ее особенностями и достопримечательностями, трудом и бытом окружающих ее людей.

Несколько иной характер носят записки А. И. Черепанова. Как военный советник, он тщательно прослеживает этапы народно-революционной войны. При этом он не упускает из поля зрения и бурную политическую жизнь страны. В записках впервые использованы многие документальные материалы, представляющие значительный интерес не только для специалистов военного дела, но и для широкого круга читателей.

Страницы, посвященные Сунь Ят-сену, борьбе течений внутри гоминьдана, а также деятельности еще молодой тогда Коммунистической партии Китая, представляют в книге А. И. Черепанова особый интерес. Автор показал, как под влиянием Великого Октября и на основе опыта революционной борьбы новым конкретным содержанием наполнились «три принципа» Сунь Ят-сена: принцип национализма (решительная борьба с империалистической агрессией), принцип народовластия (создание демократической системы) и принцип народного благоденствия (предоставление крестьянам права на землю, ограничение капитала, помощь безработным и улучшение положения рабочих).

Сунь Ят-сен глубоко чтит Ленина, придавал огромное значение Октябрьской революции и неоднократно говорил, что Советская Россия должна быть примером для Китая. Когда на заседании конгресса гоминьдана была объявлена горестная весть о безвременной кончине Владимира Ильича, Сунь Ят-сен произнес речь, посвященную памяти великого вождя мировой революции. Обращаясь к Ленину, Сунь Ят-сен сказал: «Ты не только говорил и учил, но претворял свои слова в действительность. Ты создал новую страну, ты указал нам путь для совместной борьбы, ты встречал на своем пути тысячи препятствий, которые встречаются и на моем пути. Я хочу идти по указанной тобой дороге, и хотя мои враги против этого, но мой народ будет меня приветствовать за это. Ты умер... Но в памяти угнетенных народов ты будешь жить веками, великий человек».

Авторы обеих книг посвящают многие страницы советским товарищам, работавшим бок о бок с китайскими революционерами, и прежде всего главному политическому советнику гоминьдана М. М. Бородину и главному военному советнику В. К. Блюхеру.

Михаил Маркович Бородин (Грузенберг)

приехал в Китай по приглашению Сунь Ят-сена в 1923 году. Профессиональный революционер, старый большевик, участник Таммерфорской конференции и Стокгольмского Объединительного съезда РСДРП, активный работник Коминтерна,—он начинал свою новую работу в чрезвычайно сложных условиях. Весь свой политический опыт и неиссякаемую энергию Бородин отдавал формированию китайских революционных сил, созданию их единого фронта.

А. И. Черепанов приводит интересные записи выступлений Бородина на заседаниях, собраниях и митингах. Так, на большом митинге в Кантоне 15 октября 1923 года он выступил с горячим призывом сплотиться вокруг гоминьдана, объединить Китай под руководством его национального вождя Сунь Ят-сена и при поддержке народа освободить страну от порабощения иностранными империалистами и китайскими милитаристами. Речи Бородина вызвали огромный энтузиазм и производили большое впечатление на китайских рабочих, впервые встретившихся в его лице с представителем Страны Советов.

Преодолевая сопротивление правых кругов гоминьдана, Бородин неустанно боролся за наиболее последовательную политику, за привлечение к революционному движению широких масс безземельного крестьянства и жестоко эксплуатируемых рабочих, а также мелкой буржуазии, заинтересованной в общем экономическом подъеме страны.

На совещании, собранном временным ЦИКом гоминьдана совместно с районными комитетами, Бородин в острой полемической форме ставит перед собравшимися важнейшие политические вопросы, связанные с создавшимся в этот период крайне опасным положением для революционных сил. «Гоминьдан,—говорил Бородин,—несмотря на свою объективную революционность, все еще «висит в воздухе», не опирается на какой-либо класс или классы... Вы до сих пор ничего не сделали для того, чтобы прийти на помощь крестьянам, и тем самым лишили одного из важнейших оплотов вашей партии».

Бородин указывал на необходимость немедленно издать декрет о наделении землей гуандунских крестьян, разработать декрет о социальном законодательстве для рабочих и провести ряд других мероприятий, обеспечивающих связь гоминьдана с широкими

трудящимися массами. Хотя издания этих декретов в то время добиться не удалось, многие мысли и высказывания Бородина нашло отражение в Маньчесте, принятом I конгрессом гоминьдана.

Сунь Ят-сен относился к Бородину с большим доверием. Он обращался к его помощи при решении всех сложных политических вопросов, встававших перед ним в этот трудный период китайской революции.

За советами к Бородину обращались в то время и молодые руководители Коммунистической партии Китая. Черепанов встречал у Бородина Мао Цзэ-дуна, приходившего за советом перед возвращением в провинцию Хунань, где он вел работу по организации крестьянских союзов. Бывал у Бородина и будущий вождь героического вьетнамского народа Хо Ши Мин, которого сотрудники аппарата Бородина знали в то время, как вьетнамца Ли, за чью голову французские власти обещали крупную сумму денег. Надо отметить, что школа Вампу готовила военно-революционные кадры не только для различных провинций Китая: в составе третьего выпуска курсантов было, например, двадцать пять корейцев и около пятнадцати вьетнамцев.

Популярность Бородина как политического деятеля и борца за освобождение поработенных народов Востока простиралась далеко за пределы Китая.

То же следует сказать и о главном военном советнике китайского правительства — выдающемся полковнике Красной Армии Василии Константиновиче Блюхере, известном в то время в Китае и за его пределами под именем легендарного генерала Галина. Под его руководством работала многочисленная группа военных советников, специалистов различных родов оружия, оказавших Китаю огромную помощь в организации революционной армии и проведении победоносных военных походов.

Военные советники во главе с В. К. Блюхером не только разрабатывали предложения по оперативным планам, но и лично участвовали в руководстве военными операциями, сопровождая в боях китайские военные части и разделяя с ними лишения и опасности.

А. И. Черепанов отмечает ряд черт, отличавших Блюхера как полководца, всегда учитывавшего наряду с чисто военными факторами и общеполитические условия, а

также специфические местные особенности. Он трезво взвешивал все за и против, прежде чем принять определенное решение. «Война в целом, каждая операция,— говорил Василий Константинович,— прежде всего математика, расчет». Как свидетельствует автор «Записок», продолжительность первого Восточного похода и дата взятия Ухана в Северном походе не совпали с его предварительными наметками всего на каких-нибудь два-три дня.

Стремясь к скорейшему осуществлению своих политических замыслов, Сунь Ят-сен в тот период был склонен форсировать начало Северного похода. Однако, исходя из всесторонней оценки обстановки, Блюхер твердо стоял на той точке зрения, что начать Северный поход можно будет лишь после успешного завершения второго Восточного похода и полного освобождения Гуандуна; надо было прежде всего создать необходимый плацдарм для победоносного похода на Север. Правильность этого стратегического плана была полностью подтверждена дальнейшим ходом событий.

В рецензируемых книгах с большой теплотой рассказывается и о других военных и политических советниках, многие из которых были впоследствии необоснованно репрессированы. Авторы говорят и о большой работе советского дипломатического аппарата во главе с выдающимся дипломатом ленинской школы Львом Михайловичем Караханом. Его выступления в защиту угнетенных народов имели исключительное значение. Интересны страницы, посвященные характеристике коммунистов Ли Да-чжао, Цюй Цю-бо, Чжан Тай-лэя и многих других.

В 1926—1927 годах мне довелось работать в группе финансовых советников в аппарате М. М. Бородина. Я встречался с В. В. Вишняковой-Акимовой и А. И. Черепановым, знал многих товарищей, о которых они пишут, и могу с удовольствием отметить достоверность их воспоминаний и меткость характеристик.

Авторы приводят многочисленные факты, раскрывающие подлинное лицо авантюриста Чан Кай-ши, человека с темным прошлым, имевшего в свое время связь с шанхайскими гангстерами, бездарного и трусливого, готового в любую минуту перевернуться в выгодную для него сторону. Когда реакционные силы Китая во главе с Чан Кай-ши осуществили контрреволюционный переворот, советские военные, политические, фи-

нансовые и другие советники вынуждены были покинуть Китай.

Несколько частных замечаний. В воспоминаниях В. В. Вишняковой-Акимовой допущены некоторые неточности: министром финансов национального правительства Китая в период переезда правительства из Кантона в Ханькоу был не Сунь-фо, а Сун Цзы-вэнь; участником перелета Москва—Пекин в июле 1925 года был не Отто Юльевич Шмидт, а И. П. Шмидт. Военные специалисты, очевидно, заметят некоторые неточности, касающиеся военных формирований и т. д.

Что касается книги А. И. Черепанова, то думается, что не стоило так подробно рассказывать о междоусобицах китайских ге-

неральских клик и о некоторых деталях военных операций, которые уже потеряли свое историческое значение.

Всякий, кто прочтет воспоминания В. В. Вишняковой-Акимовой и А. И. Черепанова, еще глубже осознает, какой неоценимый вклад в развитие китайской революции, в борьбу за национальную независимость и социальные преобразования в Китае внесли в те годы Страна Советов и ее достойные посланцы — мужественные люди, до конца преданные идее пролетарского интернационализма. Жаль, что ныне в Китае кое-кто забывает об этом.

Проф. М. ШАСС,  
доктор экономических наук.

★

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТКРЫТИИ

**Сергей Марков. Земной круг. Книга о землепроходцах и мореходах. «Советский писатель». М. 1966. 656 стр.**

В природе географического исследования есть черты, приближающие его к писательскому труду. Недаром многие географы неплохо пишут. Есть и немало литераторов, тяготеющих к географической науке, испытывающих непреодолимую потребность в освоении ее материала и метода. Известны гоголевские тетради с подробными выписками из сочинений русских ученых-путешественников XVIII века, — создатель «Мертвых душ» мечтал написать географию России. Пушкин не только читал, но и внимательно реферировал «Описание земли Камчатки» С. Крашенинникова. Какой вдохновенный труд мог возникнуть из таких конспектов?

Недавно мы узнали, что американский писатель Г. Д. Торо, известный своей романтической критикой буржуазного прогресса, долгие годы «путешествовал вокруг света, не выходя из дома»<sup>1</sup>. Этот участник борьбы за освобождение негров всю жизнь изучал литературу путешествий, и его труд не был лишь чудачеством любителя. Обработка информации из литературных источников была необходима писателю-публицисту для проповеди его философских идей «естественного человека».

О Сергее Николаевиче Маркове, поэте и романисте, ученом и путешественнике, нельзя сказать, что он странствовал, «не выходя из дома». Автор «Юконского ворона» и «Летописи Аляски» в Америке не бывал, но все же повидал свет. Его книги — сплав, в котором точность знания приходит на помощь воображению.

Лет двадцать назад он пришел к нам, в возродившийся после войны журнал «Вокруг света», и принес крохотные заметки, за каждой из которых стояла дата, а за ней — образ искателя или исследователя, землепроходца или мореплавателя, ученого-архивиста или просто собирателя старины. В журнале появилась страничка «Наша летопись», долгие годы сопутствовавшая читателям в их странствиях по кругу земному. Удивительная особенность была в этих коротеньких марковских рассказах. В десяти — пятнадцати строчках каким-то чудом умещался не только сюжет, но и какая-нибудь зримая материальная деталь или черточка человеческого характера, сразу освещавшая рассказ, придававшая ему одновременно и образность и документальность.

Так было положено начало труду, воплотившемуся теперь в книге «Земной круг». Это затейливый и узорный, как «кружево», рассказ о вкладе в познание мира, сделан-

<sup>1</sup> Christie J. A. Thoreau as world traveller. Columbia University Press. 1965.

ном русскими людьми в великих трудах, муках и подвигах. Открытия здесь, как оно и было в истории, не просто совершаются, а живут и переживают своих создателей. С ними происходят приключения — их судьба может быть замысловатой и загадочной. Об этом и написана книга.

Но если бы дело было только лишь в загадочности и странности судеб многих открытий, это, может быть, и не представляло бы такого уж значительного общественного интереса. Страсть и накал книги — в ее живом и глубоком патриотическом чувстве.

В самом деле, зачем, казалось бы, присутствовать в этой книге Мамаю, врагу Руси, с позором бежавшему с Куликова поля? Но писатель по капелькам, по крупинкам собрал все, что сохранилось в источниках, и воссоздал новый для нас и несомненно интересный образ «черного темника» и «знатока крымских дел», окончившего свою жизнь в Каффе (Феодосии), где его казнили палачи из Синей Орды.

Казалось бы, к географическим открытиям и не имеет прямого отношения установленный самим С. Н. Марковым факт, что славный воин Родион Ослябя не пал на Куликовом поле, но остался жив и принял участие в путешествии в Царьград для передачи императору серебра из великокняжеской казны. Но и этот факт здесь уместен, потому что «Земной круг» — книга чрезвычайно широкого тематического охвата.

Победа над Мамаем открывала путь на Царьград, хотя дальнейшему сближению с Византией помешали крутые события последовавших лет. Одновременно на широком пространстве начинается движение русского народа на Обь и оттуда — к далеким и неизвестным странам, к Сибири, Средней Азии, Китаю. Это стремительное движение продолжается и впоследствии, охватывая Дальний Восток и северо-восточные окраины Азии. Оно связано было с широким обменом культурными ценностями и обогащало мир сведениями непреходящего значения.

Собрав на протяжении многих лет поистине необозримый материал, составив хронологическую картотеку, о которой ходят легенды, С. Н. Марков создал новый труд о великой дуге открытий, сделанных русскими людьми на этом славном пути. По словам покойного академика Д. И. Щербакова, написавшего к книге теплое предисловие, «Земной круг» — это «кладезь смелых науч-

ных предположений, интересных, заманчивых, увлекательных».

Нет никакой возможности даже бегло пересказать содержание книги, да и не нужно этого делать, чтобы не испортить читателю удовольствия, которое он получит, следуя за ходом мысли автора. Мысль эта, руководящая писателем, — идея оригинальности и независимости русских поисков и находок и их бесспорного влияния на развитие западных географических представлений.

Не всегда и не во всем, может быть, соглашались с автором специалисты-историки, но нельзя не видеть, что писатель опирается на основательно и творчески освоенный материал. «На дышащем море червь не усыпающий, и скрежет зубный, и река смоляная Могр», — писал в XIV веке Василий, архиепископ Новгородский. Смоляная река — потоки черной лавы исландских вулканов, делает заключение С. Марков, основываясь не только на анализе документа, давно известного, но и на свидетельствах норвежских летописей и исландских саг. Значит, уже в XIV веке новгородцы побывали на севере Атлантики.

С неослабевающим увлечением читается глава — большая историческая новелла — о международных странствователях, шедших по следам Афанасия Никитина. Последователями великого тверитянина, оказывается, были предприимчивый торговец Контарини, вслед за Никитиным посетивший Каффу, и венецианец Барбаро, жаждавшие найти дороги к Самарканду и пределам Индии. Ян из Кольно, мореход польского происхождения, разведывавший в XV веке пути к жемчугам Ормуза и алмазам Индии, тоже, сам того не ведая, оказался последователем русского искателя.

Ссылаясь на рассказы португальца Мендеса Пинто, в XVI веке добравшегося до берегов Китая, писатель утверждает, что русские еще в XV веке побывали у Великой стены. Сложная цепь сопоставлений и логических выводов приводит его к убеждению, что Обь — Иртыш — озеро Зайсан — Черный Иртыш были возможными звеньями на пути русских купцов к сердцу Азии.

Путь русских людей к берегам Северной Америки — одна из героических глав в истории отечественной науки — прослежен в книге на основе множества документальных данных. Писатель не столь уж часто идет путем домысла, а опирается или на архивные данные, или же на публикации, за мно-

гие годы оседавшие в труднодоступных, редких и специальных изданиях и теперь благодаря его труду ставшие достоянием каждого читателя, любящего историю своей страны. Попутно заново осмысляются, пополняются конкретными, живыми деталями наши представления о людях, претерпевших тяжкие лишения или сложивших голову на этом пути.

Вот, например, яицкий казак Афанасий Шестаков. Этот человек, которого иные историки даже в наше время изображали темным и неграмотным, первым составил карту, на которой Камчатка показана полуостровом, изображены Курильская гряда и Япония. В книге восстанавливается доброе имя казацкого головы, чей труд оказался полезным для петровского географа Ивана Кирилова. Геодезисты Федор Лужин и Иван Евреинов, отправившиеся на северо-восток с личными поручениями Петра, разоблачили зародившиеся на Западе легенды о земле Компании и земле Жуана да Гамы, веками «чаемых» на востоке от Курил, и доказали, что никакого американского берега около Курил быть не может. Писатель, очищая от архивной пыли свидетельства современников, помогает нам увидеть множество людей, собравших для нас чистое золото знаний. «Безвестный» Тихон Крупышев, по-видимому, первым видевший берег Аляски. Подштурман Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев, достигшие Нового Света. Рассматривая на современной карте острова Диомиды, мы мало задумываемся над судьбой Гвоздева, участвовавшего в открытии Северо-Западной Америки и едва не кончившего свою трагическую жизнь в бирюзовских застенках.

Приключения открытий... Действительно, сколько неожиданностей накопилось в человеческом опыте освоения Земли, сколько легенд, сколько событий, переплетающихся с далеко идущими торговыми и политическими целями! Среди рассказов, вошедших в книгу, есть немало удивительных историй, связанных и с фанфаронскими замыслами невежд, и с интригами властителей и вельмож, и с катастрофическими поворотами в судьбах народов. Когда и как будет прояснен волновавший многих вопрос о Золотой Бабе, таинственном заобском идоле в образе женщины, держащей на руках младенца? Разыскав подлинник дневника путешествия в Тибет, совершенного востоковедом Г. П. Цыбиковым, и побывав с этой целью в

Агинской степи, С. Н. Марков повидал и статую богини Гуань-инь, с которой, по-видимому, связан культ Золотой Бабы, бытовавший у древних пермян. «Она сидела в буддийском храме с золотым младенцем на руках, и огни светильников отражались в ее глазах». Как проникла на далекий Север буддийская богиня, что заставило пермян перенести ее «в ледяное лукоморье» — одна из загадок, которые еще предстоит решить. Но она указывает на возможные древние связи буддийского мира с обским Севером.

Каких необычайных происшествий полна история «Аниана», загадочного пролива между Азией и Америкой, который в 1540 году был показан на Нюрнбергском глобусе, а уже в 1562 году исчез с карт. В книге собрана коллекция лживых легенд об Аниане и сквозном плавании из Тихого океана в Атлантику, якобы совершенном моряками с Запада, самые имена которых в наше время представляются сомнительными. Но Анианом интересовался Петр, и сказание о призрачном проливе все-таки повлекло за собой решение одной из самых трудных и важных проблем, стоявших перед мореплаванием.

Писатель бережно относится к прошлому опыту — и не только отечественному, но и к опыту других народов. За последние годы нередко ставилась под сомнение самостоятельность Колумбовых открытий и рассказывалось о «неизвестном кормчеме», раскрывшем мореплавателю свои драгоценные тайны. Не останавливаясь на критике этих теорий и даже не упоминая о них, С. Н. Марков отдает дань уважения первооткрывателю. Он сообщает многие неизвестные не только широкому кругу читателей, но и иным специалистам черты жизни Колумба, свидетельствующие о широте его кругозора и богатстве его знаний. Колумб — издатель и картограф, Колумб, знавший о «Перми», Сибири и Руси времен Василия Темного, — таким мы мало представляли себе великого мореплавателя.

Но едва ли не самым оригинальным, увлекающим читателя свойством книги С. Н. Маркова следует считать неутомимую способность автора не только извлекать из далекого и относительно близкого прошлого поразительно воображение факты и легенды, но и видеть тесную связь сегодняшних наших знаний с достижениями и подвигами предков, направить мысль по новому руслу, подсказать пути возможных



поисков и непредвиденных находок. По книге можно было бы составить целый список нерешенных проблем, которые возникают в силу логики вещей, подсказываются самим материалом. Некоторые из этих проблем ставятся писателем с горечью — немало побывало на нашей земле охотников списывать бумаги или перечерчивать и вывозить наши карты. Стоит внимательно прочитать книгу хотя бы уже для того, чтобы подивиться необъятному богатству сведений, добытых русскими путешественниками — купцами, дипломатами, землепроходцами, мореплавателями, картографами-геодезистами, и той печальной и достойной всяческого сожаления легкости, с какою утекали они в былые времена в закрытые за семью печатями зарубежные архивы. А ведь это тоже род приключений, «переживаемых» открытиями!

Зорким и настороженным взглядом присматривается автор «Земного круга» к возможным источникам еще не раскрытых фондов, быть может, таящих сокровища русской географической мысли и исследовательского подвига. Между 1598 и 1605 годами семьсот открывателей отправились на Обь, Енисей и далее к востоку от этих рек. Нидерландец Исаак Масса «зловеще», как говорит автор, предсказывал исчезновение драгоценного свитка — доклада тобольского воеводы об этих походах. И действительно, «сибирский доклад» бесследно исчез в годы Смутного времени. Какие данные о русских открытиях хранятся в архивах Роберта Сешиля, графа Сэлсбери, умершего в 1612 году, — данные, еще неизвестные миру? Сколько старательно запечатанных Ж.-Н. Делилем пакетов с русскими картами и документами было отослано в XVIII веке во Францию?

Те проблемы, которые смело и остроумно ставит писатель-историк в «Земном круге», не ограничиваются лишь возможными архивными находками, а вытекают из общих представлений о широте русской политико-географической мысли, основанных на историческом опыте. И вовсе не такими уж фантастическими выглядят, например, идеи

С. Н. Маркова относительно того, что Ермак, быть может, в числе других своих задач преследовал и закрепление за Русью путей в сторону Восточного Туркестана и Китая, а закрытие Мангазеи было мудрым шагом тобольских воевод, вовсе не из самодурства решившихся на этот шаг, а из вполне реальных опасений за судьбы русского Севера.

Книга С. Н. Маркова — интереснейший пример своеобразной творческой переработки собранной из разных источников информации. Она очень современна по методу, потому что автор ее ищет нехоженых путей для обобщения своего материала, — обобщения, основанного на получении новой информации из уже известных источников, а не только на привлечении неизвестных науке фактов. Путь догадок, сопоставлений, а порою и яркого художественного домысла, которым идет автор, может быть, и не всегда бесспорен, но книга будит мысль и вызывает в читателе чувство уважения и любви к мужественным предкам нашим.

Этому помогает и присущая С. Н. Маркову сжатая и образная манера письма, его искусство в выборе конкретного, точно выражающего дух времени. Как хорош, например, на страницах его книги труженик русской науки Палладий, который видится автору «с хрустальной увеличительной чечевицей в руке, читающим древние письмена», или серебряные и золотые львы у кованых дверей московской сокровищницы, стерегущие летопись о первых русских исследователях Енисея, или «заиндевевшие панцири» казаков, в 1640 году вышедших на угрюмое Оймяконское плоскогорье. «Ботфорты Беринга глодали, ворча, дрожащие песцы», — писал поэт Сергей Марков еще в 1940 году, и эта жестокая конкретность образа: голодные песцы, гложущие ботфорты на ногах еще не скончавшегося Беринга, — перешла и в «Земной круг», заставляя нас почти зримо ощутить, какой дорогой ценою доставалось русскому народу его продвижение «навстречу солнцу».

**И. ИНОЗЕМЦЕВ.**



# ИЗ РЕДАКЦИИ ОННОЙ ПОЧТЫ

## ДОПУСТИМ ЛИ ПОДОБНЫЙ ДОМЫСЕЛ?

Недавно издательство «Советская Россия» выпустило тиражом в 100 тысяч экземпляров новый роман Германа Нагаева «Девон». Не вдаваясь в общую оценку этого весьма объемистого произведения (в нем 500 страниц убогистого текста), я хотел бы обратить внимание лишь на две-три его страницы (112—114), посвященные встрече одного из главных персонажей книги — геолога-нефтяника Груздева с Лениным.

Встреча происходит в Кремле, в кабинете Председателя Совета Народных Комиссаров. Владимир Ильич, стоя у географической карты России с указкой в руках, ведет разговор с двумя геологами — Груздевым и Тулуповым. Дадим слово автору:

«Ленин, засунув пальцы рук в карманы жилетки, быстрым взглядом окинул карту и повернулся к Груздеву:

— Здесь все равнинные места, а ученые мужи утверждают, что нефть залегает около гор. Вы оспариваете?

— Вот в этом, Владимир Ильич, я с ними согласен...

Ленин взял с этажерки другую указку, энергично, сверху вниз провел по бурому хребту Урала:

— А эти горы вас не манят, товарищи?..

— Да, конечно,— согласились ученые».

Слово берет опять Владимир Ильич.

«— Вот здесь, вверху, Ухта — старые нефтяные залежи,— он показал змейку реки и опустил указку в нижнюю часть карты,— а тут Стерлитамак, где тоже известны выходы нефти. Север и юг Западного Урала.

— Совершенно верно! — согласился Груздев».

Картина ясна. Говорит главным образом Ленин, дает (с указкой в руках!) указания, где искать нефть, а ученые слушают да подкивают, удивляясь познаниям Ленина в области геологии. Возвращаясь после беседы в Кремле, Груздев обращается к Тулупову:

«— Послушай, Сергей Сергеевич, ты человек партийный и, конечно, более осведомленный. Скажи, какой факультет окончил Владимир Ильич?

— Юридический. Экстерном. С отличием.

— А ты не ошибаешься? Может, геологический?

— Нет, юридический. Это совершенно точно.

— Не могу поверить... Откуда же у него такие познания в нашем деле? Он говорил, как профессор геологии. Он поставил перед нами научно обоснованную задачу.

— Это верно,— улыбнулся Тулупов,— на то он и Ленин!»

По многим деталям романа видно, что прообразом его героя — Груздева автору послужил известный геолог, академик Иван Михайлович Губкин. Конечно, романист волен поступать со своим героем, как ему угодно. Ведь Груздев, хоть и очень похож на Губкина,— лицо вымышленное, и мы не можем быть в претензии к Г. Нагаеву, если он уходит иногда от достоверных фактов, связанных с действительной биографией Губкина. Но как быть с Лениным? Должен ли автор точно следовать действительным событиям или вправе делать некоторые отступления? На этот вопрос давно дали ответ лучшие мастера исторического и биографического романа. Мы знаем много отличных художественных произведений, рассказывающих о действительных исторических лицах, где талантливый художественный домysel делает их живыми, выпуклыми.

К сожалению, об образе Ленина в романе Нагаева этого никак не скажешь.

Обратимся к действительным событиям. В своих воспоминаниях о встречах с Лениным (брошюра «Доверие народа — высшая награда») И. М. Губкин рассказывает:

«В октябре 1919 года мы с бутылочками сланцевого бензина, керосина и других нефтеподобных продуктов пошли к Владимиру Ильичу. Секретарь предупредил:

— Только, пожалуйста, не больше пятнадцати минут.

В кабинете Владимира Ильича, помню, стоял письменный стол, около него — два глубоких кожаных кресла, а позади — шкаф с книгами...

Началась беседа. Как человек несколько экспансивный, я во время разговора встал, сам не замечая, как увлекся разговором о будущем сланцев. Владимир Ильич просил показать, где находятся сланцевые месторождения. Мы подошли к карте и простояли у нее два с половиной часа — беседа велась и о нефти, и о сланцах, и о сапропелях. Ленин внимательно слушал, задавал вопросы, вникал в детали — он искал выхода из топливного кризиса.

В конце беседы Владимир Ильич сказал:

— Вот вам мой телефон, вот телефон секретаря. Когда нужна будет помощь, обращайтесь ко мне непосредственно».

Рассказ советского геолога о его встречах с Лениным не вызывает, конечно, никакого сомнения в его достоверности. Сохранилась записка Ленина, в которой имеются следующие строки: «При свидании с Губкиным я просил его обращаться прямо ко мне, когда есть что важное» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 26).

Сравним теперь воспоминания Губкина с «художественным» домислом романиста. У Нагаева Ленин наставляет геологов, указывает, где искать полезные ископаемые. А в воспоминаниях Губкина Ленин не столько говорит, сколько слушает. И это понятно. Он встретился с геологами вовсе не для того, чтобы учить их геологии, а чтобы посоветоваться, найти ответы на волновавшие его вопросы хозяйственно-политического значения...

Обратите внимание: Ленин уделил беседе с Губкиным не пятнадцать минут, как предполагалось, а в десять раз больше — целых два с половиной часа. И, конечно, вовсе не для того, чтобы поразить собеседников познаниями в области геологии (которую Ленин, разумеется, не считал сильной своей стороной), а для того, чтобы найти выход из топливного голода, что было в то время первостепенной государственной задачей.

Где же в таком случае Нагаев почерпнул

материал для своего изображения встречи геологов с Лениным? Из головы? Не совсем. Обратимся вновь к воспоминаниям того же Губкина (Избранные сочинения, т. I, М. 1950, стр. 56—57): «Перед началом беседы он сам принес карту и развернул ее перед нами на длинном столе. Показывая на топографические особенности этой карты, он обратил наше внимание на ряд возвышенностей. По его мнению, эти возвышенности заслуживают того, чтобы они были разведаны на нефть».

Вот это очень похоже на то, о чем пишет и Нагаев. Но все дело в том, что Губкин рассказывает в данном случае о событии, имевшем место в 1936 году, то есть много лет спустя после встречи с Лениным. В чем же дело? Это Сталин поучал геологов, где искать нефть, это он ориентировал их на разведки «около гор». Уместно привести любопытную деталь, приведенную в тех же воспоминаниях Губкина. После приема у Сталина присутствовавший во время встречи Л. М. Каганович сообщил Губкину, что, принимая деятелей медицины, Сталин «также дал им ряд указаний по их специальности».

Сталин, видимо, считал, что он знает все, причем знает лучше, чем специалисты, и поэтому всех может наставлять: геологов, где искать нефть, врачей, как лечить больных... Но Ленин себя таким универсалом не считал и не навязывал советов ни в области геологии, ни агрономии, ни медицины, ни искусства. Ленин, разумеется, вникал в разные дела, но неизменно подходил к ним как государственный деятель, как вождь партии, как социолог и экономист. В этом суть ленинского стиля.

К сожалению, этой элементарной истины не усвоил автор романа «Девон», и вот результат: в книге, изданной тиражом в 100 тысяч экземпляров, Ленин выставлен в несвойственном ему виде.

К сожалению, дело не ограничилось сотысячным тиражом книги. Выдержки из сочинения Нагаева передавались также по первой программе Всесоюзного радиокомитета, причем передавались как раз те места из романа, которые мы привели выше...

**М. ЛАПИДУС,**  
*журналист.*

---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ВЛАДИМИР РУДНЫЙ.** Действующий флот. Рассказы. Очерки. Дневники. Воениздат. М. 1965. 584 стр.

«Не так-то просто человеку штатскому неожиданно стать военным,— пишет автор, вспоминая первые дни войны.— Но еще сложнее человеку сухопутному войти во флот».

Надо сказать, что самому В. Рудному это удалось, и вся его писательская биография неразрывно связана с жизнью флота: его первая книжка, выпущенная в 1942 году, это «Непобежденный Гангут»; о тех же событиях рассказывала вышедшая после войны повесть «Гангутцы», и вот теперь, спустя двадцать лет после Победы, автор собрал воедино многое из того, что писал во время боев, вернулся к событиям, о которых тогда, в условиях войны, говорить было рано, проследил судьбы людей, с кем сводила судьба, рассказал о жизни флота в мирные годы.

«Война на море— это труд, тяжкий и подчас неблагодарный, но труд настойчивый и повседневный»,— я привожу эти слова В. Рудного не потому, что в книге нет описаний напряженных боев и рискованнейших операций (чего стоит одна только история героической гибели десантной группы «Меч»!). Но дело в том, что автор действительно умно и тепло пишет о многом, что долго оставалось в тени,— о неказистых суденышках, о скромных по своему «служебному» положению людях, готовно подставлявших свои плечи, чтобы принять на них изрядную долю тяжелой военной ноши. Тут В. Рудный, очень ценящий юмор и весело рассказывающий о своих корреспондентских злоключениях и промахах, становится прямо-таки лириком, певцом «славной балтийской мелочи», выручавшей флот во время его драматического перехода из Таллина в Ленинград, певцом сухопутных и... двуногих «ботиков», как звали на Северном фронте матросов, пробиравшихся на передний край с пищей и боеприпасами и уносивших в тыл раненых через Мертвую— пристрелянную врагом — долину.

В. Рудный одержим тем же благородным стремлением, какое вызвало к жизни многие произведения нашей литературы, в частности документальной прозы, последних лет: воздать должное всем героям войны, как

бы ни был затерян их след. Истории капитана Калитаева или подводника, Героя Советского Союза Лисина перекликаются с драматическими судьбами некоторых участников обороны Брестской крепости.

Любовь к своему народу соседствует в этой книге с неостывшей ненавистью к фашизму. В этом смысле примечательны страницы, посвященные побежденному Берлину. Зло и пристально подмечает В. Рудный моральную растленность, безответственность, воспитанную во многих немцах гитлеризмом: «Вот к чему приводит: «Немцы, я буду думать за вас!» Вот до какого опустошения доходит человек, если он позволяет себя низвести до уровня исполнителя и не рассуждающего последователя, не отвечающего ни за что».

Книга заканчивается очерком о творчестве художника Б. Пророкова, одного из участников Гангутской обороны. И то, что говорится там о судьбе его картин на выставке, мне хотелось бы повторить применительно и к выведенным в книге самого В. Рудного героям: «А если и пройдет кто в первую минуту мимо, холодно или с раздражением на то, что вот опять искусство напомнило о глубинах жизни, о сложностях вместо легкости, о грубом вместо изящного, о бурях вместо безмятежности, то в минуту следующую или более далекую, на другой день или позже, когда суровая правда коснется их души, заденет, встряхнет, они вспомнят, обязательно вспомнят лица и глаза этих умеющих быть людьми людей».

А. Турков.

★

**ЖАН-ПОЛЬ САРТР.** Слова. Перевод с французского Л. Зониной и Ю. Яхниной. «Прогресс». М. 1966. 174 стр.

Проза живет разной жизнью на полосах журнала и в книжке. Странно, но переплет, «отдельность» всегда сообщает уже прочитанному новое качество.

Читателям, уже знающим «Слова» Сартра по десятому и одиннадцатому номерам «Нового мира» за 1964 год, сейчас передана в руки книга.

Книга эта— особенная в своем жанре, при том что жанр принадлежит к распространнейшим: мемуары. Точнее, рассказ о

детстве, написанный человеком прославившимся, чья биография (пишущий вправе не сомневаться) вызывает естественный интерес. В «Словах» — рассказ о детстве Пулу, о его безвозвратно остриженных локонах, младенческом комедиантстве и запойном бумагомарании, вдохновленном почтенной пылью дедовской библиотеки и раскрашенными выпусками еженедельных приключений. В «Словах» — генеалогия буржуазных семейств Швейцеров и Сартров, этого древа, с ветвей которого XX век получил ни много ни мало Швейцера по имени Альбер и Сартра по имени Жан-Поль. Один из них смиренно принял свою Нобелевскую премию, второй же от своей отказался — воинственно, иронично и трезво.

Так же вот — воинственно, иронично и трезво — написана и эта книга. Меньше всего это «книга воспоминаний», хотя она переполнена пленительной точностью вещественных подробностей ушедшего, от золотого тиснения, которого теперь не делают на обложках детских книг, до леденцового запаха целлулоидной пленки в старых синемаатографах. «Слова» — своего рода научно-поэтический эксперимент.

Вспоминая себя ребенком, Сартр скажет: «В изящной колбочке, моей душе, мысли совершали свой круговорот, и каждый желающий мог проследить за их ходом — ни одного потайного уголка». Образ не случайный, как, впрочем, не случаен ни один образ сартровской изысканной и разумной прозы, свободно сливающейся традицией Декарта с традицией Пруста. Колба — это и иронический образ созревания маленького буржуазного гомункулуса, и сосуд наблюдений. Сартр наблюдает Пулу, пользуясь почти лабораторной прозрачностью собственной памяти, всматриваясь в то, что за стеклом: за прозрачной отделяющей средой времени он сам. Вглядываясь, автор оканчивает процесс отделения.

Бывают опыты настолько жестокие и рискованные, что научная порядочность велит ставить их для начала на себе: проза Сартра была бы жестокой, если бы не была самоотверженной. Он рассекает, анатомирует интимность детских воспоминаний — то, что полагается беречь и лелеять в памяти, кладется на предметное стекло. При этом — в чем созидательная, оптимистическая прелесть «Слов» — разнимающий анализ ничего не умерщвляет, он живит, объединяет в конце концов.

Еще один аспект книги, для русского читателя, безусловно, менее четкий, чем для французского, но для автора весьма существенный. «Слова» — комментарий к фило-софской системе автора; если угодно, это автобиография постулатов мировоззрения Сартра. У нас вышло так, что комментарий попадает в руки читателя раньше, чем комментируемое. Сартра, в сущности, только начинают у нас печатать. Впрочем, не так уж важно, с чего начать, лишь бы начать.

И. Соловьева.

★

А. БЕРЕЖНОЙ. «Чапаев» Дм. Фурманова. «Художественная литература». М.—Л. 1965. 132 стр.

Первые статьи о «Чапаеве» появились в 1923 году, сразу после выхода романа в свет. За сорок с лишним лет накопилось несколько сотен работ о романе и его авторе. От книги, вышедшей в 1965 году, естественно ожидаешь не повторения много раз уже сказанного, а новых оценок и мыслей.

А. Бережной широко вовлекает в круг своих рассуждений записи из многочисленных дневников Д. Фурманова, хранящихся в архивах и еще недостаточно использованных в литературе. Внимательное и непредвзятое отношение к этому очень любопытному материалу могло бы привести автора книги к безусловно новым выводам. Оно помогло бы, по-видимому, и «разглядеть» приемы творческой работы писателя — эту задачу, в числе главных, поставил перед собой автор. Однако задача эта осталась невыполненной. Удалось разглядеть, в сущности, лишь один «прием»: оказывается, Д. Фурманов, используя для работы над романом свой дневник, включил в роман далеко не все из записей. Усилия автора книги сосредоточиваются главным образом вокруг объяснения этого незамысловатого обстоятельства. «Он прошел мимо этой записи потому, что факт, имевший место в жизни автора, нарушал цельность образа Клычкова, выпадал из логики тех отношений между комиссаром и комдивом, которые изображены в романе». Возникает порочный круг — записи не включались потому, что «выпадали из логики», но сама эта логика, естественно, возникала как раз в процессе отбора записей, в результате того, что одни факты отбрасывались, а другие оставались.

Это стремление непременно объяснить и оправдать не только то, что есть в романе, но и то, чего в нем нет, постоянно приводит к неловкостям. Даже в том, что в романе цитируется дневник Клычкова, но нет записей Чапаева, А. Бережной видит особую мудрость писателя: «Степень грамотности комдива была такова, что от цитирования его записей произведение не стало бы ярче...» Удивительно здесь и это угадывание того, что «не стало бы», и наивное представление о художественных качествах материала, как прямо зависящих от «степени грамотности».

На протяжении всей книги автор дает рекомендации другим исследователям, он наставляет их и предостерегает. «Да, вопрос о взаимоотношениях Клычкова и Чапаева не прост, и роли комиссара нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать, ибо и то и другое поведет к нарушению объективной правды, заложенной в произведении». Однако собственная интерпретация романа А. Бережного неглубока, неинтересна. В книге нет самостоятельных и конкретных наблюдений, нет попытки определить реальное место романа в истории литературы:

А. Бережной избрал простой и необедительный способ доказательств — любое, даже самое нейтральное качество романа вменяется автором в особую заслугу писателя. Если в «Чапаеве» события развиваются «в строгой хронологической последовательности», то здесь же с негодующей интонацией роману противопоставляются какие-то другие, никому не ведомые произведения, «увлекающие сложными, интригующими сюжетными ходами», и читатель с дружеской прямотой предостерегается от увлечения подобными интригами.

Книга А. Бережного, к сожалению, мало что добавляет к тому, что уже не раз было сказано о романе Д. Фурманова.

**М. Чудакова.**

★

**М. А. ИЛЬИН. Подмосковье. Книга — спутник по древним подмосковным городам, селам и старым усадьбам (XIV—XIX вв.). «Искусство». М. 1966. 314 стр.**

Последнее время необычайно вырос интерес к памятникам древней русской культуры. Новгород, Суздаль, Владимир, Ростов Великий с каждым годом привлекают все большее и большее количество туристов и любителей старины. Энтузиасты совершают длительные поездки в дальние края, преодолевают порой множество препятствий, чтобы полюбоваться, скажем, прославленными образцами деревянного зодчества русского Севера.

А между тем совсем рядом, под самым боком у нас, остаются незамеченными или попросту забытыми уникальные памятники русского искусства, о существовании многих из которых мы до последнего времени даже не подозревали. По богатству и разнообразию памятников древней культуры Подмосковье не уступит, пожалуй, прославленным местам нынешнего паломничества любителей старины. «Тут можно открыть и строгие в своей суровой красоте храмы XV—XVI веков, и затейливые по своему убранству произведения XVII века, и не менее интересные здания XVIII—XIX столетий...» — справедливо отмечает М. А. Ильин в одной из своих последних журнальных статей. Его книга и позволяет каждому из нас совершить для себя эти «открытия».

Работа М. А. Ильина — интересный и содержательный рассказ об истории возникновения, художественных достоинствах и своеобразии памятников древнего искусства Подмосковья. Однако эта книга имеет не только эстетико-просветительный, но и сугубо практический характер. В кармане с нею легко совершить увлекательное путешествие по подмосковным землям. Для удобства автор группирует памятники по маршрутам, расположенным вблизи от шоссе и железных дорог. В конце книги приложены карты-схемы каждого из этих маршрутов.

Около ста пятидесяти отлично выполненных и подобранных фотоиллюстраций сопровождают этот рассказ, позволяя воочию

убедиться, какими бесценными сокровищами обладает Подмосковье. Шатровая церковь в селе Остров, уникальный храм в Дубровицах, древние соборы Звенигорода, Загорска, Александрова... Какое богатство фантазии — форм, пропорций, объемов! Рассматривая фотографии в книге, начинаешь испытывать желание немедленно поехать по одному из предложенных маршрутов, чтобы своими глазами увидеть эту красоту.

Работа М. А. Ильина, несомненно, должна содействовать пробуждению интереса к богатствам родного края. Ведь как это ни странно, но даже на карте Подмосковья есть еще немало «белых пятен». Сколько памятников, не взятых на учет и не описанных, может здесь открыть любознательный путешественник!

Известно, что нередки еще случаи варварского отношения к памятникам нашей культуры. Даже на небольших снимках, помещенных в книгу, видно, в каком плачевном состоянии находятся некоторые памятники. В серьезной реставрации (а то и в настоящем воскрешении из небытия) нуждаются еще многие и многие из них. «Хочется надеяться, что это новое издание поможет сохранить ценнейшие памятники Подмосковья», — пишет автор в предисловии к книге.

М. А. Ильин воспитывает уважение к прошлому, к красоте, созданной людьми ушедших веков, и в этом несомненное достоинство и ценность его интересной и нужной работы.

**М. Дунаев.**

★

**С. С. ЧЕРНИКОВ. Загадка золотого кургана. Где и когда зародилось «скифское искусство». «Наука». М. 1965. 188 стр.**

Раскопанный в 1960 году автором этой книги курган Чуликтинского могильника в Восточном Казахстане и названный им «Золотым» (здесь было найдено много золотых украшений), заставил его задуматься над сложными вопросами, связанными с происхождением скифских племен, их культуры и особенно искусства.

Скифские курганы, разбросанные по всей территории СССР, а отчасти и за его пределами, открывают богатства этой своеобразной культуры, свойственной кочевническим племенам, которые жили некогда за счет ограбления богатых земледельческих обществ и за счет эксплуатации более слабых степняков, попадавших к ним в рабство.

Автор рассказывает о раскопках кургана, о найденных в нем сотнях золотых бляшек с изображением животных, рассматривает историю проникновения киммерийско-скифских племен в Северный Иран и Переднюю Азию, где они разрушили Фригийское царство, а затем проникли, угрожая Египту, в Сирию, содействовали падению Ассирии, возвышению Индии и древнеперсидского царства Ахеменидов.

С этими ураганными рейдами кочевых скифских дружин, в которых древнеудей-

ские пророки видели божью грозу, книга связывает создание и распространение основных форм скифской культуры.

С. С. Черников считает, что контакты скифов с развитыми переднеазиатскими народами (ассирийцами, маннеями, фригийцами и греками), в результате которых культурные страны принуждены были удовлетворять потребности грабителей и завоевателей, являвшихся из скифских степей, и усваивать их вкусы, и создали то поистине своеобразное и предельно выразительное искусство, которому вот уже три столетия не перестает изумляться весь ученый и любознательный мир.

Скифский «звериный стиль» — это причудливая игра реальных и фантастических животных форм: олени с ветвистыми рогами, которые заканчиваются клювами хищных птиц; хищники кошачьей породы, но тоже с птичьими когтями и клювами; фантастические грифоны с человеческими лицами и с крыльями, подобными рыбьим туловищам. При этом Черников упорно ищет местные основы скифского искусства, обусловившие его своеобразие и упорное противостояние чуждым влияниям.

Описания золотых украшений, найденных в Чиликтинском кургане, служат для автора как бы мостом, связывающим культуру кавказско-причерноморских и центрально-азиатских скифов.

Книга богато иллюстрирована. Многочисленные археологические и антиковедческие подробности перемежаются историческими и этнографическими экскурсами, облеченными в занимательную форму. Опубликованный тут же небольшой очерк С. А. Семенова, анализирующий технику древних ювелиров, несомненно, будет интересен для всех любознательных читателей, способных воспринять и оценить почти фантастическую сноровку древнего мастера-ювелира и проникнуть в сферу его художественных откровений и условностей.

Л. Е.



**П. Н. БЕРКОВ. О людях и книгах (Из записок книголюбца). «Книга». М. 1965. 144 стр.**

Среди множества работ, принадлежащих перу П. Н. Беркова — известного советского историка литературы и журналистики XVIII века и библиографа, — новая книга стоит несколько особняком. О своих библиофильских интересах П. Н. Берков до последнего времени писал скупно, хотя он любит и отлично знает книгу и сам является обладателем большой библиотеки, в которой есть и очень редкие издания.

П. Н. Берков разграничивает понятия «библиофил» и «книголюб». «Принято считать, — пишет он, — что книголюб — это тот, кто со-

бирает только такие книги, которые нужны ему для работы или которые он любит читать для удовольствия, тогда как библиофил — это человек, собирающий книги по какому-то особому пристрастию к ним, не задаваясь вопросом о том, что в них для него существенно, важно и ценно, собирающий, так сказать, бескорыстно». Любовь к книге как к предмету искусства, говорит П. Н. Берков, закономерна, но это только одна из форм библиофильства и отнюдь не единственное проявление любви к книге. Автору ближе тот, кто любит книгу за ее «конденсированную человечность», за то, что часто она — хранительница человеческого гения, ума, сердца, что часто она — горькая память о прошлом, нелюбимая совесть настоящего».

В книге П. Н. Беркова рассказ о какой-нибудь книжной коллекции оборачивается рассказом о собирателе этой библиотеки, а повествование о какой-нибудь книжной редкости — о ее хозяине.

Известное изречение гласит, что у книг есть своя судьба. «В этой же книге меня больше всего интересует судьба людей», — пишет П. Н. Берков в предисловии.

И действительно, перед читателем оживают десятки людей разных эпох и национальностей, объединенных одной страстью — страстью к собиранию книг. Это и почти забытый ныне русский библиофил начала прошлого века П. Я. Актов; это знаменитый французский мистификатор Врэн-Люка, прославившийся тем, что в течение восьми лет фабриковал различного рода документы вплоть до «писем» Иуды Искариота, Марии-Магдалины и апостола Петра и сбывал свою продукцию маслитому ученому академику М. Шалю; это наконец и саксонский пастор Тиниус, которого страсть к книгам сделала убийцей.

Одна из наиболее интересных глав в книге П. Н. Беркова — глава о подборке газетных вырезок, посвященных Жоржу Шарлю Дантесу и его семье. В ней приводятся некоторые малоизвестные подробности, касающиеся убийцы Пушкина. Сообщается, в частности, о встрече Дантеса в Париже с Натальей Николаевной Пушкиной; автор воскрешает полузабытый образ дочери Дантеса Леонии-Шарлоты, которая (чего не бывает в жизни!) обожала все русское, была горячей поклонницей великого русского поэта и во время одного разговора даже назвала отца убийцей.

Книга П. Н. Беркова построена в форме коротких занимательных новелл. Она легко читается и привлечет широкого читателя обилием самых разнообразных фактов — порой серьезных, порой забавных, но всегда открывающих нечто новое в необозримом книжном океане.

**В. Масловский.**

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**Материалы майского (1966 года) Пленума ЦК КПСС.** 64 стр. Цена 7 к.

**Ю. Борисов.** Первый в истории опыт. Коммунистическая партия в борьбе за построение социализма в СССР (1921—1937 гг.). 128 стр. Цена 14 к.

**Говорят погибшие герои.** Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941—1945 гг.). 528 стр. Цена 88 к.

**А. Катеринич.** Десятилетия, равные векам (Очерки о Монгольской Народной Республике). 56 стр. Цена 13 к.

**Валериан Владимирович Куйбышев.** Биография. 360 стр. Цена 76 к.

**В. Листов, В. Жунов.** Тайная война против революционной Кубы. 296 стр. Цена 51 к.

**Люди легенд.** Очерки. Выпуск второй. 720 стр. Цена 1 р. 36 к.

**О. Феофанов.** Счастье в кредит. Очерки о Канаде. 320 стр. Цена 83 к.

**А. Шигер.** Политическая карта мира (1900—1965). Справочник. 208 стр. Цена 56 к.

## «МЫСЛЬ»

**Вопросы идеологической работы партии.** 272 стр. Цена 97 к.

**Вопросы партийного руководства развитием народного хозяйства.** 176 стр. Цена 68 к.

**Ю. Гирман.** В чем сущность свободы совести? 88 стр. Цена 12 к.

**А. Краснов.** Критика христианской концепции исторического процесса (На материалах русского православия). 72 стр. Цена 11 к.

**Е. Куделин.** Труд — потребность и радость жизни. 197 стр. Цена 78 к.

**Мировая социалистическая система хозяйства.** В четырех томах. Том I. Становление мировой социалистической системы хозяйства. 511 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Национально-освободительная борьба народов на современном этапе.** 432 стр. Цена 1 р. 53 к.

**В. Рымалов.** Распад колониальной системы и мировое капиталистическое хозяйство. 479 стр. Цена 1 р. 66 к.

**А. Шлепаков.** Иммиграция и американский рабочий класс в эпоху империализма. 501 стр. Цена 1 р. 82 к.

**Эффективность комплексного развития техники в промышленности.** 165 стр. Цена 51 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Абрамов.** Высокая вода. Стихи. 120 стр. Цена 16 к.

**В. Амлинский.** Тучи над городом встали. Повесть. Рассказы. 284 стр. Цена 43 к.

**А. Анастасьев.** Виктор Розов. Очерк творчества. 248 стр. Цена 53 к.

**П. Антеос.** Голос оливы. Стихи и поэма. Перевод с греческого. 120 стр. Цена 27 к.

**Т. Ахтанов.** Исповедь степи. Повести и рассказы. Перевод с казахского. 276 стр. Цена 54 к.

**В. Барлас.** Глазами поэзии. Об открытиях искусства и современных поэтах. 244 стр. Цена 46 к.

**А. Белый.** Стихотворения и поэмы. 656 стр. («Библиотека поэта»). Цена 1 р. 80 к.

**И. Борисов.** Есть слова. Книга лирики. Перевод с еврейского. 180 стр. Цена 21 к.

**Л. Боровой.** Язык писателя. А. Фадеев, Вс. Иванов, М. Пришвин, Андрей Платонов. 220 стр. Цена 54 к.

**Н. Браун.** Я жгу костер. Стихи. 116 стр. Цена 19 к.

**В. Бычко.** Ясный свет. Стихи. Перевод с украинского. 80 стр. Цена 14 к.

**Б. Вальбе.** «Жизнь Кдима Самгина» в свете истории русской общественной мысли. 288 стр. Цена 54 к.

**Е. Васютина.** Жара в Хатоне. Повесть. 344 стр. Цена 50 к.

**Н. Вильмонт.** Великие спутники. Литературные этюды. Достоевский и Шиллер. Еще раз о Гёте. Шесть этюдов о Томасе Манне. 592 стр. Цена 1 р. 40 к.

**В. Демидов.** Листья начинаются с корней. Лирика. 100 стр. Цена 16 к.

**Ю. Золотарев.** Юбилейные приседания. Юмористические рассказы и фельетоны. 184 стр. Цена 17 к.

**Л. Иванов.** Сибирская новь. Роман. 439 стр. Цена 88 к.

**Н. Карамзин.** Полное собрание стихотворений. 424 стр. («Библиотека поэта»). Цена 85 к.

**Г. Ленобль.** Писатель и его работа. Вопросы психологии творчества и художественного мастерства. 396 стр. Цена 98 к.

**А. Лесс.** Непрочитанные страницы. 312 стр. Цена 30 к.

**И. Лисавили.** На развалинах. Роман. Перевод с грузинского. 296 стр. Цена 41 к.

**К. Отаров.** Годы и горы. Стихи. Перевод с балкарского. 148 стр. Цена 24 к.

**А. Пальчевский.** Августовское утро. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 368 стр. Цена 51 к.

**А. Ткаченко.** Берег долгой зимы. Рассказы и повести. 304 стр. Цена 54 к.

**Ю. Чернов.** Костры. Стихи. 104 стр. Цена 15 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Э. Асадов.** Будьте счастливы, мечтатели. Лирика. 208 стр. Цена 40 к.

**Р. Бабаджан.** Дважды живет поэт... Избранная лирика. Перевод с узбекского. 336 стр. Цена 49 к.

**В. Базанова.** «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина. 104 стр. Цена 17 к.

**К. Ваншеннин.** Стихотворения. 296 стр. («Библиотека советской поэзии»). Цена 43 к.

**Н. Гоголь.** Собрание сочинений. В семи томах. Том I. 384 стр. Цена 1 р.

**С. Городецкий.** Стихи. 271 стр. («Библиотека советской поэзии»). Цена 43 к.

**И. Дончевич.** Миротворцы. Роман. Перевод с сербохорватского. 304 стр. Цена 99 к.

**М. Дудин.** Избранные произведения. В двух книгах. Книга 1. Стихотворения. 360 стр. Цена 57 к. Книга 2. Стихотворения и поэмы. 332 стр. Цена 61 к.

**С. Есенин.** Собрание сочинений. В пяти томах. Том I. 416 стр. Цена 90 к.

**Танэси Кайко.** Гольфий король. Повести. Перевод с японского. 215 стр. Цена 45 к.

**А. Н. Островский в воспоминаниях современников.** 632 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Плач лани.** Турецкая народная поэзия в переводах Н. Гребнева. 192 стр. Цена 15 к.

**В. Ручьев.** Любава. Стихотворения и поэмы. 184 стр. Цена 51 к.



**Ю. Тынянов.** Малолетний Витушишников. Рисунки Н. Кузьмина. 95 стр. Цена 1 р.  
**Б. Шкловский.** Повести о прозе. Размышления и разборы. В двух томах. Том 1. Рассказывающий, главным образом, о западной прозе. 336 стр. Цена 96 к. Том 2. В котором рассказывается о русской прозе. 464 стр. Цена 1 р. 23 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Л. Бобров.** По следам сенсаций. 272 стр. Цена 77 к.  
**М. Бурбун.** Гора, поросшая дроком. Роман. Перевод с французского. 224 стр. Цена 65 к.  
**Л. Вышеславский.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.  
**Г. Гублиа.** Посох. Лирика. Перевод с абхазского. 96 стр. Цена 11 к.  
**А. Зябров.** Енисейская тетрадь. Лирические записки. 368 стр. Цена 67 к.  
**В. Ильин.** Дана Ивану голова... Повесть. 192 стр. Цена 57 к.  
**Б. Островский.** Лазарев. 176 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 54 к.  
**Приключения.** Сборник приключенческих повестей и рассказов. 448 стр. Цена 78 к.  
**Г. Серебрякова.** Маркс и Энгельс. 880 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 1 р. 69 к.  
**Ф. Фюман.** Суд божий. Повести и рассказы. Перевод с немецкого. 304 стр. Цена 96 к.  
**Б. Хотимский.** Пожарка. Маленькие повести. 192 стр. Цена 19 к.  
**Б. Чопич.** Корова с деревянной ногой. Рассказы. Перевод с сербохорватского. 192 стр. Цена 40 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Алексин.** В Стране Вечных Каникул. Повесть-сказка. 126 стр. Цена 27 к.  
**Ф. Искандер.** Зори земли. Стихи. 64 стр. Цена 11 к.  
**А. Кириосов.** Страна мудрецов. Повесть-сказка. 175 стр. Цена 36 к.  
**Е. Мар.** Океан начинается с капли. Рассказы о воде. 95 стр. Цена 52 к.  
**И. Песчанский.** Покорись, Енисей! 184 стр. Цена 64 к.  
**А. Плудек.** По горам идет март. Повесть. Перевод с чешского. 111 стр. Цена 27 к.  
**И. Росохватский.** Виток истории. Сборник научно-фантастических повестей и рассказов. 223 стр. Цена 43 к.  
**А. Рутно.** Детство на Волге. Повесть (О В. И. Ленине). 296 стр. Цена 65 к.

**А. Рыбанов.** Каникулы Кроша. Повесть. 128 стр. Цена 28 к.  
**Слава солдатская.** Рассказы о Советской Армии. 1917—1965. 527 стр. Цена 1 р. 32 к.  
**Д. Триз.** Холмы Варны. Повесть. Перевод с английского. 199 стр. Цена 43 к.  
**Н. Эрнай.** Новая родня. Повесть. Перевод с эрзя-мордовского. 159 стр. Цена 34 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Р. Барбе.** Общественные классы в Черной Африке. Перевод с французского. 213 стр. Цена 93 к.  
**Б. Вербитски.** Вилья-Мисерия тоже Америка. Роман. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 78 к.  
**Д. Данциг.** Линейное программирование, его применения и обобщения. Перевод с английского. 600 стр. Цена 2 р. 78 к.  
**М. Каллаган.** Подвечное платье. Рассказы. Перевод с английского. 112 стр. Цена 31 к.  
**Т. Конвицкий.** Современный сонник. Роман. Перевод с польского. 343 стр. Цена 1 р. 7 к.  
**Х. Маассен.** Сыновья Чапаева. Перевод с немецкого. 392 стр. Цена 1 р. 28 к.  
**А. Собуль.** Парижские санюлоты во время якобинской диктатуры. Народное движение и революционное правительство. 2 июня 1793 года — 9 термидора II года. Перевод с французского. 591 стр. Цена 2 р. 77 к.  
**В. Холличер.** Природа в научной картине мира. Перевод с немецкого. 567 стр. Цена 2 р. 67 к.  
**О. Хорн.** Год испытаний. Роман. Перевод с немецкого. 199 стр. Цена 53 к.  
**Шекспир в меняющемся мире.** Сборник статей. Перевод с английского. 384 стр. Цена 1 р. 21 к.  
**А. Щиперский.** Час расплаты. Роман. Перевод с польского. 213 стр. Цена 60 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**К. Ваншенкин.** Во второй половине дня. Рассказ. 71 стр. Цена 9 к.  
**Л. Воробьев.** Конец нового дома. Рассказы. 136 стр. Цена 17 к.  
**Д. Дар, А. Ельянов.** Прекрасные заботы юности. 72 стр. Цена 6 к.  
**Л. Коньшев, Трубачи.** Поэма о Раскосом Тубе. 96 стр. Цена 18 к.  
**Г. Николаева.** Наш сад. Лирическая поэма. 96 стр. Цена 11 к.  
**Я. Смеляков.** Милые красавицы России. Стихотворения. 136 стр. Цена 21 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 18/VII-1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 16/VIII-1966 г.  
 А 10107. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Зак. 2417 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
 Тираж 141.300.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1967 ГОД  
НА ЖУРНАЛ  
«ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ»

В ближайших номерах читайте:

За «круглым столом» редакции: «Актуальные проблемы социалистического реализма».

Под рубрикой «Из опыта советской литературы»: цикл статей навстречу 50-летию Октября.

Дискуссия: «Литературоведение и кибернетика».

Статьи по истории литературы: Плеханов-критик; русские поэты первых десятилетий XX века.

Неопубликованные юмористические рассказы Чехова.

Воспоминания Л. Брик: последние месяцы жизни Маяковского.

Из литературного наследия А. Серафимовича, С. Маршака, Н. Асеева, М. Булгакова, В. Гроссмана, М. Цветаевой.

Обзоры современной поэзии ГДР и Англии, статьи о творческом пути Генриха Бёлля, Томаса Вулфа.

Дневники Франца Кафки.

Подписная цена на год — 7 р. 20 к.

В розницу журнал поступает в ограниченном количестве.